О

ХАРАКТЕРѢ ГОГОЛЕВСКАГО СТИЛЯ.

ГЛАВА ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКАГО ЛИТЕРАТУРНАГО ЯЗЫКА.

І. МАНДЕЛЬШТАМА,

Профессора Гельсингфорскаго Университета.

„Гдѣ-же тотъ, кто на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать всемогущее слово „впередъ“? Кто . . . могъ бы устремить на высокую жизнь русскаго человѣка? Какими слезами, какою любовью заплатили бы ему“.

Гоголь.

„Der geistreiche Mensch knetet seinen Wortstoff ohne sich zu bekümmern, aus was für Elementen er bestehe“.

Goethe.

С. Петербургъ. Гельсингфорсъ.

Гельсингфорсъ 1902.

Новая Типографія Гувудстадсбладетъ.

О
ХАРАКТЕРѢ
ГОГОЛЕВСКАГО СТИЛЯ.

ГЛАВА ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКАГО ЛИТЕРАТУРНАГО ЯЗЫКА.

І. МАНДЕЛЬШТАМА,

Профессора Гельсингфорскаго Университета.

„Гдѣ-же тотъ, кто на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать всемогущее слово „впередъ“? Кто... могъ бы устремить на высокую жизнь русскаго человѣка? Какими слезами, какою любовью заплатили бы ему“.

Гоголь.

„Der geistreiche Mensch knetet seinen Wortstoff ohne sich zu bekümmern, aus was für Elementen er bestehe“.

Goethe.

С. Петербургъ. Гельсингфорсъ.

Гельсингфорсъ 1902.

Новая Типографія Гувудстадсбладетъ.

1311263

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского Госуниверситета
г.Екатеринбург

Пр. 2010

Памяти

Николая Васильевича

ГОГОЛЯ.

Наступаютъ дни поминанія великаго учителя народа русскáго, и кто чѣмъ можетъ приноситъ дань благодарности памяти Николая Васильевича Гоголя.

Лучшая дань — всесторонное изученіе писателя.

О языкѣ Гоголя знаютъ у насъ немного, и предлагаемая работа имѣетъ цѣлью восполнить этотъ чувствительный пробѣлъ хоть сколько нибудь, хоть постановкой вопроса.

I. Мандельштамъ.

Оглавленіе.

Глава I. **Мѣсто Гоголя въ исторіи развитія русскаго самосознанія** 1— 2

Глава II. **Трудность нахожденія мѣрила для опредѣленія красоты поэтическаго стиля** . . . . 3— 4

Красота стиля не есть нѣчто постоянное, 3. — Зависимость стиля писателя отъ языка народа увеличиваетъ трудность опредѣленія, 4.

Глава III. **Въ чемъ заключается оригинальность стиля** . . . . . . 4— 9

Различное значеніе слова въ зависимости отъ сочетанія его съ другими, 5. — Примѣры, 5—7. — Слово сызнова создается въ рѣчи, 8. — Примѣры, 8—9.

Глава IV. **Связь стиля Гоголя съ языкомъ народа**. . . . . 9—18

Примѣры: Одинъ изъ излюбленныхъ оборотовъ рѣчи — тавтологія, 10. — Сознательность въ примѣненіи ея, 11—12. — Пользованіе ею съ различными цѣлями, 12—13. — Языкъ народа связываетъ писателя, 13. — Даже специфически Гоголевскіе обороты созданы на почвѣ народнаго языка Образцы, 13—16. Примѣры словообразованія, 16. — Примѣненіе этого положенія къ частямъ образа, 17, — и къ цѣлому образу, 18.

Глава V. **Связь стиля Гоголя со стилемъ писателей ему современныхъ** . . . . 19—34

Романтизмъ стиля Гоголя въ подражаніе господствовавшему направленію и въ частности въ подражаніе Жуковскому, 20. — Примѣры описанія внѣшняго вида женщины, 21. — Изображеніе душевнаго настроенія, 22. — Варіаціи на стиль Жуковскаго. Примѣры подбора словъ и ихъ сочетаній, 23—24. — Образъ красоты, 24, — картины природы, 25, нерусскіе образы, 26. Факты сильнѣйшаго воздѣйствія Жуковскаго, 26—27, при отсутствіи звучности стиха, 27. (Доп. 376). — Вліяніе стиля Пушкина. Заимствованныя образы для выраженія заимствованнаго чувства, 28. — Подражаніе стилю „Евгенія Онѣгина“, 29; — „Полтавы“, 30—32; — „Къ морю“, 33; — „Цыганъ“, 33. — Вѣроятное вліяніе Крылова, 34.

Глава VI. **Связь стиля Гоголя съ общепоэтическимъ стилемъ** . . 35—46

Паралели съ образами другихъ поэтовъ. Примѣры: Образы дерева, 36—37. — Спокойствіе ландшафта. 38. — Подобные образы не могутъ характеризовать индивидуальности поэтическаго творчества Гоголя, 39, такъ какъ они общи всѣмъ поэтамъ всѣхъ временъ, 40—41, — какъ напр. и образъ лѣса, 42, — образъ ниспадающихъ волосъ, 43—44. — Есть предѣлы въ созиданіи образовъ, 45. — Примѣры тожества образовъ у всѣхъ народовъ вслѣдствіе единства человѣческой природы, 46.

Глава VII. **Традиціонные образы у Гоголя** . . . . 46—52

Значеніе традиціи для творчества, 46. — Традиціонные народные образы. 47—48. — Мощь пересозиданія мало характеризуетъ однако Гоголя въ тѣхъ случаяхъ, когда построеніе образовъ всецѣло основано на народно-поэтическихъ образахъ и представленіяхъ, 49—52.

Глава VIII а). **Языкъ Гоголя въ отличіе отъ языка другихъ писателей русскихъ** . . . . 52—65

Психологическія основанія своеобразности языка, 52. — Языкъ Гоголя носитъ слѣды пережитого. 53. — Вліяніе послѣдняго на душевное настроеніе. Взаимодѣйствіе между объективированіемъ себя въ словѣ и душевнымъ состояніемъ. Результатъ самоанализа Гоголя — наглядность языка, какъ специфическое свойство, 54. — Выводы изъ особенности характера Гоголя служатъ основаніемъ для опредѣленія его стиля, 55. — Стремленіе къ освобожденію себя отъ недостатковъ влечетъ подробное знакомство съ собою, 56 — что безъ объективированія себя въ словѣ невозможно, 57—59.

Основной мотивъ творчества Гоголя — изображеніе отрицательныхъ сторонъ, 60. — Преобладаніе силы чувства надъ разсудочностью, 61. — Потребность его воплощать въ осязательныя формы образы пошлости, 62, — растетъ съ возрастающей потребностью углубиться въ себя, 63 — и заставляетъ выступать мельчайшимъ чертамъ, 64. — Творчество идетъ объ руку съ сознательнымъ отношеніемъ къ значенію его, 65.

Глава VIII b). **Періодъ отсутствія всякаго стиля** . . . . 66—79

Первоначальная безпомощность, 66—67; реторичность, 68, странность выраженія, 69; — недостатки, 70; — нелогичность, непоэтичность, 71; —

фразерство, отсутствіе мѣткости сравненій, 72; — трата словъ, 73; — неправильности грамматическія, 73—75; баласть, 76—77; увлеченіе словомъ въ ущербъ художественности, 78—79 (Доп. 79).

Глава IX. **Работа надъ стилемъ** . . . . 79— 86

Стремленіе совершенствовать его, 80. — Исключеніе иностранныхъ словъ и пользованіе ими со специальной цѣлью, 81. Преднамѣренность въ пользованіи ими 82, — съ цѣлью клеймить пристрастіе и излишества въ употребленіи ихъ 83. — Случаи употребленія ихъ Гоголемъ, 84—85. (См Дополненія, стр. 378).

Исключеніе миѳологическихъ образовъ, 86.

Глава X. **Внесеніе русскаго народнаго (простонароднаго) элемента** . . . . 86— 94

Сознаніе Гоголемъ важности сближенія литературнаго языка съ народною рѣчью, 87. — Старательное изученіе народной рѣчи, 88, — при помощи записыванія образцовъ 89—90 Словарь народныхъ выраженій, 91 (Доп. 380); народныхъ рѣченіи, 92. — Преимущество надъ Пушкинымъ въ этомъ отношеніи, 93—94.

Глава XI. **Переработка произведеній въ стилистическомъ отношеніи** . . . . 94—118

Влеченіе къ новообразованіямъ, 95—96 (Доп. 380), первоначально безплодное, 97, — исчезаетъ во время расцвѣта творчества, снова обнаруживается въ послѣдній періодъ. Борьба между привычкой и творческимъ геніемъ, 97. — Любимыя формы, 98, — любимые образы, 99, — иногда во вредъ художественности стиля, 100, — особенно въ концѣ дѣятельности, 101.

Звуковая образность словъ и выраженій дѣлаетъ стиль художественнымъ, 102—103 (Доп. 381). Обновленіе традиціонныхъ образовъ, 104. Вдумчивость въ выраженія для обозначенія тончайшихъ оттѣнковъ мысли, 104. Работа надъ установленіемъ гармоніи между частями, 105. — Установленіе отношенія для плавнаго теченія мысли, 106—107. — Стремленіе придать большую наглядность явленіямъ, событіямъ, 108—109. — Психологическій тактъ въ интересахъ читателя, 110. — Образцы отдѣлки слога въ цѣляхъ художественной реальности, 111. — Усиленіе впечатлѣнія отъ выраженій, 112. — Частности въ исправленіяхъ отдѣльныхъ словъ, 113.

Работа надъ стилемъ съ цѣлью возбужденія настроенія, 114. — Стремленіе однимъ выраженіемъ создать картину, позу, настроеніе. Новое освѣщеніе картины при помощи мелкихъ штриховъ, 115, — какъ опущеніе словъ, 116. — Экономизація вниманія читателя, 117. — Перемѣна мѣста слова въ предложеніи, 118.

Глава XII. **Продолженіе предшествующей главы** . . . . 118—135

Способы преобразованія понятій и идей въ представленія и образы, 119—123 — Работа надъ изящностью выраженій 124—125.

Образы вынашиваются со стороны формы и совершенствуются, 126. — Филигранность работы, 127. — Образцы отдѣлки стиля при помощи подбора словъ, 128.

Совершенствованіе отдѣльныхъ картинъ, 129. — Совершенствованіе въ изображеніи душевныхъ движеній, 130—133.

Мелкія исправленія съ цѣлями художественнаго воздѣйствія 133—135.

Глава XIII. **Психологическое основаніе пользованія одними и тѣми поэтическими образами** . . . . 136—153

Любимые образы, 136—137. Олицетвореніе испытываемыхъ чувствъ или настроенія. 138—141. — Способъ восклицанія, 142. — По стилю можно опредѣлить настроеніе, 143—144.

Любимые стилистическіе пріемы. Синонимныя выраженія, 145—147. Злоупотребленіе ими въ ущербъ художественности формы и содержанія, 147—148 (Доп. 382). Любимый пріемъ усиленія посредствомъ повторенія не, 149. Пріемъ усиленія посредствомъ постановки сказуемаго передъ подлежащимъ, 150, при помощи союза *и* въ отличіе отъ употребленія его другими 151—153 (Доп. стр. 382).

Глава XIV. **Эпичность стиля** . . . . 153—157

Пріемы напоминаютъ народно-поэтическое творчество при воспроизведеніи непосредственнаго впечатлѣнія отъ предмета или явленія, 153—156. — Участіе чувства 157.

Глава XV. **Способы воспроизведенія явленій** . . . . 157—163

Повторяемость оборотовъ, какъ форма для выраженія чертъ характера, 158. — Формы безсмыслицы и безсвязности; грубости и ругани, 159—160; — форма обрыванія рѣчи при самомъ началѣ 161; — форма повторенія имени дѣйствующаго лица, 162. (Дополненія, стр. 383). — Любимыя слова и выраженія, 163.

Глава XVI. **Возможность опредѣленія настроенія Гоголя на основаніи словъ, сопровождаемыхъ субъективнымъ содержаніемъ** . . . . 163—168

Примѣры, 163—168.

Глава XVII. **Способъ вызывать настроеніе при помощи словъ, не имѣющихъ объективнаго содержанія** . . . 168—173

Примѣры, 168 173.

Глава XVIII. **Гоголевскіе эпитеты** . . . . 173—183

Они не теряютъ конкретности, содержаніе не вывѣтривается, 173. — Объективные эпитеты 174. — Субъективные эпитеты, 175. — Индивидуальность ихъ 176—177. — Слово облекаетъ чувство и воззрѣніе непосредственно за восприятіемъ явленія, 178. — Сложные эпитеты, 179—180. (Дополненія, стр. 384). — Прототипы эпитетовъ, 181. — Образы, проникнутые чувствомъ, 182. — Эпитеты придаютъ предмету содержаніе, соотвѣтствующее настроенію, 183.

Глава XIX. **Гоголевскія сравненія** . . . . 184—194

Трудность различенія поэтическаго сравненія отъ прозаическаго, 184—185. — На первыхъ порахъ сравненія носятъ отвлеченный характеръ, 186. (Доп. 384). Позже преобладаютъ сравненія съ предметами изъ ближайшей сферы, 187—188.

Сравненія для изображенія душевнаго настроенія, 189. — Тотъ-же пріемъ при изображеніи животныхъ и предметовъ, 190—191.

Способъ возбужденія воображенія при помощи сравненій, 191—192 (Дополненія, стр. 387).

Гиперболическія сравненія, 193—194.

Глава XX. **Малороссійскій элементъ въ стилѣ Гоголя** . . . . . 194—241

Полное отсутствіе этого элемента у писателей, предшествующихъ Гоголю, 194—195.

Не мода на малороссійское вызываетъ творчество Гоголя изъ малор. жизни (мнѣніе Ак. Пыпина), 196, а внутренняя потребность, вполнѣ органическая, 196—197 (Доп. 387). Инстинктъ творчества ведетъ къ малороссійскому языку, 198—199. Преобладаніе „хохлацкой души“, 200. (Дополненія, стр. 389). Пользованіе малороссійскимъ и общерусскимъ языкомъ даетъ мысли различное направленіе, а степень участія малороссійскаго обусловливается содержаніемъ душевной жизни, 201—206. Моменты преобладанія малорусскаго, 207. Русскій текстъ часто представляетъ переводъ съ малорусскаго, 208—211 (Доп. 390).

Доказательства помимо текста, 211. Различные моменты преобладанія малороссійскаго элемента вторгаются безсознательно, 211—214. — Доказательство, 215. — Смотря по содержанію выбивается то малорусская, то общерусская рѣчь, 216. — Малороссійскій языкъ преобладаетъ при изображеніи настроенія, чувства, 217—220. — Иногда малороссійская рѣчь не переводилась на русскій вовсе, оставаясь таковою, 220—221.

Моменты пользованія исключительно общерусскимъ языкомъ: въ картинахъ природы, 223—225, — въ вопросахъ общенародныхъ, общественныхъ, 225, — въ вопросахъ философскихъ; въ послѣднемъ случаѣ — дурной стиль, 226—227, (Доп. 391) — неискренность стиля, 228, — особенно въ „Перепискѣ“: ходульность расплывчатость, словоизліяніе, — 229—231.

Малороссійскій элементъ стиля Гоголя — въ значительной мѣрѣ подъ вліяніемъ народныхъ пѣсенъ малороссійскихъ, 231—238 — (Дополненія, стр. 393).

Стиль отличается простотой въ противоположность мнѣнію г. Шенрока, 238—241.

Глава XXI. **Гоголевскій юморъ** . . . . 241—345

Значеніе юмора, какъ формы мышленія, 242. — Первый періодъ развитія „смѣха“, 242, — отсутствіе идеализма, 243. — Излишества, 244—245. — Сознаніе необходимости воспитывать силу художественнаго юмора, 246—247. — Образцы труда надъ переработкой произведеній ввиду этой цѣли, 249—250. — Значеніе вульгарныхъ и простонародныхъ выраженій 250—251.

Юморъ собственныхъ именъ у Гоголя сравнительно съ именами у другихъ сатириковъ, 252. — Отсутствіе тривіальности у Гоголя. Сдержанность, 253. — Различныя слова для обозначенія понятія о грубости выраженія, 254.

Богатство выраженій юмористическаго свойства для обозначенія одного и того же понятія о разнообразныхъ дѣйствіяхъ, 255, — ругань, 256 - 257. — Языкъ Гоголя близокъ къ языку дѣйствующихъ его лицъ, 258.

Слова, юмористичныя вслѣдствіе исключительности звуковыхъ сочетаній, 259, — юморъ въ

подборѣ простонародныхъ выраженій, 260. — Значеніе ихъ въ развитіи языка, 261.

Второй періодъ въ исторіи развитія „смѣха", 262. — Путь, какимъ шелъ Гоголь. Стремленіе подойти къ явленію по возможности близко, 263. — Отдѣлка подробностей, 264. — Синтаксическія измѣненія, 265.

Безпрепятственность художественныхъ воспріятій, 266 — Цѣнность образа, какъ формулы, 266-267.

Образованіе юмористическихъ образовъ подъ вліяніемъ слова, 268—270 (Допол. стр. 394).

Гоголевскій юморъ подъ вліяніемъ различнаго пониманія людьми одного и того-же слова, 271—273.

Гоголевскій юморъ отъ сочетанія словъ, съ кажущимся содержаніемъ, 273—275. — Излюбленные обороты въ этомъ направленіи, 276—277.

Юморъ, происходящій отъ вызыванія быстрой смѣны впечатлѣній. 277. — Преднамѣренность при этомъ, 278.

Противоположный пріемъ — слишкомъ медленный ходъ мыслей. 279. — Гоголь пользуется этими пріемами для характеристики лицъ, 279—280. — Неожиданный перерывъ мысли, 280.

Гоголевскій юморъ отъ сопоставленія сужденій, не имѣющихъ ни внутренней, ни внѣшней связи, 280—281, — характеристика лицъ при помощи этого пріема, 281—284. — Нѣкоторое видоизмѣненіе этого пріема, 285—286. — Юморъ отъ вплетенія не идущихъ къ дѣлу обстоятельствъ, 286—287 (Допол. 395). — Моментъ біографическій, объясняющій видоизмѣненіе этого пріема, 288. — Юморъ изображенія мышленія неразвитого ума. 288—289.

Юморъ отъ придаванія лицу свойствъ, противорѣчащихъ характеру лица, предмета, 289—293. — Юморъ отъ выставленія однихъ сторонъ при ожиданіи по ходу мысли другихъ. 294.

Юморъ отъ сопоставленія качествъ совершенно различныхъ категорій при сравненіяхъ, 295. Между тѣмъ какъ у иныхъ художниковъ сравненія неожиданны по отдаленности сравниваемыхъ предметовъ, 296 у Гоголя юморъ — отъ близкости сферъ, 297—299 (Доп. 397). Юмористичность сравненія при изображеніи внѣшняго уродства лишь въ связи съ безобразіемъ нравственнымъ, 300.

Тотъ же юморъ при изображенiи предмета и владѣльца его, 301—303.

Юмористическiя сравненiя при изображенiи чувства, 303—305.

Юмористичность гипербола вообще, 305 — Оригинальность Гоголевскихъ, 306—307. — Гипербола не затираетъ господствующаго характера, 308. — При всей субъективности онѣ понятны, 309 (Допол. стр. 398).

Юмористическая аллегорiя и ихъ оригинальность при близости съ рѣченiями народными, 310—311. — Иронiя, 312—313.

Юморъ вслѣдствiе примѣненiя высокаго стиля 314, — серiознаго тона, 315, — къ безсмыслицѣ, 316.

Юморъ отъ перерыва строгаго стиля вульгарнымъ выраженiемъ, 317.

Юморъ въ зависимости отъ грамматическихъ формъ, однороднаго сочетанiя предложенiй при помощи союзовъ, 317, — суффиксъ въ, 318, — юморъ выраженiя отъ повторенiя одного и того же слова при повторяемости дѣйствiя, 318, — въ связи съ комизмомъ положенiя, 319.

Сила юмора языка при изображенiи типовъ, 320. Индивидуализацiя пошлости, 321 (Доп. 400). Умѣнье отрѣшиться отъ себя, но стиль при изображенiи выводимыхъ лицъ характеризуетъ и личность Гоголя, 322. — Область Гоголя и причина его оригинальности, 323. — Сравненiе съ Гейне, 324.

Индивидуализацiя лицъ изъ простонародiя, мужики, 325; — бабы, 326—327; — купечество, 328; — помѣщики и чиновники; Хлестаковъ, 329; — Собакевичъ, 330; Маниловъ, 331; — Бобчинскiй, 331; — Акакiй Акакiевичъ, 332; — Ноздревъ, 333—334; — Плюшкинъ, 335; — Коробочка, 336. — Изображенiе способа выраженiя мыслей женскимъ поломъ, 337—340. — Рѣчь Чичикова, 340—344 (Доп. стр. 403).

Глава XXII. **Характеристика стиля Гоголя въ связи съ его личностью** . . . . 345—365

Гоголь — идеалистъ, 345 — Трагичность жизни, 346. — Источникъ юмора — идеальныя требованiя отъ жизни, 346, — хотя Г. сосредоточивается на изображенiи мелочей жизни, 347—348, — которыя прiобрѣтаютъ однако значительность при помощи силы языка, выражавшаго

прежде всего внутренній міръ, 349; — именно субъективность стиля обезпечивало единство формы и содержанія, 350. — Демократичность его стиля, 350 — Причины: — воспитаніе, общественная среда, 351, вліяютъ на русскій литер. яз.: спеціализація творчества, 351—352. — Примѣры, 353. — Непосредственность воспроизведенія явленія замѣняетъ критику, 354. — Цинизмъ выраженій дѣйствующихъ лицъ, 355. — Интуитивность творчества, 356—357. — Отраженіе нравственныхъ страданій на стилѣ Гоголя. — Недовольство въ рѣчахъ самыхъ дѣйствующихъ лицъ, 359. — Замѣчательная особенность, 360.

Гоголевскій смѣхъ, 361. — Отличіе юмора отъ комизма, 362—363. — Самобытная воспріимчивость, и пониманіе глубины душевной жизни, 364. — Отсутствіе контрастовъ стиля, 365. — Субъективность стиля, 365.

Глава XXIII. **Методологическій вопросъ** . . . . 366—376

Можно-ли всегда отдѣлять языкъ писателя отъ языка дѣйствующихъ въ его произведеніяхъ лицъ? Всѣ данныя и апріористическія, 367—369, — и апостеріористическія 370—376, заставляютъ дать отрицательный отвѣтъ.

Дополненія . . . . 376—405

I.

Процессы, совершающіеся въ душѣ поэта, насколько они доступны нашему пониманію, представляютъ для насъ высокій интересъ потому, что они въ сущности процессы нашей души, души тѣхъ, которые пользуются поэтическими произведеніями, какъ средствомъ самопознанія, и вмѣстѣ съ тѣмъ средствомъ умственнаго и нравственнаго развитія.

Всего болѣе личность поэта отражается въ языкѣ его, такъ какъ вообще языкъ обнаруживаетъ ярче характеръ всего, что человѣческой мыслью создано.

Съ другой стороны, самое живое представленіе остается лишь смутнымъ чувствомъ, пока слово не сдѣлаетъ его достояніемъ сознанія, пониманія, памяти. Темными останутся и всѣ моменты жизни сердца. Проявленія духа, какъ личнаго, такъ и народнаго, пріобрѣтаетъ значеніе не ранѣе того, какъ выразило ихъ слово и собою не освѣтило темную область безсознательнаго.

Съ этой точки зрѣнія, понятной для всякаго, кто имѣлъ случай слѣдить за развитіемъ языка и мысли народа, писатель великъ тѣмъ, что онъ изъ тайниковъ народныхъ выводитъ на свѣтъ божій то богатство мыслей, чувствъ, ощущеній, желаній, которые составляютъ содержаніе народной души.

Этимъ великъ и Гоголь.

Въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX ст. русскій поэтическій языкъ, какъ и языкъ литературный, былъ дѣломъ новымъ, еще только достояніемъ отдѣльныхъ лицъ, болѣе

любителей, и вовсе не стоялъ на такой высотѣ, чтобы вѣрно могъ служить выраженіемъ жизни въ болѣе широкомъ смыслѣ. Многіе, стоявшіе во главѣ общества, превосходно излагавшіе свои мысли на французкомъ языкѣ, писали порусски самымъ неуклюжимъ образомъ, точно съѣзжали, по выраженію Аксакова, съ торной дороги на жесткія глыбы только что поднятой нивы.

И дѣйствительно, нива была только что поднята.

Правда, изъ устъ, произносившихъ чистѣйшія французскія рѣчи, можно было услышать живую, почти простонародную рѣчь, идіоматическую рѣчь, какъ свидѣтельствуютъ современники, но такая устная рѣчь служила только для сношенія съ крѣпостною прислугою и съ низшими слоями общества.

Гоголю слѣдуетъ отвести первое мѣсто въ исторіи русскаго самосознанія, какъ первому, внесшему въ литературу народную рѣчь, въ самомъ обширномъ смыслѣ слова.

Такимъ языкомъ не писалъ и Пушкинъ.

II.

Поэтическая форма мышленія есть одно изъ средствъ познанія; поэтическій образъ составляетъ, поэтому, не только предметъ отдыха и наслажденія, но и предметъ труда, анализа.

Если намъ данъ поэтическій образъ, мы спрашиваемъ, прежде всего, каковъ тотъ кругъ идей, наблюденій, мыслей, воспріятій, изъ которыхъ возникъ и сложился этотъ образъ.

Не всегда возможно рѣшеніе этихъ вопросовъ, однако отвѣты даются, болѣе-менѣе удовлетворяющіе любознательности и пытливости.

Но есть вопросъ, возникающій одинаково при анализѣ и каждаго поэтическаго произведенія, и группы произведеній, и творчества поэта, на который, однако, отвѣтъ всего

менѣе возможенъ, хотя всего болѣе нуженъ: каковъ языкъ, каковъ стиль произведенія, группы произведеній, писателя?

Трудность отвѣта усиливается тѣмъ, что поэзію слова нѣтъ возможности опредѣлить; отвлеченное понятіе красоты къ языку всего менѣе примѣнимо, ибо языкъ поэзіи не есть нѣчто постоянное; онъ творится вѣчно, онъ представляетъ собою ein immer werdendes; вмѣстѣ съ условіями творчества измѣняется и само творчество, а условія относятся къ категоріи общественно-психологическаго процесса и народно-психологическаго развитія, двухъ силъ, находящихся въ постоянномъ движеніи. Творчество въ образованіи языка не прекращается, и потребность въ измѣненіи его существуетъ, пока человѣкъ сохраняетъ свою природу. Замѣчается напр. бо́льшая сознательность въ исторіи развитія языка; обнаруживается въ бо́льшей мѣрѣ преднамѣренность въ участіи процесса созиданія поэтическаго стиля; чувство, чутье языка (Sprachgefühl) подвергается бо́льшему контролю, и вмѣстѣ съ этимъ пріобрѣтается бо́льшая власть надъ языкомъ.

Трудность изслѣдованія языка отдѣльнаго писателя зависитъ, съ другой стороны, отъ принудительной связи, въ которой стоитъ писатель съ языкомъ своего народа. Личность свою поэтъ проявляетъ лишь, поскольку допускаетъ это народный языкъ; писатель помимо воли повинуется законамъ языка своего народа. Онъ не въ силахъ преобразовать языкъ; наоборотъ, геній писателя расцвѣтаетъ вмѣстѣ съ расцвѣтомъ генія народа и гибнетъ вмѣстѣ съ паденіемъ, съ вымираніемъ народнаго языка, — и все это не смотря на то, что каждая личность, и не писателя даже, а каждого, вноситъ кое-что своего въ общую сокровищницу.

Языкъ народа, народомъ же созданный и въ продолженіе исторической жизни его все вновь и вновь созидаемый, обусловливаетъ границы творчества отдѣльнаго лица, какъ обусловливаетъ и самый характеръ мышленія отдѣльнаго лица. Это также естественно, какъ естественна зависи-

мость нашего физическаго существованія отъ климата, почвы, пищи.

III.

При могуществѣ языка народа, сила отдѣльныхъ личностей въ созиданіи языка сравнительно ничтожна.

На памяти исторіи человѣчества писатель всегда строилъ свой языкъ на основаніи уже данномъ, готовомъ.

Не выходя изъ предѣловъ аналогіи съ тѣмъ, что совершилось ранѣе, до него, писатель (поэтъ) лишь *видоизмѣнялъ* слова въ примѣненіи ихъ къ рѣчи, но не изобрѣталъ словъ. Однако это видоизмѣненіе въ употребленіи слова можетъ достигнутъ такихъ размѣровъ, что личность становится замѣтною. И если несомнѣнно, что каждый индивидуумъ вноситъ въ языкъ частицу своего, такъ какъ ближайшимъ творцомъ языка онъ, то писатель отличается отъ другихъ только тѣмъ, что личности своей вноситъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ другіе всѣ.

Такъ какъ слово само по себѣ не образъ, не художественное созданіе, а является таковымъ только въ сочетаніи словъ, въ предложеніи, еще вѣрнѣе, — въ цѣломъ законченномъ образѣ, то оригинальность художественности языка поэта зависитъ, главнымъ образомъ, отъ *выбора* имъ отдѣльныхъ словъ для такого или другого сочетанія ихъ съ другими, стало быть и отъ *сочетанія* этихъ словъ, отъ *разнообразія* ихъ сочетаній.

Поэтъ оригиналенъ въ примѣненіи готового уже запаса словъ и выраженій *къ способу представленія* предметовъ и явленій изъ міра внѣшняго и внутренняго.

Говоря о пользованіи словомъ, необходимо помнить, что языкъ былъ бы безсиленъ удовлетворить требованіямъ мысли, еслибы на каждое представленіе требовалась наличность соотвѣтствующаго новаго звукового сочетанія. Языкъ

богатъ и мощенъ тѣмъ, что одному и тому же слову придается различное значеніе, въ зависимости отъ сочетанія его (слова) то съ однимъ, то съ другимъ словомъ, или комплексомъ словъ. Отсюда: слово съ очень опредѣленнымъ, повидимому, значеніемъ (содержаніемъ) разнообразится по содержанію, смотря потому, съ какими понятіями (словами) оно входитъ въ сочетаніе.

На примѣрахъ это очевидно.

У писателя встрѣчаются такія сопоставленія:

Правитель и народъ,
Дворянство и народъ,
Образованный классъ и народъ,
Индивидуумъ и народъ,
Племя и народъ,
Гласъ народа, гласъ Божій и т. д.

Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ словомъ *„народъ“* обозначается совокупность людей; но каждая пара съ очевидностью показываетъ также, что въ этомъ словѣ преобладаетъ то одинъ, то другой, главный признакъ, а въ зависимости отъ этого оно получаетъ и значеніе иное: то оно имѣетъ смыслъ политическаго цѣлаго, то — соціальнаго, то — этнографическаго, то означаетъ нѣчто коллективное, массовое и пр.

Вотъ еще примѣръ:

Мы встрѣчаемъ у Гоголя слово *„бранный“* въ сочетаніи со словами „пламень“, „тревога“, „время“: „бранный пламень“, „бранная тревога“, „бранное время“, и каждый разъ одно и то же слово получаетъ совершенно отличное одно отъ другого значеніе: признака качества, признака количества, признака времени [1]).

---

[1]) Срав. у Пушкина (Кавк. плѣнникъ):

„Погасъ печальной жизни пламень“ . . .

со стихомъ:

„— — — — — — — — —
О первый пламень упоенья . . .
Не прилетаете вы вновь . . .“

Селифанъ (чичиковскій кучеръ) разсуждаетъ по поводу отказа Ноздрева дать лошадямъ сѣна: „. . . Экой скверный баринъ, ты лучше человѣку не дай ѣсть, а коня ты долженъ накормить, потому что конь *любитъ* овесъ . . .“ [1]). Ни на одинъ языкъ нельзя перевести выраженія „любитъ“ буквально, такъ какъ въ данномъ сочетаніи *„любитъ“* имѣетъ значеніе: „коня нужно кормить“, „требуется для коня“, „конь нуждается“ и т. п.

Казалось бы выраженіе *„можно“*, и не отдѣльно взятое, имѣетъ очень опредѣленное значеніе, однако сравненіе случаевъ употребленія его приводитъ къ иному выводу:

Можно питаться одною растительною пищей,
Можно убить однимъ разомъ,
Это можно сказать (а того нельзя),
Это, можно сказать, разумѣется само собою . . . и т. д.

Привычное для сознанія значеніе слова „можно“ удержано единственно въ 3-мъ примѣрѣ; въ остальныхъ трехъ случаяхъ оно имѣетъ къ нему лишь нѣкоторое, отдаленное отношеніе, притомъ различное каждый разъ. Интересно сравнить употребленіе Гоголемъ слова „можно“ 6 разъ подрядъ — и каждый разъ значеніе, въ другомъ сочетаніи словъ, далеко не тождественно [2]).

---

[1]) Сочин. Н. В. Гоголя, изд. XII ред. Н. С. Тихонравова, IV, 97.
[2]) Соч. Гог. IV, 416. Сравнить съ слѣд. напр. случаями у Пушкина:

„Въ часы забавъ иль праздной скуки
Бывало лирѣ я моей
Ввѣрялъ изнѣженные звуки
Безумства лѣни и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звонъ я прерывалъ . . . („Стансы“).

И пращъ и стрѣла и лукавый кинжалъ
Щадятъ побѣдителя годы . . . (Пѣснь о Вѣщ. Олегѣ).

И тотъ, чей острый умъ тебя и постигалъ
Въ угоду имъ тебя лукаво порицалъ. (Полководецъ)

Въ трехъ приведенныхъ примѣрахъ слово „лукавый“, „лукаво“ имѣетъ совершенно отличное одно отъ другого значеніе и содержаніе.

Рисуя образъ Собакевича, Гоголь говоритъ: „... есть много на свѣтѣ такихъ лицъ, надъ отдѣлкой которыхъ натура не долго мудрила ... *хватила* топоромъ разъ — вышелъ носъ, *хватила* въ другой — вышли губы ...“ [1]).

Вслѣдствіе доводовъ, приводимыхъ Коробочкой, одинъ другого нелѣпѣе, поэтъ замѣчаетъ: „Чичиковъ увидѣлъ, что старуха *хватила* далеко ...“ [2]).

„Эхъ, хватъ, за это люблю, говорилъ Черевикъ (Сорочинская ярмарка) ... выпилъ до дна, *хвативъ* ее (кружку) потомъ въ дребезги“ [3]),

„... въ праздникъ *отхватаетъ* Апостола, бывало такъ, что теперь и поповичъ иной спрячется ...“ (Пропавшая грамота [4]);

„... *не хватитъ* на то мышиной натуры ихъ — (Тарасъ Б.[5]).

„Мертвые въ хозяйствѣ! Эхъ куда *хватили!*“ [6]).

„Чичиковъ вышелъ совершенно изъ границъ всякого терпѣнія, *хватилъ* въ сердцахъ стуломъ“ [7]).

„Онъ накупалъ кучу всего — насколько *хватало* денегъ“ [8]).

„Изъ брички вылѣзла дѣвка съ платкомъ на головѣ ... и *хватила* обоими кулаками въ ворота“ [9]).

Различіе содержанія слова „хватить“ бросается въ глаза.

Чтобы не громоздить фактовъ подобныхъ приведеннымъ — имъ же нѣтъ числа — привожу 2 примѣра, показывающіе, что въ одномъ и томъ же предложеніи, однимъ и тѣмъ же словомъ, поэтъ обозначаетъ два совершенно различныхъ понятія:

„Но человѣка человѣкъ послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ“,

и въ связи съ этимъ извѣстный дистихонъ Гете:

---

1) Соч. Гог. IV, 103. 2) Ib. 54. 3) Соч. Гог. II, 20. 4) Ib. 90. 5) Ib. 363 6) IV, 56. 7) Ib. 57. 8) Ib. 77. 9) Ib. 198.

Dass wir Menschen nur sind — der Gedanke beuget das Haupt dir,
Doch dass Menschen wir sind richte dich freudig empor.

Насъ далеко повело бы толкованіе различія значенія однихъ и тѣхъ же словъ въ приведенныхъ выше мѣстахъ, но и поверхностное наблюденіе приведетъ читателя къ мысли, не новой, но важной для нашей цѣли, что творчество состоитъ въ значительной мѣрѣ въ индивидуальномъ *примѣненіи* слова въ предложеніи. На это не обращено было вниманія до сихъ поръ при изслѣдованіи языка писателя.

Не смотря на то, что языкъ народа стѣсняетъ поэта, ставя ему извѣстныя грани, за которыя онъ переходить не въ состояніи, языкъ всетаки каждый разъ сызнова создается мыслью, сызнова оживаетъ въ рѣчи и въ пониманіи.

Малѣйшее измѣненіе въ условіяхъ, въ которыя слово поставлено, измѣняетъ его, производитъ новое чувство, новое представленіе.

Творчество Гоголя въ созиданіи слова тѣмъ и отличается, что онъ умѣетъ ставить слово въ особыя условія, пользуясь всѣмъ, что случай представляетъ, и что воображеніе подсказываетъ ему.

Когда Почтмейстеръ совѣтуетъ дать мнимому ревизору взятку такимъ образомъ, что „вотъ-молъ пришли *по почтѣ* деньги, неизвѣстно кому принадлежащіе“, то отвѣтъ Артемія Филипповича: „Смотрите, чтобы онъ васъ *по почтѣ* не отправилъ куда нибудь подальше“ [1]), получаетъ смыслъ административной ссылки только потому, что отвѣтъ послѣдовалъ непосредственно за словомъ *по почтѣ* въ критическій моментъ; при другихъ условіяхъ фраза: „смотрите и т. д.“ имѣла бы смыслъ совершенно иной, буквальный прежде всего.

Такъ же точно, когда Аммосъ Федоровичъ на заявленіе Артемія Филипповича, что „нужно бы кое-что предпринять“, ставитъ вопросъ: *„подсунуть“*?, то отвѣтомъ „ну да“ [2]) понято было всѣми, *что* „подсунуть“ означаетъ теперь; всѣ удалились

---

[1]) Соч. Гог. III, 244. [2]) Ib.

отъ собственнаго значенія слова именно въ данный только моментъ настроенія, созданного общей опасностью. *Подсунуть* выражало оцѣнку наличнаго содержанія, бывшаго въ данный моментъ совершенно новымъ, отличнымъ отъ содержанія, съ какимъ слово связывается обыкновенно.

Если вообще несомнѣнно, что слово живетъ только тогда, когда произносится, т. е. только въ данномъ сочетаніи словъ, то это обнаруживается у Гоголя рѣзче, чѣмъ у кого либо изъ писателей русскихъ, въ большинствѣ случаевъ дающихъ такое сочетаніе словъ, которое для мысли болѣе обычно.

„А, красные жупаны на всемъ войскѣ, да хотѣлъ бы я знать, красная-ли сила у войска!“ [1])

Такимъ восклицаніемъ сталъ Поповичъ (въ „Тарасѣ Бульбѣ“) подзадаривать вражье войско поляковъ, роскошное въ блескѣ своемъ.

Выдѣлимъ вторую часть „красная-ли сила у войска“ — въ ней нѣтъ логическаго сочетанія словъ для того, кто съ древнимъ (народнымъ) значеніемъ слова „красный“ не знакомъ, тогда какъ въ данномъ сочетаніи предложеній слово *„красная“* пріобрѣтаетъ даже извѣстную соль остроты; его сказалъ человѣкъ, который „крѣпокъ былъ на ѣдкое слово“ [2]) и обозлилъ этимъ врага (кстати: и въ предложеніи „крѣпокъ на ѣдкое слово“ *„крѣпокъ“* живетъ случайною жизнью, которой лишится при иномъ сочетаніи, напр. „крѣпокъ дубъ“).

Въ словарѣ Гоголя есть особенности, выраженія, какія мы не привыкли встрѣчать въ обиходной рѣчи; обыденная рѣчь даже чуждается ихъ; но въ большинствѣ случаевъ Гоголь говоритъ тѣмъ языкомъ, которымъ говорятъ самые обыкновенные люди — и однако только Гоголь умѣлъ воспроизвести эту рѣчь.

Въ этомъ его тайна.

---

[1]) Соч. Гог. II, 314. [2]) Ib,

Разгадать эту тайну представляетъ глубочайшій интересъ, и предлагаемое сочиненіе имѣетъ цѣлью содѣйствовать разгадкѣ.

IV.

Но прежде всего необходимо отмѣтить, что весьма многое, относимое къ языку Гоголя, не составляетъ особенности творчества поэта, а есть то готовое, какое уже засталъ онъ въ языкѣ народа.

Останавливаюсь на болѣе значительныхъ фактахъ.

Одинъ изъ оборотовъ рѣчи, излюбленныхъ поэтомъ — это тавтологія.

Тавтологія есть не только наслѣдіе древняго русскаго языка письменнаго съ древнѣйшихъ поръ XII—XIV ст., она вообще наслѣдіе человѣческой рѣчи, вѣками выработанной.

Въ пятикнижіи: „онъ вскрикнулъ громкимъ горестнымъ крикомъ“ [1]); „праздновать праздникъ“ [2]); „снится сонъ“ [3]).

У Платона: „δεῖ γυναῖκα εὖ οἰκεῖν τὴν οἰκίαν; οἷον πάθος πεπονθας“ [4]).

Въ латинск. яз.: ridere risum, deorum vitam vivere, gravem pugnam pugnare.

Во франц.: Mars . . . rit aussi d'un rire amer (Devigné); on a joué un jeu d'enfers (Picard); quant il est si embesoignies des besoignes son seigneur ou de besoignes au souverain [5]).

Англ.: to dream a dream, to sin a sin и т. д.

Нѣмец.: Schlaf süssen Schlaf!; Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; а въ болѣе древнемъ языкѣ: wircan verc; springen manigen sprunc; singe ich mînen sanc и т. д.

Славянская народная поэзія широко пользуется тавтологіею: тешке путе да путуjем, тешке броде да бродуjем, скачу скока; збор зборила, и т. д. безъ конца.

---

[1]) Кн. Моисея I, 27, 34, буквальный переводъ. См. Gerber, G. Die Sprache als Kunst I, 476. Здѣсь сопоставлены однородные примѣры изъ различныхъ языковъ. [2]) Ib. [3]) Ib. [4]) Ib. [5]) Sur les pleonasmes syntaxiques, par Ol. Reinholdson, Stockholm 1900.

Въ древнерусскихъ памятникахъ тавтологій въ большомъ изобиліи, въ современномъ языкѣ недопускаемое: „безчисльное число", „въспятися вспять", „утвердиша твердостью несказанною", „пѣнія пѣти", „месть мстиша (за тыя головы неповинныя"; „избѣчествовалъ безчестьемъ" [1]). Въ русской народной поэзіи — это обычное явленіе и встрѣчается также безчисленное множество тавтологическихъ выраженій: „Въ торопяхъ да ты видь время торопила" [2]); „мѣсто тя да я работой поработаю" [3]); „дива дивнаго оны тутъ дивовалися" [4]); „не могла бы не ѣдой отъѣсть, не питьемъ отпиться, не дутьемъ отдуться, не гулянкой загулять" [5]), и пр. безъ конца.

Какъ сказано, Гоголь пользуется тавтологіею. Что принадлежитъ въ подобныхъ образахъ поэту? Отвѣтъ возможенъ при сравненіи съ приведенными случаями слѣдующихъ примѣровъ у Гоголя:

„*Онъ окурилъ удивительнымъ куревомъ людскіе очи*" [6]).

„И *запировалъ пиръ*" [7]).

„И часто неожиданно въ глухомъ забытомъ захолустіи, на *безлюдіи безлюдномъ* встрѣтишь человѣка, котораго грѣющая бесѣда заставитъ позабыть тебя и *бездорожье дороги*, и безпріютность ночлеговъ, и современный свѣтъ, полный глупостей людскихъ, *обмановъ, обманывающихъ* человѣка" [8]).

„. . . на вѣчную радость старцамъ *родителямъ, родившимъ* ихъ" [9]).

„Самая яркая и вѣрная живопись и самая *звонкая звучность словъ* разомъ соединяются въ нихъ" [10]).

„Сердце его сострадало и щемило при видѣ страданій другихъ, но *впечатлѣнія не впечатлѣвались* въ его душѣ" [11]).

„*Воспитанный* полуиностраннымъ *воспитаніемъ*" [12]).

„*Оглушая оглушеннымъ* карканьемъ воронъ" [13]).

---

[1]) О языкѣ Сѣверорусс. Лѣт. П. Лавровскій. [2]) Причитанія Барсова. 94. [3]) Ib. 225. [4]) Ib. 262. [5]) Великор. Заклинія Л. Майкова, 424. [6]) Соч. Гог. IV, 147. [7]) Соч. Гог. II, 185. [8]) Соч. Гог. IV, 398. [9]) Соч. Гог. IV, 363. [10]) Соч. Гог. I, 318. [11]) Соч. Гог. IV, 415. [12]) Соч. Гог. IV, 352. [13]) Соч. Гог. IV, 343.

„Богомъ освобожденъ уже отъ всякой отвѣтственности передъ людьми; кто . . . *страждетъ такими страданіями* . . .“ [1]).

Гоголю принадлежитъ сознательное, преднамѣренное употребленіе тавтологіи; онъ пользуется готовою формулою, схемою, съ цѣлями чисто художественными; онъ имѣетъ ввиду оживить, усилить впечатлѣніе, производимое выраженіемъ, произвести эффектъ дѣйствіемъ, заставить почувствовать дѣйствіе интенсивнѣе, въ зависимости отъ такого или иного момента. Въ тавтологическихъ примѣрахъ, приведенныхъ изъ поэзіи народной, причина иная, — народно-психологическая, безсознательная, непреднамѣренная.

У Гоголя — цѣль намѣченная, преднамѣренная.

Съ опредѣленными цѣлями поэты пользовались тавтологіею и иначе; Рабелэ, напр., даетъ въ изобиліи подобные образы, но всѣ они созданы съ расчетомъ вызывать смѣхъ; всѣ юмористичны и строю языка соотвѣтствуютъ всего менѣе; они созданы незаконно, такъ сказать, и носятъ характеръ только шутки, забавы; вмѣсто „я не прошу безъ причины“: „Je ne l'ay demandé sans cause bien causée, ni sans raison bien raisonnante;“ вмѣсто „не будетъ ни дождя, ни свѣта, ни вѣтра“: „il n'y pluyra pluie, n'y luyra lumière, n'y ventera vent“. У Гоголя выраженія не встрѣчаютъ препятствій къ жизни продолжительной, какъ красивыя формы, выражающія и оттѣняющія мысль. Если такое тавтологическое выраженіе, какъ „*родители, ихъ родившіе*“, или „*толково потолковать*“ [2]) и подобныя, могутъ быть объясняемы забвеніемъ коренного значенія *родители, потолковать*, и, слѣдов., быть относимы къ категоріи обыкновенныхъ сочетаній, то всѣ другія случаи говорятъ въ пользу высказаннаго предположенія о преднамѣренности. На одномъ примѣрѣ очень наглядно обнаруживается различіе въ тавтологіи народного характера, лежащаго въ самомъ языкѣ, отъ тавтологіи спеціально

---

1) Соч. Г. V, 48. 2) Ib. 26.

Гоголевскаго; въ „Ревизорѣ“ одинъ изъ купцовъ, жалуясь на городничаго, говоритъ: „не по поступкамъ поступаетъ“, — здѣсь творитъ не Гоголь; поэта застало слово; но „въ поступкахъ своихъ поступалъ еще болѣе кстати“ мы видимъ творчество Гоголя; и такъ вездѣ, гдѣ только подобныя образы встрѣчаются.

Какъ отличать одни отъ другихъ — для этого правилъ, разумѣется, установить нѣтъ возможности; но вѣдь рѣзкой границы не существуетъ и между языкомъ литературы и народнымъ языкомъ; — однако стоитъ лишь не отрывать тавтологическихъ выраженій отъ цѣлого образа, чтобы понять расчетъ поэта въ пользованіи схемою сочетанія имени и глагола одного и того же корня, или прилагательнаго и существительнаго одного и того же слова.

На образахъ язычныхъ другого рода, образахъ, которые повидимому всецѣло принадлежатъ поэту, отчетливо видно, что языкъ народа обязываетъ писателя не выходить за предѣлы, созданные и поставленные языкомъ; что возможны лишь видоизмѣненія въ сочетаніи, хотя, съ другой стороны, видоизмѣненія влекутъ за собою очень крупныя новыя явленія.

„Копѣйкинъ мой, разсказываетъ между прочимъ Почтмейстеръ, втащился кое-какъ съ своей деревяшкой въ пріемную, прижался тамъ въ уголку себѣ, чтобы не толкнуть локтемъ, можете себѣ представить, какую нибудь Америку или Индію — раззолоченую, понимаете, фарфоровую вазу этакую . . .“; или: „попытался было на счетъ квартиры, только все это кусается страшно: гардины тамъ, шторы, понимаете, ковры — Персія такая . . .“ [1]). Подобныхъ оборотовъ въ русской литературѣ мы не встрѣчаемъ; это совершенно особый пошибъ, манера Гоголевская: „*ковры — Персія, этакая; вазы — какая нибудь Америка, или Индія этакая*“.

---

[1]) Соч. Гог. IV, 297.

Особенность этихъ сочетаній, совершенно специфическаго свойства, раскрывается, однако, изъ сопоставленій ихъ съ формами, встрѣчающимися въ русскомъ народномъ языкѣ:

„Возьму ли себѣ, возьму сужену,
что во томъ ли во городѣ во Черниговскомъ,
что у того ли короля у Чернигова" [1]);

или

Онъ заѣхалъ во городъ во Черниговской
Онъ пріѣхалъ ко царю ко Чернигову [2]).

Мы замѣчаемъ здѣсь, какъ и у Гоголя, сочетаніе, о которомъ Буслаевъ выражается такъ: „Два существительныя, сложенныя между собою синтактически, такъ что одно зависитъ по падежу своему отъ другого, могутъ въ народномъ языкѣ быть освобождены отъ этого синтактическаго сочетанія и поставлены въ одномъ и томъ же падежѣ, какъ слово опредѣляемое и его приложеніе" [3]).

Согласованія въ числѣ можетъ и не быть; въ родѣ — также: „Вся Москва царство сдивовалося" [4]). Если русскій народный языкъ пользуется способомъ обозначенія мѣстопринадлежности рыбы формою: семга *порогъ,* семга *Двина,* семга *Мезень,* семга *Печора* [5]), то Гоголь выраженіемъ „ковры—Персія" обозначаетъ тоже самое. Безсознательно усвоенную форму онъ примѣняетъ сознательно съ цѣлью художественною: представить человѣка, умѣющаго мыслить только такъ, какъ мыслитъ первобытный умъ, для котораго установленіе отношенія между предметами дѣло весьма трудное; который говоритъ, напр.: не сестра Ивана, а Иванъ его сестра, т. е. чтобы выразить отношеніе принадлежности, онъ соединяетъ предметъ съ другимъ посредствомъ мѣстоименія. Слѣдуетъ при этомъ вспомнить, что вообще рѣчь Почтмейстера характеризуется

---

[1]) Кирѣевскій II, III, 11. См. Потебня, изъ Зап. по Русс. Грам. III, 174. [2]) Ib. 12. [3]) Истор. Грам. Буслаева, 240. [4]) Шеинъ, Русс. Нар. п. 302. [5]) См. подробный разборъ вопроса у Потебни l. c. Аттрибутивность существительнаго 129 и слѣд.

именно рѣчью ума первобытного, не умѣющаго держать мысли: „можете себѣ представить“, „понимаете“, „этакое“, „вообразите“ и т. п. послѣ каждого слова, характеризуется рѣчью человѣка, говорящаго отдѣльными словами, а не предложеніями, заставляя болѣе догадываться о томъ, что онъ имѣетъ ввиду сообщить слушателямъ.

На явленіяхъ, менѣе бросающихся въ глаза, чѣмъ приведенный только что случай, можно вести объясненія дальше, въ такомъ же направленіи, и доказать, что только стоя на почвѣ народнаго языка, и не иначе, Гоголь давалъ образцы языка своего, лично ему принадлежащаго, только потому, что готовыя слова, готовыя образцы, готовыя формы, примѣнялись своеобразно въ сочетаніи иномъ, чѣмъ въ какомъ онъ засталъ данныя слова самъ.

Такъ, возьмемъ оригинальное употребленіе слова „*оно*“ въ слѣдующихъ случаяхъ:

„*Оно*, конечно, домашнимъ хозяйствомъ заводиться всякому похвально, и почему же сторожу не завести его; только, знаете, въ такомъ мѣстѣ не прилично“, говоритъ Городничій[1]).

„Конечно, если онъ ученику сдѣлаетъ такую рожу, то *оно* еще ничего, можетъ быть *оно* тамъ и нужно такъ“ [2]).

„*Оно*, конечно, Александръ Македонскій — герой, но зачѣмъ же стулья ломать“ [3]).

„*Оно* чѣмъ больше ломки тѣмъ болѣе означаетъ дѣятельность городничаго“ [4]).

„*Оно* хоть нѣтъ публичности, да и заботности меньше“ [5]), говоритъ Осипъ.

„*Оно* не такъ далеко и хуторъ“ [6]).

„Хоть *оно* и возьметъ (Алексѣй Ив.) но за то ужъ никакъ тебя не выдастъ“ [7]).

---

1) Соч. Гог. III, 199. 2) Соч. Гог. III, 201. 3) Соч. Гог. III, 201. 4) Ib. 210. 5) Ib. 212. 6) I, 87. 7) Соч. Гог. IV, 167.

Русскому уху это *„оно“* не такъ привычно; у Кольцова, напр. „хоть не такъ *оно* — невыгодно, но положимъ, дѣлать нечего“ [1]), „оно“ имѣетъ значеніе *это;* но въ Малороссіи „воно“ слышится весьма часто: „чи воно“ . . . то-то и то-то; „чи воно, диду е тамъ (на небі) люде“? — „Нема сину“. Это „воно“ является чаще всего замѣной подлежащаго, въ соотвѣтствіи съ нѣмец. *„es“* въ безличныхъ предложеніяхъ; часто вставляется это словечко по аналогіи, безъ всякого требованія со стороны мысли; въ народѣ это слышится постоянно.

Гоголь съумѣлъ чуждому звуку придать обще-русскій характеръ, преобразивши *воно* въ *оно,* а вмѣстѣ съ тѣмъ дать мысли оттѣнокъ какого то обобщенія, выраженіе чего-то, во что самъ говорящій не вѣритъ, или чему говорящій не придаетъ особенного значенія.

Вотъ примѣръ изъ словообразованія (подробнѣе ниже):

Нѣтъ русскаго слова *нѣжба;* но во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ суффиксъ *ьба* образуетъ имена дѣйствія, а въ немногихъ случаяхъ образуетъ имена собирательныя; Гоголь суффиксъ этотъ соединяетъ съ корнемъ слова *„нѣжный“, „нѣжиться“;* соединяетъ оригинально, но въ духѣ языка, — и образуетъ новое слово, превосходно передающее чувство, волнующее Тараса, когда онъ сыновьямъ среди бездѣйствія семейнаго говоритъ: „что вамъ за нѣжба? чистое поле, да добрый конь, — вотъ ваша нѣжба“ [2]).

Или еще примѣръ:

„Коптитель неба“, „существователь“.

Въ первомъ выраженіи Гоголю принадлежитъ сочетаніе словъ, логически не связуемыхъ, и все же получившихъ содержаніе; во второмъ — исключительное производство слова на *тель* отъ глагола не дѣйствительнаго, а средняго, и всетаки получившаго значеніе лица дѣйствующаго.

[1]) „Перепутье“. [2]) Соч. Гог. II, 270.

Сказанное относительно отдѣльныхъ словъ и выраженій примѣнимо въ полной мѣрѣ и къ отдѣльнымъ частямъ образа, и къ цѣлому образу.

Два-три примѣра, для поясненія мысли:

„Всякій, призываемый въ барскіе покои (Плюшкина), обыкновенно отплясывалъ черезъ весь дворъ босикомъ, но входя въ сѣни, надѣвалъ сапоги . . . выходя изъ комнаты, онъ оставлялъ сапоги опять въ сѣняхъ и отправлялся вновь на *собственной подошвѣ*“ [1]). Образъ несомнѣнно созданъ Гоголемъ; но если сравнить выраженіе на *„собственной подошвѣ“* съ выраженіями, которыя Гоголь уже засталъ готовыми, то и въ этомъ случаѣ, какъ во всѣхъ другихъ, придется признать такую же обязательность въ творчествѣ по отношенію къ образамъ, какую мы замѣчаемъ по отношенію къ отдѣльнымъ словамъ, хотя Гоголь могъ бы въ моментъ созиданія и не справляться съ существующими фактами языка. Дѣло въ томъ, что въ народномъ языкѣ Гоголь нашелъ основаніе въ выраженіяхъ: *„шапка волосяная“*, *„рукавицы кожанныя“*; поэтъ лишь продолжилъ сравненіе. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ видно, что Гоголь могъ имѣть въ мысляхъ народный образъ подобнагс же характера; такъ, въ одномъ наброскѣ для „Тараса Бульбы“, хранящемся въ настоящее время между рукописями Московскаго Публич. Музея (подъ № 2205), мы читаемъ по поводу изображенія ужасовъ, чинимыхъ запорожцами: „Запорожцы вездѣ оставили неслыханныя печати . . . избивая женъ, выпуская иныхъ съ обрѣзанной . . ., или, по своему, *„въ красныхъ чулкахъ или руженцахъ . . .“* т. е. снимая кожу съ ногъ по колѣни или съ рукъ по кисти“ [2]).

Идя далѣе, мы убѣждаемся, что и цѣльные образы поэтическіе имѣли за собою нѣчто такое, что уже ранѣе находилось въ области творчества народнаго.

[1]) Соч. Гог. IV, 137. [2]) Сочиненія Н. В. Гоголя изд. Х. Тихонравова I, 577—8.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского Госуниверситета
г.Екатеринбург

1311263

Для образца — одно мѣсто изъ повѣсти „Старосвѣтскіе помѣщики“.

При перечисленіи графинчиковъ, содержащихъ влагу цѣлебнаго свойства, Пульхерія Ивановна убѣждаетъ гостей: „Вотъ это водка, настоенная на деревій и шалфей; если у кого болятъ лопатки или поясница, то очень помогаетъ: вотъ это — на золототысячникѣ; если въ ушахъ звенитъ и по лицу лишаи дѣлаются, то очень помогаетъ; а вотъ это перегонная на персиковыя косточки, вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ! Если какъ нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ уголъ шкапа или стола, и набѣжитъ на лбу гугля, то стоитъ только одну рюмочку выпить передъ обѣдомъ — и все какъ рукой сниметъ . . .“ [1]).

Выдержка эта какъ будто преднамѣренно цѣликомъ внесена изъ какого либо лечебника; вотъ, съ замѣною предметовъ, мѣсто изъ лечебника XVIII в.: „хрѣнъ есть мокрой и теплой натуры, содержуетъ въ себѣ силу спцевую: кто его рано на-тще изопьетъ или ясть, тому придаетъ теплоты, а силою своею выгонитъ излишнія розныя рѣчи. Сокъ хрѣну пущать въ ухо, то всю глухоту выгоняетъ. Редька бѣлая . . . что запечеться въ сердцѣ, въ персяхъ мягчитъ и своею горкостью прогоняетъ; уксусъ зъ медомъ прикладывать до больныхъ очей, то выйдетъ очная болѣзнь . . .“ [2]) и т. д.

Поэтъ могъ и не отдавать себѣ отчета въ мѣстахъ, подобныхъ приведеннымъ; но онъ долженъ былъ имѣть ихъ въ своемъ запасѣ, они должны были лежать въ немъ, какъ матеріалъ изъ народныхъ воззрѣній, лежать, быть можетъ, безсознательно.

И для Пульхеріи Ивановны, какъ для простого народа, не заключалось метафоры въ изображеніи качества въ видѣ вещи, заключающей въ *себѣ* силу, также въ видѣ *вещи*, изгоняющей другую силу (вещь).

---

[1]) Соч. Гог. II, 256. — [2]) Кіевская Старина, 1890. Малор. лѣчебн. XVIII в. См. Потебня „Изъ Зап. III.

Объ этой психологіи народной Гоголь могъ и не разсуждать; онъ прямо воспроизводилъ то, что видѣлъ, что зналъ. Творчество его въ данномъ, напр., случаѣ, заключается въ юмористическомъ представленіи *отношенія* къ цѣлебнымъ силамъ со стороны Пульхеріи Ивановны — представленіи, котораго нѣтъ въ произведеніи народныхъ вѣрованій.

V.

Если между поэтомъ и народомъ, понимающимъ его произведенія, существуетъ связь неразрывная; если въ формахъ личной поэзіи есть нѣчто, что выработано народно-психологическимъ процессомъ; то, само собою разумѣется, еще въ болѣе близкой связи стоитъ поэтъ съ обществомъ, его создавшимъ и выдвинувшимъ его; въ процессѣ творчества поэта участвуетъ въ большей мѣрѣ все ближе къ нему стоящее.

Поэтому, между языкомъ поэта и общества его времени находится связь еще болѣе тѣсная; она проявляется въ фактахъ большой осязательности, напримѣръ, въ появленіи одновременно цѣлаго ряда типовъ однороднаго стиля.

Какъ каждый поэтъ, и Гоголь былъ обведенъ кругомъ языка его общества: выйти изъ этого круга онъ могъ только позже, перешедши въ другой, чтобы воспринять и переработать въ себѣ міръ предметовъ, явленій, событій по своему.

Въ душѣ Гоголя, какъ мы знаемъ изъ его біографіи, рождались требованія чего-то неопредѣленного, иногда романтически-прекрасного, иногда призрачно-грандіознаго, въ чемъ онъ ясного отчета не отдавалъ себѣ. Отсюда неясность и мыслей вообще.

Какъ результатъ — неясность образовъ, разумѣется, всегда субъективныхъ.

При его натурѣ, они къ тому проникнуты грустью; лиризмъ, рѣдко свѣтлый, мало способный совершить тотъ подъемъ настроенія къ лучшему, который выражался позже въ Гоголевскомъ „впередъ“.

Въ анализъ самаго настроенія, въ причины его, не мѣсто входить; для моихъ цѣлей достаточно было отмѣтить этотъ фактъ.

Поэту болѣе, чѣмъ другому человѣку, врождено стремленіе освобождать себя отъ происходящихъ въ его душѣ волненій, въ словѣ; онъ передаетъ эту силу другимъ, мало заботясь о томъ, будетъ ли она воспринята другими. Спокойствіе возстановляется, когда поэтъ обозрѣлъ свои отношенія къ міру; тогда воцаряется и равновѣсіе внутреннихъ движеній; дается какъ бы отчетъ въ страданіяхъ и радостяхъ, вызываемыхъ самою жизнью. Выражая внутренній свой міръ въ словѣ, поэтъ, сверхъ того, возбуждаетъ въ себѣ (и въ другомъ) высшія благородныя силы человѣка, возвышая и эстетическое пониманіе окружающаго.

Гоголю не зачѣмъ было создавать формы для выраженія своихъ случайныхъ представленій, неясныхъ стремленій, неопредѣленныхъ желаній. Форма была готовая и перешла къ нему отъ его предшественниковъ и современниковъ. Гоголь очутился рано подъ вліяніемъ кружка писателей, много потрудившихся надъ выработкой формы для выраженія указанныхъ настроеній, когда собственной силы еще не было въ достаточной мѣрѣ.

Готовой формой этой былъ стиль романтизма, стиль Жуковскаго въ частности, и стиль романтической поры Пушкина.

Сперва идетъ подражаніе тому, что вполнѣ соотвѣтствуетъ и собственной потребности, — хорошо-ли, худо-ли оно; идетъ подражаніе и формѣ и содержанію. Современемъ въ готовыя формы вложится иное содержаніе, внесется настоящее чувство, а затѣмъ и формы будутъ свои.

Если творчество опирается на множествѣ разнородныхъ силъ душевныхъ, то оно, тѣмъ не менѣе, на первыхъ порахъ, проявляется въ однообразной формѣ, и чѣмъ талантъ Гоголя сильнѣе, чѣмъ добросовѣстнѣе художникъ, тѣмъ однообразнѣе будутъ формы, какъ будто на нихъ сознаніе творчества стремится окрѣпнуть, чтобы свободнѣе и шире проявлять разнообразіе позже, когда вполнѣ созрѣетъ творческій геній.

Впрочемъ это замѣчается не у одного Гоголя; лучшіе поэты, и наши, и другихъ странъ, даютъ матеріалъ для подтвержденія этой мысли.

И такъ, на первыхъ порахъ мы встрѣчаемъ стиль, обусловленный романтическимъ характеромъ произведеній, стиль дѣланный, реторическій. Какъ въ душѣ художника былъ запросъ на что то призрачное, такъ и въ языкѣ его слышатся отзвуки какого-то фантастическаго міра.

Вотъ образецъ описанія внѣшняго вида женщины:

„Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: передъ ними стояла Алкиноя, незамѣтно вошедшая въ продолженіе ихъ бесѣды. Опершись на истуканъ, она вся, казалось, превратилась въ безмолвное вниманіе, и на прекрасномъ челѣ ея прорывались гордыя движенія богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую свѣтились голубыя жилы, полныя небесной амврозіи, свободно удерживалась въ воздухѣ; стройная, перевитая алыми лентами поножія, нога, въ обнаженномъ, ослѣпительномъ блескѣ, сбросивъ ревнивую обувь, выступила впередъ и, казалось, не трогала презрѣнной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами, и полуприкрывавшая два прозрачныя облака персей одежда трепетала и падала роскошными живописными линіями на помостъ. Казалось, тонкій, свѣтлый эфиръ, въ которомъ купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь въ безчисленныхъ лучахъ, коимъ имени нѣтъ

на землѣ, въ коихъ дрожитъ благовонное море неизъяснимой музыки, — казалось, этотъ эѳиръ облекся въ видимость и стоялъ передъ ними, освятивъ и обоготворивъ прекрасную форму человѣка. Небрежно откинутые назадъ, темные, какъ вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ея и лилися сумрачнымъ каскадомъ на блистательныя плеча. Молнія очей исторгала всю душу . . . — Нѣтъ! никогда сама царица любви не была такъ прекрасна, даже въ то мгновеніе, когда такъ чудно возродилась изъ пѣны дѣвственныхъ волнъ! . . .“ [1]).

А вотъ образчикъ изображенія движенія душевнаго:

„Когда красавица оглянулась, и Пискареву показалось, какъ будто легкая улыбка сверкнула на губахъ ея, онъ весь задрожалъ и не вѣрилъ своимъ глазамъ . . . нѣтъ, это собственныя мечты его смѣются надъ нимъ. Но дыханіе занялось въ его груди, все въ немъ обратилось въ неопредѣленный трепетъ, всѣ чувства его горѣли, и все передъ нимъ окинулось какимъ то туманомъ: тротуаръ несся подъ нимъ, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка валилась къ нему на встрѣчу, и алебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами вывѣски и нарисованными ножницами, блестѣла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ“ [2]).

Образы всего менѣе характеристичные для кисти Гоголя.

Поэту какъ будто диктуется съ готоваго образца, или онъ пишетъ на заданную, избитую тему. Такихъ образовъ множество: въ „Невскомъ проспектѣ“, въ „Портретѣ“, въ „Женщинѣ“ и др. Реторика возвратится въ послѣдніе годы жизни, когда Гоголь начнетъ по опредѣленному шаблону говорить благонамѣренныя рѣчи о благонамѣренности и благонадежности, стиль явится снова въ романтическомъ

---

[1]) Соч. Гог. I, 71. [2]) Ib. 283.

духѣ, но только со стороны реакціоннаго его направленія. Такая же неясность, безсодержательность, призрачность.

Подражаніе готовымъ образцамъ обнаруживается во многихъ отношеніяхъ. Даже поверхностное наблюденіе надъ произведеніями перваго періода дѣятельности Гоголя убѣждаетъ, что поэтъ менѣе творитъ, чѣмъ варіируетъ мотивы Жуковского, овладѣвшаго душею поэта безраздѣльно — на время, по крайней мѣрѣ. Это должно было имѣть мѣсто тѣмъ болѣе, что элементъ фантастическій въ романтизмѣ царилъ въ литературѣ. Къ нему русское общество было пріучено, и спросъ на него былъ великъ; изъ таинственныхъ дебрей нѣмецкаго романтизма перелетали къ намъ вѣдьмы, оборотни, лѣшіе. Чудесное приходило и съ востока, и съ юга. Понятно, что въ такихъ произведеніяхъ, гдѣ и дѣйствующія фигуры и событія, и столкновенія опредѣленно окристаллизовались, не можетъ быть рѣчи и о стилѣ, о языкѣ индивидуальномъ. Когда Гоголь оригиналенъ, то онъ весь иной, и весь цѣленъ, а здѣсь онъ вялъ, какъ бы надломленъ: онъ неувѣренными шагами шествуетъ впередъ, двигаясь какъ то нерѣшительно. Вотъ какъ поэтъ описываетъ прудъ: „угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лѣсомъ и *оплакиваемый* вербами, потопившими въ немъ *жалобные* свои вѣтви". „Какъ безсильный старецъ держалъ онъ въ холодныхъ объятіяхъ *далеко* темное небо, осыпая ледяными поцалуями огненныя звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночного воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блистательнаго царя ночи" [1]).

Все слова, сочетаніе словъ, предложенія — и никакого образа. О воспроизведеніи явленія, о реальной картинѣ и помину нѣтъ.

„Какъ тихо колышется вода, будто дитя въ люлькѣ" [2]) говоритъ Ганна — и вслѣдъ затѣмъ эта же вода „какъ

---

[1]) Соч. Гог. II, 62. [2]) Ib.

безсильный старецъ въ холодныхъ объятіяхъ своихъ держитъ далеко темное небо". Очевидно поэтъ не готовъ самъ съ собою; онъ переходитъ отъ одного образа къ другому, какъ переходитъ и изъ одного настроенія въ другое, — хоть въ обоихъ случаяхъ одинаково стремится найти таинственную связь земного съ небеснымъ, въ то же время представляя порывы души къ небу.

Имѣя въ виду не анализъ отдѣльныхъ образовъ въ ихъ цѣломъ, а лишь стиль Гоголя, я покажу на отдѣльныхъ выраженіяхъ, на словахъ, какъ близокъ онъ къ стилю Жуковскаго. Уже отмѣченное сравненіе: „какъ безсильный старецъ въ холодныхъ объятіяхъ своихъ держитъ темное небо" невольно вызываетъ въ памяти подобный же образъ Жуковскаго въ стихотвореніи „Море". Вмѣсто теплыхъ объятій влюбленнаго у Жуковскаго — здѣсь, *холодныя объятія старика,* — и только въ этомъ отличіе, а потому и образъ у Жуковскаго цѣльнѣе, и метафора яснѣе; вмѣсто „далекаго свѣтлаго неба" Жуковскаго, у Гоголя *„далеко темное небо"*.

Когда поэтъ рисуетъ женскую красоту, онъ пускаетъ въ ходъ рѣшительно всѣ тѣ черты, которыя отличаютъ характеръ описанія Жуковскаго, главнымъ образомъ, общіе, которыми рисуется всякая красота: *„брови тонкія, прекрасныя, придающія что-то стремительное лицу"*, вмѣстѣ съ тѣмъ *„она блѣдна"*, она *„томна"*, *„бѣлизна пронзительна, какъ сверкающая одежда серафима"*; *„рѣсницы длинныя, какъ мечтанія"*; онѣ опущены и темными иглами виднѣлись на ея *небесномъ* лицѣ [1]) . . . „какъ солнца два очи *небесно* горятъ" [2]).

При болѣе счастливомъ настроеніи, Гоголь въ эту пору рисуетъ: „хорошенькую дочку, съ круглымъ личикомъ, съ чорными бровями, ровными дугами, поднявшимися надъ свѣтлыми карими глазами, съ безпечно улыбавшимися розо-

---

[1]) Соч. Гог. II, 440. [2]) Соч. Гог. I, 17. „Небесно горятъ" — не по-русски, это переводъ нѣм. himlisch; такихъ прилагательныхъ довольно много.

вымп губками“; или „горѣли будто двѣ звѣздочки, ясныя очи“; но обыкновенно мы видимъ другое:

Когда красавица плакала, она „отерла шитымъ рукавомъ своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардѣвшейся щечкѣ, будто падающая звѣзда по теплому вечернему небу“ [1]).

Когда рисуется картина природы, Гоголь снова какъ будто ссылается на Жуковскаго, словно гипнозирующаго поэта своей манерой рисовки:

„. . . Полдень блещетъ въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется заснулъ, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ!“ [2]) Картины нѣтъ; чувство возбуждено, но созвучіемъ словъ — и только, потому что нѣтъ содержанія. Совершенно какъ романтики: далекое свѣтлое небо „тянетъ къ себѣ землю“, „таинственной сладостной жизни полно“; „ласкаетъ его облака“; „небомъ любуясь дрожитъ за него“ [3]) и т. д. — вотъ выраженія Жуковскаго; почти слово въ слово и у Гоголя: „и земля полна непонятной любви къ нему“; „серебрянный сонмъ видѣній, когда ночное небо безплотно обнимется вдохновеніями“ [4]).

Такъ было даже въ пору начала расцвѣта таланта Гоголя, когда онъ создавалъ свои „Вечера на хуторѣ“, „Миргородъ“; еще въ „Тарасѣ Бульбѣ“ встрѣчаются выраженія, напоминающія господство романтизма. Гоголь не освободился отъ этой манеры въ нѣкоторыхъ случаяхъ и тогда, когда самъ могъ быть законодателемъ слова, самъ былъ „мастеромъ“ его. Нужно только сравнить образъ губернаторской дочки съ Улинькою Бетрищева и оба эти образа сопоставить съ тѣми, которыя созданы кистью Жуковскаго — и различіе окажется едва замѣтное: самыя неопредѣленныя

---

[1]) Соч. Гог. I, 64. [2]) Соч. Гог. II, 11. [3]) „Море“ Жуковскаго. [4]) Соч. Гог. I, 73.

черты, мало рисующія характеръ личности, даже характеръ лица:

„Въ чертахъ божественныхъ лица дышали тѣ тайныя явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ пересказать другому: *невыразимо выразимое* покоилось на нихъ . . .“ [1]).

А до того, въ началѣ творчество?

„. . . съ особеннымъ удовольствіемъ остановился на густо-разросшемся садѣ, котораго гигантскіе обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увѣнчанные чудесными сновидѣніями, или вдругъ, освободясь отъ грезъ, рѣзали вѣтвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздухъ, и тогда по листамъ ходили непонятныя рѣчи, и мѣрныя величественныя движенія всего ихъ тѣла напоминали древнихъ лицедѣевъ, вызывавшихъ на поприще Мельпомены великія тѣни усопшихъ“ [2]). Это все не русскіе образы, и не Гоголевскіе; это прямо унаслѣдовано отъ писателей того времени: „задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо.“ „. . . прощальные лучи цалуютъ гдѣ-то сумрачное море“ [3]), „волна трепетала“, „вѣтеръ дыханье навѣвалъ“ и т. п.

Еще послѣдній примѣръ, чтобы не громоздить ими цѣлыя страницы. Гоголь кончаетъ „Сорочинскую ярмарку“ словами: „Не такъ-ли и *радость, прекрасная и непостоянная гостья*, улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье“; такъ говоритъ, почти слово въ слово, Жуковскій: „радость — гостья, улетающая отъ насъ“ и пр.

Вотъ одно мѣсто, какъ будто бы списанное съ „Таинственнаго посѣтителя“ Жуковскаго:

О дивный дивный Посѣтитель,
Ты навѣстилъ мою обитель и т. д.
— — — — — — — — — —
Чего-жъ ты, гостья молодая,

---

[1]) Соч. Гог. I, 188. [2]) Соч. Гог. I, 59. [3]) Ib. 22.

Къ себѣ такъ пламенно влечешь,
Или жильца неба-рая
Ты мнѣ надежду подаешь,
На небеса меня зовешь . . . и т. д.

Нѣтъ лишь звучности и гармоніи Жуковскаго [1]).

Мечтательное настроеніе исчезаетъ только при столкновеніи съ дѣйствительностью; тогда образы становятся реальнѣе.

Вліянія не могло не сказаться со стороны поэта, который былъ „властителемъ думъ".

Если бы и не были извѣстны всѣ увлеченія Гоголя Пушкинымъ еще съ раннихъ дней, со временъ пребыванія въ лицеѣ; если бы неизвѣстно было изъ біографіи Гоголя, что Пушкинъ усилилъ тяготеніе молодого писателя къ идеальному міру, томленіе по немъ, которое вѣчно боролось съ

---

[1]) Изъ фактовъ сильнѣйшаго воздѣйствія на Гоголя романтической школы можетъ быть приведенъ „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала". Еще Надеждинъ говоритъ (въ своемъ „Телескопѣ" № 20, стр. 653): Замѣчательно, что Вечеръ накапунѣ Ивана Купала содержаніемъ своимъ удивительно сходенъ съ одной повѣстью Тика: „Чары любви". По указанію Тихонравова Гоголь, перерабатывая „Бисаврюка" для изданія въ „Вечерахъ Диканьскихъ", несомнѣнно пользовался разсказомъ Тика „Чары любви", напечатанномъ въ русскомъ переводѣ въ журналѣ „Галатея" 1830 г. (№ 10, стр. 157—185 и № 11, стр. 127—240). Такъ какъ Гоголь слабо зналъ нѣмецкій языкъ, и не могъ читать Тика въ подлинникѣ, то онъ, очевидно, познакомился съ „Чарами любви" уже послѣ отпечатанія „Бисаврюка". Сходство Гоголевскаго разсказа съ повѣстью Тика въ отдѣльныхъ подробностяхъ фабулы объясняется общимъ источникомъ обѣихъ произведеній: фабула повѣсти Тика заимствована изъ области народнаго суевѣрія; Гоголь также взялъ сюжетъ „Бисаврюка", по его собственному свидѣтельству, „изъ народнаго преданія" (Соч. Гог. X изд. т. I, 526, 527, 533). До такой степени, слѣдовательно Гоголю были по сердцу подобные мотивы, что онъ даже рѣшился переработать свои разсказы, лишь бы воспользоваться нѣкоторыми мотивами Тика, причемъ весьма интересно видѣть, что всего болѣе Гоголя занимаетъ изображеніе душевного настроенія лицъ, совершенно исключительнаго у романтиковъ: „Иной разъ когда Петрусь долго сидитъ на одномъ мѣстѣ, чудится ему, что вотъ-вотъ все сызнова приходитъ на умъ . . . и опять все ушло . . . все какъ будто туманомъ покрывается передъ нимъ" — почти переводъ, какъ и другіе подобныя мѣста, указанные уже Тихонравовымъ въ его знаменитомъ изданіи.

внутреннею потребностью и съ способностью вникать въ отрицательныя стороны жизни, то и въ такомъ случаѣ простое сопоставленіе первыхъ произведеній достаточно для вывода несомнѣннаго, что Гоголь пишетъ языкомъ стихотвореній Пушкина. Какъ Пушкинъ, такъ и Жуковскій, не нанесли ущерба самостоятельности, своеобразности творчества въ языкѣ Гоголя, но вліяніе было одно время неотразимое и несомнѣнное.

Полліоръ отвѣчаетъ своему другу, на вопросъ послѣдняго, „отчего онъ не повергъ отъ себя дани нашему великому творенію, не принесъ посильнаго выраженія истолкователя чувствъ въ чашу общаго мнѣнія?“: „Ты понимаешь Элладій, къ чему же ты предлагаешь этотъ несвязный вопросъ? Что мнѣ принесть? Кому нужда, кто пожелаетъ знать мои тайныя движенія? Часто слушая, какъ всенародно судятъ и толкуютъ о поэтѣ, когда пренія ихъ воздымаютъ бурю, и запѣнившіяся уста горланятъ на торжищахъ — думаю въ глубинѣ души своей: не святотатство-ли это? Не то-же ли, если бы кто вздумалъ стремительно ворваться на площадь, гдѣ чернь кипитъ и суетится, исполняя обычныя свои требы, и возсылать, упадши на колѣни, жаркія молитвы къ небу? ... Великій, когда развертываю дивное твореніе твое, когда вѣчный стихъ твой гремитъ и стремитъ ко мнѣ молнію огненныхъ звуковъ, священный холодъ разливается по жиламъ, и душа дрожитъ въ красѣ. вызвавши бога изъ своего безпредѣльнаго лона ...“ [1]).

Трескучая реторика приведеннаго отрывка изъ статьи, носящей тотъ-же реторически-напыщенный характеръ, не въ состояніи закрыть чувства негодованія къ черни, лежащаго въ основаніи, чувства, разумѣется не пережитого Гоголемъ, а, такъ сказать, заимствованнаго изъ произведенія Пушкина, въ которомъ поэтъ клеймитъ позоромъ тѣхъ, кто колеблетъ

---

1) Ib. I, 74—75.

треножникъ, на коемъ поэтъ приноситъ жертвоприношенія; а *„вѣчный стихъ гремитъ и стремитъ молнію огненныхъ звуковъ“* — очевидно, разжиженіе знаменитого стиха *„глаголомъ жги сердца людей“*.

Все это, какъ многое другое — заимствованіе по содержанію.

А вотъ и Пушкинскія стихи, т. е. подражаніе этимъ стихамъ со стороны формы:

„Вотъ входятъ въ комнату онѣ;
Но въ ней все пусто. Въ сторонѣ
Лежитъ въ густой пыли томъ давній
Платонъ и Шиллеръ своенравный,
Петрарка, Тикъ, Аристофанъ,
Да позабытый Винкельманъ;
Куски изодранной бумаги;
На полкѣ — свѣжія цвѣты.
Перо, которымъ полнъ отваги
Передавалъ свои мечты.
Но на столѣ мелькнуло что-то;
Записка!... съ трепетомъ взяла
Луиза въ руки. Отъ кого-то?
Къ кому?... И что жъ она прочла?...
Языкъ лепечетъ странно пени...
И вдругъ упала на колѣни;
Ее кручина давитъ, жжетъ,
Гробовый холодъ въ ней течетъ...[1])

Подражаніе дѣтское; неумѣлою рукою оно сдѣлано; великаго Гоголя въ немъ не видно и слѣда; но дѣйствіе на него Пушкинъ производитъ неотразимое.

Не говоря о томъ, что, какъ въ Евгеніи Онѣгинѣ, и здѣсь Луиза (хотя съ матерью) ищетъ слѣдовъ своего возлюбленного въ книгахъ, тетрадяхъ, чтобы по нимъ узнать, „гдѣ онъ, что съ нимъ“, не говоря о томъ, что герой характеризуется выборомъ книгъ, какъ и у Пушкина, самый стихъ, размѣръ, выборъ словъ — все то-же.

---

[1]) Соч. Гог. I. 30—31.

Кажется, не зачѣмъ входить въ подробное сравненіе. Нѣсколько другихъ стиховъ убѣдятъ читателя и въ тожествѣ нѣкоторыхъ пріемовъ съ пріемами великаго поэта:

„Кто это позднею порой
Ступаетъ тихо осторожно?
Видна котомка за спиной
Посохъ за поясомъ дорожный и т. д. [1]).

Кому не припоминаются стихи Пушкина:

Кто при звѣздахъ и при лунѣ
Такъ поздно скачетъ на конѣ? . . .

Другое мѣсто указываетъ на сходство еще поразительнѣе, хотя и написано въ прозѣ: „Но кто среди ночи, — блещутъ или не блещутъ звѣзды — ѣдетъ на огромномъ ворономъ конѣ? Какой богатырь съ нечеловѣческимъ ростомъ скачетъ подъ горами . . . Блещутъ чеканныя латы; на плечѣ пика; гремитъ при сѣдлѣ сабля; шеломъ надвинутъ“ [2]).

Пріемы отрицательныхъ уподобленій тѣ же, что у Пушкина:

„Не эти сны, не тѣ печали
Мнѣ грудь младую взволновали,
Не ими духъ мой возмущенъ [3]).

Въ слѣдующемъ отрывкѣ мы видимъ и размѣръ, и риѳмъ, и обороты, и выраженія, къ какимъ наше ухо привыкло со школьной скамьи, при изученіи Полтавы:

„Пируютъ гости, рюмки, чаши
Кругомъ обходятъ и гремятъ,
И старики болтаютъ наши,
И въ танцахъ юноши кипятъ“ и т. д. [4]).

Даже музыка имѣетъ удареніе какъ у Пушкина на *ы:*

„Звучитъ протяжнымъ, шумнымъ громомъ
Музыка яркая весь день.

---

1) Соч. Гог. I, 26—27. 2) Соч. Гог. II, 189. 3) I, 29. 4) ib. 46

У Пушкина, разумѣется, *чаши не гремятъ*, какъ не встрѣтить у него и стиха *„Громъ въ размышленіи гремитъ“*; но насколько ученикъ копируетъ мастера, на столько и Гоголь старается усвоить себѣ стихъ учителя своего.

Сравнимъ-ли:

Какъ ядовито ихъ дыханье,
Какъ ложно сердца трепетанье,
Какъ ихъ коварна голова,
Какъ пустозвучны ихъ слова [1]).

со стилемъ „Полтавы“ (характеристика Мазепы) или:

„Скажите, кто разсудку вѣренъ?
Чья противъ золъ душа тверда?
Кто вѣчно тотъ же завсегда?
Въ несчастіи кто не суевѣренъ?
Кто крѣпкой не блѣднѣвъ душой
Передъ ничтожною мечтой [2])?

со стилемъ „Евгенія Онѣгина“, мы не можемъ не признать вліянія этихъ произведеній, (хотя хронологія говоритъ не вполнѣ въ пользу этой мысли: „Гансъ Кюхельгартенъ“, какъ утверждаютъ изслѣдователи, написанъ въ 1827 г., а „Полтава“ Пушкина въ 1828; однако слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что списка рукописи не сохранилось, а напечатана идиллія только въ 1829 г.; въ промежутки этого времени Гоголь могъ сдѣлать исправленія, вставки; но сверхъ того стиль Пушкина къ тому времени составлялъ вполнѣ выработанное цѣлое, и вліяніе могло идти и не непосредственно изъ отмѣченнаго источника; характеръ Пушкинскихъ эпическихъ произведеній періода созданія „Полтавы“ — одинъ и тотъ-же), какъ не можемъ не видѣть его въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, разбросанныхъ повсюду въ произведеніяхъ перваго періода. И *„ропотъ отдаленнаго моря“* [3]), и *„рѣзвые други бурной юности“* [4]), и мн. др. выраженія

---

[1]) Гансъ Кюхельгартенъ, I, 41. [2]) Соч. Гог. I, 35. [3]) Соч. Гог. II, 40. [4]) Ib.

чисто Пушкинскія; гоголевскому стилю они чужды, когда поэтъ становится самимъ собою.

„Волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе, которые не скоро накалялись, но накалившись, упорно и долго хранили въ себѣ внутренній жаръ“ [1]) соотвѣтствуетъ образу:

„Въ огнѣ страстей закалено;
Но поздній жаръ ужъ не остынетъ,
И съ жизнею его покинетъ“ [2]).

„Звѣзды, казалось бѣжали впереди, указывая на грѣшника; . . .“ [3]) соотвѣтсвуетъ мѣсту у Пушкина, въ „Полтавѣ“:

. . . Звѣзды ночи
Какъ обвинительные очи
За нимъ насмѣшливо глядятъ . . .

а рядомъ, тутъ-же: „деревья, обступивши темнымъ лѣсомъ, и, какъ будто живыя, кивая черными бородами и вытягивая длинныя вѣтви, силились задушить его . . . ему чудилось, что все со всѣхъ сторонъ бѣжало ловить его“. Сходство окажется не случайнымъ, если вспомнимъ, что и у Пушкина образъ:

„Тополи, стѣснившись въ рядъ
Качая тихо толовою,
Какъ судьи шепчутъ межъ собою . . .“

стоитъ рядомъ съ приведенною параллелью.

Еще нѣсколько параллелей:

„Коли время бурно, все превращается оно (море) въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ рѣкамъ; коли же безвѣтренно и тихо, яснѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою неоглядную стеклянную поверхность, вѣчную нѣгу очей“ [4]).

Здѣсь есть чисто Гоголевскія выраженія: *„неоглядная стеклянная поверхность“*, *„вѣчная нѣга очей“*, *„коли“*; но мѣ-

---

[1]) Тарасъ Бульба. [2]) Мазепа, въ „Полтавѣ“. [3]) Соч. Гоголя, II, 194. [4]) Соч. Гог. II, 358.

сто это все же заставляетъ припомнить образъ моря въ стихотвореніи „къ Морю“:

„Смиренный парусъ рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользитъ отважно средь зыбей;
Но ты взыгралъ неодолимый —
И стая тонетъ кораблей“.

„Тяжело ревнули широкими горлами чугунныя пушки“ [1]) сильно напоминаетъ

„На холмахъ пушки присмирѣвъ,
Прервали свой голодный ревъ . . .“,

а въ „. . . Приглашали оставить городъ, гдѣ люди въ душныхъ оградахъ не пользуются воздухомъ“ [2]) какъ будто повторяется Алековская „неволя душныхъ городовъ“, гдѣ

. . . „за оградой
не дышатъ утренней прохладой“.

Не будетъ лишнимъ напомнить читателю, что годы написанія Гоголемъ произведеній, изъ которыхъ образцы взяты, составляютъ время наибольшаго сближенія съ Пушкинымъ, а потому и наибольшаго воздѣйствія поэта на поэта.

Нельзя не считаться и съ годами вліянія предшествовавшей поры.

О вліяніи со стороны Пушкина на позднѣйшую пору творчества говорить не буду, — оно касается идей, мыслей, а не формы, не языка, не стиля, что я единственно имѣю въ виду, хотя и здѣсь замѣтить кстати, что, напр. характеристика Ноздрева, и въ общемъ, и въ частностяхъ, и въ выраженіяхъ, и словахъ, рѣшительно направляетъ насъ къ слѣдующему мѣсту изъ „Евг. Онѣгина“:

„Нѣтъ презрѣнной клеветы
На чердакѣ вралемъ рожденной . . .

---

[1]) Соч. Гог. II, 364. [2]) Соч. Гог. IV, 178.

Что нѣтъ нелѣпицы такой,
Которой бы вашъ другъ съ улыбкой,
Безъ личной злобы и затѣй,
Не повторилъ стократъ ошибкой . . .
А впрочемъ онъ за васъ горой,
Онъ васъ такъ любитъ . . .“

Были, конечно, и влiянiя со стороны другихъ писателей русскихъ, но прослѣдить ихъ нѣтъ возможности въ такой мѣрѣ, какъ это можно относительно Пушкина и Жуковскаго. Нужно догадываться, предполагать. Мнѣ лично, напр. кажется, что образцомъ наставленiя, какое даетъ своему сыну „Павлушѣ“ старый Чичиковъ — отецъ, могло послужить мѣсто изъ писемъ „Отца къ Θалилеюшкѣ“ Крылова; но нѣтъ прямыхъ указанiй на такое тожество, какое замѣчается между выраженiями Гоголя и нашими поэтами, у которыхъ онъ учился. Однако иной разъ сравненiе отрывковъ Гоголевскихъ съ отрывками другихъ писателей наводитъ на мысль о несомнѣнномъ влiянiи.

Такъ, между прочимъ, слѣдующiй отрывокъ представляетъ почти дословное повторенiе мѣста изъ „Рѣчи племянника своему дѣдушкѣ“ Крылова.

„Иванъ Феодоровичъ, будучи совершенно увѣренъ въ благоразумiи тетушки, началъ по прежнему исполнять свою службу. Иной на его мѣстѣ, получивши такой чинъ, возгордился бы; но гордость была ему совершенно неизвѣстна, и, сдѣлавшись подпоручикомъ, онъ былъ тотъ-же самый Иванъ Феодоровичъ, какимъ былъ нѣкогда въ прапорщикахъ . . .“ [1]); мѣсто въ письмѣ тетушки къ нему:

„. . . Такъ какъ ты уже имѣешь чинъ немаловажный, что . . . и пришелъ въ такiе лѣта, что пора и хозяйствомъ позаняться, то въ военской службѣ тебѣ не зачѣмъ болѣе служить. Я уже стара и не могу всего присмотрѣть . . .“ и т. д.[2]) сильно напоминаетъ письмо „Отца къ Θалилеюшкѣ“.

---

1) II, 207. 2) Ib.

VI.

Я указывалъ на заимствованія и вліянія.

Если словарь — одинъ только, то можетъ казаться страннымъ утвержденіе, что такія-то слова заимствованы у такого-то; вѣдь изъ одного и того-же источника черпаютъ по необходимости всѣ и всякій.

Но дѣло, однако, не въ *данномъ* словѣ, какъ упомянулъ я въ началѣ; оно не могло не быть общимъ достояніемъ; дѣло въ томъ, *какъ* данное слово примѣняется среди другихъ, и *какъ* понимается оно въ своемъ мѣстѣ; вопросъ идетъ о сочетаніи словъ.

Равнымъ образомъ, дѣло и не въ *отдѣльныхъ* выраженіяхъ; вопросъ идетъ объ отношеніи даннаго выраженія къ другимъ.

Изслѣдованія показываютъ, что ни въ одномъ изъ всѣхъ случаевъ, когда, при *одинаковомъ ходѣ мысли*, при *одинаковыхъ условіяхъ* возникновенія и развитія мысли, и слова и выраженія тождественны, не можетъ быть сомнѣнія въ заимствованіи, или въ подражаніи, если при томъ неоспоримъ и фактъ соприкосновенія, близости авторовъ, какъ это было между Жуковскимъ, Пушкинымъ и Гоголемъ.

Творчество есть и въ этихъ случаяхъ, но индивидуальность еще не сказывается.

Не въ большей мѣрѣ обнаруживается самостоятельность творчества Гоголя по отношенію къ тѣмъ оборотамъ рѣчи, къ тѣмъ образамъ, которыми пользуются и пользовались поэты для выраженія идей и чувствъ на всемъ огромномъ протяженіи развитія поэзіи, давшаго возможность образоваться значительному количеству обязательныхъ, такъ сказать, оборотовъ и образовъ. Къ такимъ образамъ привыкли до такой степени, что съ ними мы соединяемъ зна

ченіе чего то неизбѣжнаго. Эти выраженія, обороты, сливаются съ отдѣльными мыслями въ одно нераздѣльное цѣлое, какъ отдѣльныя понятія и представленія — съ соотвѣтствующими словами; они входятъ въ оборотъ языка, какъ отдѣльныя слова; ихъ первоначальная образность забывается, какъ забывается коренное значеніе слова; мы не только не создаемъ ихъ вновь, а подсказываемъ эти образы другому, вмѣсто обычныхъ словъ, если говорящему недостаетъ выраженія, не соединяя съ ними при этомъ живыхъ представленій. Съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней и поэты, и мы, не поэты, употребляемъ выраженія: *воздухъ дремлетъ, море вздыхаетъ, горы задумываются;* — бывши когда то образами, они превратились въ символы, въ значки.

Надъ этими и подобными явленіями личность безсильна; она подчиняется тому, что поэтизирующимъ человѣчествомъ создано ранѣе, хотя индивидуальность, въ слабой мѣрѣ, обнаруживается и здѣсь; вопросъ въ томъ, насколько избитый частымъ употребленіемъ образъ воспринимается непосредственно, какъ бы заново, или насколько снова переживается поэтомъ въ его воображеніи.

Факты показываютъ, что у Гоголя весьма часто образъ оживаетъ, подновленный то воспоминаніемъ, то непосредственнымъ наблюденіемъ.

Вотъ примѣры:

Растеніямъ приписывается жизнь — съ доисторическихъ поръ, съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ сталъ высказываться въ словѣ. Различные поэты пользовались этимъ представленіемъ, преобразуя его, каждый по своему. Въ этихъ случаяхъ нѣтъ необходимости говорить о преданіи, о вліяніи одного писателя на другого [1]); и теперь еще каждому изъ

---

[1]) Хорошею иллюстраціею того, какъ одинаковы пріемы поэтической мысли у поэтовъ самыхъ отдаленныхъ странъ, временъ, можетъ служить слѣдующее:

Въ „Пѣснѣ о Ролландѣ“ мы встрѣчаемъ образъ ясной ночи, луннаго свѣта:

„Clere ést la noit et la lune luisant“,

насъ движеніе, напр., дерева невольно напоминаетъ привѣтъ, наклоненіе головой, или что либо подобное. Интересъ наблюденій заключается въ томъ, въ какой мѣрѣ моментъ жизни растенія вновь создается поэтомъ, вновь переживается имъ самимъ.

Шекспиръ, описывая смерть Офеліи, говоритъ:

„Тамъ ива есть, она склонивши вѣтви,
Глядится въ зеркалѣ кристальныхъ водъ;
Въ ея тѣни плела она гирлянды . . .“

Гейне выражается иначе:

Die Mitternacht war kalt und stumm,
Ich irrte klagend im Walde herum,
Ich habe die Bäum' aus dem Schlafe gerüttelt,
Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt.

Гоголь рисуетъ покачиваніе деревьевъ въ извѣстной картинѣ Днѣпра: „. . . Зеленокудрыя, они толпятся вмѣстѣ съ полевыми цвѣтами къ водамъ и, наклонившись, глядятъ въ нихъ и не наглядятся, и не налюбуются свѣтлымъ своимъ зракомъ, и усмѣхаются ему, и привѣтствуютъ его, кивая вѣтвями . . .“

Еще одна параллель изъ образовъ этой категоріи:

У Ленау:

а, въ противоположность мирной тишинѣ въ природѣ, сердце Карла сжимается отъ боли: онъ страдаетъ отъ погибелиРолланда, Оливье и благородныхъ перовъ.

Мы помнимъ Пушкинское:

Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звѣзды блещутъ;
и т. д.

а въ противоположность тихой ночи,

Въ глубокомъ тяжкомъ размышленіи
Окованъ, Кочубей сидитъ
. . . и т. д.

Подобныя противопоставленія состоянія природы и душевнаго настроенія — сплошь и рядомъ: въ народной поэзіи, какъ въ личной, съ древнѣйшихъ временъ до позднѣйшихъ, напр.: Schnaderhüpfel.

Wie feierlich die Gegend schweigt!
Der Mond bescheint die alten Fichten
Die, sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt,
Den Zweig zurück zur Erde richten [1]).

У Гоголя: „Дѣвственныя чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ и изрѣдка лепечутъ листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный вѣтренникъ, ночной вѣтеръ, подкравшись мгновенно, цѣлуетъ ихъ. Весь ландшафтъ спитъ . . .“ [2]).

Въ явленія природы, жизнь которой скрыта отъ обыкновеннаго глаза, или во всякомъ случаѣ, незамѣтна для насъ, вносится человѣкомъ функція, напр. въ видѣ движенія; то одинъ моментъ движенія, то другой его моментъ. Всѣ народы могутъ одинаково представить себѣ дерево, какъ нѣчто живущее; индивидуальность поэта заключается въ *способѣ* изображенія одного и того же представленія.

Гоголь, въ отличіе отъ названныхъ поэтовъ, изображаетъ представленіе о движеніи дерева по своему: „не наглядятся, не налюбуются и усмѣхаются и привѣтливо киваютъ . . .“; для Гейне деревья „schütteln die Köpfe“; Шекспиръ опять иначе изображаетъ движеніе; а всѣ трое имѣли ввиду одинъ и тотъ-же моментъ движенія.

То-же относительно другого примѣра: и Гоголь и Ленау стремятся представить тишину ландшафта при помощи живого участія деревьевъ, а между тѣмъ, какое различіе въ способѣ изображенія!

Не только можно привести множество подобныхъ фактовъ, но такіе факты представляютъ подавляющій элементъ въ поэтическихъ произведеніяхъ Гоголя. Выводъ изъ нихъ возможенъ только одинъ: личность его сказывается весьма часто, но она, тѣмъ не мѣнѣе, не можетъ характеризоваться на основаніи данныхъ, подобныхъ приведеннымъ; не можетъ

---

1) Psychologie d. Lyrik. Dr. Carl du Prel. Leipzig 1880. 127. 2) Соч. Гог. II, 66.

потому, что индивидуальныя измѣненія слишкомъ частного свойства, обобщеніямъ не поддаются, по крайней мѣрѣ до той поры, пока не выяснится основной, господствующій характеръ поэтическаго языка Гоголя при помощи другихъ данныхъ иного рода. Въ послѣднемъ только случаѣ возможно приложеніе какого-либо общаго мѣрила для опредѣленія частностей.

Еще менѣе можно дѣлать выводы о языкѣ Гоголя, если положить въ ихъ основаніе образы, выраженія, неизбѣжныя во всякой поэзіи, безъ которыхъ поэзія перестаетъ быть самой собою.

Если Гоголь говоритъ: „Крутой утесъ подымаетъ чело свое“, „Обезлиственныя деревья жалобно простираютъ руки“, „Цвѣты улыбаются намъ“, и т. п., то только такими способами выраженія поэтическій языкъ и опредѣляется; способъ поэтическаго мышленія требуетъ такого языка, какъ требуетъ, напр., математическое мышленіе самого строгаго соотвѣтствія между словомъ и понятіемъ. Стройный высокій ростъ человѣка непремѣнно сравнивается съ стройнымъ деревомъ, одинаково и на древнемъ востокѣ, и у всѣхъ народовъ Азіи, и у всѣхъ народовъ Европы. Если у Гомера упавшій низверженный человѣкъ — упавшее, низверженное, срубленное дерево, растеніе, то такой-же образъ повторяется у всѣхъ поэтовъ всѣхъ временъ: у Гоголя этотъ образъ принялъ такой видъ: „Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ . . . повалился онъ на траву, не сказавши ни одного слова“.

Тургеневское: „Иныя (деревья), еще обросшія листьями внизу, словно съ упрекомъ и отчаяніемъ поднимали кверху свои безжизненныя, обломанныя вѣтви“ („Смерть“) представляетъ почти тоже, что Гоголевское: „обезлиственныя деревья жалобно простираютъ руки“.

У Кольцова выдвигается одинъ признакъ человѣка, когда съ нимъ сравнивается дерево („Лѣсъ“):

„Гдѣ-же дѣвалася
Рѣчь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская“?

а у Толстого — выступаетъ при сравненіи другой признакъ человѣка: „Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше . . . дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ, погнулось, и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь, на своемъ корнѣ . . . Вѣтка, которую она (малиновка) зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія . . .“ [1]); а въ основаніи — тоже поэтическое представленіе, что напр. въ слѣдующемъ образѣ Гоголя:

„. . . Сказалъ Андрій, выпрямилъ весь прямой, какъ надрѣчная осокорь, станъ свой“. Это тотъ-же образъ, какой встрѣчается не только у поэтовъ, для которыхъ „она (дѣвица) стройна, какъ тополь“, но и для творцовъ поэзіи народной, и русской, и славянской вообще, и скандинавской, и восточной, и всякой.

„Гельги возвышается надъ другими витязями, какъ благородный ясень надъ терновникомъ“ [2]) — тоже что Сербское:

Два дубочка выростали рядомъ,
Между ними тонковерхая елка.
Не два дуба рядомъ выростали,
Жили вмѣстѣ два братца родные,
А между ними сестрица Елена [3]);

Гоголевское: „крутой утесъ подымаетъ чело свое“ ничѣмъ не отличается отъ Овидіевскаго:

„Впередъ выдвигается въ море скала,
Въ открытое море суровый утесъ подымаетъ чело свое“ [4]).

то-же у Оссіана:

Der Wind umspielt ihm den Fels, kraftvoll streckt es empor das Haupt [5])

---

[1]) Соч. графа Л. Н. Толстаго, Изд. IV, Салаевыхъ, 1880, II, 266—267. [2]) Helgan Handigsb. II, 31. [3]) Славян. пѣсни. [4]) Овидій, Метам. 22, 109. [5]) Fingal, II, 281.

то-же у Шекспира: there is a cliff, whose high and bending head looks fearfully in the confined deep [1]).

И у другихъ поэтовъ можно указать на подобныя параллели: Эсхилъ говоритъ о

οἰόφρων πέτρα,

а у Грейфа читаемъ:

„Weit draussen schläft in der Leere
Ein Fels allein“ [2]).

Разумѣется, не можетъ быть рѣчи о заимствованіи или подражаніи, если напр. у Гейне, Ленау, Грейфа одинъ и тотъ же образъ.

1. Wo manche Burg die grauen Wände
Emporhebt aus den grünen Blättern.

2. An den Thürmen steil und plötzlich
Hebt sich eine Felsenmasse.

3. In die abendliche Lüfte
Steigt ein wunderbarer Dom.

Три образа основаны на одномъ и томъ же процессѣ поэтическаго мышленія, по которому строеніе, зданіе, представляется подымающимся, движущимся, — живущимъ.

И Гоголь, въ силу этого же процесса поэтическаго мышленія, не говоритъ: „стоитъ“ монастырь [3]), а „тамъ обгорѣлый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ, грозно выказывая при каждомъ отблескѣ мрачное свое величіе . . .“ [4]).

„Тѣ лѣса, что стоятъ на холмахъ, не лѣса; то волосы, поросшіе на косматой головѣ лѣснаго дѣда. Подъ нею въ водѣ моется борода, и подъ бородою, и надъ волосами высокое небо . .“ [5]).

---

[1]) K. Lear, IV, 1. [2]) Prel, Psych. d. Lyrik 115. [3]) Выразись названные поэты вмѣсто: emporhebt, hebt sich, steigt — напр. словомъ steht, весь образъ превратился бы въ прозаическое выраженіе. [4]) Соч. Гог. II, 316. [5]) Ib. 160.

Уже и въ другомъ мѣстѣ мы встрѣтили представленіе листьевъ въ образѣ бороды; — но это образъ, вовсе не созданный Гоголемъ; онъ присущъ поэтическому языку всѣхъ поэтовъ.

Лермонтовскій образъ:

„Шапку на брови надвинулъ“ — имѣетъ въ основаніи то-же представленіе, что Гоголевскій:

„Сѣдь пробирается по всему старому лѣсу, покрывающему мою макушку“ [1],

или

„. . . Показались передъ нимъ Карпатскія горы и высокій Криванъ, накрывшій свое темя, будто шапкою, сѣрою тучею . . “ [2].

У Виргилія Атласъ также съ бородой:

„Glacie riget horrida barba“ [3],

а у Rückert'a:

„Die Berge sind kleiner geworden,
Geschoren ihre freien Locken . . .“ [4].

Деревья и растенія — волоса горъ, долинъ:

ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς ἐπὶ δενδροκόμους [5]; me tegat arborea devia terra coma [6]; sie (die Erde) flicht sich blühende Kränze in's Haar und schmückt sich mit Rosen und Aehren [7] и т. д. безъ конца [8].

Гоголь говоритъ:

„Въ окно глядитъ наступившее утро, съ проснувшимся лѣсомъ“; но такъ выражаются всѣ поэты, потому что такіе образы входятъ въ словарь поэтическихъ выраженій; такъ говоритъ и Пушкинъ, и Тургеневъ, и Толстой, и всѣ, — только слова не на тѣхъ мѣстахъ; хотя напр. Пушкинское „и будитъ лай собакъ *уснувшія* дубравы“ свободно можетъ быть поставлено вмѣсто Гоголевскаго — безъ нарушенія цѣльности образа;

[1] Ib. 46. [2] Ib. 196. [3] Aen. 4, 251. [4] Gedichte, 165. [5] Aristoph. Nub. 280. [6] Propert. 3, 16, 28. [7] Geibel. Juniuslieder, 141. [8] См. Poetische Personificationen, Hense, 7—9.

Пушкинское „угрозы зимы“ не есть нѣчто отличное отъ „врага-мороза“ (въ „Шинели“), и въ сущности оба поэта олицетворяютъ зиму одинаково.

Не зачѣмъ долго останавливаться на перечисленіи образовъ, встрѣчающихся у Гоголя одинаково со всѣми поэтами древняго и новаго времени. Пусть только слѣдующіе примѣры утвердятъ читателя въ убѣжденіи, что оригинальность красоты языка слѣдуетъ искать не въ выраженіяхъ, общихъ всѣмъ поэтамъ, а въ такихъ, которыя зависятъ только отъ *склада* даннаго поэтическаго дара.

Вотъ Гоголевскій поэтическій образъ: „Небрежно откинутые назадъ, темные, какъ вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ея и лилися сумрачнымъ каскадомъ на блистательныя плеча“ [1]); и параллелей можно найти множество; вотъ на выдержку нѣсколько:

„Die dunkle Lockenfülle
Wie eine seelige Nacht
Von den flechtengekrönten Haupt sich ergiessen,
Ringelt sich träumerisch süss
Um dass süsse blasse Antlitz“ [2]).

Мы имѣемъ въ этомъ стихотвореніи почти дословный переводъ; во всякомъ случаѣ ближе нельзя было бы перевести, если бы Гоголь заимствовалъ у Гейне, — или наоборотъ; лишь слово *„плечи“* — дѣлаетъ различіе. „Волосы *льются“* обычное выраженіе всѣхъ поэтовъ, если и не въ такой формѣ, какъ только что приведено:

У Гейне въ другомъ мѣстѣ:

„Wilde grosse Augen, und die Stirne
Umwogt von schwarzer Lockenfülle“ [3]).

а у Жуковскаго:

„Кудри густыя
Съ главы молодой

[1]) Соч. Гог. I, 71. [2]) Heine, Der Schiffbrüchige. [3]) Heine, Seegespenst.

На перси младыя,
Віяся, бѣжали струей золотой“ [1]).

Въ другомъ мѣстѣ Гоголь употребляетъ уже какъ обычный способъ выраженія:

„. . . волосы льются съ (зеленой) головы на плечи . . .“ [2]).

Гоголевское „Тихо колышется вода, какъ дитя въ люлькѣ“ [3]), ничѣмъ не отличается по основному поэтическому воззрѣнію отъ Пушкинскаго:

„Нева металась какъ больной въ своей постели безпокойной“;

взятъ только моментъ другой; а два названныхъ образа не отличаются отъ образа напр. Lenau [4]):

Wie auf dem Lager sich der Seelenkranke
Wirft sich der Strauch im Winde hin und her.

Любителю теоріи заимствованія легко было бы усмотрѣть заимствованіе въ слѣдующихъ напр. образахъ:

Eilende Wolken, Segler der Lüfte . . .
Wer mit Euch wanderte . . .

Шиллера,

„Die Wolken wandern so mächtig
Ohne Schmerz und Lust . . .“

Грейфа, и

„Тучки небесныя, вѣчные странники . . .“ и т. д.

Лермонтова — до такой степени выраженія поэтическія тождественны.

Изъ приведенныхъ примѣровъ, которые можно увеличить до безконечности, съ достаточной ясностью видно, что у Гоголя какъ у всякого поэта, въ силу психологическихъ законовъ, множество образовъ, безсознательно усвоенныхъ.

---

1) Жуковскій, Эолова арфа. 2) Соч. Гог. II, 192. Срав. 130 Сонеты Шекспира: А волосы есть шелкъ, у ней ихъ не каскадъ. 3) Сравни: „Онъ (Днѣпръ) не бунтуетъ, онъ какъ старикъ ворчитъ и ропщетъ“. Соч. Гог. II, 170. 4) Himmelstrauer.

Есть предѣлы, въ которыхъ человѣческій умъ и можетъ только созидать образы; есть условія, въ силу которыхъ такіе-то предметы, такія-то явленія, представляются только со стороны такихъ, а не иныхъ признаковъ.

Что составляетъ, напр., болѣе всего существенное при мысли о героѣ? Для всѣхъ людей одинаково: храбрость, сила, гордость отъ сознанія своей силы, благородство; и въ такомъ случаѣ, (если только поэтическое воззрѣніе не исключительное, а способы представленія были естественны), сравненія, олицетворенія, будутъ *неизбѣжно* напрашиваться изъ царства, ближе всѣхъ къ поэту стоящаго, напр. изъ царства животнаго.

Если человѣческій умъ не знаетъ ничего сильнѣе льва, то левъ и будетъ служить образомъ для выраженія силы, безстрашія:

„. . . Первый, кто попался Тарасу навстрѣчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой серединѣ дороги, раскинувъ руки и ноги . . . Запорожецъ, какъ левъ растянулся на дорогѣ . . .“ [1]); или: „. . . Такъ вотъ она, Сѣчь, вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы . . .“ [2]).

Такъ происходитъ созиданіе образа силы у Гоголя; но такимъ же образомъ даютъ представленіе о силѣ другіе поэты, всѣ поэты.

Образъ мощи свободы — обыкновенно орелъ, — и нѣтъ произведенія, которое, идеализируя свободу, представило бы ее иначе.

---

[1]) Соч. Гог. II, 290. [2]) Ib. 291. Сравни: бѣлый, какъ снѣгъ, сахаръ; черный, какъ ночь и. т. д. Незачѣмъ указывать на условности, отъ которыхъ не могъ отдѣлаться и Гоголь, хотя самъ отрицательно относился къ условностямъ въ повѣстяхъ свѣтскихъ нашихъ писателей. По поводу словъ губернаторши, сказанныхъ Павлу Ивановичу, но не разслышанныхъ авторомъ, онъ замѣчаетъ: „Въ точности не могу передать словъ губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности въ томъ духѣ, въ которомъ изъясняются дамы и кавалеры въ повѣстяхъ нашихъ свѣтскихъ писателей; . . . въ духѣ того, что: „неужели овладѣли такъ вашимъ сердцемъ, что въ немъ нѣтъ болѣе ни мѣста, ни самаго тѣснаго уголка для безжалостно позабытыхъ вами“. (Соч. Гог. IV, 185).

Въ основаніи всѣхъ образовъ, о которыхъ идетъ рѣчь, и всѣхъ подобныхъ, лежитъ одинъ и тотъ-же психическій процессъ; о немъ говорить не приходится теперь, такъ какъ главная задача работы заключается въ опредѣленіи оригинальныхъ поэтическихъ формъ Гоголя.

Намъ еще предстоитъ выдѣлить такія поэтическія формы, которыя къ Гоголю перешли по преданію, отъ народа, которому поэтъ принадлежитъ, хотя образы не исключительно русскіе.

VII.

Значеніе традиціи огромно, ибо только благодаря ей новыя поколѣнія поэтовъ получаютъ возможность подвинуть впередъ процессъ художественной мысли и идеаловъ. Мы знаемъ, что отличительная черта традиціонности — условность, вырабатывающаяся исторически и безсознательно обязывающая поэта, какъ во многихъ случаяхъ и насъ, къ однимъ и тѣмъ же сходнымъ ассоціаціямъ мыслей и образовъ.

У Гоголя они взяты и изъ обычнаго языка прозаическаго, и изъ поэтическаго языка народнаго, въ которомъ изъ массы выдѣлились нѣкоторые постоянные символы и метафоры. Народно-поэтическіе элементы входятъ во многія произведенія.

Мѣстами они легко выдѣляются — таковы его фантастическіе образы.

Мѣстами ихъ труднѣе выдѣлить, такъ какъ они срослись со всѣмъ характеромъ, съ языкомъ, съ оборотами рѣчи народа.

Народность витаетъ надо всею поэзіею Гоголя въ *большей мѣрѣ*, чѣмъ у Пушкина, и проникаетъ всѣ его произведенія. Замѣчательно, что у Гоголя нѣтъ ни одного лица, которое не нашло бы соотвѣтствіе въ русской жизни, тогда

какъ у Пушкина и др. являются образы, характеры лицъ, различныхъ странъ.

Отмѣчая, какія черты составляютъ существенную особенность таланта Гоголя, Г. Шенрокъ [1]) совершенно справедливо замѣчаетъ, что если онѣ и нашли себѣ пищу и матеріалъ въ народныхъ произведеніяхъ, то здѣсь нельзя видѣть того внѣшняго пользованія источниками, которое намъ предстоитъ выдѣлить отъ оригинальнаго творчества нашего писателя, потому что на этихъ произведеніяхъ Гоголь воспитался съ малыхъ лѣтъ, и провести грань между воспринятымъ имъ въ дѣтствѣ и дополненнымъ впослѣдствіи — если бы и было возможно — совершенно безцѣльно.

То-же можно сказать и о выраженіяхъ, символахъ — вообще о стилѣ.

Вотъ нѣсколько примѣровъ:

„. . . Какъ я встрѣчусь гдѣ нибудь съ нею, я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себѣ тресни; нѣтъ, мачиха . . . скорѣе песокъ взойдетъ на камнѣ, и дубъ погнется въ воду, какъ верба, нежели я нагнусь передъ тобою . . .“ [2]).

Взятъ-ли Гоголемъ этотъ образъ извнѣ, созданъ ли образъ изъ нутра поэтическаго? Какъ отвѣтить? Скорѣе и то и другое. Образъ этотъ не отличается напр. отъ подобнаго же, свойственнаго народнымъ поэзіямъ; какъ въ данномъ случаѣ вражда, такъ въ другомъ любовь вызываетъ увѣреніе, что скорѣе совершится что нибудь неестественное, чѣмъ они разлюбятъ; но такъ и у писателей: „скорѣе рѣки потекутъ вспять отъ безбрежнаго моря, времена года измѣнятъ свой ходъ, чѣмъ измѣнится любовь“ [3]); „скорѣе рѣки потекутъ вспять, скорѣе на снѣгу произростетъ виноградъ, или на дубѣ выростутъ розы, на морѣ яблони, на камнѣ песокъ, кукушка запоетъ зимой, воронъ побѣлѣетъ“ и т. п. Въ малорусскихъ пѣсняхъ „камень скорѣе пуститъ корни“,

---

[1]) Матеріалы для біографіи Н. В. Гоголя. I, 285. [2]) Соч. Гог. II, 38.
[3]) Проперцій, I, 15, 29.

или „перо скорѣе потонетъ“, или „расцвѣтетъ сухое дерево“ [1]). Не Кантеміру принадлежитъ: „Когда по небу сохой бразды водить станутъ, а съ поверхности земли звѣзды ужъ проглянутъ; когда къ ключамъ своимъ будутъ течь быстрыя рѣки, и возвратятся назадъ минувшіе вѣки . . , и т. д., тогда пріимусь за книгу“ [2]). Другой примѣръ: „. . . Ивасю мой милый, Ивасю мой любый, бѣги къ Петрусю . . . какъ стрѣла изъ лука; разскажи ему все: любила бы его карія очи, цаловала бы его бѣлое личико, да не велитъ судьба моя . . . и родной отецъ — врагъ мнѣ: неволитъ идти за нелюбаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовятъ, только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ; будутъ дьяки пѣть, вмѣсто кобзъ и сопилокъ; не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ: понесутъ меня. Темная, темная будетъ моя хата! — изъ кленоваго дерева, и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ“ [3]). Вся картина вполнѣ соотвѣтствуетъ постояннымъ символамъ въ родѣ напр. тѣхъ, по которымъ могила — жена, съ которой молодецъ на вѣки обручился, весьма распространенныхъ въ народной поэзіи. Гоголь съумѣлъ только своему образу придать и колоритъ мѣстный (Петрусю, Ивасю, кобза, сопилка) и оживить формулу, внеся много лиризма.

Еще образъ: „. . . Оглянулся онъ теперь вокругъ себя: все новое на сѣчи, всѣ перемерли старые товарищи. Ни одного изъ тѣхъ, которые стояли за правое дѣло, за вѣру и братство . . . всѣ положили головы, всѣ сгибли . . . Слышалъ онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ; вся перебита въ дребезги посуда; нигдѣ не осталось вина ни капли; расхитили гости и слуги всѣ дорогіе кубки и сосуды, и смутный стоитъ хозяинъ дома, думая: „лучше бы и не было того пира“ [4]).

Кому не прійдетъ на мысль поэтическій образъ сравненія битвы съ пиромъ въ „Словѣ о Полку Игоревѣ“: „ту

---

[1]) Срав. А. Н. Веселовскій, Три Главы изъ исторической поэтики, 196.
[2]) „Къ уму своему“. [3]) Соч. Гог. II, 47, 48. [4]) Соч. Гог. II, 371.

кроваваго вина не доста, ту пиръ докончаша храбріи русичи: сваты напоиша, и сами полегоша за русскую землю“.

„. . . Уже успѣло ему углубиться подъ сердце копье . . . и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги: поскользнулись тутъ же у входа и разбили дорогую сулею, все разлилось на землю вино“. Конецъ этого отрывка дополняетъ картину сравненія пира съ боемъ: „и схватилъ себя за голову прибѣжавшій хозяинъ, сберегавшій вино про лучшій случай въ жизни . . .“; а образамъ, идущимъ въ Сл. о П. Иг. непосредственно за приведенными: „Ничить трава жалощами, а древо съ тугою къ земли преклонилось“, совершенно соотвѣтствуетъ Гоголевскій образъ, созданный имъ при описаніи бѣдствій, причиняемыхъ Тарасомъ въ отместку за казнь сына: „не уважили козаки чернобровыхъ панянокъ, бѣлогрудыхъ, свѣтлоликихъ дѣвицъ . . . зажигалъ ихъ Тарасъ . . . подымались къ небесамъ крики, отъ которыхъ подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу“ [1]).

Конечно, каждый разъ мы замѣчаемъ мощь пересозиданія уже готового образа, каждый разъ мы видимъ Гоголя и ему свойственную силу; но все-же отдѣлить его геній отъ генія народнаго въ этихъ случаяхъ нѣтъ возможности, какъ нѣтъ возможности поставить грань между слѣдующимъ напр. мѣстомъ: „Пѣлъ и веселыя пѣсни старецъ . . . а пальцы летали, какъ мухи, по струнамъ, и, казалось, струны сами играли . . .“ [2]) и мѣстомъ „Слова“: „Боянъ-же не 10 соколовъ на стадо лебедей пущашетъ, но своя вѣщіе персты на живая струны воскладаше, они же сами князем славу рокотаху“. Обращеніе Тараса въ „Тарасѣ Бульба“ къ козакамъ съ вопросами: „А что паны, есть-ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не иступились ли

---

[1]) Соч. Гог. II, 398. [2]) Ib. 197.

сабли? Не утомилась-ли казацкая сила? Не погнулись ли козаки?“ и отвѣты на нихъ: „Достанетъ еще, батько, пороху; годятся еще сабли; не утомилась казацкая сила; не гнулись еще козаки!“ [1]) напоминаютъ стихи въ былинѣ „О томъ, какъ перевелись витязи на святой Руси“:

Не намахалися наши могутныя плечи,
Не уходилися наши добрые кони,
Не притупились мечи наши булатные!“ [2])

Не исчерпать всѣхъ мѣстъ произведеній Гоголя, носящихъ явные слѣды связи поэта съ началами и пріемами, унаслѣдованными отъ народа, отъ народной поэзіи [3]); но привести нѣсколько образовъ различныхъ категорій нужно все-же.

„. . . Всплеснула руками Катерина и повалилась, какъ снопъ, на мертвое тѣло. Мужъ мой! ты-ли лежишь тутъ, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный соколъ, протяни ручку свою! Приподымись! Погляди хоть разъ на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко! Но ты молчишь, мой ясный панъ! Ты посинѣлъ, какъ Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой панъ? Видно, не горючи мои слезы, не въ мочь имъ согрѣть тебя! Видно не громокъ плачъ мой, не разбудить имъ тебя! Кто же поведетъ теперь полки твои? Кто-же понесется теперь на твоемъ ворономъ коникѣ, громко загукаетъ и замашетъ саблей предъ козаками? . . . Похороните-же меня . . . Засыпьте мнѣ очи землею! Надавите мнѣ кленовыя доски на бѣлыя груди! Мнѣ не нужна болѣе красота моя . . .“ [4]).

Весь образъ, и въ цѣломъ и въ частяхъ, и въ предложеніяхъ и въ отдѣльныхъ словахъ, и въ длиннотахъ, и въ воззваніяхъ, и въ выраженіяхъ, и въ синтаксисѣ, можетъ быть отождествленъ съ народными заплачками. Едва замѣтны

[1]) Ib., 370. [2]) Сходство подмѣчено и Шенрокомъ, Мат. для біог. Гоголя, I, 167. [3]) Въ основаніи Сл. о П. Иг. лежатъ образы народные. [4]) Соч. Гог. II, 184.

отступленія; они не нарушаютъ сходства въ построеніи народнаго характера.

Если взять другой отдѣлъ народной поэзіи, то и въ немъ мы найдемъ не мало образовъ, которыми воспользовался Гоголь, безсознательно, но неизбѣжно, въ силу поэтической своей организаціи, находящей пищу и поддержку въ народныхъ воззрѣніяхъ на природу.

„. . . Чуденъ Днѣпръ и при теплой лѣтней ночи, когда все засыпаетъ: и человѣкъ, и звѣрь, и птица, а Богъ одинъ величаво озираетъ небо и землю и величаво сотрясаетъ ризу. Отъ ризы сыплются звѣзды . . ." [1]).

Всякому становится ясно, что этотъ образъ построенъ на почвѣ народно-поэтическихъ воззрѣній, по которымъ звѣзды произошли отъ ризъ Божьихъ.

Припомнимъ превосходные образы, рисующіе смерть казаковъ: „. . . Отскочила могучая голова и упалъ обезглавленный трупъ, далеко вокругъ оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая казацкая душа, хмурясь и негодуя, и вмѣстѣ съ тѣмъ дивуясь, что такъ рано вылетѣла изъ такого крѣпкаго тѣла . . ." [2]),

или:

„. . . И зажмурилъ ослабшіе очи, и вынеслась казацкая душа изъ суроваго тѣла" [3]),

или:

„. . . Прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля . . . и понеслась къ вышинамъ душа разсказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умѣютъ биться на Русской землѣ . . ." [4]),

или:

„. . . Поникнулъ онъ головою, почуявъ предсмертныя муки . . . и отлетѣла его душа . . ." [5]).

Всѣ приведенные образы стоятъ въ ближайшей связи съ распространеннымъ представленіемъ о выходѣ души изъ

---

[1]) Ib. 185. [2]) Соч. Гог. II, 348. [3]) Ib. 367. [4]) Ib. 368. [5]) Ib. 369.

тѣла въ видѣ существа, улетающаго вверхъ, въ небеса (представленіе это свойственно и другимъ народамъ, а потому естественно, что и поэты другихъ народностей создают образы разставанія души съ тѣломъ [1]).

Отдѣльныхъ выраженій сходныхъ съ выраженіями, встрѣчающимися въ народной поэзіи, напр. какъ „гдѣ прошли Незамайковцы — такъ тамъ и улицы, гдѣ поворотили, такъ ужъ тамъ и переулокъ“ [2]), — безъ счета, какъ только Гоголь вступаетъ въ область разсказовъ, взятыхъ изъ народнаго быта, а потому на нихъ не останавливаюсь вовсе. Но интересно при этомъ отмѣтить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда и въ голову не придетъ, что образъ не принадлежитъ Гоголю, что онъ именно долженъ быть Гоголевскій — онъ оказывается также чисто народнымъ, какъ будто изъ сказокъ вырваннымъ: „. . . Ѳома Григорьевичъ готовъ ужъ былъ осѣдлать носъ свой очками“ [3]). Этотъ примѣръ, какъ и примѣръ сходства начала нѣкоторыхъ разсказовъ дѣда въ „Вечерахъ на хуторѣ“ со сказками, изданными Рудченко, подмѣчены уже г. Шенрокомъ: „Бувало покойнік Охрімъ, як стане разсказувать, — царство ему небесное, дакъ волосы дыбомъ становяться . . .“ [4]).

Вспомнимъ, напр., рѣчи глупыхъ, обманутыхъ мужей, о которыхъ разсказываются всевозможные анекдоты [5]), сравнимъ ихъ съ рѣчью напр. Черевика, одного изъ героевъ „Сорочинской ярмарки“, — и связь скажется кровная.

VIII.

Я въ общихъ чертахъ указалъ путь, по которому слѣдовало бы идти, чтобы выдѣлить изъ произведеній Гоголя всѣ элементы, общіе языку поэта и языку русскаго народа.

---

[1]) Сопоставленія срав. Bruchman, Kurt, Psychologische Studien zur Sprachgeschichte, 135. [2]) Соч. Гог. II, 365. [3]) Матер. для біогр. Гог. I, 291. Срав. Сборникъ Драгоманова: „Дьячокъ и малограмотный попъ“, — „Труды“ Чубинскаго, I, 166. [4]) Ib. [5]) Сумцовъ, Анекдоты о глупыхъ мужьяхъ.

Мы видѣли, что въ незначительной мѣрѣ Гоголь вноситъ и своего. Но въ этомъ отношеніи онъ не далеко еще ушелъ отъ всякого, кто говоритъ русскимъ языкомъ въ моменты, когда человѣкъ поднимается надъ уровнемъ обыкновеннаго дѣлового языка, точнаго, шаблоннаго, когда онъ становится поэтомъ, на сколько это возможно и необходимо для каждого.

Перейдемъ къ главной нашей задачѣ, къ разбору языка Гоголя, т. е. языка, отличающаго Гоголя отъ другихъ русскихъ поэтовъ, языка, принадлежащаго только ему и никому другому.

Мы можемъ предпринять такое изслѣдованіе, основываясь на нѣкоторыхъ законахъ развитія языка.

Если языкъ прозы условностью своею имѣетъ почти безграничную власть надъ отдѣльной личностью, то въ языкъ поэзіи, при всей зависимости поэта отъ языка своего народа, личность вноситъ свое вліяніе, на сколько творчество заключается въ проявленіи своего собственнаго *я*.

Чѣмъ въ большей мѣрѣ произведенія носятъ слѣды пережитого и перечувствованнаго, передуманнаго, тѣмъ въ языкъ этихъ произведеній войдетъ болѣе элементовъ собственной души, личности, тѣмъ языкъ будетъ индивидуальнѣе. Это — явленіе психологическое, и безъ этого условія не было бы той внутренней движущей силы поэзіи, не было бы той правдивости и искренности, которыми единственно усиливаютъ впечатлѣнія, не было бы возбужденія чувствъ, произведенного дѣйствительностью.

Съ другой стороны, что для насъ въ данномъ случаѣ гораздо важнѣе, произведеніемъ художественнымъ, основаннымъ на пережитомъ, обусловливается успокоительное дѣйствіе, производимое на самого писателя; творчество разлагаетъ чувство, волнующее поэта (и читателя), проясняетъ, упрощаетъ мысль, и уничтожаетъ этимъ власть чувства надъ сознаніемъ. Мы знаемъ, что состояніе души, объектированное въ словѣ,

покоряется сознанію до того, что ложится въ основаніе дальнѣйшей жизни — сознательной разумѣется: какъ, напр. Лермонтовъ освободился отъ дикого бреда, преслѣдовавшаго его разумъ, такъ и Гоголь освобождался отъ дурныхъ своихъ качествъ, передавая ихъ своимъ героямъ.

Это обстоятельство содѣйствуетъ въ большой мѣрѣ и ясности языка, доходящаго до наглядности, до прозрачности, получающаго опредѣленность специфическаго свойства, возводимаго Гоголемъ въ типическій языкъ только послѣ того, какъ пережитое стало достояніемъ творческой мысли.

Конечно, сказанное примѣнимо къ дѣятельности всякого писателя, изображающаго дѣйствительность, но вопросъ въ томъ и заключается, во 1-хъ, на сколько принималъ писатель душевнаго участія въ изображаемомъ, во 2-хъ, насколько участіе (посредственное или непосредственное) отразилось на душевномъ его строѣ.

Біографы Гоголя отмѣтили въ его произведеніяхъ мѣста́, свидѣтельствующія съ достаточного ясностью, что въ нихъ вошло множество моментовъ изъ личной жизни поэта. Эти моменты вліяли на весь строй мыслей Гоголя, на образованіе его міровоззрѣнія, — и отразились на языкѣ своеобразно потому, что и качество пережитого носило характеръ исключительный.

Отсылая читателя къ превосходнымъ книгамъ г. Шенрока, Кулиша, которыя дадутъ разъясненія для пониманія характера Гоголя, я остановлюсь на выводахъ изъ даннныхъ, приводимыхъ біографами. На основаніи ихъ возможны заключенія о его стилѣ.

Гоголю приходилось бороться съ обстоятельствами, мало содѣйствовавшими осуществленію мыслей, желаній, стремленій, вытекавшихъ изъ его гордой (иногда заносчивой), самомнительной, взыскательной и требовательной природы; ему приходилось съ напряженными усиліями отстаивать то, что трудами было добыто, а еще большую энергію при-

ходилось употреблять для обезпеченія желаемыхъ результатовъ, притомъ мало соотвѣтствовавшихъ его положенію, его таланту. Въ большинствѣ случаевъ приходилось имѣть противниками людей, не могшихъ отвѣчать самымъ элементарнымъ правиламъ нравственности, и уже съ первыхъ дней пробужденія въ немъ сознанія, онъ не щадилъ насмѣшекъ напр. надъ пошлостью, покупающей общественное положеніе цѣною уничтоженія въ себѣ самомъ человѣческаго достоинства. По мѣрѣ того, какъ расширялись задачи обличенія, увеличивалась и борьба съ подобными лицами, вмѣстѣ съ тѣмъ расширялись опытъ, знаніе людей, характеровъ, пониманіе отрицательныхъ сторонъ жизни, а вмѣстѣ съ этимъ жизнь изучалась все больше, все интенсивнѣе, все глубже.

Но недостатки, пороки, пошлыя стороны людей коснулись и самого обличителя. Онъ чувствовалъ ихъ въ себѣ и сознавалъ ихъ ясно.

„Я имѣю дурной характеръ, „писалъ онъ", испорченный, избалованный нравъ, въ этомъ признаюсь отъ чистого зердца . . ." [1]).

И онъ искалъ исправленія, совершенствованія, въ дѣятельности, такъ какъ „лѣнь и безжизненное для меня здѣсь пребываніе непремѣнно бы упрочили ихъ (недостатки) на вѣкъ" [2]).

Когда онъ писалъ „одна только бѣдная душа моя страдаетъ" [3]), то въ основаніи страданій должно было лежать сознаніе недостатковъ своихъ.

Дѣятельность, о которой говорится, въ силу самаго склада Гоголя, должна была заключаться въ борьбѣ за добро во імя только самого добра. Для этого необходимо было очиститься самому, иначе говоря, изучить себя и сдѣлать расчетъ съ прошлымъ.

А расчетъ съ прошлымъ возможенъ былъ бы психоло-

---

[1]) Сочиненія и письма Н. В. Гоголя, изд. Кулиша, V, 87. [2]) Ib. [3]) Ib. 93.

гически единственно путемъ объективированія своихъ недостатковъ въ словѣ, въ произведеніяхъ.

Что онъ понималъ свои недостатки, что онъ понялъ ихъ съ ясностью, слѣдуетъ изъ собственныхъ его признаній и изъ того, что имъ осуждены были проявленія его собственной жизни, которымъ позже придана была типичность. Вотъ нѣсколько фактовъ болѣе крупнаго характера:

„Я получилъ въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ ученіи пришла ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ свои занятія . . .“ [1]). Несомнѣнно Гоголь говорилъ правду, — отсутствіемъ образованія объясняются весьма несимпатичные пріемы, какіе употреблялись имъ для устройства личныхъ дѣлъ, и то непониманіе, которое обнаруживается довольно долго въ двусмысленномъ его поведеніи по отношенію къ наукѣ, даже той, которую онъ изучалъ самъ.

Эти пріемы отражаются въ языкѣ Гоголя весьма наглядно: онъ хотѣлъ *„дернуть“* исторію Малороссіи, *„хватить“* среднюю исторію томиковъ въ восемь, девять“, *„удрать“* необыкновенное изданіе пѣсенъ, а когда ему не удалось упрочить за собою каѳедру, когда онъ не встрѣтилъ сочувствія къ его неудачнымъ лекціямъ, онъ *„расплевался“* съ университетомъ [2]).

Такія выраженія возможны въ устахъ человѣка, по малой мѣрѣ не умѣющаго уважать науку. Гоголь это сознавалъ, и тайно страдалъ, и создалъ Хлестакова.

Другой фактъ:

Въ письмахъ къ матери Гоголь возноситъ похвалы дядѣ своему Трощинскому; онъ зналъ, что подобныя письма будутъ читаться кѣмъ слѣдуетъ:

---

[1]) А. Н. Пыпинъ, Исторія русс. Лит. IV, 473. [2]) Пыпинъ, Исторія Русской Лит., 474.

„Можетъ быть Богу будетъ угодно даровать мнѣ возможность загладить со временемъ мой безразсудный поступокъ и хотя нѣсколько приблизиться къ высокимъ качествамъ нашего благодѣтеля, ангела между людей“ [1]).

Это пишется, говорится, въ то время, когда пишущій лучше, чѣмъ кто либо зналъ, *что* за личность представлялъ собою Трощинскій, и *что* лежало на совѣсти этого „ангела“.

Гоголь и это сознавалъ. Подобострастіе, льстивость тяготили его. Угодливость, отличавшая Гоголя, воспроизводилась позже самимъ художникомъ не одинъ разъ, а языкъ, которымъ говоритъ напр. искательная угодливость Чичикова, совершенно напоминаетъ языкъ писемъ Гоголя.

Еще примѣръ:

Біографическіе факты указываютъ на то, что съ поступленіемъ Гоголя на службу, съ пріобрѣтеніемъ литературныхъ знакомствъ, въ судьбѣ его происходятъ крупныя перемѣны, которыя благопріятно дѣйствовали на личное настроеніе Гоголя, но неблаготворно отразились на характерѣ его; онъ тонъ особенный пріобрѣтаетъ, какая-то самоувѣренность дѣлаетъ его заносчивѣе. По мѣрѣ того, какъ онъ чувствуетъ себя вознесеннымъ обстоятельствами и подхваченнымъ вверхъ благопріятной волной, его сужденія становятся рѣшительнѣе, сознаніе успѣха проявляется не въ совсѣмъ скромной формѣ [2]).

Что все это и многое другое, подобное, было имъ самимъ сознано, свидѣтельствуютъ прежде всего его собственныя, непосредственныя показанія. Въ одномъ письмѣ къ Шевыреву [3]) онъ говоритъ: „Я чувствовалъ самъ, что въ каждомъ словѣ моемъ отзывается или что-то весьма похожее на высокомѣріе (котораго въ самомъ дѣлѣ у меня небыло въ такой сильной степени, какъ казалось) . . .“ Въ виду обстоятельства, что Гоголь признается въ другомъ мѣстѣ того

[1]) Сочин. и Письма Гог., V, 97. [2]) Матер. для біографіи Гог. Шенрока, II, 32. [3]) Соч. и Письма Гог., VI, 121.

же письма, что „говорить откровенно о себѣ я никогда никакъ не могъ“ [1]), и того, что и его современники утверждаютъ о немъ то-же самое, можно предположить, что высокомѣріе въ немъ именно было, какъ было въ немъ много и смиренія [2]), но не христіанского, а того, которое паче гордости. Объ этомъ свидѣтельствуютъ и мѣста, въ которыхъ осмѣивается стремленіе „сыграть роль хоть однимъ вершкомъ повыше той, которая ему назначена“ [3]). Сюда относятся черты характера Хлестакова; сюда же нужно отнести мѣсто изъ „Мертвыхъ душъ“, указывающее на необыкновенное умѣнье русскаго человѣка говорить съ каждымъ на языкѣ своего собесѣдника, примѣняясь къ обстоятельствамъ:

„Пересчитать нельзя всѣхъ оттѣнковъ и тонкостей нашего обращенія . . . У насъ есть такіе мудрецы, которые съ помѣщикомъ, имѣющимъ двѣсти душъ, будутъ говорить иначе, нежели съ тѣмъ, у которого ихъ пятьсотъ . . . хоть восходи до милліона, все найдутся оттѣнки . . .“ [4]).

И далѣе, при изображеніи правителя канцеляріи:

„Прошу посмотрѣть на него . . . Прометей, рѣшительный Прометей! Высматриваетъ орломъ, выступаетъ плавно, мѣрно. — Тотъ же самый орелъ, какъ только приближается къ кабинету своего начальника, куропаткой такой спѣшитъ съ бумагами подъ мышкой, что мочи нѣтъ . . . уничтожился въ песчинку [5]).

Такихъ фактовъ можно было бы привести въ достаточномъ количествѣ изъ его произведеній; изъ жизни его многіе приведены біографами; тѣ и другіе въ состояніи оправдать слова Гоголя:

„Вы знаете, я весь состою изъ будущаго, въ настоящемъ же я есть *нуль*“ [6]), пишетъ онъ въ письмѣ еще въ 1847-мъ году; но такъ-же думалъ онъ и до этого.

---

[1]) Ib. [2]) Ib. [3]) Соч. Гог. IV, 23. [4]) Ib. 51. [5]) Ib. 52. [6]) Русская Старина, 1884 г. I, 172.

Очевидно, Гоголь весь обращенъ былъ лицомъ къ будущему, движимый потребностью развить всѣ свои силы, богатство и значеніе которыхъ онъ сознавалъ въ себѣ.

Отсюда и изображеніе своихъ недостатковъ[1]), отсюда же и Гоголевскій языкъ изображенія ихъ.

Въ развитіи своемъ Гоголь былъ независимѣе отъ постороннихъ вліяній, нежели какой либо другой изъ нашихъ первоклассныхъ писателей, и если онъ первоначально, какъ мы видѣли, подчинялся традиціямъ и отдѣльнымъ писателямъ, то оригинальность его натуры, тѣмъ не менѣе, смѣло прокладывала себѣ собственный путь свой по тому направленію, которое подсказывалось врожденною силой, въ особенности силою юмора.

Основной мотивъ всего его творчества — изображеніе отрицательныхъ сторонъ жизни, изображеніе пошлости — обусловливаетъ несомнѣнно его стиль. „Веселое мигомъ обратится въ печальное, если только долго застоишься передъ нимъ, и тогда, Богъ знаетъ что̀ взбредетъ въ голову: да полно, точно-ли Коробочка стоитъ такъ низко на безконечной лѣстницѣ человѣческаго совершенствованія? Точно-ли такъ велика пропасть, отдѣляющая ее отъ сестры ея, недосягаемо огражденной стѣнами аристократическаго дома . . . Но мимо, мимо! Зачѣмъ говорить объ этомъ? Но

[1]) Не можетъ быть сомнѣнія, что и моменты внѣшней жизни, пережитой Гоголемъ, воспроизведены имъ были при различныхъ случаяхъ. По словамъ біографа поэта иногда сказывается въ письмахъ недовольный характеръ; первая половина одного письма, напр. отъ 2-го апр. 1830 г. (Соч. и Письма Гог. V, 106—107), носитъ слѣды досаднаго гнета нужды и вѣчной необходимости ограничивать себя во всемъ, сжиматься, наложить узду на самыя непритязательныя желанія (Шенрокъ, II, 19). Чичиковъ во многихъ случаяхъ испытывалъ подобныя неудобства. Бѣдный художникъ, изображенный поэтомъ, имѣетъ тѣ-же заботы. Съ другой стороны изображеніе роскоши капитаномъ Копѣйкинымъ могло быть результатомъ воспоминаній наивнаго бывшаго представленія о фантастическомъ блескѣ, великолѣпіи и роскоши жизни, какія онъ встрѣчалъ у В. А. Трощинскаго.

зачѣмъ же среди недумающихъ, веселыхъ, безпечныхъ минутъ, само собою, вдругъ, пронесется иная, чудная струя? Еще смѣхъ не успѣлъ совершенно сбѣжать съ лица, а ужъ сталъ другимъ среди тѣхъ же людей и уже другимъ свѣтомъ освѣтилось лицо . . .“

Не иначе, слѣдовательно, какъ смѣяться и осмѣивать.

Важнѣе всего была для Гоголя мысль, которую онъ приносилъ съ собой повсюду особенно въ то время, когда она окончательно созрѣла. Это было пониманіе вреда, производимого пошлостью, потворствомъ злу, грубымъ самодовольствомъ, отсутствіемъ нравственныхъ устоевъ. Можетъ быть, справедливо мнѣніе, по которому Гоголь не всегда понималъ или не всегда вдумывался въ причины этихъ явленій, подтачивающихъ основы общественной нравственности (и личной), по недостатку широкаго образованія, но онъ *чувствовалъ* зло всѣми фибрами души, онъ представлялъ себѣ зло такъ ясно, какъ никто изъ нашихъ писателей, а потому именно и имѣлъ возможность въ словѣ изобразить это зло, какъ никто другой.

Если бы для ясности мысли понадобилось установить параллель между указанною чертою Гоголя и соотвѣтствующею силою другого поэта, то можно было бы привести одну сторону творчества Гете, давшую ему мѣсто величайшаго лирика въ мірѣ, — именно, геніальную способность находить наиболѣе соотвѣтственную форму для всего, что приводило въ движеніе его особенно впечатлительное сердце при *созерцаніи природы:* „онъ дышалъ съ нею жизнью одною“. —

Тоже было съ Гоголемъ, переживавшимъ непосредственно *пошлость жизни.* Какъ Гете, Гоголь очистилъ явленія окружавшей его жизни отъ лживыхъ примѣсей, призрачности и условности и поднялъ ихъ до естественнаго размѣра; онѣ стали ясны и понятны для всякого, а прежде всего для него самого, а потому и облечены въ языкъ, ясный до прозрачности.

Степень вліянія однѣхъ мыслей на другія можетъ зависѣть или отъ силы сопровождающаго ихъ чувства, или отъ ихъ ясности. У Гоголя мы замѣчаемъ больше первое условіе; что-то стихійное сказывается въ его изображеніяхъ, какъ будто исключающее преднамѣренно-ясное, сознательно-аналитическое мышленіе.

Мысль о неустройствѣ страны чаще другихъ появляется въ сознаніи и легче другихъ апперципируетъ новыя восріятія — мы видѣли почему. Отсюда и участіе ея, какъ сильнѣйшей, въ образованіи новыхъ воспріятій и новыхъ мыслей.

„Русь, Русь, вижу тебя, изъ моего чуднаго прекраснаго далека вижу тебя. Бѣдно, разбросано и непріютно въ тебѣ . . . открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ . . . ничто не обольститъ и не очаруетъ взора! Но какая же непостижимая тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? . . . Что зоветъ и рыдаетъ и хватаетъ за сердце, какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи? . . .“ [1]).

Говорить такъ можетъ только сердце, насквозь проникнутое болью отъ страданія за судьбы своей родины; такъ было, когда онъ въ сознаніи поэтической силы творитъ увѣренно; но ранѣе поэтомъ овладѣваетъ та разборчивая мнительная боязнь, какая является въ минуты творчества, ищущаго въ творчествѣ-же выхода, боязнь, въ состояніи-ли, въ силахъ-ли онъ исполнить задачу, взятую на себя въ качествѣ поэта.

„Его грызла совѣсть; имъ овладѣла та разборчивая

---

[1]) Соч. Гог. IV, 248—49.

мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношей, носящимъ въ душѣ благородство таланта, которое заставляетъ если не истреблять, то, по крайней мѣрѣ, скрывать отъ свѣта тѣ произведенія, въ которыхъ онъ самъ видитъ несовершенство, которое заставляетъ скорѣе вытерпѣть презрѣніе всей толпы, нежели презрѣніе истиннаго цѣнителя . . .“ [1]).

Но, какъ упомянуто, участіе сильнѣйшихъ массъ — т. е. вѣчная мысль о „язвахъ“ родины является рѣшающимъ факторомъ.

Хотя Гоголь и ограничиваетъ свой матеріалъ, но ограниченіемъ матеріала производитъ дѣйствіе неограниченное. Онъ приводитъ насъ въ такое настроеніе, при которомъ мы какъ будто можемъ видѣть и уразумѣть все. Онъ заставляетъ насъ сосредоточиться на одномъ пунктѣ, а передъ нами цѣлый міръ — и художественный образъ, относясь въ минуту созиданія къ тѣсному кругу чувственныхъ образовъ, становится типомъ.

„Говорили, что я умѣю не то что передразнить, но угадать человѣка, т. е. угадать, что онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаніемъ самого склада и образа его мыслей и рѣчей.“

Стало быть жила въ Гоголѣ потребность воплощать въ осязательныя формы образы, роившіеся въ его воображеніи — но достигавшіе ясности и наглядности, потому что онъ ихъ выносилъ, какъ образы о самомъ себѣ. У Гоголя поэтому особенное сочетаніе словъ, въ которыхъ чувство находитъ свое настоящее выраженіе. Но кромѣ того приходилось Гоголю сознательно и много работать надъ твореніями, какъ бы ни тяжело было копаться въ самомъ себѣ. Его работа надъ собою напоминаетъ работу, производимую

1) Ib. I. 184.

пророкомъ, вынувшимъ трепетное сердце и вложившимъ угль, пылающій огнемъ, разсѣкши грудь.

„Мудръ тотъ, пишетъ Гоголь, кто не гнушается никакимъ характеромъ, но вперя въ него испытующій взглядъ, извѣдываетъ его до первоначальныхъ причинъ“ [1]). И извѣдалъ онъ тайны отъ работы надъ собою: „быстро все превращается въ человѣкѣ; не успѣешь оглянуться, какъ уже выросъ внутри страшный червь, самовластно обратившій къ себѣ всѣ жизненные соки. И не разъ, не только широкая страсть, но ничтожная страстишка къ чему нибудь мелкому разросталась въ рожденномъ на лучшіе подвиги, заставляла его позабывать великія и святыя обязанности и въ ничтожныхъ побрякушкахъ видѣть великое и святое. Безчисленны, какъ морскіе пески человѣческія страсти и всѣ не похожи одна на другую, и всѣ-онѣ, низкія и прекрасныя, вначалѣ покорны человѣку и потомъ уже становятся страшными властелинами его . . .“ [2]). Это какъ будто голосъ правдиваго судьи надъ собственнымъ сердцемъ, и мы поймемъ теперь, какъ кропотлива была работа писателя, когда онъ расчленялъ свою душу, облекши каждый моментъ своей душевной жизни въ плоть и кровь. Онъ обозрѣвалъ самъ свою душу; скрыть отъ себя онъ не могъ ничего — и отсюда громадное количество язычныхъ средствъ для созданія образа. „Не загляни авторъ поглубже ему въ душу, не шевельни на днѣ ея того, что ускользаетъ и прячется отъ свѣта, не обнаружь сокровеннѣйшихъ мыслей, которыхъ никому другому не ввѣряетъ, а покажи его (Чичикова) такимъ, какимъ онъ показался всему городу, — и всѣ были бы радешеньки . . .“ [3]). Т. е. — имѣя въ виду собственную душу, — онъ не могъ бы познавать себя и расчитаться съ прошлымъ. — Нельзя не припомнить при этомъ его дара рѣдкой наблюдательности, унаслѣдованной отъ отца, изо-

[1]) Соч. Гог. IV, 274. [2]) Ib. [3]) Ib. 275.

щренной опытомъ собственнымъ и ставшей преобладающею въ немъ чертою. Еще въ мальчикѣ — Гоголѣ сказалось необыкновенное умѣнье улавливать въ лицахъ, въ предметахъ, въ явленіяхъ, мельчайшие признаки, однако всегда характерные. Искусный въ умѣніи очертить вещь, положеніе, онъ обнаруживалъ замѣчательную оригинальность въ остротахъ, въ шуткахъ, шалостяхъ, развлеченіяхъ.

Особенно Гоголю удавалось изображеніе лицъ на сценѣ.

Всѣ эти свойства, въ связи съ рѣдкою способностью всматриваться въ явленія, и создали возможность выраженія въ словѣ мельчайшихъ тѣней, какія у другихъ писателей отсутствовали, потому что ни одинъ не сосредоточивалъ своего таланта въ одномъ исключительномъ направленіи.

„Человѣкъ такое дивное существо, говоритъ Гоголь, что никогда не можно исчислить вдругъ всѣхъ его достоинствъ (т. е. недостатковъ) и чѣмъ болѣе въ него всматриваешься, тѣмъ болѣе является новыхъ особенностей . . .“ [1]) и не удивительно, что ему приходилось „сильно напрягать вниманіе, пока заставишь передъ собою выступить всѣ тонкія, почти невидимыя черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный въ наукѣ выпытыванія взлядъ“ [2]). Наука выпытыванія — вотъ главное при творчествѣ; заставлять выступить всѣ тонкія, почти невидимыя черты, — вотъ самое творчество Гоголя, и отсюда главная и значительнѣйшая сила языка Гоголя. Въ этомъ и особенность языка, какъ увидимъ ниже. Пока замѣтимъ, что весь онъ былъ проникнутъ мыслями и чувствами, которыя не могли быть замѣнены новыми въ первую пору дѣятельности. Его воображеніе не могло, не „умѣло влюбиться въ другія“. Не могли остановить Гоголя никакія препятствія, „какъ не остановятъ рѣку гранитные берега“; въ этомъ состоитъ его побѣдоносное шествіе по пути „вглядыванія“. Какъ на

---

1) Соч. Гог. I, 302. 2) Соч. Гог. IV, 22.

лицо актера никто не положилъ оковъ, и лицо свободно выразить всякое движеніе, такъ еще въ большей мѣрѣ свободенъ языкъ Гоголя въ изображеніи различныхъ степеней одного и того же свойства, проявленія.

По поводу сказаннаго нельзя не отмѣтить, что творчество въ языкѣ шло рука объ руку съ сознательнымъ анализомъ своихъ произведеній. Мы увидимъ, какого громаднаго труда стоила ему постоянная работа надъ языкомъ, а это обстоятельство имѣетъ большое значеніе въ виду мнѣнія, по которому Гоголь не понималъ значенія своихъ твореній. Чтобы не уйти слишкомъ въ сторону, отмѣчу лишь, во 1-хъ, что преднамѣренность въ подборѣ словъ съ цѣлью болѣе вѣрнаго изображенія лица, характера, исключаетъ непониманіе созданного; въ 2-хъ, что важнѣе этого апріорнаго положенія, есть прямыя свидѣтельства полнаго пониманія того, что творилось имъ — и изъ многихъ доказательствъ, напр. слѣдующее: „Неужели онъ (Хлестаковъ) просто блѣдное лицо, а я, въ порывѣ минутно-горделивого расположенія, думалъ, что когда нибудь актеръ обширнаго таланта возблагодаритъ меня за совокупленіе въ одномъ лицѣ толикихъ разнородныхъ движеній . . .“ [1]); и еще нѣсколько выше объясненіе того, что „всякій хоть на минуту, если не на нѣсколько минутъ, дѣлался или дѣлается Хлестаковымъ . . .“ [2]) Такія обобщенія, какія дѣлаются въ лирическихъ отступленіяхъ „Мертвыхъ душъ“ и въ разсужденіяхъ по поводу лицъ, имъ изображаемыхъ, невозможны, немыслимы безъ критическаго отношенія къ окружающему.

Если Альфонсъ Додэ говорилъ о себѣ: „всѣ мои глаза въ ушахъ, какъ у слѣпого“, то Гоголь могъ бы о себѣ сказать „всѣ мои уши въ глазахъ“, до такой степени онъ все видѣлъ ясно, что происходило вокругъ него, до такой сте-

---

1) Соч. Гог. III, 287. 2) Ib. Сравни его замѣчанія по поводу Коробочки, Собакевича, Ноздрева и другихъ лицъ.

пени онъ былъ наблюдателенъ въ сферѣ, служившей источникомъ его творчества.

VIII.

Громадный творческій геній Гоголя въ созиданіи языка обнаруживается не такъ скоро. Много предстояло предварительной работы. Характеръ языка Гоголя первоначально далеко не носилъ той красоты, той особой красоты, которая отличаетъ его языкъ отъ языка другихъ русскихъ поэтовъ.

Одно время Гоголь, какъ многіе, какъ большинство, не былъ свободенъ отъ вліянія слова, дѣйствующаго на мысль вредно, сковывая ее, какъ лозунгъ, какъ пароль, не заключающаго въ себѣ никакого опредѣленнаго содержанія. Онъ слѣдовалъ слову слѣпо, безсознательно, хотя предполагалъ, или былъ увѣренъ, что сознательно употребляетъ его. Въ разсужденіяхъ своихъ и лирическихъ мѣстахъ онъ прибѣгаетъ къ такимъ словамъ, которыя не выражаютъ собственно ничего, но которыми онъ орудуетъ, какъ опредѣленными величинами. Гоголю казалось верхомъ мудрости имѣть въ запасѣ такіе ярлыки — слова въ отвѣтъ на труднѣйшіе вопросы. Это говоритъ не въ пользу присутствія силы философскаго мышленія, которое и оказалось весьма слабымъ, особенно къ концу дѣятельности. На примѣрахъ изъ произведеній и писемъ не трудно доказать, какая реторика преобладаетъ въ языкѣ.

Психологически это объясняется.

Въ такихъ случаяхъ, когда для Гоголя мысль не опредѣлилась до того, чтобы превратиться въ его духовное достояніе, онъ и выраженія употреблялъ самыя неопредѣленныя, такія, напр., какія употребляютъ люди, лѣниво мыслящіе или мало развитые. Въ то время, какъ при отчетливомъ и ясномъ пониманіи какой либо вещи поэтомъ пускаются въ ходъ самыя разнообразныя слова, въ другихъ случаяхъ,

когда дѣло представляется смутно, къ услугамъ его выступаютъ самыя лишь общія выраженія. Ничего нѣтъ скучнѣе этого безжизненнаго языка, этого стиля, въ которомъ слышатся ничего незначущія или все значущія отвлеченныя выраженія. И это не былъ тотъ родъ отвлеченныхъ выраженій, которыми пользуется писатель для обобщеній; они являются единственно вслѣдствіе безсилія уловить въ данный моментъ наиболѣе существенные частные признаки.

Вотъ образецъ: „Проснувшись, онъ долго чувствовалъ въ себѣ то *непріятное* состояніе, которое овладѣваетъ человѣкомъ послѣ угара: голова его *непріятно* болѣла. Въ комнатѣ было тускло, *непріятная* мокрота сѣялась въ воздухѣ . . . вышелъ съ квартальнымъ, котораго появленіе для людей мелкихъ такъ-же *непріятно*, какъ для богатыхъ лицо просителя". Слово *непріятно* повторяется четыре раза на разстояніи шести строкъ, — для выраженія самыхъ разнородныхъ моментовъ переживанія чувства непріятного: отъ угара, отъ мокроты, отъ появленія квартального.

Разумѣется, въ иныхъ случаяхъ конкретность въ словѣ вовсе не представляетъ особеннаго преимущества писателя, ни выгоды для читателя, когда писатель только частностей и мелочей и держится. Сила творческая заключается въ умѣніи изображать частное, конкретное, безъ ущерба для пониманія общаго.

„Не знаю, сбудутся-ли мои предположенія или неумолимое веретено судьбы зашвырнетъ меня съ толпой самодовольной черни въ самую глушь ничтожности, отведетъ мнѣ черную квартиру неизвѣстности въ мірѣ". Сопоставимъ это мѣсто изъ письма съ слѣдующимъ отрывкомъ изъ „Ганца Кюхельгартена" [1].:

Душей ли, славу полюбившей.
Ничтожность въ мірѣ полюбить,

[1] См. Шенрокъ, Матеріалы, I, 160, сопоставляющій это мѣсто съ слѣдующимъ отрывкомъ изъ „Кюхельгартена", съ иными цѣлями.

Душой-ли, къ счастью не остывшей,
Волненья міра не испить,
И въ немъ прекраснаго не встрѣтить,
Существованья не отмѣтить“ а).

Какъ безвкусіе отрывка стихотворнаго обусловливается и отсутствіемъ правильной риѳмы, и отсутствіемъ всякого языка, такъ и прозаическій отрывокъ состоитъ изъ словъ безъ всякого опредѣленнаго содержанія. То и другое — вслѣдствіе неопредѣленности и неясности мыслей, безпокоющихъ жизнь молодого Гоголя, когда онъ такъ много мечталъ и такъ мало думалъ.

Могу пригласить читателя взять произведенія изъ перваго періода дѣятельности, прозаическаго содержанія; онъ убѣдится скоро, что реторика преобладаетъ, что наборъ фразъ, мѣстами очень трескучихъ, отличаетъ рѣчь Гоголя; что образы — одинъ туманнѣе другого; обстоятельство, стоящее въ связи съ вліяніемъ романтизма:

„Весь воздухъ небеснаго океана висѣлъ сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнетъ, какъ будто бы царства предстали всѣ на страшный судъ передъ кончиною міра“ [1]).

На каждомъ шагу слова и выраженія, менѣе всего способныя выразить мысль, занимающую писателя: „бремя блаженства“ [2]); „сокрушительное пламя надежды“ [3]); „безумные вопли супруги, исторгающей волосы“ [4]); „въ какіе звуки превращается душа, сильнымъ порывомъ вонзаясь въ безобразную грудь“ [5]); „какъ дрожитъ, какъ стонетъ безсильное земное, пока все не сольется въ духовное море, пока потопъ лбагодарныхъ слезъ не хлынетъ дождемъ въ измученную грудь [6]) . . .“; „усыпили дѣвственныя движенія души его“ [7]). „Уже жизнь его коснулась тѣхъ лѣтъ, когда все дышащее порывомъ, сжимается въ человѣкѣ, когда могущественный смы-

а) Срав. Шенрокъ l. с., Русская старина, 1876, I, 41. [1]) Соч. Гог. I, 265 [2]) I. 296. [3]) II, 383. [4]) II, 394. [5]) I, 75. [6]) I. 75. [7]) I, 186.

чокъ слабѣе доходитъ до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновеніе красоты не превращаетъ дѣвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всѣ отгорѣвшія чувства становятся доступнѣе къ звуку золота . . .“ [1]); „вѣчный стихъ твой гремитъ и стремитъ молнію огненныхъ звуковъ“ [2]); „дрожитъ благовонное море неизъяснимой музыки“ [3]); „твоя божественная мудрость еще младенецъ въ познаніи безконечной бездны коварнаго сердца; . . . и тѣнь свирѣпаго опыта не обхватывала свѣтлыхъ мыслей твоихъ . . .“ [4]); „созерцаемая чувствами природа, въ безсиліи разсказать безсмертныя, вѣчныя муки души, переродилась въ одинъ болѣзненный стонъ“ [5]); „когда въ жилахъ моихъ кипитъ не кровь, а острое пламя, когда всѣ чувства, всѣ мысли, я весь перерождаюсь въ звуки, когда звуки эти горятъ, и душа звучитъ одною любовью . . .“ [6]). „духъ погружается въ упоеніе“ [7]).

Я могъ бы исписать цѣлыя страницы такими и подобными образами и выраженіями въ родѣ: „земность“ „чаша общаго мнѣнія“ [8]), „дробь прихотей и наслажденій“ [9]); „созвукиваются“, „созвукнувшись“ [10]); „водопадъ сновидѣній“ [11]); „громъ въ размышленіи гремитъ“ [12]); „дождя источники горючи сѣкутся звучно и шумятъ“ [13]) и пр. и пр.

Эти всѣ странные продукты слова не могутъ умалить славы Гоголя, но имѣть ихъ ввиду необходимо при оцѣнкѣ того языка, который мы называемъ Гоголевскимъ. Уменьшатся затрудненія при отвѣтахъ на вопросъ: въ какихъ случаяхъ Гоголь выражался такъ дурно, неясно, неопредѣленно, необразно. Посильный отвѣтъ имѣю ввиду дать ниже, а чтобы не возвращаться болѣе къ недостаткамъ стиля Гоголя вообще, я обращу вниманіе на нѣкоторые, болѣе характеристичные, которые не вполнѣ стоятъ въ

---

[1]) Соч. Гог. I, 186—187. [2]) I, 74. [3]) I, 71. [4]) I, 67. [5]) I, 68. [6]) I, 68. [7]) I, 122. [8]) I, 74. [9]) I, 122. [10]) I, 319, 320. [11]) Ib. 93. [12]) I, 28. [13]) I, 14.

связи съ недостатками, обусловливаемыми неясностью и неопредѣленностью мысли.

Слѣдующіе примѣры служатъ доказательствомъ нелогичности и неграмматичности въ употребленіи словъ и выраженій: „проливной дождикъ“ [1]) свидѣтельствуетъ о томъ, что Гоголь первое время не съ поэтическимъ чутьемъ относился къ составу слова; уменьшительный суффиксъ *икъ* не соотвѣтствуетъ содержанію понятія „проливной“; „ни одинъ крикъ не выговорится ясно“ [2]), также не говоритъ въ пользу вдумчиваго отношенія понятій между собою; „невыразимо выразимое покоилось на нихъ“ [3]) лишено смысла. Есть такія фразы: „отчего художникъ съ такимъ *несытымъ* желаніемъ стремится превратить безсмертную идею свою въ грубое вещество“ [4]); поэтъ не подумалъ, что пока желаніе живетъ, пока оно существуетъ въ душѣ, оно не можетъ быть сытымъ, иначе перестаетъ быть самимъ собою (или, быть можетъ это описка слова ненасытимое?); *„молодая ночь давно* уже обнимала землю“ [5]) также указываетъ, что художникъ не вдумывался въ слова; если *давно* ночь обнимала землю, она не могла быть *молодою*, только что *наступившею*; „уже дорога становилась шире, и наконецъ открылась равнина, *раздольная, ограниченная* какъ рамами“ — и затѣмъ: *„синеватыми вдали* (издали казались такими?) горами“ [6]); „найдешь себѣ *бѣдное богатство,* думаешь достать его рукою“ [7]); нельзя понять, *бѣдное* ли употреблено со значеніемъ „жалкаго“, или *богатство* должно было означать *собственность;* „отскочилъ отъ нея пораженный *страхомъ*“ [8]); страхъ — это состояніе, не является внезапнымъ, какъ испугъ; „вдохновенно вонзили черные очи . . .“ [9]); вдохновеніе сопровождается смиреніемъ, у нѣжнаго сердца женщины — тѣмъ болѣе; вонзить шло бы къ состоянію гнѣва, негодованія;

---

[1]) I, 378. [2]) II, 16. [3]) I, 188. [4]) I, 70. [5]) I, 78. [6]) I, 78. [7]) Ib. 390. [8]) I, 170. [9]) I, 264.

„мраморъ *страстный* дышитъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ“ [1]); мраморъ сталъ дышать только зажженный рѣзцомъ; самъ по себѣ мраморъ именно безстрастный, и припоминаются стихи Пушкина („Кто знаетъ край“): „Гдѣ въ наши дни рѣзецъ Кановы *послушный* мраморъ *оживлялъ*“, поэтично характеризующіе мраморъ; „усталое солнце уходило отъ міра, спокойно пропылавъ свой полдень и утро“ [2]); совершенно забыто внутреннее значеніе слова *пылать*, — и сочетаніе „усталость“, съ понятіемъ „*спокойного* (?) пыланія“ тоже не вполнѣ поэтическое, какъ и „окна . . . какъ безчисленныя огненныя очи, *кидаютъ* пламенныя дороги на снѣжную мостовую . . .“ [3]).

Мало поэтиченъ напр. образъ: „Онъ увидѣлъ вверху, внизу, надъ собою и подъ собою *трехсотлѣтніе* дубы, тремъ человѣкамъ въ обхватъ . . .“ — измѣреніе въ аршинахъ, въ числахъ, не производитъ впечатлѣнія; „столѣтніе“, „вѣковые“ болѣе соотвѣтствуетъ цѣли вызвать настроеніе; ариѳметическая точность не прибавитъ ничего, а подобныхъ образовъ найдется не мало, хотя Гоголь ихъ исправлялъ. Иногда встрѣчается просто наборъ словъ, имѣющихъ какъ будто что то высказать, выразить настроеніе, создать настроеніе въ читателѣ, но совершенно безсильныхъ вызвать какой либо образъ, какую либо мысль:

„Что такое любовь? — отчизна души, прекрасное стремленіе человѣка къ минувшему, гдѣ совершалось безпорочное начало его жизни, гдѣ на всемъ остался невыразимый, неизгладимый слѣдъ невиннаго младенчества, гдѣ все родина. И когда душа потонетъ въ эѳирномъ лонѣ души женщины, когда отыщетъ въ ней своего отца — вѣчнаго Бога, своихъ братьевъ — дотолѣ невыразимыя землею чувства и явленія — что тогда съ нею? Тогда она повторяетъ въ

---

[1]) Ib. [2]) II, 22. [3]) I, 74.

себѣ прежніе звуки, прежнюю райскую въ груди Бога жизнь, развивая ее до безконечности“ [1]).

Иногда весьма непоэтичное явленіе поэтъ старается облечь въ поэтическую форму — и неудачно: „. . . *плѣнительно* оборотилось все внизъ головой въ серебряной водѣ“ [2]); внизъ головой“ не производитъ впечатлѣнія красоты; „и поутру уже все жарко“ [3]) совершенно разрушаетъ обаяніе картины, какую поэтъ намѣревался создать, судя по первымъ штрихамъ образа: „. . . сводъ чистъ, сквозь рощу солнце свѣтитъ ярко“, а „День былъ ясный, какъ душа младенца“ [4]) вовсе не объяснитъ характера дня, такъ какъ не *нравственная* чистота дня имѣлась ввиду.

Сравненіе не выяснитъ напр. характера боя въ выраженіи: „расчищая своею саблею, какъ будто мѣсилъ тѣсто“ [5]); а еще темнѣе слѣдующій образъ: „лобъ не опускался прямо къ носу, но былъ совершенно покатъ какъ ледяная гора для катанія“ [6]), причемъ надо замѣтить, что этотъ образъ данъ не съ цѣлью произвести комическое дѣйствіе; или: „колонны, бѣлыя какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ“ [7]).

Очень мало соотвѣтствія замѣчается также между характеромъ рѣчи даннаго лица и характеромъ самаго лица. Простая крестьянка, разсуждая объ условіяхъ семейной жизни, заканчиваетъ рѣчь, говоря о мужѣ-пьяницѣ: „Дрожь обдаетъ меня при одной мысли объ этомъ . . .“ [8]).

Достоинство слога, характеризующаго Гоголя, какъ мастера слова, заключается, между прочимъ, въ достиженіи большихъ результатовъ при возможно меньшей тратѣ словъ, въ сбереженіи силъ.

Въ первый періодъ творчества (иногда и позже) это достоинство не только не замѣчается, а наоборотъ, чувствует-

---

[1]) I, 170. [2]) I, 7. [3]) I, 9. [4]) I, 87. [5]) II, 408. [6]) I, 106. [7]) I, 264. [8]) I, 64.

ся очень часто лишній балластъ; слово, названіе увлекаетъ писателя въ сторону, отвлекаетъ отъ главнаго предмета, во вредъ ясности послѣдняго; мысль утомляется отъ лишняго бремени и не можетъ сосредоточиться на существенномъ: „. . . произнесъ съ разстановкой сторожевой казакъ . . . переминая на ладони съ какой то недовѣрчивостью грубый крошеный табакъ, это странное растеніе, которое съ такою изумительною быстротою разнесла во всѣ концы міра новооткрытая часть свѣта . . .“ [1]).

Стиль страдаетъ отъ вставки ни къ чему неидущихъ словъ и частицъ.

„Сгустились *вотъ* надъ нимъ дерева“ [2]); „ему зазнаться *ужъ* съ тоской“ [3]); „прошелъ онъ дальній *видно* путь, страдаетъ больно, *видно*, грудь“ [4]); „но *этакъ-ли* прекрасно опочію“ [5]); „въ сей *позаброшенной* странѣ“ [6]). Встрѣчается множество неправильностей чисто грамматическаго свойства. Не говорю ужъ объ очень мало употребительныхъ управленіяхъ, какъ родительнаго падежа послѣ „робѣть“: „меня робѣли пастухи“ [7]), „отречься“ въ выраженіи: „но дьявола отрекся“ [8]), или управленіе „прикасаться“ съ дательнымъ: „не прикасались ко времени“ [9]), „пренебречь“ съ винительнымъ: „ пренебречь длинную лѣстницу“ [10]); но попадаются и формы: „къ намъ скученъ“ [11]), „волны облакъ ходятъ“ [12]), или неправильные, совершенно не русскіе обороты: „. . . чтобы видно было, какъ она предводитъ всѣмъ, подобно какъ царица предводитъ за собою придворный чинъ свой“; „и какъ скоро оправился отъ перваго страха незванною помощью“; отдѣленіе предлога отъ управляемаго слова: „при черныхъ глазъ сихъ встрѣчѣ“ [13]); неправильное употребленіе союзовъ: „. . . когда солнце не слѣпитъ яркимъ блескомъ, когда *тоже* буря не свищетъ [14]) (вмѣсто *и* буря не . . . или тоже

---

[1]) I, 108. [2]) I, 11. [3]) I, 10. [4]) I. 41. [5]) I, 23. [6]) I, 18. [7]) I, 8. [8]) I, 9. [9]) II, 282. [10]) I, 189. [11]) I, 10. [12]) I, 7. [13]) I, 16. [14]) I, 196.

и буря), и, наконецъ, просто формы, какихъ ни одинъ русскій писатель не употребитъ: „диче“[1]) вмѣсто „болѣе дико“, „ярчѣе“[2]), вмѣсто „болѣе ярко“ или „ярче“, „тонѣе“[3]) вм. тоньше, „найтиться въ обстоятельствахъ“[4]) т. е. употребленіе двойного окончанія неопредѣленнаго наклоненія: найти-ть-(ся); „былъ совсѣмъ заспавшись“[5]); „... и самый пріобрѣтенный имъ хламъ кое-какихъ знаній ...“ „пробуждался и, *оглянутый* другимъ глазомъ, утверждался навсегда въ его памяти“[6]); „коллежскій ассесоръ былъ въ этомъ свѣдущъ, потому что *былъ посыланъ* нѣсколько разъ на слѣдствіе ...“[7]); „славы *жаждай*, человѣкъ“[8]); „онъ *разрѣзвлялся*“[9]); „эта мысль разрослась у него *огромно*“[10]); „они одѣвались *противоположно* римскому міру“[11]). Неправильное словообразованіе: „образователь юношества“[12]); „во всемъ портретѣ видна была какая то *неокончательность*“[13]) (т. е. неоконченность); „онъ такой *осмотрительный*“[14]) (въ смыслѣ: *наблюдательный)*; „онъ въ долинѣ ходитъ *думный*“[15]) (вмѣсто задумчивый); „и міръ прекрасный ... отворитъ дивныя врата, *привѣтить* юношу готовый“[16]); „остальная жизнь моя — *заплата* малая моя за прежней жизни злую повѣсть“; „а голосъ ... когда ими *звукнетъ*, рѣзвясь ...“[17]); „... дивится самъ онъ суетѣ ... что *задивился* въ блескъ пустой“[18]); „не плачь, спокойся, другъ мой“[19]); „я *обсмотрѣлся* и увидѣлъ двухъ дамъ“[20]) (вм. оглянулся и увидѣлъ); „... поперекъ печалямъ“[21]) (вмѣсто наперекоръ).

О случаяхъ словообразованія, составляющихъ, быть можетъ, важнѣйшій моментъ въ творчествѣ языка писателя, скажу въ другомъ мѣстѣ: здѣсь замѣчу, что приведенными и многими другими словами въ сокровищницу языка привнесено мало.

---

[1]) II, 162. [2]) I, 42. [3]) III, 145. [4]) II, 570. [5]) III, 107. [6]) III, 154. [7]) III, 26. [8]) I, 266. [9]) I, 12. [10]) I, 335. [11]) I, 355. [12]) III, 344. [13]) I, 169. [14]) III, 316. [15]) I, 14. [16]) I, 26. [17]) I, 17. [18]) I, 41. [19]) I, 10. [20]) I, 379. [21]) IV, 100.

Такія и подобныя выраженія составляютъ недостатки слога Гоголя; отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ не освободился онъ и позже, когда языкъ его созрѣлъ и окрѣпъ, и остались недостатками стиля вообще; они незначительны, но замѣтны даже въ „Мертвыхъ душахъ", въ родѣ напр.:

„Впрочемъ, говорятъ, что и безъ того у нихъ была ссора, . . . что были даже подкуплены люди . . . Но что оба чиновника *были* въ дуракахъ" вмѣсто правильнаго *остались* въ дуракахъ [1]). Синтаксисъ затрудняетъ временами нормальное теченіе мысли: „Въ этой конуркѣ онъ приладилъ къ стѣнѣ узенькую трехногую кровать, накрывъ ее небольшимъ подобіемъ тюфяка, убитымъ и плоскимъ какъ блинъ, *который* удалось ему вытребовать у хозяина гостинницы" [2]); мысль должна отыскивать отношеніе „котораго" къ тюфяку, а потому возвратиться къ началу предложенія; „въ движеніи вѣчнаго его кипѣнія и дѣятельности видѣлась теперь ему страшная недѣятельность, страшное царство словъ вмѣсто дѣлъ. Онъ видѣлъ, какъ всякій французъ, казалось, работалъ въ одной разгоряченной головѣ" [3]); здѣсь неясно отношеніе словъ „онъ видѣлъ" и „казалось" и т. д.

Балластъ въ описаніяхъ встрѣчается довольно часто. Періоды временами — безконечные въ 15—20 строкъ. Но самые крупные недостатки стиля обнаруживаются въ случаяхъ, когда мысль уходитъ далеко отъ главнаго предмета и когда, поэтому, теряется весь эффектъ отъ изображенія. Два — три образца должны быть приведены.

Описывается балъ: „Вошедши въ залъ (губернаторскаго дома) Чичиковъ долженъ былъ на минуту зажмурить глаза, потому что блескъ отъ свѣчей, лампъ и дамскихъ платьевъ былъ страшный. Все было залито свѣтомъ. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами тамъ и тамъ, какъ носятся мухи на бѣломъ сіяющемъ рафинадѣ въ пору жар-

---

[1]) IV, 268. [2]) IV, 5. [3]) III, 155.

каго іюльскаго мѣсяца, когда старая ключница рубитъ и дѣлитъ его на сверкающіе обломки передъ открытымъ окномъ: дѣти всѣ глядятъ, собравшись вокругъ, слѣдя любопытно за движеніями жесткихъ рукъ ея, подымающихъ молотъ, а воздушные эскадроны мухъ, поднятые легкимъ воздухомъ, влѣтаютъ смѣло, какъ полные хозяева, и, пользуясь подслѣповатостью старухи, солнцемъ, безпокоющимъ глаза ея, обсыпаютъ лакомые куски, гдѣ въ разбитную, гдѣ густыми кучами. Насыщенныя богатымъ лѣтомъ, и безъ того на всякомъ шагу разставляющимъ лакомыя блюда, онѣ влетѣли вовсе не съ тѣмъ, чтобы ѣсть, но чтобы только показать себя, пройтись взадъ и впередъ по сахарной кучѣ, потереть одна о другую переднія и заднія ножки, или почесать ими у себя подъ крылышками, или, протянувши обѣ переднія лапки, потереть ими у себя надъ головою, повернуться, и опять улетѣть, и опять прилетѣть съ новыми докучными эскадронами. Не успѣлъ Чичиковъ осмотрѣться . . .“ [1]).

Читатель забылъ про Чичикова, про залъ, про свѣтъ, про фраки; а вся картинка появилась неожиданно, вслѣдствіе сопоставленія черныхъ фраковъ съ мухами; поэтъ позабавился, онъ доволенъ; но главный предметъ брошенъ въ сторону, стиль пострадалъ.

„День былъ не то ясный, не то мрачный, а какого-то свѣтлосѣраго цвѣта, — какой бываетъ только на старыхъ мундирахъ гарнизонныхъ солдатъ, этого, впрочемъ, мирнаго войска, но отчасти нетрезваго по воскреснымъ днямъ“. Характеристика солдата по поводу сравненія сѣрого сукна съ сѣрою погодою — балластъ, какихъ довольно, какъ сказано, даже въ самую цвѣтущую пору творчества; эти прибавленія стали какъ бы потребностью мысли, увлекаемой словомъ, заводящимъ за должные предѣлы. Еще одинъ

---

[1]) IV, 11.

образецъ того, какъ пострадалъ стиль отъ лишнихъ увлеченій въ сравненіяхъ, подробно развиваемыхъ на счетъ главнаго предмета сравненія:

„Подъѣзжая къ крыльцу, замѣтилъ онъ (Чичиковъ) выглянувшія изъ окна, почти въ одно время, два лица: женское, въ чепцѣ, узкое, длинное, какъ огурецъ, и мужское, круглое, широкое какъ молдаванскія тыквы, называемыя горлянками, изъ которыхъ дѣлаютъ на Руси балалайки, двухструнныя, легкія балалайки, красу и потѣху ухватливаго двадцатилѣтнаго парня, мигача и щеголя, и подмигивающаго, и посвистывающаго на бѣлогрудыхъ и бѣлошейныхъ дѣвицъ, собравшихся послушать его тихострученнаго треньканья“ [1]).

Здѣсь кстати замѣтить и другого рода балластъ: слишкомъ подробное развитіе мысли со стороны его дѣйствующихъ лицъ, уничтожающее силу изобразительности; нѣтъ экономизаціи вниманія читателя; такъ напримѣръ мѣсто изъ „Женитьбы“:

Кочкаревъ: „Какая же бѣда, если разсердятся? если бы изъ этого что нибудь вышло, тогда другое дѣло; а вѣдь здѣсь самое бо̀льшее, если кто нибудь изъ нихъ плюнетъ въ глаза — вотъ и все“.

Агаѳья Тихоновна. Ну, вотъ, видите!

Кочкаревъ. Да что жъ за бѣда? Вѣдь инымъ плевали нѣсколько разъ, ей Богу! Я знаю тоже одного: прекраснѣйшій собою мужчина, румянецъ во всю щеку; до тѣхъ поръ егозилъ и надоѣдалъ своему начальнику о прибавкѣ жалованья, что тотъ наконецъ не вынесъ — плюнулъ въ самое лицо, ей Богу. „Вотъ тебѣ“, говоритъ, „твоя прибавка, отвяжись сатана!“ А жалованья однакоже все-таки прибавилъ. Такъ что-жъ изъ того что плюнетъ? Если

---

[1]) Ib. 102. [2]) III, 411—412.

бы, другое дѣло, былъ далеко платокъ, а то вѣдь онъ тутъ-же въ карманѣ — взялъ да и вытеръ“. . .

Уничтожена сила юмора послѣдними словами „если бы другое дѣло . . .“. Балластъ иногда замѣчался Гоголемъ, какъ увидимъ ниже, напр. въ сценѣ „Ревизора“ между Гибнеромъ и Хлестаковымъ, въ одной изъ первоначальныхъ редакцій, и выкидывался: „Да, если вы обзавелись, то я бы попросилъ у васъ взаймы . . . то есть . . . вы мнѣ giebt теперь, а я вамъ послѣ назадъ *отгибаю*“ [1]). Этотъ примѣръ, собственно моментъ фарса, желаніе посмѣшить, входитъ все же въ категорію недочетовъ законченности стиля. Тутъ Гоголь вѣдалъ, что творитъ; но что онъ не всегда сознавалъ ошибку, всего нагляднѣе видно на слѣдующемъ отрывкѣ изъ „Мертвыхъ душъ“:

„Бейте его!“ кричалъ онъ (Ноздревъ, въ сценѣ игры въ шашки) такимъ же голосомъ, какъ во время великаго приступа кричитъ своему взводу: „Ребята, впередъ!“ какой-нибудь отчаянный поручикъ, котораго взбалмошная храбрость уже пріобрѣла такую извѣстность, что дается нарочный приказъ держать его за руки во время горячихъ дѣлъ. Но поручикъ уже почувствовалъ бранный задоръ, все пошло кругомъ въ головѣ его, передъ нимъ носится Суворовъ, онъ лѣзетъ на великое дѣло. „Ребята впередъ“ кричитъ онъ, порываясь, не помышляя, что вредитъ уже обдуманному плану общаго приступа, что милліоны ружейныхъ дулъ выставились въ амбразуры неприступныхъ, уходящихъ за облака крѣпостныхъ стѣнъ, что взлетитъ какъ пухъ на воздухъ его безсильный взводъ, и что уже свищетъ роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку“ [2]).

Очевидно, поэтъ увлеченъ самимъ сравненіемъ, забывая о предметѣ сравниваемомъ т. е. о состояніи Ноздрева. Читатель снова опомнится лишь, когда онъ прочитаетъ идущія за этимъ строки.

---

[1]) Ib. 352. [2]) Соч. Г. IV, 94.

Вообще нужно придти къ выводу: Гоголя увлекало слово, оно имъ часто руководило, а не онъ управлялъ имъ.

Не стану останавливаться на характерѣ періодовъ, часто отличающихся необыкновенными длиннотами, при описаніяхъ особенно.

Отмѣчу еще, что къ числу недостатковъ слѣдуетъ отнести нѣкоторое преувеличеніе въ изображеніи способа, которымъ произносятъ въ простонародіи слова: сенахторъ, губернахторъ и т. п.[1])

IX.

Выше указано было на то, что въ первый періодъ творчества, какъ свидѣтельствуютъ факты, языкъ Гоголя далеко не отличался точностью, ясностью, силою выразительности, — свойствами, которыми характеризуется языкъ его въ болѣе позднюю пору, въ періодъ созданія „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“. Еще въ „Тарасѣ Бульба“ мы читаемъ напр. „это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли только возникнуть въ грубый XV вѣкъ, и притомъ на полукочующемъ востокѣ Европы, во время *праваго* и *неправаго* понятія о земляхъ . . .“ „Праваго понятія“ или „неправаго понятія“ конечно нѣтъ, и если Гоголь употребляетъ такія слова, то объяснить это можно и преобладаніемъ чувства, руководившаго поэтомъ при созданіи этого произведенія, не мѣшавшаго эпическому характеру изложенія въ нѣкоторыхъ случаяхъ, и недостаточнымъ развитіемъ способности анализа языковыхъ средствъ. Слогъ крѣпнетъ и формируется постепенно, и мы должны изслѣдовать, какими средствами Гоголь вырабатываетъ языкъ.

Работа предстояла долгая, упорная, и именно въ періодъ наибольшей зрѣлости онъ работалъ наиболѣе мед-

---

[1]) Соч. Г. III. 395.

ленно. Написанное уже лежало подолгу, „вылеживалось“, вынималось на просмотръ, снова отправлялось въ ящикъ, забывалось преднамѣренно и снова вызывало усердное исправленіе. Онъ относился крайне заботливо къ стилю и считалъ необходимымъ медленную работу, которая одна можетъ дать вполнѣ художественное произведеніе. „Служеніе музъ не терпитъ суеты“, и художественный трудъ въ глазахъ Гоголя все больше получалъ характеръ священнодѣйствія; искусство должно быть высшей цѣлью художника: для достиженія ея онъ долженъ отвергнуть всѣ соблазны, повиноваться одному вдохновенію и полагать усиленный трудъ на выработку формы. Еще въ юности онъ взываетъ къ своему генію-хранителю, который долженъ быть свидѣтелемъ его трудовъ и вдохновенія: „о, взгляни, прекрасный, низведи на меня свои небесныя очи. Я на колѣняхъ. Я у ногъ твоихъ, о, не разлучайся со мною . . . Я совершу . . . Труды мои будутъ вдохновенны. Надъ ними будетъ вѣять недоступное землѣ божество. Я совершу . . .“.

Прежде всего замѣчательно, что Гоголь не терпитъ вовсе иностранныхъ, не чисто русскихъ словъ. Онъ употребляетъ иностранное слово лишь въ тѣхъ рѣдкихъ, исключительныхъ почти случаяхъ, когда онъ имѣетъ цѣлью словомъ этимъ возбудить ассоціацію идей, не вызываемыхъ народными словами. Слѣдующіе примѣры словъ, попадающихся у него, покажутъ, каковы должны были быть ассоціаціи, причемъ неполнота перечня не нарушитъ вѣрности вывода: „Дамы города N. были то, что называютъ *презентабельны* [1]; . . . что до того, какъ вести себя, соблюсти *тонъ*, поддержать *этикетъ* [2]; „. . . изъ за нея двѣ дамы, большія пріятельницы . . . перессорились, — именно за то, что одна изъ нихъ какъ то *манкировала контръ-визитомъ* [3]; . . . нельзя было примирить ихъ за *манкировку визита*“. „. . . Впрочемъ дамы были вовсе не

[1]) IV, 175. [2]) Ib. [3]) Ib.

интересанки" [1]); „. . . но по самому носу дернулъ его цѣлый рядъ локтей, . . . *галопадъ* летѣлъ во всю пропалую" [2]); „. . . одни глаза ихъ такое безконечное государство . . . нѣтъ просто не приберешь слова: *галантерная* половина человѣческаго рода, да и ничего больше" [3]). „Одна очень любезная дама, которая пріѣхала вовсе не съ тѣмъ, чтобы танцовать, по причинѣ . . . небольшого *инкомодите* въ видѣ горошинки на правой ногѣ . . ." [4]). „. . . Разговоръ сначала не клеился, но послѣ дѣло пошло; онъ началъ даже получать *форсъ* . . ." [5]). „Ноздревъ захлебнувъ *куражу* въ двухъ чашкахъ чаю, конечно не безъ рому, вралъ немилосердно" [6]). „. . . Вы не вѣрите, ваше превосходительство, (говоритъ Ноздревъ) какъ мы другъ къ другу привязаны . . . вотъ вы бы сказали: „Ноздревъ, скажи по совѣсти, кто тебѣ дороже, отецъ родной, или Чичиковъ?" скажу „Чичиковъ". . . позволь душа, я тебѣ влѣплю одинъ *безе*" [7]); „. . . ибо сами даже дамы замѣтили, что поведеніе его черезчуръ становилось *скандалезно*" [8]). Преднамѣренность и расчетъ въ употребленіи подобныхъ словъ очевидны: „оремы" (horreur), „скандалезы" и т. п. „ребенки плачутъ" говоритъ дама „пріятная во всѣхъ отношеніяхъ"; и если не прямо, то косвенно Гоголь самъ объяснитъ намъ значеніе ихъ; вспомнимъ только слѣдующія мѣста изъ „Мертвыхъ душъ: „Чтобы еще болѣе облагородить русскій языкъ, половина почти словъ была выброшена вовсе изъ разговора, и потому весьма часто нужно было прибѣгать къ французскому языку. За то уже тамъ, пофранцузски, другое дѣло, тамъ позволялись такія слова, которыя были гораздо пожестче упомянытыхъ" [9]), — изъ упомянутыхъ жесткими были: „я высморкалась", „я спотѣла", „я плюнула", которыя слѣдовало замѣнять: „я облегчила себѣ носъ" и пр.; вмѣсто „стаканъ воняетъ" — „стаканъ дурно ведетъ себя". — Дру-

---

1) IV, 177. 2) IV, 182. 3) IV, 183. 4) IV, 187. 5) IV, 189. 6) IV, 191. 7) IV, 193. 8) IV, 194. 9) Ib. 177.

гое мѣсто: „Виноватъ, кажется изъ устъ нашего героя излетѣло словцо, подмѣченное на улицѣ. Что же дѣлать? Таково на Руси положеніе писателя! Впрочемъ, если слово изъ улицы попало въ книгу, не писатель виноватъ, виноваты читатели, и прежде всего, читатели высшаго общества: отъ нихъ первыхъ не услышишь ни одного порядочнаго русскаго слова, а французскими, нѣмецкими и англійскими они, пожалуй, надѣлятъ въ такомъ количествѣ, что и не захочешь... А вотъ только русскимъ ничѣмъ не надѣлятъ... А между тѣмъ какая взыскательность! Хотятъ непремѣнно, чтобы все было написано языкомъ самымъ строгимъ, очищеннымъ и благороднымъ, — словомъ хотятъ, чтобы русскій языкъ самъ собою опустился вдругъ съ облаковъ, обработанный, какъ слѣдуетъ, и сѣлъ бы имъ прямо на языкъ, а имъ бы больше ничего, какъ только разинуть рты и выставить его“ [1]).

Кажется толкованія лишни: поэтъ сознательно, преднамѣренно, старается внести русскія слова и сдѣлать рѣчь свою русскою, очистивши ее отъ всего лишняго, ненужнаго. Онъ употребляетъ иностранныя слова, съ цѣлью вызвать извѣстное настроеніе — пренебреженіе къ французоманіи и его вліянію, портящему чистоту русской рѣчи [2]). Сильнѣйшая иронія, весьма злая, ѣдкая, слышится въ слѣдующихъ словахъ, сказанныхъ Гоголемъ: „... Какъ ни исполненъ авторъ благоговѣнія къ тѣмъ спасительнымъ пользамъ, которыя приноситъ французскій языкъ Россіи; какъ ни исполненъ благоговѣнія къ похвальному обычаю нашего высшаго об-

---

[1]) Ib. 183. [2]) Замѣчаніе г. Шенрока, сдѣланное имъ на стр. 589 VII т. X изд. о томъ, что Гоголь замѣнялъ слово „обращеніе“ словомъ „манерами“ не измѣняетъ сказаннаго; иностранное слово болѣе соотвѣтствовало цѣли изображенія: „Всѣ чиновницы города NN были очень полны; но шнуровались такъ искусно и имѣли такія прекрасныя манеры, что вовсе не было замѣтно толщины“. Я полагаю, что эта замѣна не должна быть объясняема „излюбленнымъ сочетаніемъ“ словъ и одинаковымъ (постояннымъ) ихъ употребленіемъ въ извѣстные періоды времени.

щества, изъясняющагося на немъ во всѣ часы дня, конечно, изъ глубокаго чувства любви къ отчизнѣ; но при всемъ томъ никакъ не рѣшается внести фразу какого бы ни было чуждаго языка въ сію русскую свою поэму“ [1]).

До крайностей иныхъ гонителей иностранныхъ словъ Гоголь не доходилъ, но въ случаяхъ, когда понятіе поддается выраженію на русскомъ языкѣ, онъ выбираетъ русскія слова. Кромѣ указанныхъ выше словъ, Гоголь употребляетъ и такія, которыя не имѣютъ вовсе соотвѣтствующихъ русскихъ названій, для которыхъ и трудно создать таковыя, напр: лакей, ливрея, оригиналъ и т. под., но выбрасываетъ тѣ, которыя имѣютъ соотвѣтствіе въ нашемъ языкѣ, не смотря на то, что употребляемы были имъ по временамъ раньше, когда онъ надъ стилемъ не особенно задумывался. Такъ, въ первой редакціи „Тараса Бульбы“: „. . . Битвы были почти непрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучнымъ занимать изученіемъ какой нибудь *дисциплины*. Очень рѣдкіе имѣли примѣрные *турниры*“ [2]).

Въ послѣдней редакціи: „Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки изученіемъ какой нибудь дисциплины, кромѣ развѣ стрѣльбы въ цѣль, да изрѣдка конной скачки и гоньбы за звѣремъ въ степяхъ и лугахъ“.

Слово „дисциплина“ (не въ смыслѣ науки) не имѣетъ соотвѣтствующаго (вполнѣ) русскаго слова — оно оставлено; „турниръ“ замѣненъ, и потому, надо полагать, что рыцарское занятіе не подходитъ къ козаку (хотя козакъ и называется „лыцаремъ“), и потому, что взятыя имъ выраженія — русскія.

„Всякій, приходившій сюда (въ сѣчь), позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и съ жаромъ фанатика предавался волѣ и товариществу . . .“ [3]).

Во послѣдней редакціи *„фанатика“* совершенно опущено.

[1]) Соч. Гог. XII изд. IV, 204. [2]) II, 424. [3]) Ib.

Въ ранней редакціи: „разсказы . . . такъ были смѣшны . . . что нужно было имѣть *флегматическую* наружность запорожца, чтобы не смѣяться“ [1]); въ измѣненной редакціи „флегматическую“ замѣнено словомъ „хладнокровную“ [2]).

„Молодые . . . сгорали нетерпѣніемъ, и въ числѣ ихъ были Остапъ и Андрій . . . исполненные отваги . . . жадные узнать новыя *эволюціи* и *варіаціи* войны“ [3]); во второй редакціи послѣднія слова совершенно опущены [4]); равнымъ образомъ опущены слова, идущія вслѣдъ за приведенными: „Онъ (Остапъ) теперь уже казался чѣмъ-то *атлетическимъ, колоссальнымъ“* [5]) и т. д.

При передѣлкахъ и исправленіяхъ своихъ произведеній Гоголь замѣнялъ слова иностранныя, употребленныя первоначально, въ ранней редакціи, словами русскими, даже въ такихъ случаяхъ, когда слово иностранное имѣло (и до сихъ поръ имѣетъ) право гражданства, и помимо соотвѣтствующаго слова русскаго; такъ *„характеристика“* замѣнена *„опредѣленіемъ“*:

Ранняя редакція: „. . . сказалъ Чичиковъ, спачала нѣсколько озадаченный такою, отчасти рѣзкой, *характеристикой*“ [6]).

Послѣдняя редакція: „Чичиковъ немного озадачился такимъ, отчасти рѣзкимъ, опредѣленіемъ“ [7]).

Въ другомъ мѣстѣ „секретъ“ замѣнено — *„мое дѣло“*:

Ранняя ред.: „А на что тебѣ?“

— Ну, да мнѣ нужно.

„Да на что?“

— Ну да ужъ это мой *секретъ*“ [8]).

Послѣдняя реплика замѣнена: „ну, ужъ это мое дѣло“ [9]).

Ранняя редакція: „нѣтъ, я думаю, ты такъ родился медвѣдемъ! Конечно, если бы тебя *отшлифовали* . . .“ [10]).

Послѣдняя: „Хотя бы воспитали тебя по модѣ“ [11]) и т. п.

---

[1]) Ib. [2]) II. 293. [3]) II, 436. [4]) Ib. 313. [5]) Ib. 436. [6]) X Изд. VII, 237. [7]) XII Изд. IV, 105. [8]) X Изд. VII. 219. [9]) XII Изд. IV, 84. [10]) X Изд. VII, 246. [11]) XII, IV, 116.

„Крендель“ замѣненъ *калачемъ;* „натурально“ — *разумѣется;* „пауза“ — *молчаніемъ;* „аппетитныя“ части — *возбудительными* частями; „сконфуженный“ — *смущеннымъ.*

То тутъ, то тамъ попадется: „партизанъ“, „экстрактъ“, „оппозиціонности“, „экстренности“, „фантасмогорическое лицо“, „эластическій“ и т. п.; но они въ ничтожно-незначительномъ количествѣ, и неизбѣжны въ большинствѣ случаевъ.

Еще случаи употребленія: а) при преднамѣренномъ искаженіи словъ: „штука“, „штукенція“, „штукарь“, „финтить“; „. . . Дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, . . . учинилъ мнѣ смертельную обиду, какъ *персонально* до чести моей относящуюся, такъ равномѣрно въ уничиженіе и *конфузію* моего чина . . .“ [1]).

„Позвольте же только разсказать вамъ, душенька . . . вѣдь это исторія, понимаете-ли, исторія, *сконапель историръ* . . .“ [2]).

„Ну, можно-ли было предполагать, . . . что онъ произведетъ такой странный *маршъ* . . .“ [3]); б) съ цѣлью ироніи: „Мужикъ оглянулся и хотѣлъ что-то промолвить дочери, но въ сторонѣ послышалось слово: пшеница. Это магическое слово заставило его въ ту же минуту и присоединиться къ двумъ громко разговаривавшимъ *негоціантамъ* . . . вотъ что говорили *негоціанты* о пшеницѣ“ [4]).

Насколько исключеніе иностранныхъ словъ изъ нашего словаря, имѣющаго свой запасъ словъ, составляетъ заслугу Гоголя въ исторіи русскаго литературнаго языка, настолько исключеніе всякихъ образовъ миѳологическихъ, т. е. словъ, замѣняющихъ русскія названія, должно считаться работою надъ усовершенствованіемъ языка. И Жуковскій, и Пушкинъ еще употребляли миѳологическія названія въ большомъ

---

[1]) II, 551. [2]) IV, 204. [3]) IV, 210. [4]) II, 17.

изобилии; тогда мода была на нихъ велика. Гоголь почти вывелъ эту моду, изрѣдка только платя ей дань.

„Служители амура", „Фавнъ", „прекрасная Дріада" [1], „Мельпомена" [2], — этими и подобными названіями щеголяетъ Гоголь въ первую, самую первую пору созданія „Ганца Кюхельгартена", когда онъ находился еще безраздѣльно подъ обаяніемъ Пушкина. Но и здѣсь они еще не очень часты, и въ нѣкоторой степени подходили къ сюжету. Позже мы встрѣчаемся съ ними весьма рѣдко; ихъ почти и незамѣтно, являясь лишь въ такихъ случаяхъ, когда Гоголю нужно воспользоваться ими для юмористическихъ своихъ оборотовъ рѣчи: „Изъ оконъ второго и третьяго этажа присутственныхъ мѣстъ высовывались неподкупныя головы жрецовъ Ѳемиды" [3]; „... приносили (чиновники) частыя жертвы Вакху, показавъ такимъ образомъ, что въ славянской природѣ есть еще много остатковъ язычества" [4], „... Чичиковъ разсматривалъ гостя. Платонъ Михайловичъ Платоновъ былъ Ахиллесъ и Парисъ вмѣстѣ" [5]. Еще два — три подобныхъ примѣра — и только.

X.

Внесеніе русскихъ словъ въ литературную рѣчь являлось у Гоголя и потребностью инстинктивною, вызываемою творческимъ духомъ, но было въ значительной степени и дѣломъ сознательнаго отношенія къ языку. Гоголь понималъ, какъ весьма немногіе понимаютъ и до сихъ поръ, что писатель не только можетъ, но и долженъ пользоваться не одними лишь словами и выраженіями, которыя нашли право гражданства во всѣхъ слояхъ русскаго общества, но также и мѣстными, народными словами, употребляемыми въ рѣчи, и не только влагая ихъ въ уста выставляемыхъ имъ въ

---

[1] Соч. Гог. I, 16. [2] I, 59. [3] Соч. Г. IV, 156. [4] Ib. 258. [5] Ib. 370.

произведеніяхъ лицъ, но и самому употребляя ихъ въ своемъ произведеніи. Онъ не только не задавался цѣлью оградить литературный языкъ отъ вліянія народныхъ элементовъ, чего желали многіе, но, напротивъ, широкое мѣсто отводитъ народному языку — какъ едва ли кто либо изъ другихъ писателей, даже позднѣйшихъ, какъ Толстой и Достоевскій. Гоголь хорошо понималъ, что литературный языкъ долженъ быть языкомъ народа, а потому необходимо умышленно приблизиться къ нему. Невозможно безъ вреда для развитія языка уклоняться отъ языка разговорнаго, отъ языка обиходнаго образованныхъ классовъ общества, — тѣмъ болѣе отъ языка народа, отъ котораго языкъ литературный получаетъ живительные соки и обновленіе.

Развитію чувства языка (Sprachgefühl) содѣйствовало чутье врожденное, содѣйствовало и изученіе народныхъ словъ. Біографическія данныя не достаточно полны, чтобы можно было прослѣдить работу изученія Гоголемъ словъ народныхъ; но есть данныя, которыя наводятъ на мысль, что изученіе было весьма старательное. Приведу нѣкоторыя только, отсылая читателя, между прочимъ, къ VI тому большого Тихонравовскаго (г. Шенрока) изданія, заключающаго въ себѣ „Полный текстъ карманныхъ записныхъ книжекъ“. Здѣсь находимъ записи словъ и выраженій, бывшихъ Гоголю неизвѣстными, притомъ и въ отдѣльности, и въ связи съ текстомъ, въ которомъ слово употреблено; мы видимъ, — стало быть, двойное пониманіе имъ значенія слова; напр.:

„*Умѣтливъ* — говорящій кстати:

Будь въ чужихъ словахъ незамѣтлива,
А въ своихъ проста да умѣтлива“,

или безъ толкованія, самое лишь слово: „*кривошлыка*“:

У меня младой, свекровушка лихая,
Кривошлыка неприв̀ѣтливая,

или съ объясненіями безъ образцовъ, въ которыхъ данное слово встрѣчается: „чумазый“ — замарашка; „чортъ“ въ Симбирской — шишига; „сгибень“ — пирогъ съ фаршемъ, лепешка, загнутая надвое; „заварное тѣсто“, — прежде замѣшанное круто, опущенное въ горячую воду и потомъ запекённое“. Послѣднее слово предложенія показываетъ, какъ Гоголь временно умѣлъ переноситься, безсознательно конечно, движимый чувствомъ языка, въ языкъ ему чужой. Далѣе слѣдуетъ напр.: „Софронъ“ — простакъ. „строка“ — подлая муха желтаго цвѣта, кусающая коровъ подъ хвостомъ“ и т. д.

Записываются названія блюдъ: *„няня“*, *„желудокъ“*, *„кулебяка“*, *„говядина“;* названіе голубей: „синехвостый“, „взлизастый“, „наплекой“, „коноплястый“, „смурой“ и т. д.; идутъ слова, обозначающія моменты ловли ихъ; такъ же точно изучаются самымъ подробнымъ образомъ слова, имѣющія отношенія къ хлѣбной продажѣ, хлѣбопашеству: — „просо *брунѣетъ*, когда начинаетъ краснѣть“; „козлецъ, полынь, песика *задавила* хлѣбъ — когда травы разрастаются сильно“; или названія мужичекъ, кабаковъ; или примѣты дурного управителя и т. д.

Записывалъ и заучивалъ Гоголь такимъ же образомъ цѣлыя рѣченія, фразы, поговорки, анекдоты и т. п., и они вошли въ самыя произведенія.

Нѣтъ необходимости перечислять мѣста изъ произведеній Гоголя, показывающія, какъ усвоенное сознательно (выученное) вносилось при удобномъ случаѣ въ творенія, тѣмъ болѣе, что г. Шенрокомъ сведены слова, внесенныя Гоголемъ изъ записной книжки въ сочиненія [a]); въ видѣ примѣра, однако, нѣсколько сопоставленій сдѣлать нужно.

„Эхъ ты *Софронъ!* Развѣ нельзя быть въ одно время и на ярмаркѣ, и купить землю?“ [1]).

---

a) VII, 590 и сл. [1]) Соч. Гог. IV, стр. 80. Слово „Софронъ“ находится въ Карманн. Запис. Книж. См. X изд. VI т. 465.

„Ну послушай, чтобы доказать тебѣ, что я вовсе не какой нибудь *скалдырникъ* . . .“ [1]).

„Не загни я послѣ *пароле* на проклятой семеркѣ *утку*, я бы могъ сорвать весь банкъ“ [2]).

„Тутъ Собакевичъ подсѣлъ поближе, и сказалъ ему тихо на ухо, какъ будто секретъ: „хотите — *уголъ*“ [3]).

„Деревенскія избы мужиковъ тоже срублены были на диво; не было *кирченыхъ* стѣнъ“ [4]).

Что сказано относительно отдѣльныхъ словъ, примѣнимо и къ рѣченіямъ, поговоркамъ:

„Онъ (Чичиковъ) узналъ, что у него (повытчика) была зрѣлая дочь, съ лицомъ, тоже похожимъ на то, *какъ будто по немъ происходила по ночамъ молотьба гороху*“ [5]) и т. п.

До какой степени Гоголь былъ воспріимчивъ къ народному языку со всѣми его тонкостями звуковыми, доказываетъ напр. помѣщенный въ „Записной книгѣ“ слѣд. разговоръ:

„Обозъ ѣдетъ, мужикъ остановился . . . и кричитъ:

— Сенька!

— Що?

— Скажи моей кобылѣ: тпру!

— Нерзля (sic!).

— Да що жъ нерзля?

— Кроха у ртю“ и т. д. [6]).

Такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, что языкъ Гоголя глубоко коренится въ языкѣ народа русскаго, въ широкомъ смыслѣ слова, то привожу лишь для образца нѣсколько мѣстъ изъ произведеній, носящихъ явные слѣды словъ и выраженій, преднамѣренно усвоенныхъ. Искусство Гоголя заключается въ умѣніи пользоваться этими словами въ данный моментъ,

---

[1]) Соч. Гог. IV, 86; слово „скалдырникъ“ въ „Карм. Запис.“ 464. VI т. [2]) Соч. Гог. IV, 69; пароле, загнуть утку, въ „Карм. Зап.“ 459. VI т. [3]) Соч. Гог. IV, 115; слово уголъ въ „Карм. Зап.“ 509. VI т. [4]) Соч. Гог. IV, 102; слово кирченныхъ въ „Карм. Зап.“ 459 („Кирченая изба“) VI т. [5]) Соч. Гог. IV, 259. Выраженіе въ „Карм. Зап.“ 510, VI. „Чортъ по ночамъ горохъ молотилъ на рожѣ“. [6]) Соч. Гог. X изд. VI, 463.

всего болѣе требующій этого выраженія. На нѣкоторыхъ примѣрахъ видно будетъ, сколько вниманія удѣлено языку, усвоенію котораго, разумѣется, помогала замѣчательная наблюдательность художника.

„Надобно имѣть любовь къ труду; безъ этого ничего нельзя сдѣлать. Надобно полюбить хозяйство . . . Тутъ человѣкъ идетъ рядомъ съ природой . . . Еще не появилась весна, а ужъ зачинаются работы: подвозы и дровъ, и всего, на время распутицы; подготовка сѣмянъ; переборка, перемѣрка по амбарамъ хлѣба и пересушка; установленье новыхъ тяголъ. Прошли снѣга и рѣки — работы такъ вдругъ и закипятъ: тамъ нагрузка на суда, здѣсь расчистка деревъ по лѣсамъ, пересадка деревъ по садамъ, и пошли взрывать повсюду землю. Въ огородахъ работаетъ заступъ, въ поляхъ — соха и борона. И начинаются посѣвы . . . урожай сѣютъ! Наступило лѣто — покосы, первѣйшій праздникъ хлѣбопашца, — бездѣлица! пойдутъ жатва за жатвой: за рожью пшеница, за ячменемъ овесъ, а тутъ и дерганье конопли. Мечутъ стога, кладутъ клади. А тутъ августъ перевалилъ за половину — пошла свозка всего на гумна. Наступила осень — запашки и посѣвы озимыхъ хлѣбовъ, чинка амбаровъ, ригъ, скотныхъ дворовъ, хлѣбный опытъ и первый умолотъ. Наступитъ зима — и тутъ не дремлютъ работы: первые подвозы въ городъ, молотьба по всѣмъ гумнамъ, перевозка перемолотаго хлѣба изъ риги въ амбары, по лѣсамъ рубка и пиленье дровъ, подвозъ кирпичу и матеріалу для весеннихъ построекъ . . .“ [1]).

Отрывокъ свидѣтельствуетъ объ изумительномъ умѣніи говорить языкомъ народа, умѣніи, основанномъ на глубокомъ изученіи *склада* рѣчи народной.

Вотъ отрывокъ, заключающій въ себѣ рядъ названій: „Вошедши на дворъ, увидѣли тамъ всякихъ собакъ, и

---

[1]) XII изд. IV, 397.

густо-псовыхъ, и чисто-псовыхъ, всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ и мастей: муругихъ, черныхъ съ подпалинами, полнопѣгихъ, муругопѣгихъ, красно-пѣгихъ, черноухихъ, сѣроухихъ . . . Тутъ были всѣ клички, всѣ повелительныя наклоненія: стрѣляй, обругай, порхай, пожаръ, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, косатка, . . . всѣ онѣ, тутъ же пустивши вверхъ хвосты, зовомые у собачеевъ правѝлами . . .“ [1]). Вотъ еще отрывокъ, и передъ нами новый разрядъ словъ, подслушанныхъ и выученныхъ Гоголемъ, Богъ его вѣдаетъ гдѣ и когда: „хозяинъ заказывалъ повару подъ видомъ ранняго завтрака . . . у мертваго родился бы аппетитъ. И губами подсасывалъ и *причвокивалъ*. Раздавалось только „да поджарь, да дай взопрѣть хорошенько . . . Да кулебяку сдѣлай на четыре угла. Въ одинъ уголъ положи ты мнѣ щеки осетра да вязигу, въ другой запусти гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молокъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь этакого, . . . да чтобы съ одного боку она, — понимаешь? — зарумянилась бы, а съ другого *пусти* ее полегче. Да исподку-то, исподку — понимаешь? — пропеки такъ, чтобы разсыпалась, чтобы всю ее проняло, знаешь, сокомъ, чтобы и не услышалъ ее во рту . . . Да сдѣлай ты мнѣ свиной сычугъ. Положи въ середку кусочекъ льду, чтобы онъ взбухнулъ хорошенько. Да чтобы къ осетру обкладка, гарниръ-то, гарниръ-то чтобъ былъ побогаче, обложи его раками да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршецомъ изъ сняточковъ, да подбавь мелкой сѣчки, хрѣнку, да груздочковъ, да рѣпушки, да морковки, да бобковъ . . . подпусти и брюкву и свеклу . . .“ [2]). Эта картинка, изумительная по художественности, переносящая читателя въ самую душу заказывающаго знатока кулебяки, представляетъ лишь каплю въ морѣ подобныхъ картинокъ; они изобилуютъ такимъ богатствомъ оттѣнковъ одного и того-же понятія — и всѣ на-

---

[1]) IV, 79. [2]) Соч. Гог. IV, 376.

родны до такой степени, что слышишь ихъ будто непосредственно изъ устъ создавшаго слова́: „и губами причвокивалъ“, „поджарь“, „да дай взопрѣть“, „да сдѣлай“, „положи“, „запусти“, „да пусти полегче“, „да исподку пропеки“, „чтобы проняло ее“, „да обложи“, „да проложи“, „да подбавь“, „да подпусти“ — никто еще не пользовался такимъ запасомъ народныхъ словъ, которыми живописуетъ художникъ, словно красками на холстѣ, до осязаемости.

„Зажмуря глаза и приподнявъ голову кверху, къ пространствамъ небеснымъ, предоставлялъ онъ обонянью впивать запахъ полей, а слуху поражаться голосами воздушнаго пѣвучаго населенія, когда оно отовсюду, отъ небесъ и отъ земли соединяется въ одинъ хоръ, не переча другъ другу: бьетъ перепелъ, дергаетъ въ травѣ дергунъ, урчатъ и чиликаютъ перелетающія коноплянки, по невидимой воздушной лѣстницѣ сыплются трели жаворонковъ и турлыканье журавлей . . .“ [1]).

Можно (и слѣдуетъ) составить словарь словъ, которыми пользуется Гоголь, какъ въ своей рѣчи, такъ и въ рѣчи выводимыхъ имъ лицъ; а здѣсь мы имѣли лишь ввиду ознакомить съ характеромъ работы надъ стилемъ и указать на то, что онъ вносилъ въ произведенія весьма многое изъ запаса накопленнаго имъ постепенно. Онъ дорожилъ этимъ сокровищемъ своимъ, потому что имъ онъ вдохновлялся, и не могъ бы онъ проявить всей силы своего таланта, не имѣй онъ въ запасѣ этого богатства, какого не имѣлъ ни одинъ писатель.

Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни, тѣмъ болѣе другіе поэты не допускали народныхъ выраженій въ такихъ широкихъ размѣрахъ, какъ Гоголь. Такія выраженія, какъ „у ней (у няни) попы *дерутъ молебенъ*“ весьма рѣдки у Пушкина,

---

[1]) IV, 331.

и то въ письмахъ къ друзьямъ; нужно *отыскивать* у Пушкина стихи въ родѣ:

„Люблю я дружескія враки,

или:

„Сердиться также безразсудно
И на отдѣльнаго срамца".

или:

„Не дерзай въ стихахъ безсмысленныхъ
Въ Серафимовъ жарить пушками".

У Гоголя рѣчь не обходится безъ простонародныхъ выраженій, или вѣрнѣе, словъ, созданныхъ подъ вліяніемъ народной рѣчи.

Не даромъ Гоголь говоритъ по поводу всего того, что̀ вышло изъ глубины Руси, „гдѣ нѣтъ ни нѣмецкихъ, ни чухонскихъ, ни всякихъ иныхъ племенъ, а все самъ самородокъ, живой и бойкій русскій умъ, что̀ не лѣзетъ за словомъ въ карманъ, не высиживаетъ его, какъ насѣдка цыплятъ, а влѣпливаетъ сразу ... И всякій народъ, носящій въ себѣ залогъ силъ, полный творящихъ способностей души, своей яркой особенности ... своеобразно отличился каждый своимъ собственнымъ словомъ, которымъ отражаетъ часть собственнаго своего характера ... но нѣтъ слова, которое было бы такъ замашисто, бойко, такъ вырвалось бы изъ подъ самого сердца, такъ бы кипѣло и животрепетало, какъ мѣтко сказанное русское слово" [1]).

Нѣтъ почти страницы, на которой не встрѣтились бы слова, которыя „вышибаются" (употребляя выраженіе Гоголя) изъ нутра художника, строющаго свою рѣчь на рѣчи народной (и простонародной). „Закрутить", „загнуть слово", „влѣпить", „ввернуть слово", „сыпать побранки" [2]); „ругнуть

---

[1]) Соч. Гог. IV, 119, 120. [2]) Соч. Гог. II, 80. „Засунувъ руку, началъ онъ шарить и сыпать побранки, не отыскивая его". Срав. „подсыпать аллегоріи", IV, 185.

во всѣ бока“ [1]), „хоть святыхъ вонъ неси“ [2]), „проводить попа въ рѣшетѣ“ [3]), „припустить во всѣ лопатки“ [4]), „дать тягу“ [5]), „гулять на прахъ“ [6]), „пошла писать губернія“ [7]), „пошли писать чушь и дичь“ [8]), „подмаслить“ [9]), „хапуга“ [10]), „покропить спину“ [11]). Тысячу, тысячу такихъ словъ — вотъ стиль Гоголя.

Не упоминаю о такихъ, которые не оригинальны у Гоголя, а встрѣчаются и у Пушкина и Лермонтова, въ языкѣ былинъ, сказокъ въ родѣ: „безъ пóкрика и пóсвиста“ [12]), „молвь“ [13]), „топь“ [14]), „кричать кричмя“ [15]), „сиднемъ-сидѣть“ [15]) и т. д. и т. п.

XI.

Помимо труда собиранія словъ, о которомъ шла рѣчь. ему предстояла работа исправленія слога, измѣнявшагося по мѣрѣ развитія чутья къ русскому языку. Не останавливаясь на всѣхъ подробностяхъ этой работы, могущей соста-

---

1) Соч. Гог. II, 22, „Все это штуки старой вѣдьмы, которую мы сегодня съ хлопцами ругнули на всѣ бока“. 2) Соч. Гог. II, 53, „А какъ начнутъ дурить и строить штуки, . . . ну тогда хоть святыхъ выноси!“ 3) Соч Гог. II, 43, „Я видѣлъ такихъ иновѣрцевъ, которымъ провозить попа въ рѣшетѣ было легче, нежели нашему брату понюхать табаку“. 4) Соч. Гог. II, 342. „Испуганный жидъ припустился тутъ-же во всѣ лопатки . . .“. 5) Соч. Гог. II, 45, „. . . отецъ ея . . . былъ въ плѣну . . . и какимъ то чудомъ далъ тягу“. 6) Соч. Гог. II, 93, „. . . тутъ-то и нужно гулять, какъ говорится на прахъ“. 7) Соч. Гог. IV, 183, „Вона! пошла писать губернія, проговорилъ Чичиковъ . . .“. 8) Соч. Гог. IV, 19, „Едва только ушелъ назадъ городъ, какъ уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь . . .“. 9) Соч. Гог. IV, 54, „Еще третью недѣлю взнесла больше полутораста, да засѣдателя подмаслила . . .“. 10) Соч. Гог. III, 287, „У однихъ надежда на избавленіе . . . всякого рода хапугъ“. 11) Соч. Гог. II, 47, „Очнувшись, снялъ онъ . . . нагайку и уже хотѣлъ было покропить ею спину бѣднаго Петра . . .“. 12) Соч. Гог. II, 357, „. . . Конница чинно, безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотала . . .“. 13) Соч. Гог. II, 93, „Но въ полѣ становилось . . . сумрачнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ становилась несвязная и молодецкая молвь“. 14) Соч, Гог. II, 357, „Глухо отдавалась только конская топь . . .“. 15) Соч. Гог. IV, 318, „И этакъ проводилъ время одинъ одинешенекъ . . . Сидень-сиднемъ, въ халатѣ . . .“.

вить отдѣльный предметъ изслѣдованія, я остановлюсь на немногихъ, чтобы намѣтить путь, какимъ Гоголь шелъ ввиду цѣлей художественныхъ. Мы увидимъ ниже, что всѣ обусловливаются силами, стоявшими въ гармонической связи.

Наблюденія надъ фактами приводятъ къ несомнѣнному выводу, что въ природѣ Гоголя было нѣчто такое, что влекло его къ созиданію новыхъ выраженій. Всего болѣе выступаетъ потребность образованія словъ по такъ назыв. аналогіи — и въ этомъ случаѣ ему представляется цѣлесообразнымъ превращеніе напр. существительнаго имени въ прилагательное, въ глаголъ, причемъ онъ очень мало справляется съ логикой русскаго языка, какъ бы ни незначительно вообще участіе логики въ жизни языка.

Изъ *„равнодушный“* онъ образуетъ *„обравнодушить“*: „не отъ неудачъ-ли это, которыя меня совершенно обравнодушили ко всему?“ [1]); и по этому образцу, напр. *„объиностранить“*: „русскіе объиностранились и сдѣлались ни тѣмъ ни другимъ“ [2]), *„омноголюдить“*: „бѣгущія толпы монаховъ, жидовъ, женщинъ вдругъ омноголюдили тѣ города“ [3]) и т. п. Отъ глаголовъ онъ образуетъ имена существит.: „благодарю васъ на *незабытіе*“ [4]); причемъ иногда слово, внѣ предложенія совершенно непонятно, напр.: *„несбытодуміе“*, получающее значеніе лишь въ фразѣ: „. . . и предопредѣленіе никогда не давало сбыться моимъ планамъ, будто въ насмѣшку надъ моимъ несбытодумьемъ“ [5]); или *„безпроисшествіе“*, становящимся понятнымъ въ сочетаніи: „я долженъ все знать, даже самую скуку . . . даже ничтожность . . . и безпроисшествіе твоей жизни“ [6]); или *„обдумье“* въ предложеніи: „. . . Я принужденъ лишиться . . . удовольствія, которое я замѣняю утѣшеніемъ будущаго свиданія . . . а до

---

[1]) Кулишъ. Соч. и Письма Гоголя V, 77. [2]) Соч. и Пись. V, 79. [3]) Соч. Гог. II, 312. [4]) Соч. и Пис. V, 46, 76. „Чувствительно благодарю за незабытіе“. [5]) Соч. и Пис, V, 49. [6]) Соч. и Пис. V, 298.

того времени въ глубокомъ обдумьи ... нового бытія въ дѣятельномъ мірѣ, для блага котораго посвящена моя жизнь“[1]).

Приведенные примѣры можно увеличить въ значительной мѣрѣ; *„дленіе“* [2]), *„окупленіе“* [3]), *„обмысленно“* [4]), *„предслышаніе“*)[5], *„ангельство“* [6]), *„на переворотъ“* [7]), *„опретчивость“* [8]), *„выработанье“* [9]), *„несостояніе“* [10]) и т. п. безъ счета.

Рядомъ съ указанными стоятъ примѣры другого рода, какъ образованіе глаголовъ: *„наименить“* [11]), *„разсвѣтляетъ“* [12]), *„высвѣтливается“* [13]), *„спестрилось“* [14]), *„назвучаться“* [15]), *„надмеваетъ“* [16]), *„воскрылиться“* [17]), *„облеснуть“* [18]), и т. д. или формы, подобныя *„говорящѣй“* [19]), *„задорствуетъ“* [20]) и т. п.

---

[1]) Соч. и Пис. V, 67. „Хотя есть областное Псков. обдумье, но со значеніемъ раздумья, тяжкой думы“. Даль, Словарь. [2]) Соч. и Пис. V, 58. „Оно не оставитъ меня во все дленіе жизни“. [3]) Соч. и Пис. VI, 7. „Первые деньги послѣ окупленія изданія я назначилъ ...“ и т. д. [4]) Соч. и Пис. VI. 32. „Нѣтъ и мгновенія безпричиннаго, все обмысленно и есть уже самая мысль“. [5]) Соч. и Пис. VI, 34. „Скажу тебѣ еще объ одномъ душевномъ открытіи ... хотя вначалѣ оно было, просто, предположеніе, или справедливѣе предслышаніе“. [6]) Соч. и Пис. VI, 96. „Душа ея, кажется еще небеснѣе, и ангельства еще больше ...“. [7]) Соч. и Пис. V, 391. „Не смѣшивай же двухъ этихъ вещей, никогда не соединяющихся вмѣстѣ. На переворотѣ ничего не можешъ сдѣлать“. [8]) Соч. и Пис. V, 56. „... Ты далъ слово, нужно мнѣ спустить твоей опретчивости“. [9]) Соч. и Пис. VI, 49. „Мѣдная копѣйка пріимется отъ того, кто на выработанье ея употребилъ всѣ ... способности“. [10]) Соч. и Пис. V 53. „... самая малость мучитъ меня тоскою и досадою за несостояніе имѣть ее“. [11]) Соч. и Пис. V, 55, 56, „... они друзья тебѣ, ... затѣмъ ты не наименилъ ни одного изъ нихъ!“; „кто нибудь изъ друзей твоихъ наименитъ меня ...“. [12]) Соч и Пис. V, 50, „разсвѣтляетъ сгустившіяся думы“. [13]) Соч. и Пис. V, 52, „Только мечта ... объ васъ высвѣтливается иногда сквозь пасмурныя думы“. [14]) Соч. и Пис. V, 62, „... все такъ спестрилось въ моемъ воображеніи, что я не знаю къ чему впередъ обратиться“. [15]) Соч. и Пис. VI, 476. „Прежде чѣмъ примусь серіозно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и рѣчью“. [16]) Соч. и Пис. VI, 420, „А дьяволъ, который надмеваетъ всякого изъ насъ самоувѣренностью ...“. [17]) Соч. и Пис. VI, 445, „Соедините ваши моленья и помогите воскрылиться къ Богу молитвѣ моей“. [18]) Соч. и Пис. V, 55, „меня восхищаетъ, когда я подумаю, что тамъ есть кому ... встрѣтить роднымъ привѣтствіемъ и облеснуть свѣтлою радостью“. [19]) Соч. и Пис. VI, 181, „... перетряхни русскую старину, особенно времени царей, они говорящѣй, и ближе къ намъ“. [20]) Соч. и Пис. VI, 179, „Многіе изъ нихъ ... люди добрые, ... но они упорствуютъ и задорствуютъ ...“.

Эта плодовитость въ изобрѣтеніи безплодныхъ словъ пріостанавливается на время созданія поэтическихъ произведеній; по крайней мѣрѣ ихъ встрѣчается весьма мало въ лучшихъ твореніяхъ. Гоголь пользуется этими и подобными сочиненными выраженіями при перепискѣ съ родными и друзьями преимущественно. Снова всплываетъ потребность пускать въ ходъ слова исключительнаго характера позже, при изданіи „Переписки", гдѣ они являются въ изобиліи. Опять новообразованія въ родѣ упомянутыхъ и такихъ, какъ „*цѣлизна*" [1]), „*чужеземствованіе*" [2]) и др.

Я не очень ошибусь, кажется, если сдѣлаю обобщеніе, что неестественныя, несвойственныя русскому языку слова имѣютъ причиной, во первыхъ, желаніе быть оригинальнымъ — свойство, обнаружившееся въ Гоголѣ довольно рано, — при отсутствіи силы, сдѣлавшей его оригинальнымъ помимо его воли; во вторыхъ, недостаточное знаніе языка, — въ началѣ дѣятельности, какъ мы видѣли; въ третьихъ, отсутствіе искренности къ концу дѣятельности, или, вѣрнѣе, участіе искренности воображаемой, дѣланной, — что вполнѣ соотвѣтствуетъ складу всей природы Гоголя. Надѣюсь фактами, приведенными ниже, подкрѣпить этотъ выводъ; но во всякомъ случаѣ съ увѣренностью можно сказать, что *сочинять* слова осталось привычкою навсегда, что эта привычка временно уступала мѣсто творческой силѣ генія, противившейся этой привычкѣ, которая обнаруживалась замѣтно снова, когда бездѣйствовала сила. При разборѣ и сравненіи рукописей можно слѣдить за борьбою между привычкою и геніемъ, за временной побѣдою послѣдняго, за печальнымъ окончательнымъ торжествомъ первой, какъ глубоко вкоренившейся.

---

[1]) „Эта пустая и жалкая система ... могла образоваться только въ государствахъ, которыя составились изъ народа, не имѣющаго національной цѣлизны ..." Соч. Г. V, 172. [2]) „... тотъ истинно-русскій языкъ, который незримо носится по всей русской землѣ, не смотря на чужеземствованіе наше ..." Ib. 173.

Сверхъ того замѣчается, что еще въ пору дѣтства и юношества успѣли выработаться нѣкоторые излюбленные способы словообразованія, не покидавшіе его во все время его творчества; особенное пристрастіе замѣчается напр, къ словамъ на *тель*: *„надуватель“* [1]), *„вѣдатель“* [2]), *„сердцезнатель“* [3]), *„надоумительный“* [4]), *„обнадеживательно“* [5]), *„вообразительно“* [6]), *„увѣрительно“* [7]). И въ этомъ случаѣ привычка пріобрѣтала рѣшающее значеніе; когда геній идетъ съ нею рука объ руку, получаются превосходныя, меткія, колкія выраженія, какъ *„коптитель неба“*, *„существователь“*, *„пріобрѣтатель“*, ставшія типическими; когда дѣйствуетъ одна привычка, — результаты опять другіе: „кто заключилъ въ душѣ своей такое небесное безпокойство о людяхъ . . . среди самыхъ *развлекательныхъ* увеселеній, тотъ многое можетъ сдѣлать . . .“ [8]); „онъ на всякомъ дѣлѣ мудрецъ, вездѣ *знатель* дѣла . . .“ [9]); „онъ вамъ скажетъ все . . . вы узнаете чего не узнаетъ никогда крикунъ-нахалъ или такъ называемый *распекатель*“ [10]), (причемъ „распекатель“ употреблено не ради шутки, возбужденія смѣха); „не столько зла произвели сами безбожники, . . . сколько неприготовленные *проповѣдыватели*“ [11]). Привычка образованія словъ на *„тель“* такъ сильна, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ затрудняешься опредѣлить, преднамѣренно-ли образовано слово съ этимъ суффиксомъ, юмористически-ли, или именно вслѣдствіе неодолимой потребности образовать слово такимъ образомъ. Когда гово-

---

[1]) Соч. и Пис. VI, 73, „А Мих. Сем. скажите, что онъ надуватель“ [2]) Соч. и Пис. VI, 385, „Показали-ли вы, . . . что вы глубокій вѣдатель души . . .“. [3]) Соч. и Пис VI, 464, „Какъ можетъ онъ, неопытный сердцезнатель назвать ложью . . . исповѣдь“. [4]) Соч. и Пис. VI, 147, „Я написалъ ему отвѣтъ не какой-либо оправдательный, или надоумительный и поучающій“. [5]) Соч. и Пис. VI, 200, „Докторъ Ф. подтверждаетъ все то-же что К, что ни удивительно, ни слишкомъ обнадеживательно“. [6]) Соч. и Пис. V, 68, „Дѣдушкѣ . . . почтеніе отъ меня, который видитъ ихъ передъ своими глазами (вообразительно). [17]) С. и П. V, 82, „Мои надежды не выполнились. Хорошо, что я не вдавался увѣрительно имъ“. Гоголю было тогда 20 лѣтъ. [8]) Соч. Г. V, 16. [9]) Ib. 162. [10]) Ib. 164. [11]) Ib. 21.

ритъ Селифанъ: „Павелъ Ивановичъ, очень почтенный баринъ, *угостительный* помѣщикъ“ [1]), то мы, разумѣется, знаемъ, что это выраженіе свойственно простолюдину; но когда Гоголь отъ себя говоритъ: „онъ почувствовалъ, что сталъ помѣщикомъ дѣйствительнымъ . . . у котораго люди не *мечтательные*, не въ воображеніи пребываемые, но существующіе . . .“ [2]), или когда мы читаемъ мѣсто: „наконецъ осторожно сталъ онъ щекотать у него бритвой . . . хотя ему было не совсѣмъ сподручно брить безъ придержки за *нюхательную* часть тѣла . . .“ [3]), то вовсе не ясно, слѣдуетъ-ли эти слова отнести къ категоріи „осмотрительный“ (вмѣсто наблюдательный), „неокончательность“ (вмѣсто неоконченность), о которыхъ рѣчь шла раньше (стр. 74), или къ словамъ, неправильность образованія которыхъ сознавалась Гоголемъ.

Мы снова наталкиваемся на замѣчательное явленіе: неуклюжее словообразованіе на „*тель*“ преобладаетъ въ „Перепискѣ съ друзьями“, т. е. тамъ, гдѣ творческій геній безмолвствовалъ.

Тоже самое наблюденіе я могъ сдѣлать на тавтологическихъ выраженіяхъ, о которыхъ говорилось на стр. 11-ой. Пристрастіе къ нимъ очевидно; Гоголь употребляетъ ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ, и они входятъ въ привычку. Однако въ періодъ творчества высшаго, онъ пользуется ими въ мѣру; чувство поэтическаго такта не позволяетъ злоупотребить этимъ оборотомъ рѣчи. Но когда онъ пишетъ своимъ друзьямъ, онъ переходитъ должную границу: сплошь да рядомъ подобныя выраженія: „*младенчество младенца*“ [4]), „*почувствовалъ чувство*“ [5]), „*подробные подробности*“ [6]), „*глубже*

---

[1]) Соч. Г. IV, 377. [2]) Ib. 416. [3]) Соч. Г. III, 29. [4]) Соч. и П. VI, 20, „Онъ водрузитъ въ твою душу ту чудную эпоху жизни когда и разумъ старости . . . и младенчество младенца соединяются“. [5]) Соч. и П. VI, 24, съ нетерпѣніемъ жажду извѣстія, какъ ты доѣхалъ, какое почувствовалъ чувство при встрѣчѣ . . . [6])

углубиться въ душу“ [1]). Гдѣ поэтическое дѣло отступаетъ совершенно на второй планъ, а выдвигается мораль, тамъ тавтологія особенно ярко проявляется во всей своей силѣ. Вотъ наиболѣе рѣзкій случай: „Другъ мой, передъ тобою развергается живоносный источникъ. Въ словахъ твоихъ поэту:

И приноси дрожащимъ людямъ
Молитвы съ горней вышины —

заключаются слова́ тебѣ самому . . . бей въ прошедшемъ настоящее . . . и *крикомъ закричитъ настоящее* . . . *углуби* въ тоже время *глубже* въ насъ то, чѣмъ еще *позорнѣе* станетъ *позоръ* нашъ . . . *попрекни же* прежде всего сильнымъ лирическимъ *упрекомъ* . . . унывшихъ; . . . *воззови* въ видѣ лирическаго *воззванія* къ прекрасному; . . . *завопи воплемъ* . . . чтобы отъ нихъ *побѣжало* все *бѣгомъ* . . .“ — и все это на разстояніи $1^1/_2$—2 страницъ [2]); а верхъ злоупотребленія тавтологіею представляетъ вотъ, напр., какое мѣсто: „(въ самонадѣянности) онъ убѣжитъ отъ самого себя прямо въ руки къ чорту отцу самонадѣянности *дымнымъ надменіемъ своихъ доблестей надмевающему человѣка* . . .“ [3]), что гораздо хуже „случайно случившагося случая“, приводимаго какъ образецъ безвкусія сочетанія словъ.

Здѣсь умѣстно замѣтить, что въ случаяхъ, когда творчество покидаетъ Гоголя, онъ доводитъ тавтологію до такой крайности, что вносится, какъ составная часть ея, существительное, получившее значеніе совершенно отличное отъ другой составной части: „Вотъ полтораста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ государь Петръ I *прочистилъ* самъ глаза *чистилищемъ* просвѣщенія европейскаго“ [4]), — хотя болѣе обычны такія формы, какъ „*безлюднѣе безлюдія*“ [5]), „*согласован-*

---

[1]) Соч. и П. VI, 45, „. . . чрезъ то яснѣй и тверже будетъ у обоихъ отысканное и глубже углубится въ душу . . .“. [2]) Соч. Г. V, 77—79. [3]) Ib. 101. [4]) Ib. 90. [5]) Ib. 14.

ное согласіе“ [1]), „*толково потолковать*“ [2]), „*дѣло не бездѣльное*“ [3]) и т. п., а въ поэзіи: „*дымомъ дымится*“ и т. п.

Гоголь хорошо понималъ повидимому, что чувство, внушаемое тѣмъ, что представляется намъ содержаніемъ слова, такъ слабо бываетъ въ сравненіи съ чувствомъ, которое прорывается въ восклицаніи, что оно само по себѣ не вызвало бы вовсе слова, если бы послѣднее не было на лицо. Но у Гоголя, не смотря на это, слова́ съ звуковой образностью встрѣчаются не очень часто. Объяснить это можно способностью, силою его, выражать, напр., дѣйствіе удара, паденія, словами до такой степени конкретными, что мы можемъ представить себѣ реальное впечатлѣніе самого акта, не нуждаясь въ лишней работѣ мысли; намъ не стоитъ труда перевести отвлеченіе въ образъ.

Слѣдующій примѣръ объяснитъ мою мысль.

На заявленіе Аммоса Ѳеодоровича, что онъ „шелъ было къ вамъ, Антонъ Антоновичъ, съ тѣмъ, чтобы попотчивать васъ собаченкою . . . у меня завели тяжбу два помѣщика-сосѣда, а я теперь травлю зайцевъ на земляхъ и у того и у другого“. Городничій отвѣчаетъ, по ранней редакціи:

„Богъ съ ними теперь, со всякими зайцами! У меня въ ушахъ только и слышно, что инкогнито проклятое. Такъ и ожидаешь, что вдругъ отворятся двери, и войдетъ . . .“ [4]).

Въ послѣдней редакціи:

„Батюшки, не милы мнѣ теперь ваши зайцы, у меня инкогнито проклятое сидитъ въ головѣ: такъ и ждешь, что вотъ отворится дверь — *и шасть* . . .“ [5]).

Не останавливаясь на всемъ различіи двухъ редакцій, изъ которыхъ вторая характеризуется непосредственностью

---

[1]) Тамъ-же, 67. [2]) Тамъ-же, 26, хотя здѣсь могли быть забыть коренное значеніе слова „толковать“ и можетъ быть не относимо къ тавтологіи. [3]) Ib. 167. [4]) III, 313. [5]) III, 204.

(сравни разсужденіе: „Богъ съ ними теперь, со всякими зайцами“ съ крикомъ отчаянія: „Батюшки, не милы теперь ваши зайцы“ и т. д.), сплою, обращаю вниманіе на слово: „*и шасть*“, которымъ поэтъ замѣнилъ „и войдетъ“. Много нужно было таланта, чтобы óднимъ словомъ изобразить и самый актъ внезапности, и дѣйствіе отъ этой внезапности на виновниковъ; выраженіемъ: „войдетъ“ цѣль не могла быть достигнута, вслѣдствіе большей отвлеченности его.

Еще болѣе наглядный примѣръ представляетъ слѣдующее мѣсто изъ „Тараса Бульбы“: когда сыновья, смущенные пріемомъ отца, стали неподвижно, потупивъ глаза въ землю, Тарасъ обращается къ нимъ:

„Постойте, постойте дѣти, какія же длинныя на васъ свитки. Вотъ это свитки! Ну, ну, ну! такихъ свитокъ еще никогда на свѣтѣ не было! А ну, побѣгите оба: я посмотрю, не попáдаете-ли вы?“

Такъ по редакціи, напечатанной въ 1835 году [1]).

„Экія свитки! такихъ свитокъ еще и на свѣтѣ не было. А побѣгй который нибудь изъ васъ! я посмотрю не *шлепнется* ли онъ на землю, запутавшись въ полы“ [2]), — такъ по послѣдней редакціи.

Слово „*попадаете*“ замѣнено выраженіемъ „*шлепнется*“ — и эффектъ получается иной: передъ читателемъ не только актъ паденія — отвлеченнаго, но и совокупность признаковъ, связанныхъ съ паденіемъ вслѣдствіе длиннополаго платья. Объективные признаки одни и тѣ же, но чувства, возбуждаемыя ими иныя. Когда мы произносимъ слово, мы соединямъ съ нимъ какой-то общій комплексъ признаковъ, который каждый дополняетъ согласно съ личнымъ опытомъ о немъ: слово стало носителемъ понятія, не образа; но языкъ Гоголя подновляетъ элементъ слова, дѣлая изъ него *образъ*, реальное представленіе. Необходимо обратить вниманіе и на

---

[1]) II, 402. [2]) II. 269.

замѣну, въ сущности незначительную, придающую, однако, фразѣ больше движенія: опущено слово *никогда*, какъ лишнее, задерживающее мысль, такъ какъ „на свѣтѣ не было" достаточно ясно выражаетъ мысль.

Такія замѣны однихъ словъ другими и составляютъ существенную часть того, что я назвалъ работою надъ стилемъ, со стороны язычныхъ средствъ.

Желающій сравнить нѣсколько редакцій одного и того-же произведенія увидитъ, какое множество передѣлокъ, исправленій, замѣнъ, вставокъ и т. п. дѣлается Гоголемъ, чтобы довести произведеніе до желаемой формы. Преднамѣренность и сознательность составляютъ при этомъ существенные факторы. Изучая характеръ измѣненій, дѣлаемыхъ Гоголемъ, можно вмѣстѣ съ тѣмъ собрать превосходный матеріалъ для характеристики творчества поэта.

Предлагая цѣлый рядъ образцовъ „исправленій", я долженъ напомнить, что это ничтожная доля той громадной работы, которую представляютъ всѣ онѣ, взятыя вмѣстѣ. Показать всѣ значило бы перепечатать томы Гоголя. Ограничусь указаніями еще нѣкоторыхъ изъ нихъ, чтобы выводы, которые будутъ дѣлаться, оказались обоснованными.

„Хорошенькая ручка... панны держалась за перилы... часто шалунья, схвативши *снѣжною* ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ . . ." [1]).

„Снѣжная" замѣнено въ послѣдней редакціи *свѣтлою* [2]), и художникъ обнаруживаетъ этимъ моментъ процесса созданія. Какъ увидимъ ниже, Гоголь бралъ какъ образы сравненія предметы и явленія изъ міра ближайшаго; — въ пору зрѣлую, сравненія, какъ мы видѣли, въ многихъ случаяхъ, не выходили изъ ряда обычныхъ, традиціонныхъ. Разъ пред-

---

[1]) II, 470. [2]) II, 392.

метъ очень бѣлый — стало быть, „какъ снѣгъ“, (такъ же какъ разъ черный — то „какъ ночь“); „Рука бѣлая какъ снѣгъ“ превратилась въ „снѣжную руку“; значеніе слова *снѣжный*, какъ видно, неправильно понято въ моментъ написанія, принято какъ прилагательное качественное. — Ошибка замѣчена, и является „свѣтлою рукою“.

„Бульба заранѣе *утѣшалъ* себя мыслью о томъ, какъ онъ явится теперь съ двумя сыновьями и скажетъ: „Вотъ посмотрите, какихъ я къ вамъ молодцовъ привелъ!“ Онъ думалъ о томъ, какъ поведетъ ихъ на Запорожье . . .“ [1]). Очевидно, поэтъ производилъ слово *утѣшалъ* отъ слова „утѣха“, въ значеніи радости, что согласно со всѣмъ настроеніемъ Тараса, всѣмъ предшествовавшимъ, и съ тѣмъ, что есть. Поэтъ забылъ только при этомъ, что производное слово „*утѣшалъ*“ имѣетъ значеніе успокоенія (въ горѣ, напр.), въ которомъ Тарасъ не нуждался вовсе.

Въ окончательной редакціи: „Теперь онъ *тѣшилъ* себя заранѣе мыслью, какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими . . .“ [2]).

Это одинъ изъ тысячи образчиковъ того, какъ слабо владѣлъ Гоголь языкомъ въ молодости, и какъ овладѣвалъ имъ позже, когда, напримѣръ, онъ умѣлъ устанавливать такіе тонкіе, едва замѣтные, оттѣнки, какъ между двумя фразами: „Просто онъ позабылъ, что это въ тягость другому, и что отъ этого трещитъ у *иного* спина . . .“ и „онъ позабылъ, что отъ этого трещитъ спина у *ближняго* . . .“ [3]). Со стороны прямого смысла „трещитъ у *иного*“ было бы вѣрнѣе; но внутренній смыслъ получается отъ слова „ближняго“; т. е. *повидимому* только у *иного* трещитъ спина, а на самомъ дѣлѣ, она болитъ у всѣхъ.

---

[1]) II, 408. [2]) II, 276. [3]) III, 294.

Въ замѣткахъ, относящихся къ первой части „Мертвыхъ Душъ“, мы находимъ указанія на замыселъ произведенія; эти замѣтки въ нѣкоторыхъ частяхъ могутъ быть примѣнимы и къ объясненію работы надъ стилемъ: „Идея города — возникшая до высшей степени пустота. Пустословіе. Сплетни, перешедшія предѣлы. Какъ все это возникло изъ бездѣлья и приняло характеръ смѣшнаго въ высшей степени, какъ люди не глупые доходятъ до дѣланія совершенныхъ глупостей. *Частности* въ разговорахъ дамъ. Какъ къ общимъ сплетнямъ примѣшиваются частныя сплетни; какъ въ нихъ не щадятъ одна другую. Какъ созидаются соображенія . . . и т. д.“. Затѣмъ еще: „*Частности.* Дамы ссорятся именно изъ за того, что одной хочется, чтобы Чичиковъ былъ тѣмъ-то, другой — тѣмъ-то, и потому принимаетъ только тѣ слухи, которые сообразны съ ея идеями . . . Какъ низвести всѣ міра бездѣлья во всѣхъ родахъ до сходства съ городскимъ бездѣльемъ? и какъ городское бездѣлье возвести до преобразованья бездѣлья міра? Для (этого) включить все сходство и внести постепенный ходъ“ [1]).

Приведенное мѣсто ясно показываетъ работу мысли автора надъ составомъ своего произведенія въ крупныхъ частяхъ; но изслѣдуя средства, какими Гоголь стремится достигнуть гармоніи между частями во имя цѣлаго, т. е. всматриваясь въ кропотливую работу мысли надъ частностями, мы изучимъ ходъ мысли Гоголя и въ этомъ отношеніи. Слѣдующими примѣрами имѣю ввиду обозначить путь, какимъ слѣдовало бы идти при разборѣ этой работы.

„Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу . . . Все въ свѣтлицѣ было убрано во вкусѣ того времени; а время это касалось XVI вѣка, когда еще только что начинала рождаться мысль объ уніи. Все было чисто вымазано глиною . . .“ [2]).

---

[1]) Соч. Гог. IV, 285—87. [2]) II, 404.

Непріятно прерывается теченіе мыслей отъ перехода рѣчи объ уніи . . . къ глинѣ, которой была вымазана свѣтлица; — мысль задерживается при этомъ въ своемъ нормальномъ теченіи, неудовлетворенная. И вотъ, художникъ измѣняетъ ее такимъ образомъ, что переходъ отъ характеристики времени къ обстановкѣ домашней становится болѣе естественный.

„Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу . . . Свѣтлица была убрана во вкусѣ того времени, о которомъ живыя намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не поющихся болѣе на Украйнѣ бородатыми старцами-слѣпцами, въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа, — во вкусѣ того браннаго труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйнѣ за унію. Все было чисто, вымазано . . .“ [1]).

Помимо того, что общее представленіе, довольно отвлеченное, о времени уніи, замѣнено здѣсь картиною, рисующею время, и самая мысль, возбужденная у читателя, не занятая убранствомъ, не прерывается вовсе (хотя, съ другой стороны, въ началѣ вставка оказывается лишнимъ балластомъ, и первая редакція производитъ лучшее впечатлѣніе: замѣчаніе о томъ, что выбѣжали дѣвки-прислужницы при появленіи паничей, расширено разсужденіемъ, не идущимъ вовсе къ мѣсту, о томъ, что быть можетъ, они не испугались, а только показывали видъ: „хотѣли соблюсти свой женскій обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидѣвши мужчину и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда рукавомъ“).

Еще примѣръ:

„Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу . . . Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный нарядъ, — у многихъ ничего не было, кромѣ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ, — показывалъ, что они или только-что избѣгнули какой-нибудь бѣды, или

---

[1]) II, 271.

же до того загулялись, что прогуляли все, что̀ ни было на тѣлѣ . . .“ [1]).

Въ ранней редакціи мы читаемъ:

„Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Куча состояла изъ козаковъ въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный костюмъ (у нихъ ничего не было, кромѣ рубашки и трубки) показывалъ, что они были слишкомъ угнетены бѣдою, или уже черезчуръ гуляли и прогуляли все . . .“ [2]). Послѣдняя редакція: „слишкомъ угнетены бѣдою“ измѣнена едва замѣтно, а между тѣмъ смыслъ получается иной, и впечатлѣніе, производимое этимъ, другое. Сказанное составляло бы противорѣчіе всему, что въ повѣсти о козакахъ говорилось, и выраженіе *„были угнетены“* не подходитъ для обозначенія временнаго состоянія; самое противоположеніе (альтернатива) не оказалось бы умѣстнымъ; тогда какъ въ первой редакціи противоположеніе „или *избѣгнули* бѣды, или *загулялись*“, представлялось логичнымъ. Такіе факты весьма характерны. Они показываютъ направленіе творчества. Поэтъ стремится ставить предложенія въ такое отношеніе, какое необходимо для плавнаго теченія мысли; онъ ищетъ путей для устраненія всего, что могло служить задержкою ея.

„. . . И скоро величественное абатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ . . . Бѣгущія толпы монаховъ, солдатъ, жидовъ, наводнили многолюдные города и деревни, почти оставленныя на произволъ непріятеля . . .“ [3]) измѣнено въ послѣдней редакціи: „Бѣгущія толпы монаховъ, жидовъ, женщинъ, вдругъ омноголюдили тѣ города, гдѣ какая нибудь была надежда на гарнизонъ и городовое рушеніе“. Мысль обозначилась ясно, понятна стала цѣль и направленіе убѣгающихъ массъ; „солдаты“ замѣнены „женщинами“ [4]), и

---

1) II, 304. 2) II, 430. 3) II, 435. 4) II, 312.

картина получилась другая и здѣсь; солдатамъ бѣжать не зачѣмъ было, чтобы образовался гарнизонъ.

„Молодежь бросилась къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Нѣсколько плотниковъ явились вмигъ съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые широкочленистые запорожцы, съ просѣдью въ усахъ, засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали ихъ съ берега крѣпкимъ канатомъ. Нѣсколько человѣкъ было отправлено въ скарбницу на противоположный утесистый берегъ Днѣпра, гдѣ въ неприступномъ тайникѣ они скрывали часть пріобрѣтенныхъ орудій и добычу. Бывалые поучали другихъ съ какимъ-то наслажденіемъ, сохраняя при всемъ томъ степенный, суровый видъ. Весь берегъ получилъ движущійся видъ и хлопотливость овладѣла дотолѣ безпечнымъ народомъ“ [1]).

Нѣсколько измѣненій, перестановокъ, вставокъ, замѣнъ — и картина получается совершенно иная по послѣдней редакціи:

„Въ тотъ же часъ отправились нѣсколько человѣкъ на противоположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, гдѣ, въ неприступныхъ тайникахъ, подъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля оружій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Вмигъ толпою народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ явились съ топорами въ рукахъ. Старые загорѣлые, широкоплечіе, дюженогіе запорожцы, съ просѣдью въ усахъ и черноусые, засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали челны крѣпкимъ канатомъ съ берега. Другіе таскали готовыя сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обшивали досками челнъ; тамъ переворотивши его вверхъ дномъ, конопатили и смолили; тамъ увязывали по бокамъ другихъ челновъ, по казацкому обычаю, связки длинныхъ камышей, чтобы не за-

---

[1]) II, 429.

топило челновъ морскою волною; тамъ, дальше, по всему прибрежью, разложили костры и кипятили въ мѣдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берегъ“ [1]).

Изъ сопоставленія двухъ отрывковъ, взятыхъ разумѣется для образца, на выдержку, съ ясностью выступаетъ характеръ работы надъ стилемъ; цѣль — придать возможно большую наглядность явленію, картинность. Поэтому вносится прежде всего рядъ моментовъ, дающихъ представленіе объ всей обстановкѣ. Поэту нужно было представить, что „весь колебался и двигался живой берегъ“ — и вотъ моменты этого „движенія“, этого „колебанія“ на лицо; ихъ не было въ первой редакціи. На сколько заключительное мѣсто *„весь берегъ получилъ движущійся видъ“* блѣдно сравнительно съ заключительнымъ штрихомъ: *„весь колебался и двигался живой берегъ“* и вовсе безсильно выразить красоту послѣдняго, на столько и частности, предлагаемыя первою редакціею картины, лишены жизненности, подвижности, дѣятельности. сравнительно съ второю. Послѣдовательность описанія въ первой редакціи прерывается вставкою снаряженія за скарбницею; по второй редакціи — объ этомъ рѣчь въ началѣ. — а потому картина въ послѣдующемъ изложеніи воспринимается какъ нѣчто цѣльное, законченное, полное. „Хлопотливость овладѣла дотолѣ безпечнымъ народомъ“ совершенно опущено, какъ лишній балластъ; хлопотливость сказывается сама собою. „Бывалые и старые поучали молодыхъ“ — болѣе живо, притомъ фактически и психологически болѣе вѣрно; причемъ опущено „сохраняя притомъ степенный и суровый видъ“, какъ неидущее къ картинѣ, не допускающей иного вида, кромѣ суроваго, сосредотеченнаго.

Такія измѣненія поразительно наглядно свидѣтель-

---

[1]) II. 303.

ствуютъ о вдумчивости Гоголя въхарактеръ своихъ словъ и выраженій. Какъ при этой работѣ принимается въ расчетъ мысль и участіе читателя, какой психологическій тактъ обнаруживаетъ художникъ, показываетъ напр. слѣдующее мѣсто:

„Остапу и Андрію показалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросилъ ихъ, откуда они и кто они . . .“ [1]).

Въ послѣдней редакціи *„гибель“* замѣнено словомъ *„бездна“* [2]), и экономія мысли получилась замѣтная, хотя казалось бы, нѣтъ возможности, установить различіе въ обыкновенной рѣчи между *гибель народа* и *бездна народа*. Въ данномъ случаѣ, однако, мысль встрѣчаетъ препятствіе при сочетаніи словъ „гибель“ и „Сѣча“, — такъ какъ первое можетъ быть принимаемо въ значеніи погибели.

Повторяю, такихъ измѣненій тысячи — и я выбираю на выдержку исправленія изъ различныхъ категорій.

Вотъ нѣкоторые образчики отдѣлки слога въ расчетахъ художественныхъ: „Полно, полно, старуха! Козакъ не на то чтобы возится съ бабами. Ступай скорѣе да неси намъ . . . горѣлки . . . настоящей, такой, чтобы шипѣла, какъ бѣсъ“ [3]). Такъ въ первоначальной редакціи; въ окончательной одно измѣненіе въ концѣ: „чтобы шипѣла, какъ бѣшенная“ [4]).

Чутье къ языку обнаруживается необычайное: водка — „какъ бѣсъ“ не даетъ никакого образа; бѣсъ, какъ образъ, хотя и фантастическій, все же рисуется чѣмъ-то личнымъ; „бѣшенная“ — потеряло свое первоначальное происхожденіе отъ *бѣсъ* — и стало многозначнымъ, слѣдовательно пригодно и для опредѣленія крѣпости водки.

„Всякій приходившій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и съ *жаромъ фанатика* предавался волѣ и товариществу такихъ-же, какъ самъ . . .“ [5]). Въ послѣдней

---

1) II, 426. 2) II, 294. 3) II, 404. 4) II, 271. 5) II, 424.

редакціи: „онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и *беззаботно* предавался волѣ и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ . . .“ [1]). Вмѣсто „съ жаромъ фанатика“ получилось „беззаботно“ — и, очевидно, мѣсто выиграло въ реальности изображенія явленія, а равно и въ большей силѣ и естественности — и различіе характерно: жаръ фанатика предполагаетъ сознаніе, трудъ, цѣль; „беззаботно“ — сопровождающій элементъ раздолья, разгула, гдѣ нѣтъ, именно *нѣтъ* мѣста сознательности. Трудно сказать, что́ думалъ, ка́къ думалъ Гоголь, дѣлая исправленія въ текстѣ. Онъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ, что онъ производилъ переработку „основываясь на разумѣньи самого себя, на устройствѣ головы своей“; нѣтъ прямыхъ указаній или данныхъ для опредѣленія того, какіе мотивы заставляли его предпринять и совершить ту или другую перемѣну, такимъ или инымъ образомъ; но анализъ однородныхъ исправленій, сдѣланныхъ въ одномъ и томъ же направленіи, анализъ цѣлыхъ группъ подобныхъ исправленій, долженъ привести къ опредѣленнымъ выводамъ, основаннымъ на логикѣ, на естественномъ и необходимомъ законѣ движенія мысли и языка. Полагаю, что такая работа возможна; она и необходима. Примѣръ объяснитъ мою мысль. Гоголь писалъ Прокоповичу: „Да вотъ что самое главное: въ нынѣшнемъ спискѣ слово „слышу“, произнесенное Тарасомъ предъ казнью Остапа, замѣнено словомъ „чую“. Нужно оставить по прежнему т. е. батько, гдѣ ты? Слышишь ли ты это? Слышу. Я упустилъ изъ виду, что къ этому слову уже привыкли читатели и потому будутъ недовольны перемѣною, хотя бы она была и лучше“ [2]). Такое мѣсто прямо указываетъ мотивъ оставленія безъ перемѣны слова, выраженія. Такихъ мотивовъ, несомнѣнно, большое множество, разнообразныхъ, но также несомнѣнно, что они могутъ быть

---

[1]) II, 293. [2]) 27 Іюля 1842.

сведены къ извѣстному числу категорій, если бы и не всѣ подошли подъ ту или другую непремѣнно.

Если напр. въ одной редакціи, болѣе ранней мы читаемъ: „Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ васъ — и академія, и всѣ тѣ книжки, букварп и философія, — все это *ка зна що*, я плевать на все это“. Бульба „*присовокупилъ*“ еще одно слово, которое въ печати нѣсколько выразительно . . .“ [1]), а въ послѣдней редакціи мы находимъ: „Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ головы ваши: и . . . Здѣсь Бульба *пригналъ* въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати . . .“ [2]), то мы не можемъ не видѣть цѣли, ясной и опредѣленной цѣли, усилить впечатлѣніе отъ браннаго слова, хотя и не произнесеннаго. „Присовокупить“ слово не то что „пригнать“ его: первое — примѣнимо къ любому, всякому; второе — только къ извѣстнымъ, непечатаемымъ. — Замѣтна работа исправленія стиля и въ началѣ приведеннаго мѣста; въ фразѣ „все дрянь чѣмъ набиваютъ васъ“ отвлеченное выраженіе „васъ“ замѣнено болѣе нагляднымъ „головы ваши“ — а потому въ общемъ впечатлѣніе сильнѣе.

„И козаки, прилегши нѣсколько къ конямъ, пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только быстрая *молнія* сжимаемой травы показывала бѣгъ ихъ“ [3]). — По послѣдней редакціи читается такъ: „И козаки, принагнувшись къ конямъ, пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только *струя* сжимаемой травы, показывала слѣдъ ихъ быстраго бѣга“ [4]). Во первыхъ, замѣна „молнія“; этотъ образъ характеризуетъ воспріятіе поэтомъ даннаго явленія силою непосредственнаго чувства, но мало способенъ характеризовать сжимаемую траву. Поэтъ даетъ образъ „струи“, который воображенію говоритъ больше, какъ сравненіе болѣе близкое, напоминающее дѣйствительность.

---

1) II, 404. 2) II, 271. 3) II, 418. 4) II, 286.

Не говорю о подробности замѣны „прилегши нѣсколько выраженіемъ „принагнувшись“ — болѣе яркимъ.

Незачѣмъ теперь останавливаться на такихъ, напр., поправкахъ, какъ: „вся музыка, звучавшая днемъ, утихала . . .“ [1]) вмѣсто: „вся музыка, наполнявшая день, утихала . . .“ [2]) или на замѣнѣ: „Здравствуйте“! отвѣчали работавшіе въ лодкахъ, пріостановивъ свое занятіе“ [3]): „Всѣ рабочіе, остановивъ свои работы и поднявъ топоры . . .“ [4]), гдѣ „занятія“, болѣе отвлеченное, замѣнено „работою (данною)“; или: „. . . видъ былъ очень недуренъ, но видъ сверху внизъ, съ надстройки дома на равнины и отдаленья, былъ еще лучше“ [5]) исправлено на: „видъ былъ очень хорошъ, но . . .“ [6]), гдѣ слово „хорошъ“ стоитъ въ бо́льшемъ соотвѣтствіи съ „лучше“, чѣмъ „недуренъ“; или: „Ну, здоровъ, сынку!“, и отецъ съ сыномъ начали цѣловаться . . .“ [7]) замѣнено: „. . . *стали* цѣловаться . . .“ [8]), гдѣ чутье къ тонкостямъ языка доходитъ до совершенства, такъ какъ „начали“ относится болѣе къ дѣлу, къ занятію какому нибудь, а не къ цѣлованію, какъ „стали“ не будетъ подходить къ другимъ дѣйствіямъ (напр. начала работы: они *стали* работать не то, что *начали* работать): или, еще болѣе удивительное мѣсто: „Вотъ еще выдумалъ что“, говорила мать (сыновей Тараса Бульбы), обнимавшая между тѣмъ младшаго . . . Какъ можно, чтобы дитя било родного отца? Притомъ, будто до того теперь . . .“ [9]); въ послѣдней редакціи *„притомъ“* замѣнено: „. . . *да* будто до того теперь“ [10]), разумѣется ввиду несоотвѣтствія литературнаго слова „притомъ“ съ простою рѣчью казачки.

Нечего тѣмъ болѣе упоминать о такихъ поправкахъ, которыя дѣлаются ввиду неточности преимущественно элементарнаго свойства, напр. когда вмѣсто: „Далѣе она не могла *продолжать*“ [1]), авторъ ставитъ: „Далѣе она не могла

---

[1]) II, 288. [2]) II, 419. [3]) II, 430. [4]) II, 304. [5]) IV, 314. [6]) IV, 468. [7]) II, 403. [8]) II, 270. [9]) II, 403. [10]) II, 270.

говорить"[2]), или неправильности грамматическаго свойства другого рода.

Остановлюсь нѣкоторое время на исправленіяхъ иного еще характера, въ высшей степени художественнаго. На нихъ обнаружится замѣчательное умѣніе вдумываться въ средства усиливать впечатлѣніе, вызывать настроеніе, какое поэтъ испытываетъ самъ.

Это достигается подборомъ словъ, сочетаніемъ ихъ совершенно своеобразнымъ, т. е. отличнымъ отъ средствъ, употребляемыхъ другими писателями.

„Зачѣмъ же выставлять на показъ бѣдность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства?"[3]).

Такъ въ первой редакціи, мало способной вызвать чувство, дѣйствуя больше на работу мысли.

Въ послѣдней: „Зачѣмъ же изображать бѣдность, да бѣдность, да несовершенства нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства"[4]).

Повторено два раза одно слово — „бѣдность", усилено словомъ *да*, выпущено мало рисующее „грустное" — и эффектъ получился совершенно иной: задѣто чувство, и оно пробуждается; гуще наложены краски повтореніемъ, — и ярче картина.

Тоже дѣлаетъ Гоголь и въ случаяхъ, когда онъ влагаетъ въ уста своихъ дѣйствующихъ лицъ реплики:

Почтмейстеръ: „Я, господа, пришелъ объявить вамъ удивительное дѣло.

Городничій: „А напримѣръ что такое? послушаемъ. (Слѣдуетъ реплика Почтмейстера . . . очень обстоятельная, пока дѣло не разъясняется[5]).

---

[1]) II, 411. [2]) II, 280. [3]) IV, 313. [4]) IV, 467. [5]) III, 336.

Въ послѣдней редакціи:

Почтмейстеръ: „Удивительное дѣло, господа! Чиновникъ, котораго мы приняли за ревизора, былъ не ревизоръ . . .“ [1]).

И здѣсь сняты слова: „я пришелъ объявить вамъ . . .“; опущена реплика Городничаго, и потому впечатлѣніе совершенно другое; замедленію мысли нѣтъ мѣста.

Въ одной изъ раннихъ редакцій: „Полторы недѣли! что вы! Ай, ай, ай! въ эти полторы недѣли высѣчена почти напрасно унтеръ-офицерская жена! Боже мой! въ эти полторы недѣли арестантамъ никакой провизіи не выдавали. На улицахъ кабакъ, нечистота. О, Боже мой, Боже мой! . . .[2]).

Въ окончательной редакціи: „Двѣ недѣли! батюшки, сватушки! выносите святые угодники! Въ эти двѣ недѣли высѣчена унтеръ-офицерская жена! Арестантамъ не выдавали провизіи! На улицахъ кабакъ, нечистота! позоръ! поношеніе!“ [3]) Необыкновенная сила выраженій, способная произвести поражающее впечатлѣніе, достигнута самыми простыми средствами: сжатостью рѣчи, столь естественной въ состояніи ужаса, въ которомъ находится городничій; опущеніемъ лишнихъ повтореній, задерживающихъ теченіе мысли; простонародное слово, одно, другое, вмѣсто избитаго воззванія къ божеству.

Слѣдуетъ сравнить еще и еще мѣста́, и снова картина получится яркая, бьющая въ глаза, и вездѣ явится сила слова; она растетъ и достигаетъ громадныхъ результатовъ. Главнымъ образомъ сказывается способность однимъ словомъ создать цѣлую картину: позу, манеру, настроеніе.

Рядъ картинъ, созданныхъ Гоголемъ первоначально, принимаетъ совершенно иное освѣщеніе въ редакціяхъ окончательныхъ, благодаря, между прочимъ, ничтожнымъ

---

[1]) III, 277. [2]) III, 316. [3]) III, 207.

сокращеніямъ, опущеніямъ, едва замѣтнымъ, иногда просто словечка, частички, — чаще слова, еще чаще фразы.

Почтмейстеръ: „Да не поступить ли просто вотъ какъ: что вотъ-молъ, пришли по почтѣ деньги, неизвѣстно кому принадлежащія, а хозяина не отыскалось, такъ не его-ли онѣ“ [1]).

Въ окончательной редакціи: „Вотъ, молъ, пришли по почтѣ деньги, неизвѣстно кому принадлежащія . . .“.

Различіе получилось замѣтное: быстрота мысли, живость, на мѣсто вялыхъ предложеній, повторяющихъ три раза одно и тоже: „неизвѣстно кому принадлежащіе, а хозяина не отыскалось, такъ не его ли онѣ“.

Реплика Артемія Филипповича: „Та-та-та дастъ онъ вамъ неизвѣстно кому принадлежащія! Смотрите, чтобы онъ васъ по почтѣ-же не отправилъ куда нибудь подальше“ [2]), сравнительно съ исправленнымъ безъ „та-та-та“, съ опущеніемъ повторенія „неизвѣстно кому принадлежащія“, получаетъ смыслъ игры словъ; иначе все теряется: разстояніе между „пришли молъ по почтѣ“ и „смотрите, чтобъ по почтѣ не отправилъ“ слишкомъ большое; вниманіе слушателя отвлекается вставочными словами, и эффектъ отъ словъ: „смотрите, чтобы не отправилъ по почтѣ“ исчезаетъ (т. е. по первоначальной редакціи).

Хлестаковъ: „А мнѣ нравится Владиміръ. Вотъ Анны 3-й степени уже не такъ. Слишкомъ уже, знаете, обыкновенно: всѣ носятъ, и столоначальники“ [3]). Въ окончательной редакціи: „Слишкомъ, знаете обыкновенно, всѣ носятъ, столоначальники“ опущено — и опять впечатлѣніе болѣе непосредственное, чего-то реальнаго; Хлестаковъ никогда не знаетъ: отчего? почему? Онъ взболтнетъ — и только; „Анны 3-й степени уже не такъ“, — и весь онъ тутъ.

Городничій (бьетъ себя по лбу): Какъ я? Нѣтъ какъ я старый дуракъ . . . а теперь . . . вертопрахъ какой нибудь

---

1) III, 344. 2) III, 344. 3) III, 346.

мальчишка . . . на губахъ молоко еще не обсохло . . . Ступай пщи его, чортъ побери! Я думаю такъ удираетъ по столбовой дорогѣ, что колокольчикъ заливается". — Сравненіе съ знаменитымъ мѣстомъ изступленія по послѣдней редакціи покажетъ, какъ опущеніе одного слова, перестановка другого, иное сочетаніе, чуть-чуть замѣтное, дѣлаетъ два отрывка непохожими по яркости, красотѣ, силѣ и по впечатлѣнію, производимому на читателя (и зрителя).

Укажу на одинъ способъ усиленія, которымъ пользовался Гоголь, вырабатывая стиль на исправленіи своихъ произведеній. Этотъ способъ поддается формулировкѣ и можетъ служить лучшимъ свидѣтелемъ того глубокаго пониманія силы слова и того психологическаго такта, которымъ Гоголь обладалъ въ такой высокой мѣрѣ.

Я указывалъ нѣсколько разъ, что одно изъ главныхъ требованій, которыя ставятся автору, это экономизація вниманія со стороны слушателя или читателя. Это требованіе опредѣляетъ выборъ словъ, но въ значительной степени и распорядокъ ихъ въ рѣчи.

Въ извѣстныхъ „Опытахъ" Гербертъ Спенсеръ доказываетъ, что вниманіе экономизируется, и стиль, поэтому, становится лучшимъ, если опредѣляющее предшествуетъ опредѣляемому, нарѣчіе — глаголу, сказуемое раньше подлежащаго; все, относящееся къ выясненію признаковъ подлежащаго и сказуемого, необходимо ставить впереди ихъ самихъ. Во многихъ случаяхъ Спенсеръ правъ, и то̀, что̀ этотъ философъ вывелъ аналитически, Гоголь чувствовалъ, хорошо понималъ интуитивно, и его размѣщеніе сказуемыхъ передъ подлежащими обращаютъ на себя вниманіе читателя. Позже этимъ стилистическимъ средствомъ Гоголь пользуется весьма часто и успѣшно, когда это дѣлается любимымъ его пріемомъ. Пока приведу одинъ лишь примѣръ, характеристичный для кисти художника, сознававшаго иногда прелести силы кисти. Онъ взятъ изъ „Тараса Бульбы". Въ то время какъ жи-

довъ расхватали по рукамъ и начали швырять въ волны, Янкель схватилъ Бульбу за ноги и вымолилъ прощенія. Тарасъ повелъ его къ своему обозу, приказавъ лѣзть подъ телѣгу, лежать тамъ и не шевелиться, поручивъ его надзору козаковъ, стоявшихъ у воза. — За разсказомъ эпизода съ жидами мы читаемъ:

„Проходя предмѣстье, Тарасъ Б. увидѣлъ съ изумленіемъ, что жидокъ его уже раскинулъ свою лавочку и продавалъ . . . „Дурень, что ты здѣсь сидишь?“ сказалъ онъ ему: „развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, какъ воробья?“ „Молчите“, отвѣчалъ жидъ: „я пойду за вами и войскомъ и буду продавать провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще никогда никто не продавалъ. Ей Богу такъ, вотъ увидите“. Бульба пожалъ плечами и отъѣхалъ къ своему отряду“ [1]).

Вотъ это заключительное мѣсто измѣнено въ послѣдней редакціи едва-едва замѣтнымъ образомъ; поставлено сказуемое на первомъ мѣстѣ, передъ подлежащимъ, — и получилась такая картинка: „Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, подивился бойкой жидовской натурѣ и отъѣхалъ къ табору“ [2]). Этою перемѣною внесено новое содержаніе, котораго нѣтъ въ прежней редакціи: вносится выраженіе чего-то субъективнаго со стороны Тараса, дается оцѣнка со стороны Тараса дѣйствію жида, — и весь моментъ болѣе выразителенъ.

Примѣромъ усиленія впечатлѣнія путемъ постановки сказуемаго передъ подлежащимъ въ послѣдней редакціи я взялъ еще вотъ какой:

„Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ступай скорѣе, да неси намъ все что ни есть, на столъ. Пампушекъ, маковиковъ, медовиковъ и другихъ пундиковъ не нужно, а прямо такъ и тащи цѣлаго барана на столъ“. . . [3]).

Въ исправленной редакціи читаемъ: „Казакъ не на то,

---

[1]) II, 434. [2]) II, 310. [3]) II, 404.

чтобы возиться съ бабами . . . Не нужно пампушекъ и т. д. . . . Тащи всего барана“ 1) и т. д. Микроскопически малое измѣненіе, и все-же впечатлѣніе иное. Кромѣ перестановки сказуемаго не мѣшаетъ отмѣтить кстати замѣну слова „*неси*“ словомъ „ставь“ — болѣе образнымъ, болѣе нагляднымъ.

Еще одинъ примѣръ: „Равнодушно не могъ выстоять на балконѣ никакой гость и посѣтитель . . . у него захватывало въ груди, и онъ могъ только произнесть: „Господи какъ здѣсь просторно!“ Пространства открывались безъ конца . . .“ 2).

Въ исправленной редакціи:

„. . . безъ конца, безъ предѣловъ открывались пространства . . .“ 3).

Сказуемое поставлено передъ подлежащимъ — и опять впечатлѣніе другое. Такъ сплошь да рядомъ.

XII.

При изученіи процесса творчества Гоголя во время его переработокъ весьма важно имѣть въ виду способы превращенія, вѣрнѣе, способы преобразованія понятій въ представленія, идей въ образы.

Различныя редакціи произведеній даютъ для этого матеріалъ весьма обильный.

„. . . Земля глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ отдавались только: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чѣмъ далѣе, росла, къ танцующимъ приставали другіе, и вся почти площадь покрылась присѣдающими запорожцами. Это имѣло въ себѣ что-то разительно увлекательное. Нельзя было безъ движенія всей души видѣть, какъ вся толпа отдирала танецъ, самый вольный, самый бѣшенный, какой только ви-

1) II, 271. 2) IV, 314. 3) IV, 468.

дѣлъ когда либо міръ, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, носитъ названіе *козачка*" [1]).

Сама по себѣ довольно яркая картина значительно блѣднѣетъ ввиду картины въ окончательной редакціи, въ которой сдѣлана слѣдующая вставка послѣ „земля глухо гудѣла на всю округу и въ воздухѣ": „далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапоговъ. Но одинъ всѣхъ живѣе вскрикивалъ и летѣлъ вслѣдъ за другими въ танцѣ. Чуприна развѣвалась по вѣтру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній кожухъ былъ надѣтъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него, какъ изъ ведра. „Да сними хоть кожухъ!" сказалъ наконецъ Тарасъ: „видишь какъ паритъ". „Не можно", кричалъ запорожецъ. — „Отчего?". — „Не можно, у меня уже такой нравъ: что скину, то пропью". А шапки уже давно не было на молодцѣ, ни пояса на кафтанѣ, ни шитаго платка; все пошло куда слѣдуетъ. Толпа росла, къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видѣть безъ внутренняго движенія, какъ все отдирало . . ." [2]), остальное — согласно ранней редакціи.

Вся сила этого изображенія объясняется иллюстраціею въ замѣнъ сдѣланнаго Гоголемъ обобщенія: „нельзя было безъ движенія всей души видѣть, какъ вся толпа отдирала танецъ самый бѣшенный, самый вольный". Поэтъ чувствуетъ потребность не навязывать вывода своего, а заставить придти къ этому выводу самихъ читателей — и вотъ происходитъ описаніе отдѣльныхъ моментовъ, производящихъ почти иллюзію; и понятно, что Гоголь въ окончательной редакціи исключаетъ слова: „это имѣло въ себѣ что-то разительно-увлекательное", какъ лишнее, ввиду необходимости возбужденія увлеченія въ читателѣ самимъ описаніемъ. Это прибавленіе

[1]) II, 423. [2]) II, 291.

лишне и потому, что Гоголь не могъ присутствовать при танцѣ, а только перенестись мысленно въ ту пору.

По этому же, вѣроятно, въ окончательной редакціи Гоголь исключилъ изъ описанія пира: „это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее“, добавленіе, которое умѣстно было бы въ устахъ свидѣтеля.

Раньше отмѣчено было, какъ одно время, въ первую именно пору, Гоголь не умѣлъ передавать отчетливо отвлеченныя понятія, и приведенъ былъ примѣръ: „это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли только возникнуть въ грубый XV вѣкъ и притомъ на полукочующемъ Востокѣ Европы, *во время праваго и неправаго понятія* о земляхъ, сдѣлавшихся какимъ-то спорнымъ владѣніемъ . . .“ [1]).

Общее представленіе, довольно отвлеченное, не удовлетворяетъ поэта, которому привольнѣе говорить въ образахъ, и вотъ какую перемѣну мы встрѣчаемъ въ окончательной редакціи:

„Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый XV вѣкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная, первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набѣгами монгольскихъ хищниковъ, — когда лишившись дома и кровли, сталъ здѣсь отваженъ человѣкъ, когда на пожарищахъ, въ виду грозныхъ сосѣдей и вѣчной опасности, селился онъ и привыкалъ глядѣть имъ прямо въ очи, разучившись знать существуетъ-ли какая боязнь на свѣтѣ, когда браннымъ пламенемъ объялся древле-мирный славянскій духъ и завелось казачество . . .“ [2]).

Такимъ образомъ „неправое и правое понятіе о земляхъ“ уступило мѣсто картинѣ, реальной, ясной, дающей представленіе о томъ, чего не дали отвлеченныя (и непра-

---

[1]) II, 406. [2]) II, 274.

вильно употребленныя) выраженія, и не могли дать, пока не обнаружилась Гоголевская сила слова.

„Содроганіе пробѣжало по всей толпѣ; молчаніе, какое обыкновенно предшествуетъ бурѣ, остановилось на устахъ всѣхъ, и мигъ послѣ того, чувства, подавляемыя дотолѣ въ душѣ силою дюжаго характера, брызнули цѣлымъ потокомъ рѣчей.“

Это почти разсужденіе сравнительно съ слѣдующимъ образомъ:

„Всколебалась вся толпа“ вмѣсто „содроганіе пробѣжало по всей толпѣ“ — и обозначилась жизнь; сказуемое передъ подлежащимъ — и это сосредоточиваетъ вниманіе читателя.

И далѣе: „сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какое бываетъ передъ свирѣпою бурею, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи, *и весь заговорилъ берегъ*“.

Словно стоишь среда толпы и участвуешь въ этой бурѣ, тогда какъ первая редакція оставляетъ читателя довольно холоднымъ, — и это потому, что тамъ болѣе разсуждаетъ поэтъ: сужденіе „молчаніе, какое обыкновенно предшествуетъ бурѣ“ замѣнено сравненіемъ: „Сначала пронеслось молчаніе подобное тому, какое бываетъ передъ бурею“ — пріемъ поэтическій производитъ дѣйствіе, потому что понятіе приняло видъ образа.

„Вся Сѣча, все, что было на Запорожьи, собралось на площадь . . . рѣшили на томъ, чтобы идти съ войскомъ прямо на Польшу, такъ какъ оттуда произошло все зло — желая внесть опустошеніе въ землю непріятельскую и предвидя себѣ при этомъ добычу“.

Это сообщеніе историческаго факта, обобщающее множество моментовъ, составляющихъ самое рѣшеніе, замѣнено въ окончательной редакціи вотъ какимъ мѣстомъ:

„Всѣ бросили вмигъ берегъ и снарядку челновъ, ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не

суда, да казацкіе чайки, а понадобились телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ походъ, и старые и молодые; всѣ съ совѣта всѣхъ старшинъ куренныхъ, кошевого и съ воли всего запорожскаго войска, положили идти прямо въ Польшу, отомстить за все зло и посрамленіе вѣры и казацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хлѣбамъ, пустить далеко по степи о себѣ славу . . . .".

„Андрій также погрузился весь въ очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигдѣ воля, забвеніе, смерть, наслажденіе не соединяются въ такой обольстительной, страшной прелести, какъ въ битвѣ" [1]).

Въ окончательной редакціи мы встрѣчаемъ дивную картину, развертывающуюся передъ нами, гдѣ нѣтъ мѣста отвлеченіямъ, хотя и очень красиво выраженнымъ:

„Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пуль и мечей. Онъ не зналъ, что такое значитъ обдумывать, или расчитывать, или измѣрять заранѣе свои и чужія силы. Бѣшенную нѣгу и упоеніе онъ видѣлъ въ битвѣ: что то пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется какъ пьяный, въ свистѣ пуль въ сабельномъ блескѣ, и наноситъ всѣмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ . . ." [2]).

Не трудно, кажется, представить себѣ, что въ случаяхъ, подобныхъ приведеннымъ, творчество шло путемъ пересоздаванія общихъ понятій въ рядъ частныхъ. Не можетъ, кажется, подлежать сомнѣнію, что мысль и чувство сперва шли параллельно, одно уступая другому, по мѣрѣ того, какъ мысль вычерчивалась яснѣе. Передъ нимъ предметъ, явленіе, событіе. Оно изучается, въ цѣломъ, въ частяхъ, въ подроб-

---

1) II, 436. 2) II, 313.

ностяхъ; усвоивается, переживается, начинаетъ сопровождаться чувствами — и наконецъ мышленіе прозаическое превращается въ мышленіе поэтическое. Читатель можетъ убѣдиться въ этомъ, сравнивая отрывки различныхъ редакцій.

На отдѣльныхъ, повидимому мало значущихъ, мѣстахъ можно прослѣдить этотъ процессъ превращенія понятій въ представленія, и, какъ видно, Гоголь въ этомъ направленіи и работалъ усиленно, пока эта манера не сдѣлалась преобладающею, лучшею, единственною, Гоголевскою. Вотъ два — три образчика: „Тарасъ Бульба крякнулъ отъ нетерпѣнія, и досадуя, что конь, на которомъ сидѣлъ онъ, мѣшалъ ему пуститься самому (въ танецъ, который описанъ былъ выше)“ [1]).

„Эхъ, если бы не конь!“ вскрикнулъ Тарасъ: „пустился бы, право, пустился бы самъ въ танецъ!“ [2]).

Объясненіе автора: „досадуя, что конь мѣшалъ“, замѣненно восклицаніемъ, влагаемымъ въ уста Тараса, восклицаніемъ, непосредственно вырвавшимся изъ груди, выражающимъ чувство гораздо сильнѣе.

Это случай звуковой образности (по крайней мѣрѣ близкой къ ней), о которой рѣчь шла въ XI главѣ.

Къ категоріи передѣлокъ, исправленій, о которыхъ все еще идетъ рѣчь, слѣдуетъ отнести передѣлки, имѣющія цѣлью бо́льшую изящность, красивость, такъ сказать, грацію стиля, зависящую или отъ подбора словъ, или отъ сочетаній звуковыхъ.

„Поужинавъ, козаки ложились спать . . . они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядѣли ночныя звѣзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву; весь ихъ трескъ, свистъ, краканье — все это звучно раздавалось среди ночи,

---

[1]) II, 423. [2]) II, 292.

очищалось въ свѣжемъ ночномъ воздухѣ и доходило до слуха *гармоническимъ*" [1]).

Въ послѣдней редакціи:

„Поужинавъ . . ." и т. д. (какъ въ первой редакціи); вмѣсто слова „краканье" — *стрекатанье* — болѣе благозвучное — и періодъ оканчивается словами: „и убаюкивало дремлющій слухъ" [2]) вмѣсто: „доходило до слуха гармоническимъ", чисто нѣмецкаго оборота: harmonisch, во всякомъ случаѣ нерусскаго, требующаго опредѣляемаго слова — существительнаго имени (кстати: у Гоголя такія формы прилагательныя, вмѣсто существительныхъ, попадаются мѣстами: *разраслась огромно, небесно свѣтитъ).*

Образы, какъ вѣрно подмѣчено г. Шенрокомъ, вынашивались, совершенствовались со стороны содержанія.

Можно привести данныя, какъ Гоголь вынашивалъ и форму, по нѣсколько разъ видоизмѣняя ее, стараясь чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, придавать ей легкость, красоту.

Какъ образчикъ такой обработки формы образа привожу тотъ, который задуманъ впервые въ пору созданія „Сорочинской Ярмарки" и отдѣланъ окончательно при второй редакціи 2-го тома „Мертвыхъ душъ". Это образъ рѣки.

Вотъ онъ, какимъ явился въ первый разъ:

„Сквозь темно- и свѣтло-зеленые листья небрежно раскиданныхъ по лугу . . . рѣка-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тѣ упоительные часы, когда вѣрное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею, осѣненную темною, упавшею съ русой головы, волною, когда съ презрѣніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замѣнить ихъ другими, и капризамъ ея конца нѣтъ, — она почти каждый годъ пе-

---

1) II, 420. 2) II, 288.

ремѣняетъ свои окресности, выбираетъ себѣ новый путь и окружаетъ себя новыми, разнообразными ландшафтами" [1]).

Параллель съ красавицею вышла неестественной, натянутой; поэтъ увлекся, отошелъ въ сторону изображенія живого существа т. е. предмета, съ которымъ рѣка *сравнивается*, въ ущербъ предмета изображаемого; — но образъ самый остался въ душѣ поэта живой и долго спустя всплываетъ, — только въ иной формѣ. Отъ красавицы перенесены признаки, идущіе къ рѣкѣ, живописуя лишь рѣку.

„Рѣка, вѣрная своимъ высокимъ берегамъ, давала вмѣстѣ съ ними углы и колѣна по всему пространству; но иногда уходила отъ нихъ прочь, въ луга, затѣмъ, чтобы извившись тамъ въ нѣсколько извивовъ, блеснуть, какъ огонь, передъ солнцемъ, скрыться въ рощи березъ, осинъ и ольхъ и выбѣжать оттуда въ торжествѣ, въ сопровожденіи мостовъ, мельницъ и плотинъ, какъ бы гонявшихся за нею на всякомъ поворотѣ" [2]). Сохранены всѣ признаки кокетливой красы, но съ замѣчательнымъ искусствомъ превращены въ метафоры, обычные въ языкѣ и идущіе къ рѣкѣ: *„уходила"*, *„извиваясь"*, *„блеснуть"*, *„скрыться"*, *„выбѣжать въ торжествѣ"*, *„въ сопровожденіи . . ."* *„какъ бы гонявшихся за нею"*.

Опять проходитъ годъ другой, достаточно продолжительное время для забвенія образа, но Гоголь остается ему вѣрнымъ, измѣнивъ его чуть чуть замѣтными штрихами, придающими рѣкѣ болѣе естественности и плавности теченія: „Рѣка, то вѣрная своимъ берегамъ, давала вмѣстѣ съ ними колѣна и повороты, то отлучалась прочь въ луга, затѣмъ, чтобы извившись тамъ въ нѣсколько извивовъ, блеснуть, какъ огонь передъ солнцемъ, скрыться въ рощи березъ, осинъ и ольхъ и выбѣжать оттуда въ торжествѣ, въ сопровожденіи мостовъ, мельницъ и плотинъ, какъ бы гонявшихся за нею на всякомъ поворотѣ" [3]).

---

[1]) II, 13. [2]) IV, 313. [3]) IV, 467.

Въ первой редакціи сдѣланы слѣдующія измѣненія: исключено „высокимъ" — признакъ вовсе не идущій къ данному случаю, такъ какъ „вѣрность" берегамъ со стороны рѣки вовсе не обусловливается высокостью ихъ, какъ могло показаться, судя по первой редакціи: рѣка течетъ такъ, а не иначе, не потому, что берега высоки; „углы" замѣнено „поворотами" и поставлено послѣ „колѣнъ" — что требуется по логикѣ описанія; вмѣсто „но" получилось „то", — послѣднее рисуетъ характеръ направленія теченія рѣки; а вмѣсто „уходила" — „отлучалась", что ближе къ характеру поворотовъ, извилинъ рѣки. — Различіе внѣшнее — едва замѣтно; нужно внимательно присмотрѣться къ причинамъ, произведшимъ это отличіе, а между тѣмъ картина получилась болѣе легкая, „красавица-рѣка" сдѣлалась граціознѣе. Работа филигранная. Если не всѣ образы вынашивались, то образцовъ подобной филигранной работы много: „. . . Татарка ушла . . . торопливо онъ (Андрій) воротился къ мѣсту, желая осмотрѣть хорошенько, всѣ-ли спятъ и все-ли спокойно. „Андрій", сказалъ въ это время, поднявши голову, старый Бульба, „какая это къ тебѣ татарка приходила?" Если бы кто нибудь въ то время посмотрѣлъ на Андрія, то бы почелъ его за мертвеца, вставшаго изъ могилы. „Эй смотри сынъ! ей Богу, отдѣлаю тебя батогомъ такъ, что до преставленія свѣта будетъ болѣть спина! Бабы не доведутъ тебя до добра" [1]).

По послѣдней редакціи:

„Андрій", сказалъ старый Бульба, въ то время, когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замерло; онъ остановился, и весь дрожа, тихо произнесъ: „А что?"

„Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра" [2]).

Содержаніе тождественно; покрайней мѣрѣ читатель

---

[1]) II, 439. [2]) II, 321.

остается равнодушнымъ къ тому, будетъ-ли Тарасъ „отдѣлывать" спину батогомъ, или „отдеретъ" его „на всѣ бока": читатель думаетъ о карѣ со стороны отца, о гнѣвѣ отца прежде всего, о честномъ Тарасѣ-казакѣ: но впечатлѣніе должно быть все же иное отъ сильной рѣчи Тараса по второй редакціи, а сила происходитъ отъ сжатости слога: „отдеру на всѣ бока"; нѣтъ длиннотъ: „такъ что, до преставленія свѣта" и т. д.

Какъ производилась отдѣлка стиля при помощи подбора словъ видно, напримѣръ, изъ нѣжной, жгучей сцены объясненія между Андріемъ и полячкой.

„Она склонилась къ нему головою. Онъ почувствовалъ, какъ электрически-пламенная щека ея коснулась его щеки, и лобзаніе, — у, какое лобзаніе! — слило уста ихъ, прикипѣвшіе другъ къ другу" [1]).

Тоже содержаніе картины, нѣсколько грубой, чувственной, аляповатой, облечено вотъ въ какую изящную форму:

(Въ это время раздались на улицѣ неясные крики, сопровождаемые трубнымъ и литаврнымъ звукомъ; „но Андрій не слышалъ ихъ"): „онъ слышалъ только, какъ чудныя уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханія . . . и спустившіеся всѣ съ головы, пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ темнымъ и блистающимъ шелкомъ . . . Полный не на землѣ вкушаемыхъ чувствъ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста прильнувшіе къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдно сліянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что одинъ только разъ въ жизни дается чувствовать человѣку" [2]).

Замѣна не требуетъ поясненій: нѣтъ болѣе „прикипѣвшихъ другъ къ другу устъ" и возгласа „У, какое лобзаніе", мало пригодное для поэтической картины.

---

1) II, 441. 2) II, 335.

Вотъ другая картина въ переработанномъ видѣ, изъ другой сферы:

Рисуется величественное зрѣлище пожара на громадномъ пространствѣ, художникъ даетъ одинъ изъ моментовъ:

„. . . Въ другомъ мѣстѣ горѣло новое зданіе, потопленное въ садахъ. Деревья шипѣли и покрывались дымомъ. иногда сквозь нихъ просвѣтливалась лава огня, и гроздіи грушъ, обвѣсившихъ вѣтви, принимали цвѣтъ червоннаго золота; даже видны были издали сливы, получившія фосфорическій, лилово-огненный цвѣтъ . . . . . . надъ нимъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крапинокъ, въ видѣ едва замѣтныхъ крестиковъ на огненномъ полѣ . . .“ [1]).

Картина рисуется въ окончательной редакціи такая-же точно по содержанію; но форма измѣнилась, потому что внесены двѣ-три мелкихъ черточки, новыхъ, иныхъ:

„. . . Тамъ горѣлъ монастырскій садъ; казалось, слышно было, какъ деревья шипѣли, обвиваясь дымомъ, и когда выскакивалъ огонь, онъ вдругъ освѣщалъ фосфорическимъ лилово-огненнымъ свѣтомъ спѣлые гроздіи сливъ, или обращалъ въ червонное золото тамъ и тамъ желтѣвшія груши . . . надъ огнемъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ . . .“ [2]).

Художникъ пересоздалъ картину; она стала почти воздушною; читатель обозрѣваетъ все громадное пространство безъ затрудненій, представляемыхъ картиной по первоначальной редакціи. Гоголь какъ будто ставитъ явленіе передъ собою, устраняетъ все, что можетъ задерживать глазъ на несущественномъ, что можетъ *казаться* глазу не такимъ, какимъ оно въ дѣйствительности. Онъ хочетъ, чтобы читатель чувствовалъ и видѣлъ все такъ, какъ видитъ самъ онъ; и это не только при изображеніи физическаго

1) II, 437. 2) II, 316.

міра но и нравственнаго, когда онъ, напр. вмѣсто выраженія „Онъ отдохнулъ отъ испуга“ ставитъ образъ: „Вдругъ отхлынулъ отъ сердца испугъ еще скорѣе, чѣмъ прихлынулъ“, въ расчетѣ, что читатель проникнетъ въ самое нутро, въ сердце, и увидитъ, какъ кровь приливаетъ и отливаетъ.

Вотъ въ поэтѣ пробуждается потребность изобразить чувство, вызванное ожиданіемъ извѣстія о предстоящемъ бѣдствіи. Онъ создалъ картину такого состоянія ожиданія: встрѣчу прибывшаго парома съ находящимися на немъ голяками. Но онъ этимъ не удовлетворенъ. Ему показалось необходимымъ представить вмѣстѣ съ тѣмъ и чувства, сопровождающія чувство ожиданія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ростъ ихъ, и усиленіе, и напряженіе ихъ отъ сосредоточенности въ одномъ состояніи.

Всего этого достигаетъ художникъ при помощи почти неуловимыхъ средствъ, какъ будто какимъ то чарованіемъ; и снова нуженъ чуть не микроскопическій анализъ для изслѣдованія причинъ, произведшихъ новое дѣйствіе той же самой картины, путемъ лишь ничтожныхъ, повидимому, исправленій.

Вотъ первая редакція:

„Богъ въ помощь вамъ, панове запорожцы!“

„Здравствуйте“, отвѣчали работавшіе въ лодкахъ, пріостановивъ свое занятіе.

„Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать!“

„Говори!“

И толпа усѣяла и обступила весь берегъ.

„Слышали-ли вы, что̀ дѣлается на гетьманщинѣ?“

„А что̀?“ произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.

„Такія дѣла дѣлаются, что и разсказывать нечего“.

„Какія же дѣла?“

„Что и говорить! И родились и крестились, еще не видали такого“, отвѣчалъ приземистый казакъ, поглядывая съ гордостью владѣющаго важной тайной.

„Ну, ну, разсказывай, что̀ такое!“ кричала въ одинъ голосъ толпа.

„А развѣ вы, панове, до сихъ поръ не слыхали?“

„Нѣтъ не слыхали“.

„Какъ же это? Что-жъ, вы развѣ за горами живете, или татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши ваши?“

„Разсказывай! Полно толковать! . . .“

„Такъ вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святыя, какъ шинки, на аренду?“

„Нѣтъ“.

„Такъ вы не слышали и про то, что уже христіанину и пасхи не можно ѣсть, покамѣстъ разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою“.

„Ничего не слышали!“ кричала толпа, подвигаясь ближе.

„И что ксендзы ѣздятъ . . . въ таратайкахъ въ которыхъ запряжены . . . христіане. Такъ вы, можетъ, и того не знаете что . . .? Вы можетъ быть не слышали и объ томъ, что . . .“ [1]).

Сравнимъ отрывокъ со слѣдующею исправленною редакціей:

„А съ чѣмъ пріѣхали?“

„Съ бѣдою!“

„Съ какою?“

„Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать?“

„Говори!“

„Или хотите, можетъ быть, собрать раду?“

„Говори, мы всѣ тутъ“.

Народъ весь стѣснился въ одну кучу.

„А вы развѣ ничего не слыхали о томъ, что̀ дѣлается на гетьманщинѣ?“

„А что̀?“ произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.

„Э! что? Видно, вамъ татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, что вы ничего не слыхали“.

---

[1]) II, 430.

„Говори же, что тамъ дѣлается?“

„А то дѣлается, что и родились и крестились, еще не видали такого“.

„Да говори намъ, что дѣлается, собачій сынъ!“ закричалъ одинъ изъ толпы, какъ видно, потерявъ терпѣніе.

„Такая пора теперь завелась, что ужъ церкви святыя теперь не наши“.

„Какъ не наши?“.

„Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду впередъ не заплатишь, то и обѣдни нельзя править“.

„Что ты толкуешь?“

„И если разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзя“.

„Вретъ онъ паны браты . . .“

„Слушайте! еще не то разскажу . . .“ (о томъ, что запрягаютъ христіанъ — какъ въ 1-й редакціи).

„Слушайте! еще не то разскажу . . . и т. д. Вотъ какія дѣла водятся на Украинѣ“ [1]).

По содержанію обѣ редакціи ничѣмъ не отличаются; ни одного новаго момента не внесено въ этомъ отношеніи. Но вся картина въ измѣненной формѣ, едва замѣтной для слуха, привноситъ новое содержаніе въ представленіе читателя: сопровождающее событіе чувство, о которомъ упомянуто передъ приведенными параллелями. Поэтъ вставилъ повелительное „говори“, „говори-же“, „да говори-жъ“, вмѣсто менѣе рѣшительного: „ну, ну, разсказывай“ и довольно добродушнаго: „разсказывай, полно толковать“; этимъ онъ обозначилъ рѣзче настроеніе ожиданія, дѣлающагося все напряженнѣе и вызывающаго бранное слово: „говори, собачій сынъ“; — затѣмъ, пользуясь подготовленнымъ настроеніемъ, поэтъ заставляетъ разскащика измѣнить лишь тонъ рѣчи:

---

[1]) II, 304.

тогда какъ по первой редакціи разскащикъ удивлено спрашиваетъ: „Такъ вы не слышали . . .“ (того-то); „Такъ вы не слышали и . . .“ (того-то), Гоголь по второй редакціи въ уста разскащика влагаетъ повелѣвающее и внушительное: „слушайте, еще не то скажу“ — все crescendo возбуждая чувства негодованія.

Художественный расчетъ ясенъ: поэту нужно ярче выставить причинную связь между разсказомъ вновь прибывшихъ объ ужасахъ, совершаемыхъ на гетьманьщинѣ и возбужденіемъ умовъ этой громадной толпы, приходящей въ неистовство и приступающей къ насиліямъ всякого рода. Пріемъ, употребленный Гоголемъ въ первой редакціи, показался не достигающимъ цѣли; разсказы казака не достаточно проникаютъ въ сердца, не могутъ трогать. Вопросы: „Такъ вы не слышали, что и т. д.“ не способны поразить слуха такъ, какъ „Слушайте! еще не то разскажу“ — при сообщеніи факта; опять повтореніе „Слушайте! еще не то разскажу . . .“ — и снова слѣдуетъ поражающій фактъ.

Мелкимъ исправленіямъ счета нѣтъ. Но всѣ важны для изслѣдователя, имѣющаго ввиду объясненіе развитія творческаго генія. Всѣ эти исправленія имѣютъ конечною цѣлью болѣе правдивое изображеніе, болѣе соотвѣтствующее дѣйствительности, при стремленіи не измѣнять требованіямъ поэзіи. Изъ категоріи этихъ исправленій два-три образца:

„Рѣсницы ея, длинныя *какъ мечтанія*, были опущены и темными тонкими иглами виднѣлись рѣзко на ея небесномъ лицѣ“ [2]).

По послѣдней редакціи: „Она потупила свои очи . . . вѣки окраенныя длинными, *какъ стрѣлы*, рѣсницами“ [3]).

„Они начали преусердно *колотить* другъ друга“ [4]).

---

[1]) II, 440. [2]) II, 330. [3]) II, 403.

По послѣдней редакціи: „. . . начали *насаживать другъ другу тумаки* и въ бока, и въ поясницу . . .“ [1]).

Вотъ образецъ измѣненія облегчающаго воспріятіе: „Больше полуторы недѣли живетъ, дальше не ѣдетъ . . .“ [2]) замѣнено: „Другую недѣлю живетъ . . .“ [3]). Какъ упомянуто выше, опредѣленная мѣра не производитъ поэтическаго впечатлѣнія.

По этому поводу умѣстно замѣтить, что Гоголь подобныя исправленія дѣлаетъ не случайно, а послѣдовательно и настойчиво. Принимаю въ соображеніе слѣдующіе случаи:

Прежняя редакція:

„Ворота . . . были растворены . . . на нихъ Чичиковъ замѣтилъ желѣзный засовъ и замокъ *въ пудъ вѣсомъ*“ [4]).

Окончательная редакція:

„. . . ворота были растворены . . . въ другое время и они были заперты на глухо, ибо въ желѣзной петлѣ висѣлъ *замокъ-исполинъ*“ [5]).

„Навѣрное можно бы предполагать, что въ этомъ оркестрѣ (собачьемъ лаѣ, при въѣздѣ во дворъ Коробочки) *болѣе ста* музыкантовъ“ [6]) замѣнено въ новой редакціи:

„Уже по одному собачьему лаю, составленному изъ *такихъ музыкантовъ* . . .“ [7]).

„Чичиковъ *минуты три* оставался молча, не отвѣчая ни слова на сдѣланный ему запросъ“ [8]).

По послѣдней редакціи:

„Этотъ вопросъ, казалось, затруднилъ гостя: въ лицѣ его показалось какое то напряженное выраженіе“ [9]).

„Всѣ *трое* почти *около шести* минутъ хранили совершенное молчаніе . . .“ [10]).

Въ послѣдней редакціи:

---

[1]) II, 270. [2]) III, 315. [3]) III, 206. [4]) Соч. Гог. X изд. VII, 61. [5]) Соч Г. изд. XII, IV, 125. [6]) Соч. Г. X изд. VII, 23 [7]) Соч. Г. изд. XII, IV. 46. [8]) Соч. Г. X изд. VII, 177. [9]) Соч. Г. изд. XII, IV, 34. [10]) Соч. X изд VII, 236.

„Почти въ теченіе цѣлыхъ *пяти минутъ* всѣ хранили молчаніе . . " [1]).

„Чичиковъ еще *нѣсколько взглядовъ* бросилъ въ комнату . . ." [2]).

Въ послѣд. редакціи:

„Чичиковъ еще *разъ окинулъ комнату* и все что въ ней нибыло . . ." [3]).

Сравнивая эти параллели, нельзя не видѣть, что художественный расчетъ ясенъ.

И здѣсь, какъ замѣчено, Гоголя заставляетъ внести поправки сознаніе, что цыфра задерживаетъ мысль, непріятно прерывая теченіе ея — вслѣдствіе чего картина блѣднѣетъ. „Пять минутъ", представляя счетъ, какъ и „шесть минутъ" утратило, однако, значеніе выраженія опредѣленнаго количества; *„пять минутъ"* обозначаетъ *короткое время;* при словѣ *шесть минутъ* — происходитъ перерывъ, точность замѣняетъ дѣйствіе воображенія.

Тоже и относительно замка́ въ „пудъ вѣсомъ". „Пудъ" разрушаетъ иллюзію чего то крупнаго, останавливаетъ мысль на вѣсѣ — тогда какъ „замо́къ-исполинъ" даетъ воображенію просторъ.

„Сто" музыкантовъ отвлекаетъ вниманіе отъ главнаго, потому — то цифра совершенно опущена; и т. д.

Чтобы не утомлять читателя обиліемъ матеріала, ссылаюсь на два мѣста еще, заключающія болѣе совершенные цѣльные образы, вслѣдствіе измѣненій, внесенныхъ Гоголемъ при помощи всѣхъ пріемовъ, указанныхъ выше.

Образъ лѣса [4]) гораздо поэтичнѣе въ изображеніи, подвергшемся исправленію [5]).

Изображеніе состоянія Андрея [6]) психологически вѣрнѣе въ редакціи исправленной [7]).

И т. д. и т. д.

---

[1]) Соч. Г. изд. XII, IV, 104. [2]) Соч. Г. X изд. VII, 236. [3]) Соч. Г. изд. XII, IV, 104. [4]) IV, 468. [5]) IV, 314. [6]) II, 437. [7]) II, 319.

XIII.

Весьма часто извѣстный вопросъ, тревожащій поэта, уясняется для него не однимъ актомъ творчества, не однимъ произведеніемъ, а послѣдовательнымъ рядомъ произведеній, и, такимъ образомъ, этотъ рядъ, какъ рядъ отвѣтовъ, становится все опредѣленнѣе, по мѣрѣ приближенія къ концу. Сопоставленіе этихъ произведеній, отвѣчающихъ на возникающіе вопросы, разъясняетъ намъ и самое свойство этихъ вопросовъ.

То-же, что съ цѣльными образами, то-же и съ отдѣльными частями поэтическихъ произведеній.

Если созданіе образа есть для поэта неодолимая потребность, то онъ для выраженія мысли хватается за первую попавшуюся форму; при живой потребности созиданія, ему некогда думать о томъ, какъ отнесется къ нему читатель. Дѣло души болѣе важно:

„Wenn einem ernst ist was zu sagen
Ist nötig Worten nachzujagen?“

Этимъ объясняется, что Гоголь такъ часто перерабатывалъ свои образы; онъ долженъ былъ хотя въ нѣкоторой степени утолить жажду творчества: онъ могъ послѣ этого спокойнѣе и объективнѣе относиться къ образамъ, созданнымъ въ моментъ вдохновенія. И этимъ объясняется вся та работа писателя надъ произведеніями, о которой говорилось въ предъидущихъ главахъ.

Въ работѣ надъ однимъ и тѣмъ же образомъ можетъ быть усмотрѣна преемственная связь; такая точно связь замѣчается въ работѣ надъ обширнымъ запасомъ художественныхъ образовъ, рано сложившихся въ фантазіи Гоголя на почвѣ впечатлѣній отъ окружающей дѣйствительности. Эти образы, какъ мы видѣли, совершенствовались, обогащались. Иногда

только нѣтъ. Въ подобномъ совершенствованіи, въ значительной степени происходящемъ при участіи сознанія и преднамѣренности, замѣчается извѣстное упорство, или, вѣрнѣе, настойчивость мысли. Это пересозиданіе извѣстныхъ образовъ (стало быть различные отвѣты, даваемые на возникающіе вопросы), тянется цѣлыя годы: и изъ этой настойчивости образовъ мы имѣемъ основаніе заключить о важности этихъ вопросовъ для самого автора.

Такъ бывало съ Гете; вспомнимъ его „Фауста" — трудъ всей его почти жизни.

Такъ бывало съ Пушкинымъ: въ „Поэтѣ" напр., мы видимъ художественный образъ, который возникъ въ его душѣ въ началѣ 20-хъ годовъ; онъ постепенно созрѣвалъ, и въ законченной формѣ вылился въ 26—27 годахъ, въ образѣ „Пророка". Внутреннее родство между ними несомнѣнно, а совершенствованіе образа можно прослѣдить фактически [1]; изъ сопоставленія же названнаго произведенія съ такими напр. какъ „Поэту", „Чернь", „Эхо", „Въ младенчествѣ моемъ" и др., дѣлаемаго съ цѣлью отдать себѣ отчетъ въ характерѣ творчества, мы въ правѣ заключить о важности этого вопроса для Пушкина, какъ судимъ о важности вопроса, затрагиваемаго въ „Фаустѣ" — для Гете.

Изслѣдованія должны опредѣлить, какіе образы чаще возбуждаютъ поэтическое вниманіе Гоголя, съ какими онъ больше всего свыкается, сживается, и какіе не покидаютъ его во всю жизнь. Мы должны будемъ признать, что въ каждомъ комплексѣ образовъ есть одинъ, почему-то становящійся поверхъ другихъ, дающій тонъ всему творчеству; что воспоминанія объ образахъ тянутся вереницей, возбуждая различныя ассоціаціи, разбѣгаясь за ними въ сторону и снова возвращаясь.

---

[1]) См Сумцовъ, Харьковскій Унив. Сборникъ, 1900.

То, что сказано объ образахъ въ цѣломъ, можно сказать и объ отдѣльныхъ составныхъ частяхъ образа.

Не имѣя цѣлью изслѣдованія *содержанія* Гоголевскихъ образовъ, а формы ихъ — укажу на то, что помимо постояннаго совершенствованія, неустанной работы исправленія своего стиля, мы часто встрѣчаемся съ одними и тѣми же формами, возобновляющимися у Гоголя каждый разъ въ неизмѣняемомъ видѣ. Форма остается какъ бы излюбленною, съ нею онъ разстаться не можетъ — и не хочетъ.

Слѣдя за любимыми Гоголемъ формами, можно видѣть, что онѣ, какъ созданныя духомъ его, воспринимались не пассивно, но глубоко западали въ душу, возбуждая разнородныя чувства и представленія, получая каждый разъ одну и ту-же субъективную окраску. Объ этомъ можно судить по аналогіи съ тѣмъ, что мы встрѣчаемъ при отношеніи его къ собственнымъ образамъ не со стороны формы, а содержанія.

Одинъ только примѣръ для поясненія мысли:

Рисуя казаковъ, Гоголь замѣчаетъ между прочимъ: „Иные были чрезвычайно смѣшны". Кому, спрашивается? О томъ, что они были смѣшны товарищамъ — не было рѣчи; очевидно, художникъ говоритъ про себя; онъ дѣлаетъ себя свидѣтелемъ того, что происходитъ на Сѣчѣ; онъ, незамѣтно для себя, переносится въ тотъ міръ, въ тѣ лица, которые онъ рисуетъ, самъ переживаетъ событія, явленія, имъ изображаемыя, и невольно обнаруживаетъ то, что̀ онъ испытываетъ отъ образа, имъ же созданнаго. И такое отношеніе, вполнѣ субъективное, замѣчается часто.

То-же мы можемъ сказать о формѣ образа: Гоголь испытываетъ чувство удовлетворенности, когда имѣетъ случай пустить въ оборотъ любимые образы, сравненія, олицетворенія; — и онъ возвращается къ нимъ каждый разъ какъ будто съ особеннымъ удовольствіемъ.

Изслѣдованіе этого явленія пріобрѣтаетъ значеніе ввиду психологическаго закона, по которому данный образъ воз-

буждаетъ другіе, стоявшіе съ нимъ въ извѣстной связи по какой бы то ни было ассоціаціи; а это послѣднее въ свою очередь опредѣляетъ душевное настроеніе.

Вотъ нѣсколько фактовъ:

„Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, *вся превратилась въ одно зрѣніе* и не могла наглядѣться“ [1]).

„Съ возростающимъ изумленіемъ, *вся превратившись въ слухъ*, не проронивъ ни одного слова, слушала дѣва открытую сердечную рѣчь, въ которой, какъ въ зеркалѣ, отражалась молодая полная силъ душа“ [2]).

„. . . Засѣдатель . . . отвелъ для ярмарки проклятое мѣсто, на которомъ, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь-ли ты тотъ старый, развалившійся сарай, что вонъ-вонъ стоитъ подъ горою?“ Тутъ любопытный отецъ нашей красавицы подвинулся еще ближе, и *весь превратился, казалось, во вниманіе*“ [3]).

„Увѣренность ея въ близкой своей кончинѣ такъ была сильна и состояніе души ея такъ было къ этому настроено, что дѣйствительно черезъ нѣсколько дней она слегла въ постель и не могла уже принимать никакой пищи. *Афанасій Ивановичъ весь превратился во внимательность*, и не отходилъ отъ ея постели“ [1]).

„Казалось, какъ будто въ эту минуту ожили въ его душѣ тѣ напряженія и порывы, которые нѣкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступилъ на его лицѣ, *весь обратился онъ въ одно желаніе* и, можно сказать, загорѣлся одною мыслью: ему хотѣлось изобразить отпадшаго ангела“ [2]).

---

[1]) II, 277. [2]) II, 332. [3]) II, 18.

„Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: передъ ними стояла Алкиноя, незамѣтно вошедшая въ продолженіе ихъ бесѣды. Опершись на истуканъ, *она вся, казалось, превратилась въ безмолвное вниманіе*, и на прекрасномъ челѣ ея прорывались гордыя движенія богоподобной души“ [3]).

„Ну, слушайте же, что такое эти мертвыя души“, сказала дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ, и *гостья при такихъ словахъ вся превратилась въ слухъ:* ушки ея вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диванѣ, и не смотря на то, что была отчасти тяжеловата, сдѣлалась вдругъ тонѣе, стала похожа на легкій пухъ, который вотъ такъ и полетитъ на воздухъ отъ дуновенія“ [4]).

„Такъ русскій баринъ, собачей и іора-охотникъ, подъѣзжая къ лѣсу, изъ котораго вотъ-вотъ выскочитъ оттопанный доѣзжачими заяцъ, *превращается весь* со своимъ конемъ и поднятымъ арапникомъ *въ одинъ застывшій мигъ, въ порохъ*, къ которому вотъ-вотъ поднесутъ огонь . . .“ [5]).

Я взялъ образы изъ самыхъ различныхъ періодовъ творчества Гоголя: изъ самой первой поры, когда онъ творилъ по готовымъ почти образцамъ, и изъ самой высшей поры творчества „Мертвыхъ Душъ“, и на всемъ разстояніи мы замѣчаемъ одинъ и тотъ же образъ: „превращеніе“ въ то чувство, въ то состояніе, которое должно въ данный моментъ быть преобладающимъ въ личности. — Не можетъ быть спора, что этотъ образъ облюбленъ художникомъ, онъ ему особенно милъ. Ему пріятно видѣть передъ собою олицетворенными выставляемыя имъ свойства. Это доказывается между прочимъ тѣмъ, что на первыхъ порахъ художникъ пользуется этимъ образомъ нѣсколько неувѣренно, робко — употребляя

---

1) II, 261. 2) I, 189. 3) I, 71. 4) IV, 206. 5) IV, 207. Сюда относится образъ подобный напр. слѣдующему; „За столомъ пріятно было видѣть съ какимъ умиленіемъ почтенный наставникъ, завѣсившись салфеткой, отправлялъ всеобщій процессъ житейскаго насыщенія. Ни слова посторонняго, ни движенія лишняго: весь, казалось, переселялся онъ въ свою тарелку“. (I, 55).

при этомъ: „казалось, будто; казалось, превратился“ (въ то-то . . .); по мѣрѣ болѣе частаго пользованія образомъ, Гоголь становится смѣлѣе, и говоритъ опредѣленно: „превратилось въ . . .“.

Мало того, „превращеніе“ кажется поэту осуществившимся, и онъ рисуетъ подробно самое превращеніе, какъ въ двухъ случаяхъ, приведенныхъ послѣдними въ цѣломъ ряду; онъ не только рисуетъ подробно, онъ находитъ и аналогію этому превращенію и создаетъ тутъ-же подобный образъ сравненія. Замѣтить нужно, что и въ частныхъ письмахъ онъ употребляетъ тѣ-же образы; въ письмѣ, напр., къ матери мы встрѣчаемъ: „. . . Я хотѣлъ противиться . . . желаніямъ души, которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня *претворивъ меня въ жажду*“ [1]).

Къ такимъ же выраженіямъ-образамъ относится подобный слѣдующему, часто встрѣчаемому:

„Какъ дышитъ это платье! . . . Сколько поэзіи въ женскомъ платьѣ! . . . *Всѣ чувства переселяются въ запахъ*, несущійся отъ него, и *въ едва слышимый шумъ*, производимый имъ . . .“ [2]).

Къ любимымъ образамъ Гоголя, съ которыми онъ не разстается, относится тотъ, которымъ художникъ выражаетъ совмѣстное пребываніе, сцѣпленіе отдѣльныхъ предметовъ, — весьма оригинальный.

„Разноголосныя рѣчи потопляютъ другъ друга, и *ни одно слово не выхватится*, не спасается отъ этого потопа; ни одинъ крикъ не выговорится ясно“ [3]).

„Звѣзды горятъ и свѣтятъ надъ міромъ, и всѣ разомъ отдаются въ Днѣпрѣ; всѣхъ ихъ держитъ Днѣпръ въ темномъ лонѣ своемъ; *ни одна не убѣжитъ отъ него* . . .“ [4]).

---

[1]) 24 іюля, 1829. Сочин. и Письма Гоголя. Кулиша, V, 85. [2]) I, 106. [3]) II, 16. [4]) II, 185.

Гоголь до такой степени одинаково переживалъ изображаемые имъ моменты, что выработалъ извѣстную манеру выраженія своихъ чувствъ: радости, удивленія, негодованія — хотя бы притворныхъ (иронически). Эту манеру мы замѣчаемъ съ первыхъ же поръ творчества, и она остается до послѣднихъ главъ „Мертвыхъ Душъ".

Имѣю въ виду способъ восклицанія, непосредственно выражающаго самое чувство:

„А какими пирогами накормитъ моя старуха! Что́ за пироги! . . . А масло! . . . Боже ты мой, какихъ на свѣтѣ нѣтъ кушаньевъ . . ." [1]).

„Нѣтъ ничего лучше Невскаго проспекта . . . Чѣмъ не блеститъ эта улица . . .? Какъ чисто подметены его тротуары и, Боже, сколько ногъ оставляетъ на немъ слѣды свои! Сколько вытерпитъ онъ перемѣнъ въ теченіе однихъ сутокъ! . . . А какія встрѣтите вы дамскія рукава на Невскомъ проспектѣ! [2]) и т. д.

„Славная бекеша у Ивана Ивановича! . . . А какія смушки! Фу ты, пропасть, какія смушки . . .".

„Господи Боже мой, Николай Чудотворецъ . . . какой у него домъ въ Миргородѣ"., „. А какой богомольный человѣкъ Иванъ Ивановичъ!" [3]).

Къ манерѣ, ближе всего напоминающей только что приведенную, можно отнести обращеніе къ предмету въ видѣ воззванія, не къ самому предмету однако, а къ главному признаку, характеризующему поэтическое воззрѣніе художника:

„Часто, слушая, какъ всенародно судятъ и толкуютъ о поэтѣ . . . думаю въ глубинѣ души своей: не святотатство-ли это? . . . выразятъ-ли эти слова хотя одну струю безграничнаго океана чувствъ? *Безсильныя!* Они отъ частого повторенія людьми потеряли даже бѣдное собственное значеніе . . ." [4]).

---

[1]) II, 9. [2]) I, 273—275. [3]) II, 525—527. [4]) I, 74.

„Все неслось, все танцовало. Но еще страннѣе, еще неразгаданнѣе чувство пробудилось бы въ глубинѣ души при взглядѣ на старушекъ, на ветхихъ лицахъ которыхъ вѣяло равнодушіе могилы . . . *Безпечныя!* даже безъ дѣтской радости . . . они тихо покачивали охмелѣвшими головами, подплясывая за веселящимся народомъ . . .“ [1]).

„Любо тогда и жаркому солнцу оглянуться съ вышины и погрузить лучи въ холодъ стеклянныхъ водъ, и прибережнымъ лѣсамъ ярко освѣтиться въ водахъ. *Зеленокудрыя!* они толпятся вмѣстѣ съ полевыми цвѣтами къ водамъ и, наклонившись, глядятъ . . .“ [2]).

„. . . Рѣдкая птица долетитъ до середины Днѣпра. *Пышный!* ему нѣтъ равной рѣки въ мірѣ“ [3]).

Извѣстными пріемами художественнаго творчества Гоголь пользуется съ молодыхъ лѣтъ. Нѣкоторые, кромѣ названныхъ, будутъ обозначены сейчасъ; здѣсь же я хочу отмѣтить, что, какъ по стилю можно съ нѣкоторою вѣрностью опредѣлить настроенія, переживаемыя художникомъ чувства, такъ, съ другой стороны, можно прослѣдить, насколько настроеніе вызывало именно такой-то стиль, такую-то манеру болѣе-менѣе постоянную. Многія мѣста прямо выходятъ изъ одного и того-же душевнаго настроенія, и повторяются въ одномъ и томъ образѣ, когда такое-то душевное настроеніе охватываетъ Гоголя; позже это повторится каждый разъ, когда онъ очутится въ окружавшихъ его условіяхъ общественности, какъ мы видѣли столь ему ненавистныхъ. Это разъяснится подробнѣе по мѣрѣ опредѣленія свойствъ стиля Гоголя.

Есть періоды жизни, которые остаются до сихъ поръ психологически недостаточно объясненными; но произведенія могутъ дать для этого матеріалъ, если удастся установить нѣкоторую закономѣрность въ отношеніи между языкомъ и настроеніемъ. У лирика это было бы сдѣлать легче; у эпи-

---

[1]) II, 40. [2]) II, 185. [3]) II, 185.

ческаго писателя, какъ Гоголь, это тѣмъ труднѣе, что характеръ у него былъ скрытный; его внутренняя жизнь была недоступна даже друзьямъ; по разсказамъ людей, довольно хорошо его знавшихъ, онъ былъ всегда на сторожѣ, закрытый для чужого наблюденія, о чемъ и самъ онъ говорилъ не разъ.

При всемъ томъ языкъ его можетъ быть хорошимъ показателемъ его настроеній. Вотъ одинъ изъ множества примѣровъ.

Гоголю приходилось скрывать отъ матери свои дѣйствія по разнымъ соображеніямъ, которыя здѣсь насъ не занимаютъ. Однажды ему нужно было увѣрить мать, что онъ влюбленъ. Привожу отрывки изъ письма, въ которомъ увѣренія и дѣлаются; самое письмо исполнено реторическихъ, трескучихъ фразъ.

„Простите, рѣдкая, великодушная мать, еще доселѣ недостойному сыну . . . не могу понять, отчего перо дрожитъ въ рукѣ моей; мысли тучами налетаютъ одна на другую, не давая одна другой мѣста, и непонятная сила нудитъ и вмѣстѣ отталкиваетъ ихъ излиться предъ вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго; но какъ ужасно это наказаніе! Безумный! Я хотѣлъ было противиться этимъ вѣчно неумолкаемымъ желаніямъ души, которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворивъ меня въ жажду, ненасытимую бездѣйственною разсѣянностью свѣта . . .“ [1]).

Здѣсь что ни слово, то или преувеличеніе, или неискренность — и стиль совершенно соотвѣтствуетъ содержанію.

Факты біографическіе установливаютъ связь между этимъ письмомъ и эпизодами изъ его жизни; но если бы и не знали этой связи, то сопоставленіе подобной реторики съ языкомъ другимъ, который былъ у Гоголя настоящимъ, покажетъ,

---

[1]) Кулишъ, Сочин. и Письма Гоголя V, 85.

что притворство, преднамѣренная цѣль, скрытность, только и могли быть причинами стиля, въ родѣ приведеннаго. Когда Гоголь въ 40 г. ушелъ въ свой внутренній міръ и сталъ готовиться къ трагическому перевороту, совершившемуся скоро затѣмъ, то и языкъ пересталъ быть выраженіемъ его души, его сердечной, самой затаенной глубины, которая обнаруживалась въ моменты художественнаго творчества т. е. когда художникъ говоритъ правду. — На этомъ остановлюсь ниже, въ другой главѣ.

Возвращаясь къ любимымъ стилистическимъ пріемамъ Гоголя, отмѣчу еще слѣдующіе главные.

1) Особенность, отличающая стиль Гоголя, заключается въ необыкновенно частомъ, чуть не постоянномъ употребленіи двухъ синонимныхъ выраженій рядомъ, безъ всякого требованія со стороны большей ясности или опредѣленности мысли; почти всегда одно изъ выраженій оказывается совершенно лишнимъ, составляя полное повтореніе другого и изрѣдка только заставляя признакъ выступать ярче. Въ этомъ можно убѣдиться, прослѣдя это явленіе даже на сравнительно небольшомъ разстояніи рѣчи:

„Кому же изъ близкихъ я былъ дѣйствительно дорогъ, тотъ воздвигнетъ мнѣ памятникъ . . . въ себѣ . . . твердостью въ жизненномъ дѣлѣ, *бодреньемъ и освѣженіемъ* всѣхъ вокругъ себя“ [1]); или въ такомъ же родѣ, но въ глагольной формѣ: „Чтобы умѣлъ помогать собрату умнымъ совѣтомъ, . . . чтобы онъ *ободрилъ, освѣжилъ* разумнымъ напутствіемъ [2]); или еще въ формѣ причастія: „Вы исполните ее именно такъ, какъ слѣдуетъ и чего требуетъ само правительство, то есть *бодрящею, освѣжающею* силою [3]); „Можетъ подѣйствовать мѣрами не *принудительными и насильственными*, но . . .“ [4]); „Прямыя мѣста *обезсилѣли и ослабѣли* отъ введенія косвенныхъ“ [5]); „*Не торопитесь, не спѣшите ихъ* наставлять“ [6]);

[1]) Соч. Г. V, 7. [2]) Ib. 11. [3]) Ib. 181. [4]) Ib. 180. [5]) Тамъ-же, 167. [6]) Тамъ-же. 117.

„Великіе воспитатели людей налагали долгое молчаніе именно на тѣхъ, которые владѣли даромъ слова *въ тѣ поры и въ то время*"; „Потомству нѣтъ дѣла до того, кто былъ виною, что писатель сказалъ *глупость* или *нелѣпость*", или же выразился вообще *необдуманно* и *незрѣло* [1]). „Безконечно-огромные періоды, ... и періоды *сжатые, краткіе* ... у него братски улегаются ..." [2]); „Разогни книгу Ветхаго Завѣта: ты найдешь, ... увидишь ... У тебя есть на то *орудія* и *средства*" [3]); „Одиссея подѣйствуетъ на тѣхъ, которые еще готовятся въ писатели ... и видятъ передъ собою еще *туманно* и *неясно* свое будущее поприще" [4]); „... всѣ же прочіе, вѣроятно, наговаривали много лишняго, но тѣмъ не менѣе они слышали *неясно* и *темно* то же самое, что избранники умѣли сказать здраво и ясно" [5]); „... умѣли дойти до какого-то *неряшества* и *неустройства*, ... умѣли сдѣлаться *лоскутными, мелкими* отъ головы до самого платья" [6]); „Гнѣвъ вездѣ неумѣстенъ, а больше всего въ дѣлѣ правомъ, потому что *затемняетъ* и *мутитъ* его" [7]); „Къ нимъ даже не перешли и отголоски того, что *бурлило* и *кипѣло* у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ ..." [8]); „... наводненіе пустыхъ пьесъ ихъ *разбрасываетъ, разсѣеваетъ*" [9]); „Тутъ-то я увидѣлъ, что значитъ дѣло, взятое изъ души и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ видѣ можетъ быть представлена *тьма* и *отсутствіе свѣта*" [10]) и т. д. безъ конца. Не говорю о такихъ оборотахъ какъ „*мягкія* и *нѣжныя струны*" [11]); это случаи, въ которыхъ совмѣстность синонимовъ имѣетъ значеніе.

И эта манера у Гоголя давнишняя; обороты въ родѣ: „... увидѣлъ женщину *застывшую и окаменѣвшую* въ какомъ то быстромъ движеніи" [12]) встрѣчаются уже въ первыхъ произведеніяхъ, но при этомъ замѣчается однако умѣренность въ

---

1) Ib. 2) Ib. 34. 3) Ib. 77. 4) Ib. 33. 5) Ib. 44. 6) Ib. 36. Въ данномъ случаѣ лоскутные можетъ имѣть отличное отъ мелкіе значеніе, такъ какъ рѣчь идетъ и о платьѣ. 7) Ib. 59. 8) Тамъ-же, 65. 9) Тамъ-же, 66. 10) Тамъ-же, 96. 11) Тамъ-же, 53. 12) II, 329.

употребленіи, и это придавало слогу нѣкоторую красоту; красота не нарушалась даже въ такихъ случаяхъ, когда одно изъ синонимическихъ выраженій могло быть легко опущено: „Слышно только, какъ глухо шумитъ внизу Днѣпръ... онъ не бунтуетъ; онъ, какъ старикъ, *ворчитъ и ропщетъ*“ [1]); или, напр.: „Огонь порою показывался въ глазахъ его, въ головѣ даже мелькали самыя *дерзкія и отважныя* мысли“ [2]); не замѣчается въ началѣ излишества, напр. отъ выраженія: „все здѣсь собравшееся было характеръ и воля; но и то и другое было *тихо и безмолвно*...“ [3]). Получается даже въ иныхъ случаяхъ эфектъ, вызывающій смѣхъ, когда, напр.: „...и, нечего сказать, онъ (Ноздревъ) былъ такъ отдѣланъ со *всѣхъ боковъ и сторонъ*, какъ... ямщикъ... ѣзжалымъ капитаномъ“ [4]).

Но позже, въ пору, когда Гоголь болѣе поучаетъ и менѣе творитъ, эта манера принимаетъ характеръ какого то лишняго придатка, обременяющаго мысль; чѣмъ далѣе, тѣмъ меньше замѣчается чувства мѣры. Полагаю, психологически это объяснимо, если вспомнить Гетевскаго Мефистофеля: „Гдѣ мысли нѣтъ, тамъ мѣсто есть словамъ“. Гоголь какъ будто именно ищетъ пополнить чѣмъ нибудь пустопорожность содержанія: „Не отговаривайтесь вашею неспособностью, у васъ есть много того, что теперь для Россіи *потребно и нужно*“ [5]).

„Что-жъ? развѣ мало мѣстъ и поприщъ въ Россіи? *Оглянитесь* и *осмотритесь* хорошенько...“ [6]).

„Вѣрно только то, что еще никогда не бывало въ Россіи такого необыкновеннаго *разнообразія и несходства*...“ [7]).

„Это особенно хорошо для того, кто побылъ нѣкоторое время отъ нея вдали и пріѣхалъ съ *неотуманенной и свѣжей головой*...“ [8]).

[1]) Соч. Г. II, 170. [2]) III, 110. [3]) Соч. Г. X изд. V, 71. [4]) XII изд. IV, 97. [5]) V, 105. [6]) Ib. 106. [7]) тамъ-же. [8]) тамъ-же, 107.

„Прежде всего выбросьте изъ вашей головы *всѣ до одного ваши* мнѣнія о Россіи, *какія у васъ ни есть*, откажитесь отъ *собственныхъ выводовъ, какіе уже успѣли сдѣлать* и поѣзжайте, какъ *въ новую, дотолѣ вамъ неизвѣстную землю* . . .“ [1]) и т. д., тѣмъ чаще, чѣмъ меньше содержанія. Въ этомъ нужно искать Гоголевскую манеру амплификаціи, дѣлающую рѣчь его безконечно вялою, а потому тяжелою для чтенія. Она напоминаетъ рѣчь „Юдушки“ Щедрина, который, какъ говорится, жилы тянетъ своимъ словомъ и душу вынимаетъ. И такія повторенія — на протяженіи цѣлыхъ страницъ.

Чтобы не утомить читателя, не стану болѣе приводить примѣровъ въ родѣ: „грѣшатъ *не прямо*, а *косвенно*“; онъ производитъ ужасы *не прямо, а косвенно* [2]) — и это на одной страницѣ, на разстояніи какихъ нибудь 20 строкъ; приведу лишь небольшой отрывокъ, — онъ рисуетъ этотъ наборъ словъ, который дѣлаетъ чтеніе „Переписки“ просто непріятнымъ, а наборъ словъ и исходитъ, какъ сказано, изъ первоначально цѣлесообразнаго способа подчеркивать признакъ, способа, превратившагося въ безсознательное словоизверженіе.

„Сказать честному, но близорукому богачу, что онъ убирая свой домъ и заводя у себя все на барскую ногу, вредитъ соблазномъ, поселяя въ другомъ менѣе богатомъ, такое-же желаніе, который изъ за того, чтобы не отстать отъ него, разоряетъ не только собственное, но и чужое имущество, грабитъ и пускаетъ по міру людей; да вслѣдъ за этимъ и представить ему одну изъ тѣхъ ужасныхъ картинъ голода внутри Россіи, отъ которыхъ дыбомъ поднимется у него волосъ, и которыхъ, можетъ быть, не случилось бы, если бы не сталъ онъ жить на барскую ногу, да задавать тонъ обществу и кружить головы другимъ. Показать такимъ же самымъ образомъ всѣмъ модницамъ, которыя не любятъ никуда не появляться въ однихъ и тѣхъ же платьяхъ и не

---

[1]) тамъже 107. [2]) тамъ-же 110.

донашивая ничего, нашиваютъ кучи новаго, слѣдуя за малѣйшимъ уклоненіемъ моды . . .". И въ такомъ родѣ большая часть переписки [1]).

2) Пріемъ усиленія впечатлѣнія повтореніемъ одного и того же слова „*не*", при изображеніи отрицательныхъ сторонъ или свойствъ, — и этотъ пріемъ замѣчается у поэта съ юныхъ лѣтъ.

„Мы зрѣемъ и совершенствуемся, но когда? Когда глубже и совершеннѣе постигаемъ женщину. Посмотри на роскошныхъ персовъ: они переродили своихъ женщинъ въ рабынь, и что-же? имъ *не доступно* чувство изящнаго, у нихъ *не выбьется* изъ сердца искра при видѣ богини Праксителевой; восторженная душа ихъ *не заговоритъ* съ безсмертною душею мрамора и *не найдешь* отвѣтныхъ звуковъ . . ." [2]).

„Русь, Русь, вижу тебя, изъ моего чуднаго прекраснаго далека тебя вижу. Бѣдно, разбросанно и непріютно въ тебѣ; *не развеселятъ, не испугаютъ* взоровъ дерзкія дива природы . . . *не опрокинется* назадъ голова посмотрѣть на громоздящіяся безъ конца надъ нею и въ вышинѣ каменныя глыбы; *не блеснутъ* сквозь наброшенныя одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями . . .; не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя линіи сіяющихъ горъ . . ." [3]).

„Но не таковъ удѣлъ писателя . . . дерзнувшаго . . . Ему *не собрать* народныхъ рукоплесканій, ему *не зрѣть* признательныхъ слезъ, . . . къ нему *не полетитъ* на встрѣчу . . . дѣвушка съ закружившейся головою, ему *не позабыться* . . . ему *не избѣжать* лицемѣрно безчувственнаго суда . . . и т. д., и вслѣдъ за этимъ: ибо *не признаетъ* современный судъ и пр. [4]). Къ Синтактическимъ пріемамъ отношу:

3) Пріемъ усиленія впечатлѣнія отъ дѣйствія, производимаго постановкою сказуемаго передъ подлежащимъ, дополняемаго передъ дополняющимъ, опредѣляемаго передъ опре-

---

[1]) Соч. Г. V, 111. [2]) I, 69. [3]) IV, 248. [4]) IV, 147.

дѣленіемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда обычная рѣчь ставитъ ихъ въ иномъ порядкѣ.

Мелькомъ былъ затронутъ вопросъ этотъ въ одной изъ предшествующихъ главъ, разсматривающихъ вопросъ о работѣ Гоголя надъ исправленіемъ стиля. Здѣсь приводятся факты:

„*Съ возрастающимъ изумленіемъ* . . . слушала дѣва открытую рѣчь . . . *и выдалось впередъ* все прекрасное лицо ея, *отбросила* она далеко назадъ досадные волосы . . .“ [1]).

„. . . Хотѣла что-то сказать и вспомнила, что другимъ назначеньемъ *ведется* рыцарь . . .“ „. . . что *страшны* облегшіе городъ *запорожцы* . . .“ [2]).

„. . . И *обняло* горе старую голову. *Сорвалъ* и *сдернулъ онъ* всѣ перевязки . . .“ [3]).

„. . . Ну хлопцы, полно спать, пора, пора! Напойте коней! . . . Живѣе стара, готовь намъ ѣсть; путь лежитъ *великій* [4]); хотя въ данномъ послѣднемъ примѣрѣ, словомъ *великій*, поставленнымъ послѣ существительнаго, писатель имѣлъ ввиду обозначить главнымъ образомъ не разстояніе пути, а великость дѣла, такъ что „путь“, какъ дорóга, сглаживается въ сознаніи.

„*Привезъ* сотникъ молодую жену въ домъ свой . . .“ „. . . *хороша* была молодая жена . . .“ „. . . *румяна* была молодая жена . . .“ и т. п.

Интересно при этомъ замѣтить, что если художникъ не имѣетъ ввиду обратить особеннаго вниманія на признакъ, онъ ставитъ его послѣ имени, и это на небольшомъ разстояніи какой нибудь полустраницы:

„. . . Глаза ея вдругъ наполнились слезами: быстро *она схватила* платокъ, шитый шелкомъ, *набросила* его себѣ на лицо . . .“ [5]), а черезъ нѣсколько строкъ опять: „. . . *Бросила* прочь она отъ себя платокъ . . .“ поэту необходимо было усилить эффектъ отъ этого движенія рукою.

---

[1]) II, 332. [2]) Ib. [3]) II, 376. [4]) II, 410. [5]) II, 332.

Эту разстановку словъ объяснитъ и тотъ пріемъ, какимъ Гоголь пользуется въ обратную сторону, напр. въ слѣдующемъ:

„Одному Чичикову только не спалось, . . . онъ обдумывалъ, какъ сдѣлаться помѣщикомъ, не фантастическаго но существеннаго имѣнія . . . трудное дѣло хозяйства становилось теперь такъ легко . . . Уже онъ видѣлъ себя дѣйствующимъ и правящимъ именно такъ, какъ поучалъ Скудронжогло . . . всѣхъ мужиковъ *узнавши*, всѣ излишества отъ себя *оттолкнувши* . . . и *бойкимъ ходомъ* движутся всѣ пружины . . .“.

4) Пріемъ усиленія впечатлѣнія при помощи повторенія союза *и* передъ рядомъ сказуемыхъ, напоминающій пріемъ Пушкина и Лермонтова, но и отличный отъ него:

„Онъ не договорилъ, и зарыдалъ громко отъ нестерпимой боли сердца, и упалъ на стулъ, и оторвалъ совсѣмъ висѣвшую разорванную полу фрака, и швырнулъ ее прочь отъ себя и . . . безжалостно рвалъ ихъ, услаждаясь болью, которою хотѣлъ заглушить нестерпимую боль сердца . . .“ [1]).

„Зеленокудрые! они толпятся вмѣстѣ съ полевыми цвѣтами къ водамъ, и, наклонившись глядятъ въ нихъ, и не наглядятся, и не налюбуются свѣтлымъ своимъ зракомъ, и усмѣхаются, и привѣтсвуютъ его, кивая головами“ [2]).

Въ произведеніяхъ Гоголя, какъ я замѣтилъ, это *и* отличается отъ Пушкинскаго и Лермонтовскаго.

Въ „Пророкѣ“ напр.:

Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ,
И внялъ я неба содраганье,
И горнихъ ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ
И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
И празднословный и лукавый,

[1]) IV, 448. [2]) II, 185.

Й жало мудрыя змѣи (вложилъ).

— — — — — — — — — — —

И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечомъ
И сердце трепетное вынулъ,
И угль пылающій огнемъ (водвинулъ).

Здѣсь *и* имѣетъ значеніе отчасти близкое тому, какое замѣчается въ древнерусскомъ языкѣ, т. е. замѣны слова, устанавливающаго отношеніе между понятіями, какъ напримѣръ въ слѣдующихъ мѣстахъ: „моихъ ушей коснулся онъ, и ихъ наполнилъ . . . и вырвалъ грѣшный мой языкъ и празднословный и лукавый. Въ древнемъ языкѣ: „И ту есть темница людская . . . есть печера въ камени иссѣчена и въ той печерѣ . . . и есть ту камень . . . и на томъ камени; . . . камень . . . и съ того камени възнесъхъ ся Х—съ . . . или: „. . . Оттуда есть Леросъ островъ . . . и въ семъ острови есть мýка; изо рва кипитъ сѣрою горячею, и ту сѣру варячи продаютъ купцамъ . . .“ [1]).

Отчасти здѣсь *и* со значеніемъ соединительнаго союза или перечисленія.

У Гоголя это *и* пріобрѣтаетъ значеніе иное; при помощи его выдѣляется въ сознаніи каждый моментъ дѣйствія, какъ самостоятельный, а вмѣстѣ съ тѣмъ какъ смѣняющій одинъ другой и соединяющійся съ нимъ въ одно цѣлое. Гоголевское *и* въ приведенныхъ образцахъ отличается и отъ Лермонтовскаго напр. въ „Трехъ Пальмахъ“.

Употребленіе союза *„и“* въ произведеніи „Три пальмы“, напоминаетъ употребленіе его въ мѣстахъ, въ которыхъ повторяемое *и*, какъ фигура рѣчи, носитъ скорѣе характеръ, или относительнаго мѣстоименія (*который* — въ различныхъ падежахъ), или нарѣчія. Это *и* совершенно иное, чѣмъ напр. у Лермонтова же: „И скучно, и грустно, и некому руку подать“ или его же:

---

[1]) Историч. Хрестом. Буслаева 660—661.

„По небу полуночи ангелъ летѣлъ,
И тихую пѣснь онъ пѣлъ,
И мѣсяцъ, и звѣзды и тучи толпой
Внимали той пѣснѣ святой".

Ближе всего Гоголевское „и" стоитъ къ Лермонтовскому „И вѣрится, и плачется, и такъ легко, легко . . ." но все же разнится и отъ послѣдняго.

Каждый разъ *и* получаетъ различное значеніе, придавая фразѣ различную красоту, а у Гоголя, это облюбленная форма, въ которую онъ облекаетъ одновременно мысль о сосредоточенности, о силѣ, объ интенсивности проявленія чувствъ; и поэтъ пользуется ею каждый разъ, когда переносится въ подобное настроеніе.

Стилистическія особенности пріемовъ Гоголя въ сферѣ синтаксиса не ограничиваются указанными, но о другихъ, менѣе существенныхъ, говорить не буду. Въ другомъ мѣстѣ уже было упомянуто объ одномъ оригинальномъ пріемъ, частномъ, касающемся словообразованія; иныхъ грамматическихъ особенностей также касаться не буду. Мы говорили, что у него есть пристрастіе, между прочимъ, къ суффиксу *тель;* онъ образуетъ при помощи его самыя оригинальныя слова, изъ коихъ иныя привились въ русскомъ языкѣ.

XIV.

Пріемы творчества Гоголя, дѣлающіе его стиль отличнымъ отъ стиля другихъ большихъ писателей русскихъ, довольно разнообразны. Какъ эпическій писатель, онъ вноситъ такой элементъ въ языкъ описанія, который въ значительной мѣрѣ приближаетъ его къ народному эпосу. Изъ слѣдующихъ примѣровъ ясно видно, въ какой степени Гоголь былъ силенъ въ умѣніи перенестись въ міросозерцаніе народно-поэтическое, отъ котораго навсегда удалилась поэзія другихъ творцовъ слова. Примѣры взяты не исключительно изъ

„Тараса Бульбы“, произведенія, стоящаго совершенно одиноко по близости къ Илліадѣ, и дѣйствительно составляющаго своего рода эпизоды изъ Илліады.

„Итти!“ раздалось голосно въ запорожскихъ куреняхъ. Но Тарасу Бульбѣ не пришлись по душѣ такія слова, и *навѣсилъ онъ еще ниже на очи свои хмурыя*, изчерна-бѣлыя брови, *подобныя кустамъ, выросшимъ по высокому темени горы, которыхъ верхушки вплоть занесъ иглистый сѣверный иней*“ [1]).

„... И каждое простое слово этой рѣчи, выговоренное голосомъ, *летѣвшимъ прямо изъ сердечнаго дна*, облечено было въ силу“. „... *Веселье разсталось съ душею* ...“ [2]).

„... Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему уста; *звукъ отнялся у слова* ...“ [3]).

„... Вдругъ *отхлынулъ отъ сердца испугъ* еще скорѣе, чѣмъ прихлынулъ ...“ [4]).

Образцы можно громоздить въ изобиліи; только одинъ еще примѣръ изъ первой, юной поры творчества, когда Гоголь пользовался уже такими образами для обозначенія душевнаго настроенія: „Экая долгота! Видно, день Божій потерялъ гдѣ нибудь конецъ свой ... Насилу! Съ *сердцемъ только-что не хотѣвшимъ выскочить изъ груди* собрался онъ въ дорогу ...“ [5]). Этотъ способъ выраженія остался обычнымъ и долго спустя.

Вотъ другіе образцы чисто Гомеровскаго склада, характеризующіе эпическій стиль Гоголя, чуждый другимъ поэтамъ нашимъ:

„*Пошли, пошли и зашумѣли, какъ море въ непогоду, толки и рѣчи между народомъ*“ [6]).

„Тамъ обшивали досками челнъ; тамъ конопатили и смолили; тамъ привязывали связки длинныхъ камышей, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дальше

---

1) II, 352. 2) II, 332. 3) II, 330. 4) II, 321. 5) II, 49. 6) II, 158.

разложили костры . . . стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; *весь колебался и двигался живой берегъ . . .* “ [1]).

„Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свирѣпою бурею, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи, *и весь заговорилъ берегъ . . .*“. „Вотъ съ кѣмъ бы я хотѣлъ попробовать силы!“ закричалъ атаманъ . . . Припустивъ коня налетѣлъ прямо ему въ тылъ и сильно вскрикнулъ, такъ что вздрогнули всѣ близъ стоявшіе отъ нечеловѣческаго крика. Хотѣлъ было поворотить вдругъ своего коня ляхъ и стать ему въ лицо; но не послушался конь; испуганный страшнымъ крикомъ, метнулся на сторону, и досталъ его ружейною пулею Кукубенко. *Вошла въ спинныя лопатки ему горячая пуля* и свалился съ коня. Но и тутъ не поддался ляхъ, все еще силился нанести врагу ударъ, но *ослабѣла упавшая вмѣстѣ съ саблею рука.* А Кукубенко, взявъ въ обѣ руки свой тяжелый палашъ, *вогналъ его ему въ самыя поблѣднѣвшія уста: вышибъ два сахарныя зуба палашъ,* разсѣкъ на двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ, и вошелъ далеко въ землю. *Ключемъ хлынула вверхъ алая,* какъ надрѣчная калина, высокая дворянская кровь, и выкрасила весь, обшитый золотомъ, желтый кафтанъ его . . .“ [2]).

Ничего не говорю о красотахъ всей картины; подобныхъ — безчисленное множество; съ ними читатель знакомъ и сжился; я ее привелъ лишь съ цѣлью показать, какая сила собственно дѣлаетъ ее такою поэтичною, народно-поэтичною. Сила эта Гоголя состоитъ въ одномъ: его слово облекаетъ чувство, воззрѣніе, непосредственно за созерцаніемъ предмета, подъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ дѣйствіемъ, событіемъ.

„. . . Размахнулся онъ со всего плеча . . . отскочила могучая голова . . . *понеслась къ вышинамъ суровая казацкая*

---

[1]) II, 304. [2]) II, 347.

душа, хмурясь и негодуя, и вмѣстѣ съ тѣмъ *дивуясь, что такъ рано вылетѣла изъ такого крѣпкаго тѣла . . .*".

Во всѣхъ приведенныхъ примѣрахъ, помимо содержанія, формѣ придается широкій, эпическій размахъ, — и достигается это, какъ сказано, способностью устраненія какого либо промежутка между впечатлѣніемъ отъ дѣйствія и обозначеніемъ этого впечатлѣнія словомъ.

Мы позже еще увидимъ, какъ благодаря этому способу, дѣйствіе воспроизводится живьемъ съ дѣйствующимъ лицомъ вмѣстѣ.

Особенность, отмѣченная только что, сказывается также во всѣхъ случаяхъ, когда художникъ вноситъ въ изображеніе свою личность, когда эпическій стиль уступаетъ мѣсто повѣствовательному.

Въ слѣдующемъ отрывкѣ это свойство выступаетъ очень рельефно: „. . . Иноземный капитанъ взялъ фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей пушки, какой никто изъ казаковъ не видывалъ дотолѣ. *Страшно глядѣла* она широкою пастью, и тысяча смертей глядѣло оттуда. И какъ грянула она, а за нею слѣдомъ три другія . . . много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси, не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, нѣтъ-ли между нихъ одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго всѣхъ . . ."

Это мѣсто одно изъ характерныхъ для опредѣленія степени участія писателя при изображеніи событія; чувство горя, скорби, страданія — выступаетъ въ этомъ отрывкѣ очень ярко, именно потому, что и здѣсь слово непосредственно облекаетъ чувство, волнующее автора, и здѣсь какъ

будто авторъ не успѣлъ, не хотѣлъ представить событія иначе, какъ только живыми, отраженными въ зеркалѣ.

При разборѣ сравненій и другихъ фигуръ это свойство выступитъ еще нагляднѣе, и замѣтнѣе станетъ проявленіе указанной силы слова.

Непосредственность воспріятій замѣтна и въ случаяхъ изображенія момента жизни духа, и эта манера обнаруживается не только при творчествѣ поэтическомъ:

„На сочиненіяхъ моихъ не основывайтесь, пишетъ онъ другу, . . . въ нихъ точно есть кое-гдѣ *хвостики* душевнаго состоянія моего . . .“ [1]), и въ такихъ же выраженіяхъ рисуетъ онъ душевное состояніе героя: „Мысль не лѣзла къ нему въ голову . . . *отрывки* чего-то похожаго на мысли, концы и *хвостики* мыслей лѣзли и отовсюду наклеивались . . .“ [2]). Аналогично съ этимъ и употреблено выраженіе „*отрывки*“ въ фразѣ: „Полное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не *отрывки*, не намеки на чувство, а все чувство“ [3]).

XV.

Средства, какими пользовался Гоголь для воспроизведенія явленій, событій, въ отличіе отъ другихъ, уживались рядомъ съ другими пріемами, напоминающими другихъ писателей, когда они воспроизводятъ характеръ лица; но у Гоголя пріемы имѣютъ очень опредѣленную, рѣзко выраженную форму, которой нѣтъ у другихъ; у него своя манера рисовки, свои любимыя краски, свои любимые обороты.

Рисуя людей, съ весьма ограниченнымъ кругозоромъ, Гоголь выставляетъ особенно такихъ, у которыхъ и безъ того бѣдная мысль никакъ не можетъ быть облечена не только въ соотвѣтственную форму — но и ни въ какую

[1]) Соч. и Пис. Гог. VI, 147. [2]) Соч. Г. IV, 350. [3]) Соч. Г. II, 329.

форму; недостаетъ необходимыхъ словъ, вслѣдствіе неясности представленій: отсюда, или недоконченная фраза, или отдѣльныя слова безъ связи.

И каждый разъ Гоголь прибѣгаетъ къ этому пріему.

„Мастерство то главное, мастерство; посмотрите, посмотрите, какъ онъ искусно того . . .“

„. . . Да съ большимъ, съ большимъ достоинствомъ: конечно есть мѣста, которыхъ строгая критика . . . Ну знаете . . . еще молодость . . . Впрочемъ произведеніе едва ли не первоклассное“ [1]).

Эти пріемы повторяются постоянно; такъ выражается напр. и „Другая Бекеша“ въ „Театральномъ разъѣздѣ“ . . . („дѣлая значительныя движенія губами“) . . . [2]).

„Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того . . . въ своемъ родѣ . . . Ну, конечно, кто-жъ противъ этого и стоитъ, чтобы опять не было и . . . Гдѣ-жъ такъ сказать, а впрочемъ . . . да, да . . .“

Такъ выражается и самъ разскащикъ о „Носѣ“: „. . . Признаюсь, это ужъ совсѣмъ не постижимо это точно . . . нѣтъ, нѣтъ! Совсѣмъ не понимаю . . . А однакоже при всемъ томъ, хотя, конечно, можно допустить и то и другое и третье, можетъ даже . . . ну, да и гдѣ же не бываетъ несобразностей — а все однакожъ . . . есть что-то . . .“ [3]).

Такъ выражается и несчастный Акакій Акакіевичъ: „А вотъ тебѣ Петровичъ . . . того, . . . это, право, совершенно того . . . А я вотъ, Петровичъ, шинель-то . . . сукно . . . вотъ видишь, въ другихъ мѣстахъ совсѣмъ крѣпкое . . .“ [4]).

Такъ-же выражается и счастливый, но безсодержательный Маниловъ, не имѣющій ни одной мысли въ головѣ и вмѣсто „того“ у него является „такое“ „этакое“: „если бы, напримѣръ, такой человѣкъ, съ которымъ бы *въ нѣкоторомъ родѣ* можно было бы говорить о любезности, о хоро-

---

[1]) I, 72—73. [2]) III, 533. [3]) III, 31. [4]) III, 104.

шемъ обращеніи; слѣдить *какую нибудь этакую* науку, чтобы *этакъ* расшевеливо душу, дало бы такъ сказать, *пареньe этакое* ..." [1]). Такимъ же языкомъ говоритъ и Подколесинъ разсуждая: „... Теперь я вотъ вижу, что все это движется, живетъ, чувствуетъ, *этакъ* какъ-то испаряется, *какъ-то этакъ* не знаешь даже самъ, что дѣлается ..." [2]). Эта манера изображенія варіируется едва замѣтно, выступаетъ нѣсколько иначе только въ Акакіи Акакіевичѣ, напоминающемъ больше Акима во „Власти тьмы" съ его типичнымъ „тае" (= „того"); но оно не покидаетъ Гоголя отъ начала писательской дѣятельности (когда написана статья: „Борисъ Годуновъ Пушкина") до послѣдняго времени, поры созиданія „Мертвыхъ душъ".

Гоголь рисовалъ различные фигуры людей грубыхъ изъ всякихъ слоевъ, — но одну преобладающую черту грубости — потребность ругани, брани самой площадной — онъ выдвигаетъ постоянно; безъ нея не обходится ни одно лицо этой категоріи, хотя брань разнообразится, въ зависимости отъ господствующей черты характера. Можно установить группы: Кочкаревъ ругается какъ Ноздревъ, Ноздревъ какъ Подколесинъ, а послѣдній какъ Кочкаревъ, и всѣ трое похожи другъ на друга, въ этомъ отношеніи, совершенно:

Кочкаревъ: Ну, не олухъ-ли ты, собрался совершенно — и вдругъ — не нужно ... Ну, скажи пожалуйста, не свинья-ли ты, не подлецъ-ли ты послѣ этого?

Подколесинъ: Ну чтожъ ты бранишься? Съ какой стати? Что я тебѣ сдѣлалъ?

Кочкаревъ: Дуракъ, дуракъ набитый, это тебѣ всякій скажетъ „Глупъ, вотъ просто глупъ, хоть и экспедиторъ ... лежитъ проклятый холостякъ ... Ну, ну, дрянь, колпакъ, сказалъ бы такое слово ... да неприлично только, и Баба,

---

[1]) IV, 28. [2]) III, 431.

хуже бабы! . . .“ [1]). (Сравни Собакевича: образованіе — фукъ! сказалъ бы другое слово, да только неприлично за столомъ).

Вотъ отрывокъ изъ разговора Чичикова и Ноздрева:

„Отчего-жъ ты не хочешь играть?“ сказалъ Ноздревъ.

„Ну, оттого — что не расположенъ. Да признаться сказать, я вовсе не охотникъ играть“.

„Отчего-жъ не охотникъ?“

Чичиковъ пожалъ плечами и прибавилъ: „Потому что не охотникъ“.

„Дрянь же ты!“

„Что-жъ дѣлать, такъ Богъ создалъ“.

„Ѳетюкъ просто! Я думалъ было прежде, что хоть сколько-нибудь порядочный человѣкъ, а ты никакого не понимаешь обращенія . . . (Сравни: Подколесинъ: „Съ нимъ никакъ нельзя водиться: не понимаетъ никакаго обращенія“ [2]). Совершенный Собакевичъ, такой подлецъ!“

И такъ же какъ Подколесинъ, Чичиковъ спрашиваетъ: „Да за что-жъ ты бранишь меня? [3]).

Бранится и баба Черевика въ „Сорочинской Ярмаркѣ“ [4]); бранится и слесарша въ „Ревизорѣ“ [5]) — и брань, очень типичная, характерная для женщины изъ простонародья; здѣсь и тамъ брань почти одна и таже, и немногимъ чѣмъ отличается отъ ругани напр. свахи въ „Женитьбѣ“ [6]).

Бранится и Городничій [7]), и Собакевичъ [8]), и Иванъ Никифоровичъ [9]), и всѣ разнообразно; но эта черта персонажей составляетъ для Гоголя пріемъ, безъ котораго онъ не обходится; — а въ изобрѣтеніи, и словъ, и выраженій онъ неисчерпаемъ.

Въ главѣ о юморѣ мы встрѣтимся съ коллекціею такихъ словъ.

Пришлось бы забѣжать впередъ, если бы теперь же обозначить подробнѣе другіе пріемы Гоголя, такъ какъ

[1]) III, 389. [2]) III, 390. [3]) IV, 88—89. [4]) II, 14, 21 и др. [5]) III, 259. [6]) III, 417. [7]) III, 269, 271. [8]) IV, 105, 106. [9]) II, 540.

главнѣйшіе сосредоточиваются въ юморѣ. Но въ общихъ чертахъ можно указать на проявленіе его манеры писать, манеры, стоящей съ его основною силою въ нѣкоторой связи.

Сюда относится, напр., манера обрывать на полусловѣ, когда онъ задумываетъ характеристику женщинъ. Сюда относится, напр. все тотъ-же пріемъ дѣлать введеніе въ характеристику лица.

Къ обычнымъ пріемамъ Гоголя относится одинаковость изображенія людей извѣстной профессіи, напр.: учителя [1]) и т. д.

Вотъ, напр., способъ характеристики при помощи повторенія собственнаго имени (или званія) лица, каждый разъ, при перечисленіи свойствъ этого лица:

„Но кто-же этотъ голова, возбудившій такіе толки о себѣ? О, этотъ голова важное лицо на селѣ . . . Головѣ открытъ свободный ходъ во всѣ тавлинки (табакерки) . . . Голова всегда беретъ верхъ . . . Голова выучился раздумно и важно потуплять голову . . . Голова любитъ иногда прикинуться глухимъ . . . Голова терпѣть не можетъ щегольства . . . Голова вдовъ . . . у Головы много недоброжелателей . . . Голова кривъ . . . и т. д.“ [2]).

То-же, при перечисленіи свойствъ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, — хотя повтореніе именъ ихъ могло бы показаться на первый взглядъ обычнымъ, въ виду параллели, которую ведетъ Гоголь между двумя героями повѣсти.

„Съ бандурою въ рукахъ пробирался ускользнувшій отъ пѣсельниковъ молодой казакъ . . . на козакѣ рѣшетиловская шапка. Козакъ идетъ по улицѣ, бренчитъ рукою по струнамъ . . .“ [3]).

---

[1]) Учитель Чичикова, 2-й учитель Тентетникова. [2]) II, 67—68. [3]) II, 59. Сравни:

„Казакъ на сѣверъ держитъ путь,
Казакъ не хочетъ отдохнуть“ („Полтава“ Пушкина).

„Односторонній человѣкъ самоувѣренъ; односторонній человѣкъ дерзокъ; односторонній человѣкъ всѣхъ вооружитъ противъ себя. Односторонній человѣкъ ни въ чемъ не можетъ найти средины. Односторонній человѣкъ не можетъ быть истиннымъ христіаниномъ . . .“ [1]).

„Ухъ, молчите, Афанасій Ивановичъ, вы любите только говорить, и больше ничего; собака нечистоплотна, собака нагадитъ, собака все перебьетъ . . .“ [2]).

„Кажется: сидитъ въ шинкѣ; несутъ ему водку, жжетъ его водка, противна ему водка“ [3]). Предметъ повторяется и этимъ впечатлѣніе отъ него усиливается.

Тоже при характеристикѣ Ноздрева. Цѣлый рядъ предложеній на протяженіи трехъ страницъ начинается именемъ „Ноздревъ“ . . . „Ноздревъ“ . . . то-то и то-то. —

Ярче всего этотъ пріемъ выступаетъ въ IV главѣ „Ивана Феодоровича Шпоньки и его тетушки“, въ репликахъ Ивана Ивановича и Григорія Григорьевича [4]).

У Гоголя свои любимыя словечки: „любо“, „равно“, „видно“; у него свои любимые способы выраженія: „сердцу доступны“ (добрыя движенія), „ему не чуждо было“ (состра-

---

[1]) Соч. Г. V, 75. [2]) Соч. Г. II, 258. [3]) Тамъ-же, 54.

[4]) Въ нѣкоторой степени это напоминаетъ повтореніе имени собственнаго вмѣсто употребленія мѣстоименія въ народной поэзіи:

„Още есть у Ставра чимъ похвастати . . .
Да още есть у Ставра чѣмъ похвастати:
Есть у Ставра молода жена . . .“

или

Разсердился Оника воинъ
Задѣлъ онъ за сумоцьку ножкой лѣвою, . . .
Задѣлъ Оника ноженькой правою . . .
Соскочилъ Оника съ добра коня и т. д.

См. К. Тіандеръ, Замѣтки по Сравнит. изученію народно-эпич. стиля, О повтореніяхъ въ народ. эпосѣ. Отд. оттискъ изъ „Живой Старины“, 12.

Срав. также недавно вышедшую работу Oskar Kallas'a „Die Wiederholungslieder d. Estnischen Volkspoesie“.

даніе), „не показывало присутствія“ (заботливой хозяйки); „спокойной твердостью былъ вооруженъ его шагъ“.

Къ такимъ выраженіямъ отнести можно: „разгулье на сердцѣ“ [1]), „раздолье на сердцѣ“ [2]), „любо и вольно на сердцѣ“ [3]); повторяются онѣ каждый разъ при изображеніи радости, веселія.

Или еще: „душевная“ въ соединеніи со словомъ, и безъ того обозначающимъ душевное проявленіе: „душевная жалость“ [4]), „душевное благородство“, „душевная печаль„ „душевная радость . . .“, и по аналогіи съ указанными примѣрами, даже „помощь душевная“ [5]).

Другія повторяемыя выраженія подмѣчены г. Шенрокомъ.

XVI.

Помимо обозначенія понятія, слово, и отдѣльно взятое, и въ связи съ другими, сопровождается еще такимъ содержаніемъ, или такими представленіями, которыя не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ, что само по себѣ слово выражаетъ.

На этотъ мало разработанный вопросъ слѣдуетъ обратить вниманіе при оцѣнкѣ стиля Гоголя.

На связи постояннаго содержанія, заключеннаго въ словѣ, и содержанія случайнаго, привносимаго говорящимъ (и слушающимъ) въ моментъ рѣчи, основано дѣйствіе производимаго словомъ впечатлѣнія. Оттѣнки рѣчи создаются выборомъ того или другого слова.

---

[1]) Соч. Г. II, 91. „Эхъ старина, старина, что за радость, что за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно дѣялось“. [2]) Ib. 84, „Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутилъ Левко въ своемъ сердцѣ . . .“. [3]) Ib. 72, „Что за воля! Какъ начнешь бѣситься, чудится будто поминаешь давніе годы. Любо, вольно на сердцѣ . . .“. [4]) Соч. Г. III, 171. „Въ порывѣ душевной жалости готовъ онъ былъ даже лить слезы“. [5]) Соч. Г. V, 14. „Вы не пріобрѣли ничего того, что необходимо дабы оказывать помощь душевную другимъ“.

На основаніи только что отмѣченнаго явленія слѣдуетъ измѣнить воззрѣніе, по которому синонимы выражаютъ или обозначаютъ одно и то же понятіе. Это несправедливо, именно по скольку каждое слово въ отдѣльности сопровождается инымъ содержаніемъ (чувствомъ или мыслью), не всегда поддающимся опредѣленію, но непремѣнно вызывающимъ въ представленіи нѣчто совершенно отличное отъ содержанія слова синонимическаго.

Сказанное подтверждается фактами изъ самой обыденной рѣчи: *чело* не то, что *лобъ;* а въ поэзіи нѣтъ возможности замѣнить одно слово другимъ: „И на челѣ его высокомъ не отразилось ничего".

„Солдатъ" и *„воинъ"* не одно и то же для стиля. При словѣ *воинъ* мыслится *дѣятельность* воина, *сила* его, или *война;* при первомъ — выступаетъ главнымъ образомъ: казарма, форма, безличность, подчиненность. *Воинъ*, кромѣ того, вызываетъ представленіе о чемъ-то болѣе историческомъ; было бы странно сказать: я видѣлъ сейчасъ *полкъ воиновъ.*

„Іюльская чудная ночь обняла воздухъ. Поле далеко было занято раскиданными по немъ возами . . . со всякимъ добромъ и провіантомъ, набраннымъ у врага. Возлѣ телѣгъ, подъ телѣгами . . . вездѣ были видны разметавшіеся на травѣ запорожцы . . . со всѣхъ сторонъ изъ травы уже сталъ подыматься густой храпъ спящаго *воинства* . . ." [1]).

Въ данномъ мѣстѣ „храпъ солдатъ" было бы не такъ внушительно, не такъ величественно; это слово не сопровождалось бы представленіемъ о дѣятеляхъ во время войны.

Пушкинское „воинъ" въ „Во цвѣтѣ лѣтъ, свободы вѣрный воинъ" и Гейневское *„солдатъ"* въ „И выдетъ тогда императоръ изъ гроба твой вѣрный солдатъ" — незамѣнимы одно другимъ безъ ущерба для поэтическаго впечатлѣнія.

---

[1]) II. 316.

Далѣе слѣдуетъ остановиться на слѣдующемъ:

Слово проникнуто объективнымъ содержаніемъ, независимо отъ пониманія его отдѣльными лицами; этотъ характеръ слова даетъ ему возможность передаваться изъ рода въ родъ.

Но, кромѣ того, каждый понимаетъ слово по своему; т. е. къ объективному содержанію присоединяется множество своего, индивидуальнаго, отличнаго въ каждомъ человѣкѣ отъ того побочнаго, привносимаго, о которомъ упомянуто въ началѣ этой главы, которое понимается болѣе или менѣе одинаково всѣми и, поэтому, тоже составляетъ нѣчто объективное.

Такимъ образомъ между содержаніемъ понятія, выражаемаго словомъ, и между значеніемъ слова необходимо установить различіе: первое заключаетъ совокупность объективныхъ признаковъ; — второе — сверхъ того, еще нѣчто такое, что зависитъ отъ отношенія говорящаго къ выраженному понятію, слѣдовательно субъективное, но иногда не менѣе вѣрное, чѣмъ первое.

Нѣтъ возможности опредѣлить причины, въ силу которыхъ слово принимаетъ тотъ или другой характеръ выраженія отношенія къ называемому предмету. Случайностей при этомъ множество. Иногда въ самомъ сочетаніи звуковъ, есть что-то характерное; иногда въ тонѣ, съ какимъ слово произносится, — иногда, можетъ быть чаще всего, въ исторіи даннаго слова, въ словопроизводствѣ.

Такъ или иначе — но *надъ* словомъ ложится слоемъ характеръ иной, чѣмъ въ немъ самомъ: — то тривіальный, то юмористическій, то легкомыслія, то тонъ великосвѣтскости, педантичности, изысканности и т. п.

Иногда слова́, сами по себѣ выражающія нѣчто непріятное для чувства, не такъ оскорбляютъ чувство, какъ другіе; можетъ быть оттого, что тѣ слова̀ болѣе отвлеченнаго характера, въ нихъ менѣе содержанія для возбужденія непріятнаго чувства; научный терминъ, напр., не вызоветъ

никакого отвращенія, или представленія, близкаго къ возбужденію непріятныхъ чувствъ.

Одинаково тягостно чувство, гнетущее человѣка при мысли о тѣлесномъ наказаніи, — но степень непріятности не одинакова при встрѣчѣ съ выраженіями: „наказать розгами“, „выпороть“, „высѣчь“, „отодрать“, „пройтись по сѣдалищнымъ“ — или, чтобы сравнить съ приведенными, нѣмецкое: „einige Streiche auf das entblöste Gesäss des Deliquenten verabfolgen“.

Равнымъ образомъ гнетущее чувство испытывается каждый разъ при мысли о смерти человѣка; но настроеніе иное при словѣ „умеръ“, иное при „отошелъ въ вѣчность“, еще иное при „опочилъ“, или „заснулъ на вѣки“ или „заснулъ сномъ непробуднымъ“, „отправился къ праотцамъ“, „преставился“, а совсѣмъ иное, рѣзко отличное чувство отъ слова „издохъ“, „скапутился“, „кондрашка взялъ“ и т. д.

Вотъ еще нѣсколько словъ: „незамужняя женщина пожилыхъ лѣтъ“, „старая дѣвица“, „пожилая дѣва“, „пожилая дѣвушка“; — обозначаютъ одно и тоже понятіе, а мысли, сопровождающія слова, совершенно различныя, и варіируются по индивидуальностямъ; интересенъ, напр., переводъ порусски слѣдующаго стиха: Blonde Maid, was zagerst du, словами „рыжая дѣвка, чего трясешься“; — въ сущности оно тоже, но и не тоже, а различіе зависитъ отъ выбора словъ. Можно перевести: свѣтловолосая дѣва, чего трепещешь ты!

„Супруга“, „жена“, „половина“, „жінка“, даютъ въ результатѣ тоже.

Превосходная иллюстрація этому разнообразію у Сафира:

Man ist glücklich mit dem Weibe,
Zufrieden mit der Frau,
Lebt so so mit der Gattin,
Arrangirt sich mit der Gemahlin.

Man wird geliebt von dem Weibe,
Gut behandelt von der Frau,
Aestimirt von der Gattin,
Geduldet von der Gemahlin и т. д.

На этихъ примѣрахъ видно, какъ рядомъ съ главнымъ значеніемъ сказывается въ словѣ отношеніе говорящаго къ данному факту, явленію, предмету.

Настроеніе поэта очень часто и опредѣляется подборомъ словъ и выраженій, и вотъ почему мы въ нѣкоторыхъ случаяхъ по выраженіямъ можемъ опредѣлить моменты душевной жизни Гоголя.

Если онъ по поводу „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“ говоритъ: „По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь ихъ ясную, спокойную, — жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмѣстѣ богатыя фамиліи, всегда составляющія противоположность тѣмъ низкимъ малороссіянамъ, которые *выдираются* изъ дегтярей, *торгашей*, наполняютъ какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, *дерутъ* послѣднюю копѣйку съ своихъ-же земляковъ . . .“ [1]), то безъ колебанія можно опредѣлить и настроеніе писателя при мысли его объ этихъ людяхъ, и добрыхъ и дурныхъ, и отношеніе къ нимъ со стороны поэта, такъ какъ рядомъ съ „выдираются“, „дерутъ“, „торгашей“ имѣются для выраженія этихъ понятій синонимы объективнаго характера, которыхъ однако Гоголь не употребляетъ.

Мы увидимъ ниже, какихъ эффектовъ достигаетъ Гоголь при помощи именно *субъективныхъ* словъ; пока отмѣтимъ еще, что даже два названія одного и того же лица, несомнѣнно представляющагося намъ всегда однимъ и тѣмъ же, вносятъ въ представленіе объ этомъ лицѣ нѣчто такое, что заставляетъ сознаніе двоиться; различныя названія вызываютъ то одну, то другую преобладающую черту и вносятъ различные оттѣнки: „Петръ Великій“, „Царскій плотникъ“, „На тронѣ вѣчный работникъ“ — и въ сознаніи выступаетъ то-же и не то-же лицо въ одно и то же время. Сказать „Аристотель“, или „Стагирскій философъ“, или „учитель

---

[1]) II, 244.

Александра Македонскаго“ вѣдь въ сущности совершенно безразлично, но каждый разъ то или другое названіе выдвигаетъ на первый планъ ту или другую характерную сторону лица.

Гоголь и этимъ пользуется превосходно: „Эй, борода, а какъ проѣхать отсюда къ Плюшкину?“ „. . . Не знаю“, — „Эхъ ты, . . . скрягу Плюшкина не знаешь, того, кто плохо кормитъ людей?“ — „А, заплатанный, заплатанный!“ [1]) Послѣднимъ словомъ, которое мужикъ „влѣпилъ сразу“, представилъ Плюшкина въ новомъ свѣтѣ, но того-же Плюшкина все-же.

Гоголь даетъ возможность опредѣлить свое настроеніе тѣмъ болѣе при употребленіи имъ, напр. „дубасить“ вмѣсто „бить“, „шлепнуться“ вм. „упасть“, „наклюкался“ вм. „напился“ и т. п.

XVII.

У Гоголя, въ отличіе отъ другихъ поэтовъ, встрѣчаются въ большомъ количествѣ слова́ и выраженія, которыя, не имѣя никакого содержанія сами по себѣ, или имѣя настолько субъективное содержаніе, что оно различно въ каждомъ говорящемъ и слушающемъ, различно даже въ одномъ и томъ же индовидуумѣ въ различные моменты произнесенія, вызываютъ, однако, извѣстное настроеніе, весьма неопредѣленное, варіируемое по обстоятельствамъ. Они вызываютъ извѣстныя чувства, не поддающіяся квалификаціи и видоизмѣняющіяся качественно.

Приведу рядъ примѣровъ, которыми высказанное положеніе подтвердиться можетъ. „Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилось прекраснѣе . . .“ идетъ замѣчательное и всѣмъ знакомое описаніе степи, — и заканчивается словами: „Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!“ И вся кар-

---

[1]) IV, 119.

тина, и заключительныя слова настраиваютъ читателя особеннымъ образомъ, возбуждая чувства и удивленія и восторга, и вызывая желаніе пережить чувства вмѣстѣ съ авторомъ.

Но вотъ „чортъ" въ другой, третьей, пятой, десятой фразѣ:

„Хорошее время сегодня", сказалъ Иванъ Ивановичъ. „Не хвалите Иванъ Ивановичъ, чтобъ его чортъ взялъ; некуда дѣваться отъ жару!

„Показавшаяся въ двухъ мѣстахъ нива . . . давала знать что должна появиться какая нибудь деревня, . . . но не попадалось никакого жилья . . . Что за чортъ! . . .". „Чортъ бы побралъ безкорыстіе и чиновное благородство . . ." „. . . Шило посадить въ атаманы", кричалъ одни . . . „Къ чорту въ мѣшокъ пьяницу шило". „Ихъ самъ чортъ веревочкой связалъ" (по поводу дружбы Ивана Ивановича и Ив. Никифоровича). „Женщинѣ легче поцаловаться съ чертомъ, нежели назвать кого красавицей". „А чтобы ты, проклятый сатана, не дождалъ дѣтей своихъ видѣть . . . и принялся ворчать и приголубливать чорта . . .". „. . . У, щелкоперы, либералы проклятые, чортово семя, . . . въ муку бы стеръ, да чорту въ подкладку! въ шапку ему!" „. . . Знаете ли, семь чертей и одна вѣдьма вамъ въ зубы . . .".

Содержанія въ словѣ чортъ — никакого; примѣненіе этого слова разнообразно, безъ опредѣленнаго значенія, а настроеніе вызывается, и каждый разъ другое.

Что сказано, относительно слова *чортъ,* то примѣнимо ко многимъ словамъ.

„Силы небесныя!" — восклицаніе, которымъ Гоголь пользуется часто, для выраженія чувства и для приведенія въ извѣстное настроеніе читателя. Содержаніе вывѣтрилось изъ этого слова; вѣра въ дѣйствія небесныхъ силъ блѣднѣетъ передъ вѣрою въ силу Бога; но слово это усиливаетъ значительно впечатлѣніе отъ видѣннаго, отъ слышаннаго, отъ

разсказаннаго. Настроеніе требовало выхода, оно удовлетворенно, нужды нѣтъ, что исчезла вѣра и въ чорта, и въ небесныя силы.

Какъ музыка, такъ и многія слова́ и выраженія не имѣютъ конкретнаго, объективнаго содержанія, — и такихъ словъ у поэтовъ встрѣчается много, часто; но стиль Гоголя отличается особеннымъ умѣньемъ вызывать извѣстное настроеніе, безъ мысли дать опредѣленное содержаніе.

И у другихъ поэтовъ замѣчается временами, что слово не имѣетъ въ виду служить для удовлетворенія требуемой ясности и точности, а только для возбужденія чувства.

Но у Гоголя это обнаруживается на каждомъ шагу.

Если Пушкинъ лишь иногда, весьма рѣдко, выражается, напр., такъ, какъ объ анчарѣ, что

Природа жаждущихъ степей
Его въ день гнѣва породила [1])

не давая этимъ субъективнымъ сравненіемъ яснаго представленія о дѣйствительномъ явленіи, а настраивая лишь читателя извѣстнымъ образомъ, то Гоголь имѣетъ особое расположеніе давать именно такія выраженія, менѣе всего расчитывая на ясность, — болѣе на эффектъ.

Это замѣчается въ большинствѣ случаевъ и тогда, когда поэта посѣщаетъ возвышенное настроеніе, и онъ хочетъ создать такое-же настроеніе въ читателѣ — при чемъ искренность чувства несомнѣнна — въ первый періодъ творчества.

Это замѣчается и позже, во время расцвѣта юмористическаго генія поэта — проявляясь также искренно.

Это замѣчается, наконецъ, и въ ту пору, несчастливую для поэта, когда онъ искусственно настраивалъ себя и другихъ на дѣло служенія идеямъ, погубившимъ и его дарованія и его самого; только вліяніе было иное.

---

[1]) Срав. у Гоголя I, 170: „. . . Не страхъ, но то неизъяснимое ощущеніе, которое мы чувствуемъ при появленіи странности, представляющей безпорядокъ природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествіе природы“.

„Вотъ какая участь готовится для этого кроткаго существа, въ которомъ *боги захотѣли отразить красоту* подарить міру благо и въ немъ *показать свое присутствіе на землѣ!*“

„. . . И существо, которое, какъ Прометей, все что ни похитило прекраснаго отъ боговъ, принесло въ даръ тебѣ, *водворило небо со свѣтлыми его небожителями въ твою душу* — ты поражаешь проклятіемъ“. — „Если мертвящій холодъ бездушнаго свѣта похититъ святотатственно изъ души моей хотя часть ея достоянія, если кремень обхватитъ тихо горящее сердце . . . О, тогда пусть обольется оно *немолчнымъ ядомъ*, вопьется милліонами жалъ въ невидимаго меня, неугасимымъ пламенемъ упрековъ обовьетъ душу и раздастся по мнѣ тѣмъ пронзительнымъ воплемъ, отъ котораго бы изныли всѣ суставы, и сама *бы безсмертная душа застонала, возвратившись безотвѣтнымъ эхомъ въ свою пустыню* . . .“

„Самый вашъ голосъ . . . пріобрѣлъ какіе-то родные звуки всѣмъ, такъ что если вы заговорите въ сопровожденіи чистаго взора вашего . . . то каждому кажется, будто бы заговорила съ нимъ какая-то небесная родная сестра . . .“ [1]) „. . . Ваше дѣло только приносить страждущему вашу улыбку, да тотъ голосъ, въ которомъ слышится человѣку прилетѣвшая съ небесъ его сестра . . .“ [2]).

Послѣднее напоминаетъ обыкновенное рѣченіе „хороша какъ ангелъ“ когда мы въ сущности вовсе не знаемъ, *какъ* она хороша; мыслится что-то, но безъ всякаго реальнаго содержанія — и все таки въ авторѣ происходитъ необыкновенный подъемъ чувства, отражающійся и на читателѣ.

Такими мѣстами изобилуетъ стиль Гоголя, — въ первую пору творчества особенно, когда романтическія грезы отвлекали взоръ отъ дѣйствительности. Этотъ пріемъ стилистическій не чуждъ поэтамъ. Образы, напр., Шекспировскіе только сильнѣе Гоголевскихъ. Если Макбетъ по поводу мысли

---

[1]) V, 16. [2]) V, 17.

объ убійствѣ восклицаетъ: „О страшенъ будетъ вопль прекрасныхъ доблестей его души! За черный грѣхъ онъ прогремитъ проклятьемъ, какъ трубы ангеловъ; въ сердцахъ пробудитъ онъ состраданье, какъ грудной младенецъ, несомый бурею; какъ херувимъ промчится вихремъ надъ землей . . .“, то поэтъ въ сущности возбудилъ извѣстное чувство, не давши никакого содержанія своему образу — кромѣ неяснаго сравненія съ предметами, созданными человѣческимъ заблужденіемъ.

Сравненія, какъ извѣстно, дѣлаются для болѣе нагляднаго изображенія предмета, а между тѣмъ Гоголь сравненіями задаетъ намъ часто загадки: „Задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо“, „Какъ будто небо обнималось съ землею“ и т. п. весьма трудно поддаются объясненію — но чувство возбуждено; для настроенія матеріалъ данъ. Не наглядность, не образъ производитъ въ такихъ случаяхъ впечатлѣніе. Наоборотъ, это отсуствуетъ.

Такъ, многіе не видавшіе моря, упиваются Байрономъ, не видѣвшіе Кавказа восторгаются описаніями Пушкина и Лермонтова.

Влагая въ уста дѣйствующихъ лицъ рѣчи, Гоголь дѣлаетъ тоже самое:

Когда Городничій въ отчаяніи отъ предстоящей грозы восклицаетъ: „Батюшки, сватушки, выносите святые угодники“ — то нѣтъ ни образа, ни содержанія, или мыслится при этомъ нѣчто такое, что содержанію не соотвѣтствуетъ.

Когда мы читаемъ (изъ біографіи Чичикова): „. . . Родственница, бывшая при рожденіи его . . . вскрикнула: „совсѣмъ вышелъ не такой, какъ я думала; ему бы слѣдовало пойти въ бабку, съ матерней стороны, что было бы и лучше, а онъ родился просто ни въ мать ни въ отца . . .“, то и здѣсь ничего при этомъ не мыслится — а настроеніе какое-то вызвано.

Подобныхъ фактовъ громадное множество, — и они весьма характерны для Гоголевскаго стиля, раскрывающагося во всей отличительности своей въ юмористическихъ твореніяхъ. Въ главахъ о юморѣ и будетъ рѣчь объ этомъ, а теперь перехожу къ обозрѣнію эпитетовъ и фигуръ — составныхъ элементовъ стиля.

XVIII.

Эпитеты у Гоголя весьма оригинальны, и подавляющее большинство ихъ принадлежатъ лично ему.

Такіе эпитеты, которые передаются по преданію изъ рода въ родъ, какъ постоянные, встрѣчаются у него сравнительно мало: „бѣлыя груди", „сахарные зубы", „могучія плечи", „сабля острая", „ночь темная", „вольный свѣтъ", „синее небо" попадаются, хотя, въ отличіе отъ народныхъ пѣвцовъ, Гоголь понималъ эти и подобные эпитеты какъ нѣчто такое, что всякій разъ освѣщаетъ изображаемый предметъ, и повторяетъ его не только потому, что такія украшенія соединялись съ покон вѣка съ извѣстными именно словами, хотя бы и не соотвѣтствовали содержанію изображаемаго (срав. въ народной поэзіи: „свѣча сальная воску яраго").

Есть и такіе, въ которыхъ сохранилось, напр., бытовое этнографическое преданіе: дамасская сабля [1], дамасская кисея [2]; но въ неизмѣримо большей мѣрѣ другіе, которые въ отличіе отъ приведенныхъ, традиціонныхъ, дѣйствительно характеризуютъ предметъ, по крайней мѣрѣ въ моментъ его изображенія (представленія поэтическаго).

Эпитеты Гоголя не теряютъ своей цѣнности, конкретности и не становятся банальными, вывѣтрившимися въ своемъ значеніи.

---

[1] II, 183. „Какъ птица, мелькаетъ онъ тамъ и сямъ (панъ Данило); покрикиваетъ и машетъ дамасской саблей и рубитъ съ праваго и лѣваго плеча".
[2] II, 159 „Будто дамасскою дорогóю и бѣлою, какъ снѣгъ, кисеею, покрылъ онъ гористый берегъ Днѣпра . ...".

Разсматривая Гоголевскіе эпитеты въ ихъ совокупности, можно, кажется, установить двѣ категоріи.

Одну, обнимающую меньшее количество случаевъ, составляютъ *объективные* эпитеты; т. е. изображающіе признаки такіе, которые не только *кажутся* присущими предмету, но дѣйствительно присущи имъ, или могутъ *всѣмъ одинаково* казаться присущими въ данный хотя моментъ:

„*Усталые* языки перекупокъ, мужиковъ и цыганъ лѣнивѣе и медленнѣе поворачивались“ [1]).

Другую категорію составляетъ большинство — это *субъективные* эпитеты, т. е. такіе, которые создаются подъ вліяніемъ даннаго настроенія, душевнаго склада поэта, и представляютъ метафору, аллегорію и т. п. „*Усталое* солнце уходило отъ міра . . .“ [2]) (рядомъ съ выраженіемъ: „солнце убралось на покой [3]).

Поэтическій образъ составляютъ собственно эпитеты 2-ой категоріи.

„Сильно и звучно перекликались *блистательныя* пѣсни соловьевъ . . .“ [4]).

„Одинъ только мѣсяцъ также *блистательно* и чудно плылъ . . .“ [5]).

Оба образа содержатъ эпитетъ „блистательный“, но примѣненіе различно: къ *мѣсяцу* оно примѣняется какъ признакъ дѣйствительный; къ пѣснѣ — какъ образъ.

„Верхнія листья вербъ начали лепетать, и мало по малу *лепечущая струя* спустилась по нимъ до самаго низу . . .“ [6]) содержитъ эпитетъ „лепечущая“, не свойственный струѣ, а приписываемый Гоголемъ подъ извѣстнымъ впечатлѣніемъ, передающимся и читателю.

---

[1]) II, 22. [2]) II, 22. Срав. молчаніе солнца у Данте: „dové l sol tace. Infer. I, 60. Срав.: Жур. М. Нар. Пр. СССП, 1895, 184. Статья А. Н. Веселовскаго; per amica silentia lunae (Aen. II, 255), и въ противоположность послѣднему Гоголевское: свѣтъ луны, который содержитъ въ себѣ столько музыки. I, 174. [3]) II, 93. [4]) II, 84. [5]) Ib. 90. [6]) II, 279.

Въ большинствѣ случаевъ созиданіе эпитетовъ Гоголемъ и заключается въ томъ, что онъ дѣйствіе, настроеніе, состояніе, вызываемое въ немъ тѣмъ или другимъ предметомъ, приписываетъ самому предмету; иначе говоря, онъ свое настроеніе переноситъ на предметъ, имъ изображаемый: „Трудно разсказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить *весело смѣющаяся ночь*“ [1]).

„*Задумчивый потокъ* бѣжалъ у ногъ твоихъ струей...“ [2]).

„*Задумавшійся вечеръ мечтательно обнимаетъ* синее небо, превращая все въ неопредѣленность и даль...“ [3]).

„... Отбросила далеко назадъ *досадные волосы*...“ [4]).

„... Нога, сбросивъ *ревнивую обувь*, выступила впередъ...“ [5]).

„Потупивши очи *въ сонную воду*...“ [6]).

Подобные эпитеты не чужды ни Пушкину, ни Лермонтову, ни Тургеневу; но у этихъ поэтовъ свойства (признаки), выражаемыя эпитетами, совпадаютъ со свойствами (признаками) болѣе-менѣе присущими предметамъ.

Не такъ у Гоголя.

Если у Пушкина, и есть образы, свиду равные Гоголевскимъ; если, напр. въ стихѣ:

„И нѣжны пѣсни ей поетъ,
Во мракѣ ночи сладострастной,

и *сладострастная ночь* напоминаетъ „*сладострастный куполъ*“ [7]) Гоголя, то смѣшивать ихъ нельзя, какъ нельзя смѣшивать категорію образца: „*весело смѣющаяся* ночь“ съ образцомъ „*сладострастная ночь*“ Пушкина.

---

[1]) II, 123. [2]) Гансъ Кюх. [3]) II, 59. [4]) II. 332. [5]) I, 71. [6]) II, 161. [7]) II, 11. Какъ томительно жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинѣ и знойѣ и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею...“.

Вслѣдствіе общаго умонастроенія, всего душевнаго строя, вслѣдствіе характера неуравновѣшеннаго, какимъ Гоголь отличался, у него весьма часто объективный тонъ повѣствованія переходилъ въ субъективный именно вслѣдствіе преобладанія эпитетовъ, которые я отнесъ къ категоріи субъективныхъ.

У большихъ поэтовъ нашихъ это встрѣчается очень рѣдко. Такіе образцы, какой представляетъ, напр. „Анчаръ" у Пушкина указать нелегко:

Принесъ онъ смертную смолу . . .
Принесъ и ослабѣлъ, и легъ
Подъ сводомъ шалаша на лыки,
И умеръ бѣдный рабъ, у ногъ
Непобѣдимаго владыки . . .".

гдѣ слово „*бѣдный* рабъ" переводитъ объективный тонъ, замѣчательно выдержанный отъ перваго слова до послѣдняго, въ субъективный.

Такой складъ натуры, какъ у Гоголя, допускавшій всевозможные переходы настроеній, особенно отражается на эпитетахъ, самихъ по себѣ уже являющихся продуктомъ поэтической прихоти.

Вслѣдствіе исключительности міровоззрѣнія Гоголя — юмористическаго, и эпитеты являются болѣе индивидуальными въ произведеніяхъ характера юмористическаго.

Менѣе индивидуальны они въ другихъ произведеніяхъ, гдѣ юмористъ уступаетъ мѣсто живописцу.

Такіе эпитеты, какъ „*яркій* крикъ" [1]), „*благовонное море неизъяснимой музыки*" [2]), „*густое* слово" [3]); „*красный*

---

[1]) II, 310. „Со всѣхъ сторонъ раздавались топотъ коней, пробная стрѣльба изъ ружей, бряканье сабель, мычанье быковъ . . говоръ и яркій крикъ и понуканье". [2]) I, 71. „Казалось, тонкій свѣтлый эфиръ, въ которомъ купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя развиваясь и переливаясь въ безчисленныхъ лучахъ, коимъ и имени нѣтъ на землѣ, въ коихъ дрожитъ благовонное море неизъяснимой музыки — казалось и т. д.". Срав. у Гейне: ein Meer von blauen Gedanken. [3]) II, 360. „Будетъ, будетъ бандуристъ . . . вѣщій духомъ и скажетъ про нихъ свое густое, могучее слово.

звонъ“ [1]); „а небо такъ необъятно и *звучно* раскинувшееся“ и т. д. встрѣчаются и у другихъ поэтовъ:

У Золя мы читаемъ о „musique bondissante de cristal“, о „fontaines ruisselants de muettes clartés“ (Le Rève). У Эйхендорфа упоминается о „пурпурной прохладѣ вечера“ (rothe Kühle). Гейне говоритъ о способности воспринимать музыкальныя впечатлѣнія образно, такъ сказать, глазомъ: играетъ Паганини, и каждый ударъ его смычка вызываетъ въ воображеніи рядъ осязательныхъ, фантастическихъ картинъ и положеній: „То были звуки, которые то сливались въ поцалуѣ, то, капризно повздоривъ, разбѣгались, то снова обнимались, смѣясь, и опять слившись, умирали въ опьяненіи союза“.

У гр. А. Толстого: „Въ нихъ (т. е. звукахъ) разсказъ *опьянительно-лживый* развивалъ невозможную повѣсть, и *змѣинаго цвѣта отливы* соблазняли и мучили совѣсть . . .“ [2]) и т. д.

Индивидуальность творчества Гоголя обнаруживается преимущественно въ дарѣ воспроизведенія въ словѣ впечатлѣнія, непосредственно на него произведеннаго предметомъ, вѣрнѣе, свойствомъ предмета. Въ юмористическихъ произведеніяхъ — постоянно, — и въ этомъ его сила; въ другихъ произведеніяхъ рѣже: *„Свѣжія, быстрыя ноги“* [3]); *„трепетно горѣвшій свѣтъ“* [4]); *„глухо-отвѣтная земля“* [5]); *„брилліантовыя слезы“* [6]), *„дряхлыя стѣны“* [7]), *„тщедушный домъ“* [8]), *„трескъ словъ“* [9]), *„ожерелье тарелокъ“* [10]). Рядомъ съ этими встрѣча-

---

[1]) II, 360. „. . . далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди . . . чтобы далече по городамъ, лачугамъ . . . разносился красный звонъ, сзывая равно всѣхъ на святую молитву . . .“. [2]) „Жур. М Нар. Просв. 1895, CCCII, 196, статья Л. Н. Веселовскаго. [3]) Соч. Гог. II, 281. [4]) Соч. Гог, II. 32. [5]) Соч. Гог. II, 364. [6]) Соч. Гог. I, 321. [7]) Соч. Гог. I, 342, Срав.: „Какимъ-то дряхлымъ инвалидомъ глядѣлъ сей странный замокъ . . .“ IV, 123. [8]) Соч. Г. I. 341. [9]) Соч. Гог. II, 14, Отношу подобныя выраженія къ эпитетамъ: „Красные щеки ея превратились въ огненныя и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ“. [10]) Соч. Г. IV, 371, „Скоро вокругъ подносовъ и графиновъ обстановилось ожерелье тарелокъ — икра, сыры . . .“.

ются довольно часто, въ произведеніяхъ не юмористическаго характера, эпитеты традиціоннаго свойства, метафоры напр.: „усталое солнце“ [1]), „крадется дремота“ [2]) и т. п. Но такихъ меньшинство, какъ сравнительно не особенно много и отвлеченныхъ эпитетовъ, въ родѣ; „необъятныя пустыни неба“ [3]), „неугасимая горесть“ [4]), „дерзкое употребленіе тѣней“ [5]), „смѣлыя краски“ [6]); и нельзя не замѣтить, что при каждомъ удобномъ случаѣ Гоголь любитъ такія общія выраженія замѣнять болѣе частными, наглядными. Вмѣсто „сѣрые люди“ онъ говоритъ „пепельный разрядъ людей“ [7]). Въ его работѣ надъ стилемъ это обнаруживается достаточно.

На эпитетахъ мы видимъ, какъ слово облекаетъ чувство, воззрѣніе, возникающія непосредственно отъ созерцанія. „Ворчавшее масло“ [8]) создается по такому же процессу непосредственности воспріятія, какъ выраженія: „гуляютъ мечи“ [9]), „очи выманиваютъ душу“ [10]), или „слѣзай, (пистолетъ), старый товарищъ со стѣны“ [11]).

На высшей ступени развитія своего эпитетъ представляетъ оттѣнки понятій посредствомъ сложныхъ словъ, когда простыхъ словъ языкъ не находитъ. Не всегда русскій языкъ допускаетъ такое сложеніе, возможное напр. въ нѣмецкомъ языкѣ, и замѣняетъ его сравненіемъ; мѣста, гдѣ

---

[1]) Соч. Гог. II, 22. [2]) Соч. Гог. IV, 249. [3]) Соч. Гог. II, 90. [4]) Соч. Гог. II, 377. [5]) Соч. Гог. I, 333. [6]) Соч. Гог. I, 315. [7]) Соч. Гог. I, 196, „. . . Сюда переѣзжаютъ отставные чиновники . . . вдовы . . . кухарки . . . наконецъ весь тотъ разрядъ людей, который я назову пепельнымъ, которые съ своимъ платьемъ, лицемъ, волосами имѣютъ какую-то тусклую, пепельную наружность“. [8]) Соч. Гог. IV, 371, „Принесли изъ кухни что-то въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозь которые слышно было ворчавшее масло“. [9]) Соч. Гог. II, 183. „И пошла по горамъ потѣха, и запировалъ пиръ: гуляютъ мечи, летаютъ пули . . .“. Срав. стязи глаголятъ. [10]) Соч. Гог. II, 192, „Уста чудно усмѣхаются, щеки пылаютъ, очи выманиваютъ душу . . . она сгорѣла бы отъ любви“. [11]) Соч. Гог. II, 166, „Виситъ у меня на стѣнѣ турецкій пистолетъ: еще ни разу во всю жизнь не измѣнялъ онъ мнѣ. Слѣзай со стѣны, старый товарищъ, покажи другу услугу! Данило протянулъ руку“.

мы находимъ kreideweiss, blutroth, grasgrün, silberhell, и др., русскій языкъ принужденъ передавать при помощи слова *„какъ“* *„словно“*: „красная какъ кровь“, „бѣлый какъ мѣлъ“, „словно серебро“ и т. д.

И однако у Гоголя сложенія весьма счастливыя; онѣ очень поэтичны, и рѣдко находятъ соотвѣтствіе у другихъ современныхъ Гоголю поэтовъ. Только Тургеневъ, гр. Толстой позже создаютъ такіе эпитеты: „золотисто-прозрачная зелень орѣшниковъ“; „рябины . . . осыпанныя ярко-пунцовыми гроздями . . .“. „золотисто-желтый лучъ“, „въ нѣжно-сіяющей вышинѣ“, „спокойно задумчивое выраженіе“, „избура-красное лицо“ и др. а вслѣдъ за ними въ послѣднее время подобное сложеніе вошло въ обычное употребленіе.

Сложные эпитеты Гоголя отличаются тою же непосредственностью, какою отличаются и простые его эпитеты, причемъ онъ внесъ много оригинальнаго, особенно въ группѣ словъ, нужныхъ для выраженія внутреннихъ ощущеній, чувствъ. Требуется большая сила чуткости, чтобы подыскать слова́ изъ другой сферы для выраженія даннаго настроенія; а о живописующихъ сложеніяхъ нечего говорить.

„. . . Жизнь при началѣ взглянула на него какъ-то *кисло-непріютно*, сквозь какое-то мутное, занесенное снѣгомъ окошко . . .“ [1]).

„Вездѣ, гдѣ-бы нибыло въ жизни, среди-ли черствыхъ, *шерховато-бѣдныхъ* и *неопрятно-плеснѣющихъ*, низменныхъ рядовъ ея, или среди *однообразно-хладныхъ* и *скучно-опрятныхъ* сословій высшихъ, вездѣ встрѣтится . . . явленіе . . . которое пробудитъ“ и пр.[2]).

„Но Герой нашъ уже былъ среднихъ лѣтъ и *осмотрительно-охлажденнаго* характера“ [3]).

„Но не много гордыхъ своими душевными движеніями

[1]) Соч. Гог. IV, 252. [2]) Соч. Г. IV, 100. [3]) Ib.

рѣшатся опуститься въ глубину характеровъ, которыми кишитъ наша *презрительно-горько-обыкновенная жизнь* . . .“ 1).

„Или мерещится въ головѣ его дѣва за чайнымъ столикомъ съ *невинно-простодушными* рѣчами“ 2).

„И все стоитъ онъ неподвижно . . . весь исполненный полузабывшагося размышленія, весь преданный *безтолково-заботному* ожиданію . . .“ 3).

„Лучи солнца были *осязательно-живительны*“ 4).

„Эта новость такъ показалась странною, что всѣ остановились . . . съ какимъ то *глупо-вопросительнымъ* выраженіемъ лица“ 5).

„Легкимъ щеголемъ блеснетъ и разлетится недолговѣчное слово француза; затѣйливо придумаетъ свое не всякому доступное *умно-худощавое* слово нѣмецъ . . .“ 6).

„Все было хорошо . . . какъ бываетъ . . . когда . . . природа . . . уничтожитъ *грубоощутительную* правильность . . .“ 7).

„Какъ грянула она (пушка) . . . четырекратно, потрясши *глухо-отвѣтную* землю . . .“ 8).

„На возу сидѣла хорошенькая дочка . . . съ *безпечно-улыбавшимися* розовыми губками . . .“ 9).

„Но глаза ея, глаза чудесныя, *пронзительно-ясныя*, бросали взглядъ долгій . . .“ 10).

„А я въ порывѣ *минутно-горделиваго* расположенія думалъ, что . . .“ 11).

„Зелеными облаками и неправильными *трепетолистными* куполами лежали на небесномъ горизонтѣ . . .“ 12).

Сюда-же относятся сложныя эпитеты, обозначающіе

---

1) X изд. VII, 81. 2) X изд. VII, 272. 3) X изд. VII, 299. 4) XII изд. I, 87. 5) X изд. VII, 304. 6) Соч. Г. IV, 120. 7) Соч. Г. IV, 124. 8) Соч. Г. II, 364. 9) Соч. Г. II, 12—13. 10) Соч. Г. II, 285. 11) Соч. Г. III, 287. 12) Соч. Г. IV, 123.

цвѣта: *лилово-огненный* [1]), *скучно-синеватый* [2]), *голубовато-красный, зелено-облачный* [3]) и т. п.

Рядомъ съ эпитетами, характеризующими преобладающее у Гоголя свойство — рѣдкое умѣнье изображенія въ словѣ непосредственнаго воспріятія, должны быть поставлены прототипы, такъ сказать, эпитетовъ, т. е. изображенія какого либо свойства предмета въ видѣ сужденія — предложенія. На нихъ еще нагляднѣе обнаружится ходъ поэтическаго мышленія Гоголя.

„Горы горшковъ, закутанныхъ въ сѣно, медленно двигались кажется, *скучая своимъ заключеніемъ и темнотою*"; мѣстами только какая нибудь расписанная ярко миска или макитра *хвастливо выказывалась* . . . и привлекала взоры . . ." [4]).

„Передъ домомъ *охорашивалось* крылечко съ навѣсомъ . . ." [5]).

„Солнце . . . *обливаетъ* пешехода съ ногъ до головы жаркимъ потомъ" [6]).

„Возлѣ лѣса, на горѣ, *дремалъ* съ закрытыми ставнями старый деревянный домъ" [7]).

„Надъ нимъ *печально* стоялъ ветхій домъ . . ." [8]).

„Онъ глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно *показывала и закрывала* свою внутренность" [9]).

„. . . . Изъ оконъ только два были открыты . . . Эти два съ своей стороны были *подслѣповаты* . . ." [10]).

Всѣ выраженія, имѣющія видъ метафоръ, до такой степени, однако, вѣрно характеризуютъ моменты, свойство, проявленіе, что только отсутствіемъ какого-либо посредствующаго

---

[1]) Соч. Г. II, 437, „. . . видны были издали сливы, получившіе фосфорическій, лилово-огненный цвѣтъ". [2]) Соч. Г. IV, 21, „Поодаль, въ сторонѣ, темнѣлъ какимъ то скучно-синеватымъ цвѣтомъ, сосновый лѣсъ". [3]) X изд. VII, 243. [4]) Соч. Г. II, 12 [5]) Соч. Г. II, 534. [6]) Ib. [7]) Соч. Г. II, 62. [8]) Соч. Г. II, 87. [9]) Соч. Г. II, 252. [10]) Соч. IV, 123.

звена между воспріятіемъ и выраженіемъ его въ словѣ можно объяснить подобные образы. Они ничѣмъ не отличаются напр. отъ такого, какъ: „Вставай, вставай *дребезжала* ему на ухо нѣжная супруга, дергая его изо всей силы за руку“ [1]), гдѣ „дребезжала“ передаетъ впечатлѣніе, чуть не звукоподражательнымъ способомъ, до такой степени оно непосредственно облекаетъ впечатлѣніе.

Гораздо рельефнѣе выступаетъ эта особенность въ случаяхъ, въ большинствѣ случаевъ, когда возникновеніе поэтическаго образа слѣдуетъ за извѣстнымъ волненіемъ, за извѣстнымъ напряженіемъ чувства (или мысли).

При этомъ нельзя упускать изъ виду, что образы во многихъ случаяхъ стоятъ въ связи съ воззрѣніями, вѣрованіями, идеальными представленіями о жизни и составляютъ результатъ весьма сложныхъ сплетеній мыслей, пробужденныхъ чувствами, настроеніями, симпатіями, антипатіями.

Гоголь, возсоздавая предметъ, явленіе въ своемъ воображеніи, уничтожаетъ всякую черту, основанную на случайности и каждую дѣлаетъ зависимою (какъ необходимую) отъ другой. У него выходятъ одни характеристическія формы, образы, неискаженныя измѣнчивыми обстоятельствами. Эта особенность заключена только въ формѣ, воспринимается однимъ разомъ, заразъ, непосредственно, наглядно, и понятіемъ невыразима.

Интересъ изслѣдованія, поэтому, заключается въ выясненіи того, насколько у Гоголя образы проникнуты чувствами, обусловленными его темпераментомъ, его характеромъ.

Факты приводятъ къ выводу, что Гоголь какъ будто лишаетъ предметъ его естественнаго вида и придаетъ ему то содержаніе, какое болѣе всего соотвѣтствуетъ его настроенію — и этимъ болѣе всего дѣйствуетъ на читателя. Онъ при этомъ проникается насквозь этимъ настроеніемъ; онъ

---

1) Соч. Г. II, 33.

находитъ въ этомъ наслажденіе; вся душа живетъ при этомъ полною жизнью, и глубочайшіе тайники ея являются участниками.

„. . . Рѣка красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленыя кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тѣ упоительные часы, когда вѣрное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею . . .“ [1]) и т. д.

Вся картина показываетъ, что возбужденное чувство требуетъ выхода въ словѣ, и тѣмъ изліяніе легче, чѣмъ чувство искреннѣе, естественнѣе.

Этотъ примѣръ имѣлъ цѣлью пояснить мою мысль. Гоголь имѣетъ ввиду не только наглядность, но онъ обращаетъ вниманіе и на силу производимой возбуждаемости.

То что замѣчается на цѣлой картинѣ, то замѣчается и на отдѣльныхъ выраженіяхъ, тѣмъ рѣзче, притомъ, чѣмъ ближе сфера, въ которой поэтъ вращается.

И это доходитъ до мелочей. Но вотъ другой еще пріемъ:

„Ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколъ“ [2]).

„Глаза перешагнули черезъ заборъ“ [3]).

„Ударилъ въ слушателя огненными глазами“ [4]).

„Часть гуляла съ утра до вечера если въ карманѣ звучала возможность купить (деньги)“ [5]).

„Только Парижъ могъ вывѣтрить весь этотъ грузъ“ [6]).

И здѣсь видно, какъ слово облекло воззрѣніе, возникшее непосредственно отъ созерцанія предмета, но вмѣстѣ съ тѣмъ видно, какое дѣйствіе произвело на Гоголя то или другое явленіе. Чувство не принимало участія въ изображеніи; рѣчь спокойна, признаки объективны.

---

[1]) Соч. Г. II, 13. [2]) Соч. Г. II, 242. [3]) Соч. Г. II, 531. [4]) Соч. Г. I, 145. [5]) Соч. Г. II, 293. [6]) Соч. Г. III, 152.

Въ такъ называемыхъ уподобленіяхъ поэтическихъ это выступаетъ еще ярче; т. е. если приведенные образы встрѣчаются и другихъ поэтовъ, то сравненія — какъ увидимъ въ главѣ о юморѣ — специфически Гоголевскіе; здѣсь мимоходомъ только отмѣчу, что эти сравненія стоятъ въ ближайшей связи съ міромъ, окружавшимъ Гоголя; самыя сравненія дѣлаются съ предметами, находящимися подъ руками, передъ глазами.

Другіе поэты творятъ не всегда такимъ путемъ.

У Пушкина есть стихотвореніе:

„Туманскій правъ, когда такъ вѣрно васъ
Сравнилъ онъ съ радугой живою:
Вы милы, какъ она, для глазъ,
И, какъ она, премѣнчивы душею.
И съ розой схожи вы, блеснувшею весною:
Вы такъ же, какъ она, предъ нами
Цвѣтете пышною красой,
И также колетесь — Богъ въ вами!
Но болѣе всего сравненіе съ ключомъ
Мнѣ нравится: я радъ ему сердечно!
Да, чисты вы, какъ онъ, и сердцемъ и умомъ
И также холодны, конечно

Нигдѣ, или почти нигдѣ (имѣю въ виду не заимствованія или вліянія) мы не встрѣтимъ у Гоголя сравненій, даже подобныхъ приведеннымъ. Никогда предметъ, съ которымъ сравнивается изображаемый, не находится у него слишкомъ далеко отъ сферы самой ближайшей; Пушкинскія сравненія, напр. совѣсти съ заимодавцемъ грубымъ, „съ вѣдьмой, отъ коей меркнетъ свѣтъ и могилы возмущаются“, почти Гоголю чужды; а сравненія въ родѣ Шекспировскихъ, гигантскихъ, изумительныхъ, или Гейневскихъ, и другихъ большихъ поэтовъ — и помину нѣтъ.

Я уже сказалъ выше, что Гоголь специализировался въ сравненіяхъ, хотя въ этой специализаціи онъ представилъ намъ цѣлый міръ.

На юморѣ это очевидно и несомнѣнно.

Но предварительно перейдемъ къ его сравненіямъ обычнымъ.

XIX.

Всѣ попытки опредѣлить поэзію со стороны языка тщетны ввиду того, между прочимъ, что нѣтъ возможности установить границы между поэзію и прозою, какъ нѣтъ возможности по имѣющимся пока признакамъ разграничить растеніе отъ животнаго. Во всякомъ случаѣ опредѣленія непаучны. Если мы говоримъ: „область человѣческаго сознанія очень узка“, мы прибѣгаемъ вѣдь къ поэтической формѣ мышленія и довольствуемся ею по недостатку другого выраженія для рѣшенія вопроса о сознаніи.

А съ другой стороны, если сваха Ѳекла („въ Женитьбѣ“), выражая недовольство на медлительность Подколесина, получаетъ въ отвѣтъ отъ послѣдняго:

„А ты думаешь, небось, что женитьба все равно, что: „Эй, Степанъ, подай сапоги“ натянулъ на ноги, да и пошелъ . . .“ [1]), то мы затрудняемся сказать категорически, поэзія ли это, или проза? Скорѣе поэзія, такъ какъ предложеніе *„все равно, что эй Степанъ, подай сапоги“* замѣнилось бы въ прозѣ всего вѣрнѣе выраженіемъ „пустяки“, „бездѣлица“, „легко“ и т. п.; а между тѣмъ и прозаическая рѣчь не чужда подобныхъ оборотовъ.

Въ большинствѣ случаевъ сравненія Гоголя именно таковы; онѣ стоятъ между тѣми, которые мы называемъ поэтическими, и другими — прозаическими, какъ видно будетъ изъ слѣдующаго, хотя все-же чаще въ связи съ его настроеніями, пережитыми имъ въ продолженіе творчества.

---

[1]) Соч. Г. III, 383.

Въ юную пору, при настроеніи романтическомъ, сравненія даются отвлеченныя, какъ отвлеченно, такъ сказать, душевное состояніе творца ихъ. Чѣмъ отвлеченнѣе представленіе о дѣйствительности, чѣмъ дальше она отъ всего существа Гоголя, тѣмъ слабѣе и чувство, сопровождающее эти сравненія:

„Красавица была вѣтрена, какъ полячка; но глаза ея, глаза чудесныя, пронзительно-ясныя бросали взглядъ долгій *какъ постоянство*" [1]). „Однако жъ онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это ему доставляло наслажденіе, неизъяснимое его кроткой душѣ. Единодушный взмахъ... блестящихъ косъ, ... изрѣдка заливающіяся пѣсни жницъ, то веселыя, *какъ встрѣча гостей,* то заунывныя *какъ разлука*..." [2]). Такія и подобныя сравненія могутъ, при извѣстной бѣдности образовъ и живости воображенія, быть отнесены къ менѣе отвлеченнымъ; но чаще являются въ означенный періодъ времени иныя: „Угрюмъ колдунъ; дума, *черная какъ ночь,* у него въ головѣ" [3]); „День былъ ясный, *какъ душа младенца*" [4]); „И одному только человѣку и созданной имъ религіи — роскошной, *какъ ночи и вечера востока,* пламенная *какъ природа, близкая къ Индійскому морю,* обязаны они" [5]).

Когда поэтъ сталъ на реальную почву, сравненія, создаваемыя имъ, принимаютъ иное направленіе: они уничтожаютъ всякую черту, основанную на случайности; сравненіе выражаетъ признакъ необходимый, а потому оно всегда мѣтко. Особенность эта заключается въ томъ, что воспринимается характеръ предмета однимъ разомъ, заразъ, наглядно и непосредственно. Это обстоятельство имѣетъ значеніе для пониманія связи, въ которой стоятъ образы сравненія съ возникновеніемъ ихъ за извѣстными волненіями, за извѣст-

---

[1]) Соч. Г. II, 285. [2]) Тамъ-же 215. [3]) Тамъ-же, 176. [4]) Соч. Г. X изд. V, 79. [5]) Ib. 123.

нымъ напряженіемъ чувства, мысли. Въ этомъ отношеніи замѣчается даже нѣкоторое постоянство, правильность.

Конечно, характеръ образовъ объясняется съ одной стороны степенью прочности результатовъ предшествующихъ моментовъ воспитанія; они стоятъ также въ связи съ ясностью, точностью и опредѣленностью идей, на которыхъ основываются убѣжденія, какъ на твердой почвѣ; но не достаточно обращается вниманія на то, что образы зависятъ отъ сложныхъ сплетеній мыслей, пробуждаемыхъ чувствами, настроеніями, симпатіями и антипатіями, личными вкусами, часто мѣняющимися. У Гоголя мы имѣемъ образы сравненія именно проникнутые такими чувствами, въ тѣхъ случаяхъ особенно, когда моменты общественности отходятъ у него на задній планъ.

Этимъ, понятно, опредѣляется и та область, изъ которой поэтъ будетъ брать предметы для сравненія. Искать не приходится ихъ, они должны являться сами собой, если поэтъ не хочетъ быть безжизненнымъ. Разумѣется область будетъ та, въ который поэтъ вращается свободно, въ которой онъ какъ у себя; въ ней онъ и страдалъ и мучился, и радовался, — и здѣсь онъ замѣчательно индивидуаленъ и очень субъективенъ.

„На другомъ берегу горитъ огонь, и, кажется, вотъ-вотъ готовится погаснуть и снова отсвѣчивается въ рѣчкѣ, вздрагивавшей, *какъ польскій шляхтичъ въ казачьихъ лапахъ* . . .“ [1]).

„Земля сдѣлалась крѣпче . . . уже и снѣгъ началъ сѣяться съ неба . . . вотъ уже въ ясный морозный день красногрудый снигирь, словно *щегеловатый польскій шляхтичъ,* прогуливался по снѣговымъ кучамъ“ [2]).

„Но то бѣда, что у бѣднаго Петруся всего-на-все была одна сѣрая свитка, въ которой было *больше дыръ, чѣмъ у иного жида въ карманѣ золотыхъ*“ [3]).

---

[1]) Соч. Г. II, 97. [2]) Такъ-же, 55. [3]) Соч. Г. II, 45.

„Надъ головою холодный вѣтеръ гулялъ по верхушкамъ деревъ, а деревья, *что охмелѣвшія казацкія головы* разгульно покачивая, шопоча листьями пьяную молвь“ [1]).

Привлекаются предметы для сравненія, такія все, что сроднѣе ему по происхожденію, по складу мысли, какъ вообще что сильнѣе всего живетъ въ немъ самомъ. Это обнаруживается на каждомъ шагу.

Есть образы и объективные; но въ какой мѣрѣ объективность смѣшивается съ субъективнымъ отношеніемъ къ явленіямъ со стороны писателя, растворяясь въ послѣднемъ почти всецѣло, это весьма ясно видно изъ всякого образа сравненія.

„Вся любовь, всѣ чувства . . . все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, *какъ степная чайка*, вилась надъ дѣтьми своими — ея милыхъ сыновей берутъ у нея . . .“ [2]).

„Все, что смутно и сонно было на душѣ у козаковъ, вмигъ слетѣло; сердца ихъ встрепенулись *какъ птицы* [3]).

„Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца перепела, такъ Тарасовъ сынъ налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинулъ ему на шею веревку“ [4]).

Нельзя не видѣть изъ приведенныхъ примѣровъ, что поэтъ принимаетъ живое участье въ изображаемомъ явленіи. Лирика иногда говоритъ въ самыхъ образахъ сравненія. Стоитъ открыть любую страницу его повѣстей, чтобы убѣдиться въ этомъ. По нимъ можно легко судить о томъ, что Гоголю собственно было близко, ближе всего: сравненія вращаются въ области мыслей о прелестяхъ казацкой жизни, о малороссій-

[1]) Ib. 96. [2]) Ib. 278. [3]) Ib. 286. [4]) Тамъ-же, 348.

ской природѣ; въ области чувствъ, враждебно настроенныхъ противъ всего чуждаго малороссійскимъ началамъ.

По слѣдующимъ примѣрамъ можно судить еще о другомъ способѣ сравненія, весьма обычномъ и частомъ у Гоголя.

Извѣстно, какъ трудно поддается изображенію въ словѣ душевное настроеніе въ данный моментъ. Если справедливо, что бѣдность языка тому причина, то не менѣе справедливо, мнѣ кажется, признать другую причину и въ томъ, что не поддается оно изображенію по самой природѣ своей: душевная жизнь не есть нѣчто устойчивое; она черезъ мгновеніе уже не та, что была за мгновеніе, и восполняется новымъ притокомъ другихъ, небывшихъ до того элементовъ, въ зависимости отъ все вновь прибывающихъ впечатлѣній. За этимъ вѣчнымъ движеніемъ не угнаться слову.

Но Гоголь умѣетъ изображать душевныя настроенія, при помощи сравненія. Поэтъ соперничаетъ съ живописцемъ и не въ силахъ достигнуть того, чего достигаетъ послѣдній, когда предметомъ изображенія является нѣчто тѣлесное; но далеко опережаетъ его когда изображаетъ внутреннее, душевное состояніе. Хотя типовъ такихъ сравненій довольно много, и они не поддаются обобщенію, но характеръ ихъ опредѣляется точно: одинаковымъ желаніемъ переселить читателя въ состояніе, привлекаемое для поясненія даннаго.

„. . . Невозможно выразить, что дѣлается тогда на сердцѣ; тоска такая, какъ будто бы или проигрался, или отпустилъ некстати какую нибудь глупость . . .“.

„А онъ (Черевикъ), какъ будто облитый горячимъ кипяткомъ, . . . бросился къ дверямъ“ [1]).

„Да мнѣ теперь сдѣлалось весело, какъ будто мою жену москали увезли . . .“ [2]).

---

[1]) Тамъ-же, 30. [2]) Ib. 37.

„Куры такъ не дожидаются той поры, когда баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дожидался Петрусь вечера (свиданія)“ [1]).

„Дѣду болѣе всего любо было, что чумаковъ каждый день возовъ 50 проѣдетъ. Народъ бывалый; пойдетъ разсказывать — только уши развѣшивай; а дѣду это все равно, что голодному галушки . . .“ [2]).

„. . . Всѣ эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣнились спокойною и уединенною жизнью, тѣми грезами, которыя ощущаете вы, сидя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ . . . или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками . . .“ [3]).

„Я ощутилъ въ себѣ тѣ странныя чувства, которыя овладѣваютъ нами, когда мы вступаемъ въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго прежде знали нераздѣльнымъ съ супругою . . .“ [4]). „Чувства эти бываютъ похожи на то, когда видимъ передъ собою безъ ноги человѣка, котораго всегда знали здоровымъ“ [5]).

Эта манера до такой степени излюблена Гоголемъ и обычна у него, что олицетворяя предметы неодушевленные, при изображеніи ихъ состоянія, онъ употребляетъ тотъ-же пріемъ:

„Лѣниво и бездумно, будто гуляющіе безъ цѣли, стоятъ подоблачные дубы“ [6]). „Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ“ [7]).

Тотъ-же пріемъ и относительно животныхъ (хотя въ общемъ о животныхъ рѣчь очень мало), причемъ сравненіе должно скорѣе быть отнесеннымъ къ юмористическимъ:

„Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ амбаромъ съ кроткою кошечкой, и наконецъ подманили ее, какъ отрядъ солдатъ подманиваетъ глупую крестьянку“ [8]).

---

[1]) Ib. 48. [2]) Тамъ-же, 233. [3]) Соч. Г. II, 245. [4]) Тамъ-же, 264. [5]) Тамъ-же. [6]) Тамъ-же, 11. [7]) Тамъ-же, 42. [8]) Тамъ-же 258

Выдѣляя категоріи сравненіи, обозначенныхъ выше, я указалъ на тѣ стороны, какія дѣлаютъ образы Гоголя отличными отъ образовъ сравненій другихъ поэтовъ и обусловливаются его природою: мысль какъ будто хочетъ перескочить къ предметамъ, съ которыми сравнивается предметъ изображаемый, и оставаться съ нимъ; оставаясь слишкомъ долго, образъ становится нѣсколько скучнымъ, образуя балластъ и отвлекая мысль отъ самаго предмета (объ этомъ говорилось выше); пребывая тамъ мимоходомъ, онъ оживляетъ предметъ.

Оживленіе имѣетъ мѣсто особенно, когда онъ выбираетъ предметомъ для сравненія нѣчто болѣе ему близкое.

Это будетъ виднѣе въ главѣ о юморѣ.

Наши чувственныя представленія весьма блѣдны и темны, и если художнику удается силою своего слова возбудить дѣятельность воображенія хотя въ нѣкоторой степени, то это признакъ высшаго искусства слова, а тѣмъ болѣе еще, если онъ силою изображенія заставляетъ проникаться предметомъ. Однимъ изъ болѣе обычныхъ средствъ возбужденія воображенія у Гоголя — также сравненіе. Съ ясностью и опредѣленностью языка оно ничего общаго не имѣетъ, а между тѣмъ оно замѣняетъ ихъ, и при всей простотѣ производитъ вліяніе на мысль.

Слѣдя за сравненіями, видишь, что въ мгновеніе творчества всѣ познанія физическаго міра какъ будто подавляются всплывающею силою непосредственнаго воспріятія, и это сообщается читателю: предметъ какъ будто лишается своего собственнаго образа и подобія, и этимъ преобразованіемъ достигнута цѣль: предметъ, явленіе стали близки.

„Солнце убралось на отдыхъ; — гдѣ горѣли вмѣсто

него красноватыя полосы; по полю пестрѣли нивы, что *праздничныя плахты чернобровыхъ молодицъ*“ [1]).

„Въ тонкомъ серебряномъ туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ будто тѣни, въ бѣлыхъ, *какъ убранный ландышами лугъ*, рубашкахъ . . .“ [2]).

„Подъѣхалъ къ избамъ, изъ которыхъ однѣ, *пододно стаду утокъ*, разсыпались по косогору возвышенья, а другія стояли внизу на сваяхъ, *какъ цапли*.

„Его подирало по кожѣ, когда онъ вступилъ въ лѣсъ . . . темно и глухо какъ въ *винномъ подвалѣ* . . .“ [3]).

„Козаки наши ѣхали бы, можетъ, и далѣе, если бы не обволокло всего неба ночью, *словно чернымъ рядномъ*, и въ полѣ не стало также темно, какъ *подъ овчиннымъ тулупомъ*“ [4]).

Иногда естественнаго вида предметъ лишается такимъ образомъ, что ему придается содержаніе, болѣе всего соотвѣтствующее настроенію поэта, и болѣе всего дѣйствующее на читателя. Гоголь въ такихъ случаяхъ проникается этимъ настроеніемъ насквозь; онъ находитъ въ этомъ наслажденіе, и душа его живетъ полною жизнью. Вспомнимъ лишь образъ сравненіе рѣки съ кокетливою красавицею [5]), франтовъ съ мухами [6]). Возбужденное чувство требуетъ выхода въ словѣ, и въ такихъ случаяхъ Гоголь не такъ обращаетъ вниманіе на наглядность изображенія отъ сравненія, какъ на силу производимой возбуждаемости.

Есть образы, ихъ немного; которые сближаютъ Гоголя со всѣми другими писателями и не представляютъ, поэтому, особеннаго интереса, какъ слишкомъ шаблонныя.

„. . . Пошли, пошли и зашумѣли, *какъ море въ непогоду*, толки и рѣчи между народомъ“ [7]).

„И татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластавшись въ воздухѣ, *какъ змѣи*, перелетѣли черезъ пропасть . . .“ [8]).

---

[1]) Соч. Г. II, 93. [2]) Ib. 86. [3]) Ib. 96. [4]) Ib. 94. [5]) Ib. 13—14. [6]) Соч. Гог. IV, 11. [7]) Соч. Г. II, 158. [8]) Тамъ-же, 400.

„На самой же горѣ подымались по обѣимъ сторонамъ высокіе, *какъ стрѣла,* осокори“ [1]) и т. д.

Необходимо сказать еще нѣсколько словъ о Гоголевскихъ гиперболахъ.

Гиперболы въ сравненіяхъ производятъ впечатлѣніе поэтическое, если образы включаются въ размѣры, какіе умъ способенъ обнять. У Гоголя они бываютъ по мѣстамъ слишкомъ громоздки, неестественны, или менѣе всего способны дать представленіе о преобладающей чертѣ изображаемаго предмета, явленія; во всякомъ случаѣ мало характеризуютъ ихъ.

„Попробуй взглянуть на молнію, когда, раскроивши черныя, какъ уголь тучи, нестерпимо затрепещетъ она цѣлымъ потокомъ блеска: таковы очи у альбанки . . .“ [2]).

„Половой бѣгалъ по истертымъ клеенкамъ, помахивая бойко подносомъ, на которомъ сидѣла такая же бездна чайныхъ чашекъ, какъ птицъ на морскомъ берегу . . .“ [3]).

„Сабли страшно звукнули; желѣзо рубило желѣзо, и искрами будто пылью, обсыпали себя козаки“ [4]) и т. п.

Не слѣдуетъ, мнѣ кажется, относить сюда тѣ гиперболы, которые, возбуждая воображеніе, настраиваютъ его къ чему-то необыкновенно-большому, грандіозному, съ цѣлью вызвать состояніе удивленія, съ цѣлью поразить: „чудится будто зеркальная дорога, безъ мѣры въ ширину, безъ конца въ длину, рѣетъ и вьется по зеленому міру“ [5]). Или „рѣдкая птица долетитъ до середины Днѣпра . . .“ [6]), такіе образы поэтичны.

„Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ, встрѣтивъ что — то горючее и

---

[1]) Соч. Г. изд. X, V т., 79. [2]) Соч. Г. III, 145. [3]) Соч. Г. IV, 5. [4]) Соч. Г. II, 165. Сравни у гр. Л. Толстого въ „Воскресеньи“: „Блохи, какъ фонтанъ, брызгали вокругъ него“ — гипербола, вошедшая въ обычную рѣчь и переставшая быть образомъ поэтическимъ. [5]) Соч. Г. II, 185. [6]) Тамъ-же.

вдругъ, вырвавшись вихремъ, оно свистѣло и летѣло вверхъ подъ самыя звѣзды, и оторванные охлопья его гаснули подъ самими дальними небесами . . .“ [1]). „Заготовленіе (къ обѣду) было сдѣлано огромное; стукъ поварскихъ ножей на генеральской кухнѣ былъ слышенъ еще близъ городской заставы“ [2]). „Что? удачно? спросилъ онъ съ *нетерпѣніемъ дикаго коня*“ (при изображеніи мучительнаго дня, проведеннаго Тарасомъ Бульбой [3]). Они такъ же понятны, какъ обыкновенная фигура гиперболическая, въ родѣ: „Изъ самой средины морского дна возноситъ она (скала) къ небесамъ непреломныя свои стѣны“ [4]). Въ главѣ о юморѣ мы къ этому вопросу возвратимся, такъ какъ гиперболы Гоголя главнымъ образомъ и рѣзко выступаютъ въ его юмористическихъ сопоставленіяхъ.

XX.

Совершенно своебразный характеръ придаетъ всему строю стиля Гоголя элементъ, какого нѣтъ почти вовсе у другихъ русскихъ писателей до Гоголя, даже у величайшаго нашего поэта — Пушкина.

Пушкинъ нѣсколько былъ знакомъ съ Малороссіею еще до ссылки его на югъ Россіи; но слѣды малорусскаго языка въ произведеніяхъ его едва замѣтны, и на основаніи имѣющихся данныхъ нельзя предполагать, чтобы Пушкинъ даже зналъ малорусскій языкъ. О заимствованіяхъ изъ малорусской словесности не можетъ быть рѣчи. Знакомство съ краемъ было болѣе книжное. Онъ пользовался „Исторіею Русовъ“, малороссійскими народными пѣснями въ изданіи Максимовича („а я обираю ваши пѣсни“), и нѣсколько былъ знакомъ съ народной поэзіею. Проф. Сумцовъ разъясняетъ отношеніе Пушкина къ малорусской поэзіи, между прочимъ, на „Гусарѣ“,

---

1) Тамъ-же, 316. 2) Соч. Г. III, 133. 3) Соч. Г. II, 385. 4) Ib. 395.

показывая, что въ основаніи его легли малорусскія преданія, сказки; но вліяніе скудно по отношенію къ языку. Малорусскіе подробности: Кіевъ, Днѣпръ, Маруся, чернобрива, галушки, хлопецъ — въ итогѣ 6 малорусскихъ словъ болѣе, чѣмъ во всей „Полтавѣ". Упоминаніе о Днѣпрѣ столь же сухое и голое, какъ въ „Русланѣ и Людмилѣ" (въ 3-й пѣснѣ), „Полтавѣ" (въ концѣ III пѣсни) и „Пѣснѣ о вѣщемъ Олегѣ". Въ концѣ „Полтавы" есть указаніе, что Пушкинъ знакомъ былъ съ украинскими кобзарями [1]).

Еще въ значительно меньшей степени находимъ мы слѣдовъ малорусскаго элемента у других писателей до-Гоголевскаго періода. Правда, южныя и западнорусскія силы еще съ половины XXII вѣка дѣятельно вмѣшивались въ образованіе новой русской литературы; такова была роль Симеона Полоцкаго, Стефана Яворскаго, Ѳеофана и иныхъ ученыхъ Кіевлянъ, но это вмѣшательство было ограничено церковно-схоластическою областью; ихъ ученость была отвлеченная, вліяніе въ литературѣ — почти только схоластическое, и въ немъ небыло тѣни, или одна только тѣнь, южнорусскихъ народныхъ элементовъ. Позднѣе, въ рядахъ русскихъ писателей являются настоящіе малороссы; но Богдановичъ, Капнистъ, потомъ Гнѣдичъ и др. шли по обычной колеѣ нашего псевдо-классицизма и не выносили ничего изъ своей племенной особенности, изъ оригинальнаго южно-русскаго характера и историческаго быта [2]), и не внесли ничего въ общую сокровищницу.

Въ XVIII ст. малорусское вошло въ моду, и оставалось больше модою, хотя чувствовалось кое-что родственное въ немъ. Въ первыхъ пѣсенникахъ, которые явились въ 70-хъ годахъ XVIII столѣтія, цѣлый особый отдѣлъ заняли пѣсни малороссійскіе, потому что въ дѣйствительности онѣ были распространены на ряду съ русскими; но малорусская

---

[1]) Н. Сумцовъ, Харьков. Унив. Сборникъ въ память Пушкина, стр. 267—273, [2]) А. Н. Пыпинъ, Истор. Русс. Л-ры, IV, 461.

литература существовала только въ рукописяхъ и была мало извѣстна. Хотя первые книги, начиная съ „Перелицованной Энеиды“, были встрѣчены съ любопытствомъ, хотя интересъ возбудило и собраніе малорусскихъ пѣсенъ Цертелева, но въ литературу русскую все же малорусскій элементъ не входилъ, или входилъ едва замѣтно.

А. Н. Пыпинъ полагаетъ, что Гоголя побудило тогда обратиться въ своихъ первыхъ повѣстяхъ къ изображенію малорусской жизни и преданій именно то обстоятельство, что въ Петербургѣ, по словамъ Гоголя, „было въ ходу все малороссійское“ [1]). Съ этимъ не вполнѣ можно согласиться. Гоголь иначе и творить не могъ тогда, даже если бы условія были и другія. Руководствуюсь слѣдующими соображеніями:

Біографы согласны въ томъ, что онъ весь жилъ своею родиною; даже допуская возможность отсутствія историческихъ данныхъ, на которыхъ этотъ выводъ основывается, можно было бы по языку, по выраженіямъ, по рѣчи, по сравненіямъ, по образамъ, входящимъ въ главныя его произведенія, безошибочно судить о степени участія поэта къ судьбамъ своей родины въ широкомъ смыслѣ слова; добрая часть его существа проникнута была малороссійскимъ началомъ.

„Да, это славно будетъ, пишетъ онъ Максимовичу, если мы займемъ съ тобою Кіевскія каѳедры . . . а новая жизнь среди такого хорошаго края! Тамъ можно обновиться всѣми силами . . . но . . . одному пріѣхать въ этотъ край, хоть и желанный, но быть одному, не имѣть съ кѣмъ заговорить языкомъ души! . . .“ [2]).

Этотъ *языкъ души,* помимо его обозначенія языка дружбы, несомнѣнно и есть языкъ малороссійскій.

---

[1]) Пыпинъ, Исторія русс. Слов. IV, 463. [2]) Кулишъ, Соч. и Письма Н. В. Г. V, 193.

Главное содержаніе многихъ произведеній, самостоятельно созданныхъ, проникнуто элементами, почерпнутыми прямо изъ народной словесности малорусскаго народа, а потому, само собою носятъ характеръ малороссійскій. Но мало этого; поэтическое творчество не есть созиданіе изъ ничего, а свободное сочетаніе имѣющихся въ сознаніи данныхъ, хотя сочетаніе это совершается помимо сознательной свободы. Тамъ гдѣ недостаетъ, гдѣ небыло непосредственнаго созерцанія (факта), творчество создаетъ фактъ изъ образовъ готовыхъ, родственныхъ области непосредственныхъ опытовъ, преобразуя ихъ; и вотъ почему всѣ произведенія Гоголя носятъ слѣды его основного міровоззрѣнія, которое отличаетъ Гоголя отъ другихъ, между прочимъ, вслѣдствіе того, что оно поддерживается языкомъ его родины — малороссійскимъ.

При цѣльномъ міросозерцаніи Гоголя (отрицательномъ отношеніи къ жизни) это замѣчается особенно рѣзко.

„Вы меня все-таки больше знаете, пишетъ Гоголь къ Н. Ф. еще въ 1844 году. Вы знаете, что я могу быть ближе всѣхъ другихъ къ гордости, знаете также, что проступковъ, можетъ быть, у меня больше, чѣмъ у всѣхъ другихъ, потому что я, какъ вамъ извѣстно, соединилъ въ себѣ двѣ природы *Хохлика* и *Русскаго* . . .“ [1]).

Это мѣсто имѣетъ громадное значеніе для опредѣленія вопроса объ участіи Гоголя какъ „хохлика“ и въ творчествѣ.

Принимаю въ расчетъ еще и слѣдующее мѣсто, изъ его письма къ тому же лицу, написаннаго въ томъ же году [2]).

„Скажу вамъ одно слово на счетъ того, какая у меня душа, Хохлацкая или Русская, потому что это, какъ я вижу изъ письма вашего, служило одно время предметомъ вашихъ разсужденій и споровъ съ другими. На это вамъ скажу, что я самъ не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никакъ бы не далъ пре-

[1]) Соч. и Письма Гог. VI, 104. [2]) Соч. и Письма Гог. VI, 147.

имущества ни малороссіянину передъ русскимъ, ни русскому передъ малороссіяниномъ. Обѣ природы слишкомъ щедро одарены Богомъ, и, какъ нарочно, каждая изъ нихъ порознь заключаетъ въ себѣ то, чего нѣтъ въ другой: ясный знакъ, что онѣ должны пополнить одна другую. Для этого самыя исторіи ихъ прошедшаго быта даны имъ непохожія одна на другую, дабы порознь воспитались различныя силы ихъ характеровъ, чтобы потомъ, слившись воедино, составить собою нѣчто совершеннѣйшее въ человѣчествѣ. На сочиненіяхъ же моихъ не основывайтесь и не выводите оттуда никакихъ заключеній о мнѣ самомъ. Они всѣ написаны давно, во времена глупой молодости, . . . и въ нихъ виденъ, покамѣстъ, писатель, еще неутвердившійся ни на чемъ твердомъ. Въ нихъ точно есть кое-гдѣ хвостики душевнаго состоянія моего тогдашняго, но, безъ моего собственнаго признанія, ихъ никто не замѣтитъ и не увидитъ.“

Въ этихъ словахъ много вѣрнаго, хотя другое мѣсто его признанія ближе къ дѣйствительности [1]); но одного только не могъ предвидѣть Гоголь: успѣховъ языкознанія и способовъ анализа языка писателя, анализа, который даетъ ключъ къ разумѣнію многаго, что сокрыто было отъ людей его

[1]) „Одинъ только запросъ уменъ и достоинъ тебя, пишетъ онъ другу: . . . отчего герои моихъ послѣднихъ произведеній, и въ особенности „Мертвыхъ Душъ“, будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дѣйствительныхъ людей, будучи сами по себѣ свойства совсѣмъ непривлекательнаго, неизвѣстно почему, близки душѣ, точно, какъ бы въ сочиненіи ихъ участвовало какое нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвѣчать на это даже и тебѣ. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душѣ, что они изъ души; всѣ мои послѣднія сочиненія — исторія моей собственной души . . . Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слушалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка . . . И такъ вотъ въ чемъ мое главное достоинство; но достоинства это говорю вновь не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ, если бы съ нимъ не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ того, что смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною“. Соч. Гоголя изд. X. IV, 86—87.

времени. Чужая душа, разумѣется, потемки, — но многое обнаруживается въ ней, помимо воли, помимо желанія пишущаго: все таки le style — c'est l'homme. Онъ не сознавалъ, что дѣятельность мысли на малороссійскомъ языкѣ давала бо́льшую продуктивность; онъ не сознавалъ, или сознавалъ только отчасти, что возбужденіе мысли шло по колеѣ родного языка. Помимо него самого, инстинктъ творчества влечетъ его въ сторону, гдѣ живутъ всѣ симпатіи впечатлительной души, преданной роданѣ вольно и невольно. Гоголь не отдавалъ себѣ отчета въ томъ, что есть чувства и мысли, которыхъ не вызвать на общелитературномъ языкѣ никакому таланту, которыя легко, однако, вызываются на малорусскомъ языкѣ, удовлетворявшемъ потребности творчества въ данную минуту, а потому дорогомъ сердцу. На родномъ языкѣ онъ былъ глубоко художественъ и глубоко правдивъ — и по этому именно высоко цѣнно было вліяніе малорусскаго языка на литературный языкъ русскій, воспринявшій эти элементы [1]).

Дѣло понятное: какъ бы своеобразна ни была творческая сила, все же элементы, входящіе въ ея составъ, происходятъ изъ опыта личнаго, изъ опыта добытаго исторіею.

---

[1]) Новый періодъ въ развитіи русскаго языка (литературнаго) характеризуется сближеніемъ западно-русскаго языка съ восточнорусскимъ, имѣвшимъ очень скоро слѣдствіемъ сліяніе ихъ въ общерусскій языкъ. Общерусскій языкъ впитываетъ элементы народныхъ говоровъ и нарѣчій, но въ силу историческихъ и политическихъ условій велико-русское нарѣчіе (главнымъ образомъ московскій говоръ) опредѣлило основной характеръ въ звуковомъ отношеніи, стирая отчасти, или сглаживая элементы другихъ русскихъ нарѣчій — малороссійскаго и бѣлорусскаго, перешедшихъ въ литературный языкъ путемъ незамѣтныхъ вліяній со стороны ученыхъ и писателей, принадлежавшихъ народностямъ малороссійскому и бѣлорусскому, но писавшихъ порусски. Изъ такихъ писателей достаточно назвать не вполнѣ знакомыхъ русскому обществу, напр. духовныхъ писателей Флоринскаго, Юшкевича, Братановскаго, болѣе извѣстнаго историка Георгія Конисскаго, путешественника Барскаго и др. Позже, къ XIX ст. пишутъ порусски опять Малороссы, какъ упомянуто; но положительно можно доказать, что всѣ они вмѣстѣ не могли внести въ русскую литературную рѣчь столько вліянія малороссійскаго, сколько внесено Гоголевскимъ творчествомъ.

Для Гоголя такой опытъ жизни давала Малороссія, и этотъ опытъ служилъ матеріаломъ во все время творчества.

Поэзія била у Гоголя живымъ ключомъ изъ глубочайшей глубины, недосягаемой даже для его собственнаго сознанія; она имѣла источникомъ тѣ тайники, гдѣ живетъ наша первообразная природная стихія, гдѣ обитаетъ самая правда человѣка.

Интересно, что на вопросъ, что въ немъ больше, *хохлацкой души или русской,* Гоголь отвѣта такъ и не даетъ; а говоря, что онъ не *даетъ предпочтенія* малорусскому передъ русскимъ, Гоголь утверждаетъ правду лишь отчасти. Гоголь болѣе чѣмъ кто либо другой представляетъ примѣръ не только того, что малороссійскій и русскій языки связаны были въ немъ съ различными *областями* и *пріемами* мысли, но и того, что эти различные сферы и пріемы были *разграничены,* хотя иногда и не очень рѣзко.

У Гоголя замѣтно, какъ пользованіе то малорусскимъ, то русскимъ языкомъ даетъ мысли то или другое направленіе, и на оборотъ, въ предчувствіи направленія, которое прiиметъ его мысль въ слѣдующее мгновеніе, Гоголь берется за тотъ или за другой языкъ, смотря потому, въ какой укладывается мысль поэтичнѣе, легче, ярче. Правда малороссійскій языкъ съ русскимъ и переплетаются между собою, но раздѣльность свою онъ сохраняетъ все-же, и тѣмъ ближе Гоголь къ малороссійскому, чѣмъ болѣе основная стихія его міровоззрѣнія, его юморъ, его чувство, выступаетъ на первый планъ.

Не всегда возможно указать какой языкъ, русскій или малорусскій, лучше выражаетъ одно, какой способенъ лучше выразить другое, но несомнѣнно, что то, что Гоголемъ передано по — малорусски, на русскій языкъ не передаваемо, хотя переведено, — и наоборотъ.

Прежде чѣмъ перейти къ болѣе подробному разсмотрѣнію элементовъ малорусскаго языка въ произведеніяхъ Гоголя, необходимо отмѣтить нѣкоторыя данныя, нужныя для пониманія степени участія въ творчествѣ „хохлацкой души". Опредѣленность и ясность стиля обусловливается тѣмъ, что ясно и опредѣленно выступаетъ передъ писателемъ самимъ: окружающій міръ съ точки зрѣнія выработавшагося его міровоззрѣнія.

Въ одной изъ предшествующихъ главъ указано было, въ какомъ направленіи шло развитіе мысли Гоголя; мы видѣли, что отрицательное отношеніе къ жизни становится преобладающимъ.

Къ сказанному слѣдуетъ прибавить, что направленная обыкновенно въ сторону отрицанія, мысль весьма часто поворачивала однако въ сторону положительную, когда затрагивались вопросы о родной странѣ, особенно въ ея прошлыхъ судьбахъ. Богатый матеріалъ представляютъ для разъясненія этой особенности данныя біографическія. Постоянно обращается Гоголь къ матери съ просьбами о доставленіи ему свѣдѣній изъ Малороссіи; онъ проситъ ее имѣть кореспондентовъ въ разныхъ мѣстахъ; собирается матеріалъ; онъ тщательно изучается; задумываются произведенія, построенныя на исторіи и бытѣ Малороссіи. Чтобы не останавливаться на этомъ, а равно и на подробностяхъ вліянія со стороны малороссійскихъ писателей, напомнимъ лишь о томъ обаяніи, какое производили на Гоголя комедіи и вообще творчество отца, оставившаго на сынѣ слѣды неизгладимые.

Сладостное обаяніе дѣтства сохранило всю власть надъ нимъ и гораздо позже.

Когда онъ изображаетъ, напр. моменты изъ малороссійской жизни, разумѣется уже по воспоминаніямъ, Гоголь весь превращается самъ въ малоросса, вотъ-вотъ участвующаго въ качествѣ дѣйствующаго лица.

Конечно необходимо признать, что горизонтъ поэтическаго творчества Гоголя расширяется постепенно и постоянно; если первоначально художникъ ограничивается рисовкою картинъ изъ быта и преданій его родины, то онъ позже обнимаетъ все болѣе далекій кругъ русской жизни; но у Гоголя навсегда сохранился уголъ, куда заглядывать не позволялось никому, гдѣ онъ жилъ жизнью только малоросса; онъ чувствовалъ себя здѣсь свободнѣе, непосредственнѣе, правдивѣе — и художественнѣе настроеннымъ.

Мы убѣждаемся, что при направленіи мысли въ сторону къ Малороссіи, самый языкъ его преобразуется, — онъ тогда становится чисто-Гоголевскимъ.

Когда поэтъ очутился вдали отъ родины, вдали отъ близкихъ, онъ естественно ловитъ всякій образъ, всякій намекъ на образъ, чтобы хотя мысленно перенестись туда, гдѣ все такъ дорого ему, все такъ любо; и на самомъ дѣлѣ, мы замѣчаемъ каждый разъ стремленіе *dahin, dahin*, тяготѣніе въ сторону родимую. „Туда, туда, въ Кіевъ! въ древній, въ прекрасный Кіевъ! Онъ нашъ, онъ не ихъ, не правда-ли . . .“

Когда Гоголь примыкаетъ къ кружку, состоявшему изъ школьныхъ товарищей-малороссовъ, пробужденіе любви къ родному болѣе интенсивно; то̀, что временно, случайно утихало, съ новою силою всплываетъ, такъ какъ нѣтъ такихъ внѣшнихъ силъ, которыя могли бы уничтожить строй души, уже окрѣпшій давно; а взамѣнъ стараго ничего новаго не представляется, т. е. такого новаго, чтобы оно въ состояніи было вытѣснить прежній укладъ душевный. Вездѣ, гдѣ только являются въ произведеніяхъ Гоголя воспоминанія, они неизмѣнно дышатъ необычайной теплотой и задушевностью чувства — а эти настроенія возможны были, разумѣется, при условіяхъ перехода (въ мысляхъ) въ Малороссію, единственно вдохновлявшую его. Даже въ ту пору, когда онъ почти весь ушелъ въ міръ новыхъ мыслей, въ сильнѣйшемъ безпокойствѣ и заботѣ о судьбѣ второго тома „Мертвыхъ

душъ“, онъ занятъ своею родиной. Аксакову въ отвѣтъ на просьбу прислать что либо для „Москвитянина“ онъ пишетъ: „Клянусь, тяжкій грѣхъ отвлекать меня; только одному невѣрующему словамъ моимъ и недоступному мыслямъ высокимъ позволительно это сдѣлать. Трудъ мой великъ, мой подвигъ спасителенъ, я умеръ теперь для всего мелочного, и для презрѣннаго-ли журнальнаго пошлаго занятья ... я долженъ совершать непрощаемыя преступленія“ [1]), а въ этомъ-же году (въ концѣ Октября) онъ занятъ былъ драмою изъ малороссійской исторіи, онъ перерабатывалъ своего „Тараса Бульбу“ [2]).

Иногда Гоголь старался если не скрывать національныя особенности свои, то показывать, что онъ русскій, въ болѣе широкомъ смыслѣ. Уже изъ приведеннаго выше письма видно, что онъ не хочетъ быть „хохликомъ“ болѣе чѣмъ русскимъ; но есть факты, говорящіе въ пользу того, что племенная особенность была не только главнымъ двигателемъ творчества, но что онъ этой особенностью дорожилъ — и въ достаточной мѣрѣ проявлялъ ее не только въ творчествѣ.

Она переходила въ антипатію къ полякамъ, къ жидамъ и, — нельзя не отмѣтить этого, приняла — если не характеръ прямо антипатіи, то оттѣнокъ отношенія свысока къ велико-

[1]) Соч. и Пис. Гог. V. 438. [2]) Въ письмѣ Панова къ Аксакову читаемъ между прочимъ „... Можетъ быть цѣлые десять лѣтъ его жизни постепенно разстраивали его организацію, которая теперь въ ужасномъ разладѣ. Его физическое состояніе дѣйствуетъ конечно на силы душевныя. Всѣ эти причины ... приводятъ его въ такое состояніе, въ которомъ онъ истинно несчастнѣйшій человѣкъ ...“ и въ этотъ періодъ времени, среди тяжкихъ страданій ... „онъ перечитывалъ и переписывалъ свое огромное собраніе малороссійскихъ пѣсенъ, собиралъ лоскутки, на которыхъ у него были записаны поговорки, замѣчанія и пр.“. Нѣсколько строкъ ниже, въ томъ же письмѣ: „(вслѣдствіе сильныхъ страданій) ... беспрестанно жаловался, что ничего даже не можетъ читать ... Я уже забывалъ видѣть въ немъ Гоголя, какъ вдругъ въ одно утро ... онъ меня угостилъ началомъ новаго произведенія! Это будетъ, какъ онъ мнѣ сказалъ, трагедія. Планъ ея онъ задумалъ еще въ Вѣнѣ, началъ писать здѣсь. Дѣйствіе въ Малороссіи. — Письмо это отъ 21 Нояб. 1840 г.

россамъ, вопреки мнѣнію г. Шепрока, имѣющаго на этотъ вопросъ свой взглядъ, и академика А. Н. Пыпина [1]). По крайней

[1]) Г. Пыпинъ говоритъ по этому поводу слѣдующее:

„Нѣкоторые критики высказывали соображеніе, что въ Гоголѣ главнымъ рычагомъ творчества была именно его племенная особенность, что въ то время, какъ онъ съ явнымъ сочувствіемъ рисуетъ картины малорусской жизни, жизнь великорусская вызываетъ въ немъ только негодующее или презрительное отрицаніе и въ этомъ сказалось извѣстная племенная антипатія, нелюбовь малорусса къ москалю. Но это соображеніе не подтверждается біографическими фактами. Безъ сомнѣнія, у Гоголя навсегда сохранилась теплая любовь къ родинѣ, которая влекла его всѣми привязанностями семьи, воспоминаніями дѣтства и юности, южной природы, гдѣ онъ всегда чувствовалъ себя лучше, чѣмъ на холодномъ и мрачномъ сѣверѣ, и, наконецъ, красотами народной поэзіи, которая одна была близка ему непосредственно; у него вызывались даже слова, по которымъ онъ могъ бы быть признанъ за истаго украинофила, — но была и другая сторона. Покинувъ родину для Петербурга, Гоголь именно искалъ поприща для развитія силъ, какія онъ въ себѣ чувствовалъ; вскорѣ оно и открылось для него: онъ окруженъ былъ успѣхомъ, какого едва могъ ожидать; въ его воображеніи строились все болѣе широкіе и самонадѣянные планы, — понятно, что вся прежняя обстановка его жизни должна была казаться тѣснымъ провинціализмомъ, и дѣйствительно надъ нимъ далеко возвышалось его настоящее. Онъ по прежнему любилъ своихъ земляковъ нѣжинцевъ, но для своихъ высшихъ стремленій онъ искалъ сочувствія и встрѣтилъ его въ иной средѣ, между людьми, стоявшими въ первомъ ряду русской литературы. Эти друзья, между которыми онъ находилъ опору для самого своего творчества были Жуковскій, Пушкинъ, Плетневъ, Московскіе друзья — Аксаковы, Погодинъ и т. д. дружба съ Максимовичемъ и Щепкинымъ не перевѣшивали этихъ отношеній . . . впослѣдствіи . . . Италія . . . была новая страсть . . . и ее опять невозможно примирить съ какимъ либо мѣстнымъ патріотизмомъ. Замыслы Гоголя были шире . . .“ Вполнѣ признавая вѣрность почти всего сказаннаго здѣсь, нахожу только, что опору для своего творчества онъ находилъ въ русскихъ друзьяхъ-писателяхъ лишь нравственную и матеріальную; характеръ же творчества Гоголя шелъ своимъ, самостоятельнымъ путемъ, совершенно отличнымъ отъ творчества названныхъ писателей: послѣдніе имѣли вліяніе только лишь въ первую пору творчества. Затѣмъ, не слѣдуетъ, мнѣ кажется, смѣшивать „мѣстный патріотизмъ“ съ творчествомъ, подсказываемымъ тѣмъ, что отъ существа Гоголя неотдѣлимо — отъ „хохлацкой“ его „души“, съ которой онъ не разставался ни въ Петербургѣ, ни въ Италіи. Если справедливо, что нѣтъ біографическихъ данныхъ, подтверждающихъ его „негодующее или презрительное отрицаніе“, то самъ же Пыпинъ признаетъ, что „вырывались даже слова, по которымъ онъ могъ бы быть признанъ за истаго украинофила“. Не считая Гоголя враждебно настроеннымъ противъ Россіи, на оборотъ, имѣя въ виду дивный лиризмъ, выражающій любовь къ Россіи, нельзя не признать, что „другая сторона“, о которой говоритъ г. Пыпинъ, вовсе не исключаетъ чувства, подсказывавшаго Гоголю предпочесть все малороссійское; а что дружба съ Максимовичемъ не перевѣшивала дружескихъ отношеній съ русскими друзьями доказать весьма трудно на основаніи имѣющихся данныхъ.

мѣрѣ объ этомъ говорятъ нѣкоторые факты. Они незначительны сами по себѣ и отдѣльно взятые, но въ совокупности представляютъ нѣчто, съ чѣмъ во всякомъ случаѣ считаться необходимо при установленіи связи между стилемъ и характеромъ писателя.

Если Гоголь пишетъ другу своему Максимовичу, напр.: „Дурни мы, право, какъ разсудить хорошенько. Для кого и кому жертвуемъ всѣмъ? Идемъ (въ Кіевъ)!"; если Гоголь не понимаетъ, чѣмъ держитъ Максимовича „старая баба Москва"; если онъ совѣтуетъ другу бросить „Кацапію" для „Гетманщины"; если для Гоголя „онъ" (Кіевъ) — „нашъ", не „ихъ" (Русскихъ); если, напр., поэтъ въ записки свои заноситъ: „Характеръ русскаго несравненно тонѣе и хитрѣе, чѣмъ жителей всей Европы. Всякой изъ нихъ, не смотря на самое тонкое остроуміе, даже италіанецъ, простодушнѣе. Но Русскій всякій, даже не умный, можетъ такъ притвориться, что (проведетъ всѣхъ) и одурачитъ другого"[1]); и если притомъ поэтъ влагаетъ въ уста дѣйствующихъ лицъ именно такое ироническое отношеніе къ великороссамъ, которое нисколько не отлично по своему характеру отъ способа выраженія самого Гоголя, то позволительно сдѣлать заключеніе о господствующемъ настроеніи въ извѣстные моменты жизни.

„То-то и есть, что если гдѣ замѣшалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько отъ голоднаго москаля", говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ „Сорочинской ярмаркѣ"[2]); „Добре, отъ добре, сказалъ Солопій, . . . да мнѣ теперь такъ сдѣлалось весело, какъ будто мою старуху москали увезли"[3]). „Хлопцы бѣсятся! безчинствуютъ . . . твою милость величаютъ такими словами . . . сказать стыдно: пьяный москаль побоится вымолвить ихъ нечестивымъ своимъ языкомъ", говоритъ писарь въ „Майской ночи"[4]). „Имѣю обыкновеніе затыкать на ночь уши съ того прокля-

---

[1] Соч. Гог. X изд. V, 675. [2]) Соч. Г. II, 18. [3]) Ib. 37. [4]) Ib. 78.

таго случая, когда въ одной русской корчмѣ залѣзъ мнѣ въ лѣвое ухо тараканъ. Проклятые кацапы ѣдятъ даже щи съ тараканами“ [1]).

Разумѣется авторъ не несетъ отвѣтственности за мысли и чувства, высказываемыя его дѣйствующими лицами, объективно представленными, т. е. онъ можетъ думать вовсе не такъ, какъ думаютъ тѣ, — но если и художникъ и дѣйствующія лица говорятъ одинаково, то по однимъ и тѣмъ-же рѣчамъ имѣемъ право допустить выводъ, сдѣланный мною. Я не усматриваю отличія приведенныхъ мѣстъ отъ слѣдующихъ, принадлежащихъ самому автору:

„. . . Ее смѣшило до крайности какъ цыганъ и мужикъ били одинъ другого по рукамъ, вскрикивая сами отъ боли . . . Какъ москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою . . .“ [2]).

„Бывало, поведетъ рѣчь . . . все бы слушалъ Ужъ не чета какому нибудь нынѣшнему балагуру, который какъ начнетъ *москаля весть* (т. е. лгать) . . . то хоть берись за шапку, да изъ хаты“ [3]).

„Другіе же прибавили, что когда чортъ да москаль украдутъ что нибудь, то поминай, какъ ихъ звали“ [4]).

„Иванъ Яковлевичъ, какъ всякій порядочный русскій мастеровой, былъ пьяница страшный . . .“ [5]).

Полагаю, что приведенныя мелочи, которыя увеличить можно цитатами изъ различныхъ произведеній, не слѣдуетъ принимать въ расчетъ при оцѣнкѣ отношеній Гоголя къ народностямъ, къ людямъ, къ русскому человѣку [6]); но что они

---

[1]) Такъ-же, 211. [2]) II, 17. [3]) Соч. Г. II, 42. [4]) Ib. 96. [5]) Соч. Г. III, 5. [6]) Не слѣдуетъ уже потому одному, что есть факты совершенно противоположнаго свойства. Гоголь подымался до пониманія общерусскихъ интересовъ, помимо національныхъ, и это пониманіе сопровождалось чувствомъ любви глубокой, непритворной. Не останавливаясь на этомъ вопросѣ, напомню напр. мѣсто, въ которомъ говорится, что „наши писатели заключили въ себѣ черты какой-то высшей природы“ (V, 54) или, напр.: „Дивишься драгоцѣнности нашего языка: что ни звукъ, то и подарокъ; все зернисто, крупно, какъ самъ жемчугъ и право иное названіе еще

помогаютъ опредѣлить *направленіе мысли* въ сторону, отличную отъ общерусскаго теченія ее — это признать должно.

Для оцѣнки степени участія „хохлика“ и его „хохлацкой души“ въ творчествѣ, нужно принять во вниманіе вотъ какое наблюденіе, болѣе для насъ цѣнное: Гоголь слѣдуетъ очень часто малороссійскому правописанію, и это замѣчается даже въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ. Въ изданіи Тихонравова отмѣчены слова, въ которыхъ это обнаруживается ясно [1]). Такъ Гоголь употребляетъ во 2-мъ лицѣ ед. числа настоящаго и будущаго времени *ъ* вмѣсто *ь*. Напр. въ собственноручной его рукописи „Майской ночи“: „изволишъ заводить“ (въ печатномъ изволишь).

Случаи такого правописанія не всегда правильно были отнесены къ опечаткамъ, такъ какъ встрѣчаются другіе: „смазываешъ“, „что ты хочешъ“, „никакъ не узнаешъ“, „думаешъ“, „побѣжишъ“ и т. д.

Еще интереснѣе для насъ то, что при исправленіи стиля рукописной повѣсти „Сорочинской ярмарки“ обращено было особенное вниманіе на замѣну малороссійскихъ словъ великорусскими, или просто на исключеніе первыхъ, что уже безъ спора доказываетъ, что „языкъ души“ былъ малороссійскій, напр.: „ай, да гарна дивчіна“ замѣнено: „ай, да

драгоцѣннѣе самой вещи“ (Тамъ-же, 78). А слѣдующее мѣсто положительно создано любовью къ Россіи: „Всякое истинное русское чувство глохнетъ и некому его вызвать! Дремлетъ наша удаль, дремлетъ рѣшимость и отвага на дѣло, дремлетъ наши крѣпость и сила, дремлетъ умъ нашъ . . . и т. д. А нѣсколько выше, на той-же страницѣ (V, 80): „Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ: плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснѣйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра“. А „Тройка“ его и множество лирическихъ мѣстъ! О лицемѣріи въ такихъ случаяхъ не можетъ быть рѣчи, если принять за исходную точку положеніе, что неискренность сопровождается у Гоголя реторичностью рѣчи и неестественной приподнятостью.

[1]) Соч. Г. X изд. I, 508.

дѣвушка. Въ рукописи: „Э, голубчикъ, не до пенька прискочивъ, обманывай другихъ этимъ“ — „не до пенька прыскочивъ“ въ печати исключено [1]). Въ рукописи: „За что же мнѣ, небораку, недобрый поклепъ?“, а въ „Вечерахъ“ напечатанныхъ: „но за что мнѣ, несчастливцу, недобрый поклепъ“ [2]).

Явленіе, до сихъ поръ не обращавшее на себя вниманія, но имѣющее для насъ въ разсматриваемомъ вопросѣ громадное значеніе, заключается въ слѣдующемъ:

Сравнивая текстъ произведеній съ русской рѣчью, мы замѣчаемъ, что Гоголь мысленно *переводилъ* обороты, слова, буквально, примѣняясь къ русской рѣчи. Нѣтъ печатныхъ данныхъ, чтобы можно было доказать это ариѳметически точно, по образцу приведенныхъ фактовъ, но знакомый съ малороссійскимъ языкомъ и въ тоже время чуткій къ русской рѣчи чувствуетъ эти *мысленныя* переводы.

Очень замѣчательно мѣсто изъ письма къ Плетневу отъ 1848 года, слѣдовательно еще за 4 года до смерти поэта:

„О себѣ, покуда могу сказать немного. Соображаю, думаю и обдумываю второй томъ „Мертвыхъ Душъ“. Читаю преимущественно то, гдѣ слышится сильнѣй присутствіе русскаго духа. Прежде чѣмъ приймусь серіозно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и рѣчью Боюсь нагрѣшить противу языка“ [3]).

Какими-же звуками „назвученъ“ былъ Гоголь? Отвѣтъ можетъ быть одинъ только, ввиду слѣдующаго обстоятельства: „Пошли въ Академію художествъ *по* художника Зенькова, и призвавши его къ себѣ, вручи ему . . .“ пишетъ онъ вслѣдъ за выраженіемъ опасенія нагрѣшить противу языка русскаго, и тутъ же зачеркиваетъ предлогъ *за* передъ словомъ „художникомъ“; вмѣсто правильнаго русскаго, „пошли

1) Соч. Гог. X изд., I, 514. 2) Тамъ-же. 3) Соч. и Письма, Кулиша VI, 476.

за художникомъ“ вышло *„по художника“*, т. е. вышло чисто по малороссійски. Кулишъ по этому поводу дѣлаетъ замѣчаніе: „Гоголь во время пребыванія своего заграницей и потомъ на родинѣ такъ отвыкъ отъ русскаго языка, что усомнился правильно-ли будетъ написать: пошли за художникомъ и выразился по малороссійски, вовсе этого не замѣчая“ [1]).

Именно *вовсе этого не замѣчая,* какъ не замѣчаютъ здоровья, когда оно есть (по Тургеневу), т. е. этотъ языкъ и служилъ Гоголю постояннымъ и вѣрнымъ выразителемъ направленія мысли.

Вотъ рядъ примѣровъ, доказывающихъ, что Гоголь переводилъ свою родную рѣчь на русскій языкъ, а не прямо порусски писалъ. Выбираю такіе, въ которыхъ малороссійскій элементъ бросается въ глаза, не столько словаремъ своимъ, сколько сочетаніемъ словъ.

„Сто лѣтъ, а можетъ и больше, тому назадъ, меня драли за чубъ, когда я былъ хлопцемъ у батька“ [2]).

„Чего Вы, хлопцы, сдуру бѣснуетесь“ [3]).

„Ты чего хочешь, свиное ухо, такъ тебѣ еще мало, что душа осталась въ галанцахъ“ [4]).

„Воистину воскресе! говорилъ цалуясь Пудько, *какъ на то* и крашанки нѣтъ! Жинка давала . . . передавилъ бы на кисель“ [5]).

„А что, добродію, не во гнѣвъ будь сказано, — прошу извинить, только хотѣлъ бы узнать, что сдѣлалось съ тѣми, которые пошли съ вами?“ [6]).

„Это еще не большое диво, что сосна, а вотъ что диво“ [7]).

Такіе обороты сплошь да рядомъ: „Стали обворовывать

---

[1]) Соч. и Пис. VI, 476. [2]) Соч. Г. I, 81. Не говорю о словахъ отдѣльныхъ, вошедшихъ въ составъ предложенія. [3]) Тамъ-же 80. [4]) Тамъ-же. [5]) Соч. Г. I, 83. [6]) Тамъ-же. [7]) Соч. Г. X изд. V, 135.

да обдирать божьи церкви, и такое дѣлали... врагъ съ ними! не хочу и говорить, что такое“ [1]).

„Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, кумъ, ты подцѣпилъ что нибудь“ [2]).

„И, чтобы мнѣ не довелось разсказывать этого въ другой разъ, если я...“ [3]).

„Это-жъ еще богачи такъ жили; а посмотрѣли бы на нашу братью...“ [4]).

„За то люблю, что у тебя карія очи, а какъ поглядишь ты ими, то у меня какъ будто на душѣ усмѣхается“ [5]).

„Станешь бояться, и не заснется тебѣ покойно“ [6]).

„Хоть оно и возьметъ (т. е. Алексѣй Ивановичъ), но за то ужъ никакъ тебя не выдастъ“ [7]).

„Когда я умру, чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его... какъ свое родное дитя“ [8]).

Это все не русская рѣчь.

Еще въ болѣе яркой формѣ выступаетъ переводъ съ малороссійскаго въ раннихъ редакціяхъ произведеній, и чтобы не дѣлать лишнихъ выписокъ, ссылаюсь напр. на „Тараса Бульба“, въ I-мъ томъ X изданія, гдѣ помѣщены первоначальныя редакціи.

Примѣры взяты на выдержку; а подобные встрѣчаются на каждомъ шагу, и не только въ повѣстяхъ болѣе ранняго творчества.

Но если взять только „Тараса Бульбу“ — то трудно представить себѣ Гоголя иначе, какъ со складомъ мысли малоросса, ищущаго русскихъ словъ для выраженія, для передачи малороссійскаго способа мышленія, по образу слѣдующаго предложенія:

„Смутны стояли гетьманъ и полковники, задумались всѣ и молчали долго, какъ будто томимые какимъ-то тяже-

---

1) Ib. 2) Соч. Г. II, 36. 3) Ib. 43. 4) Ib. 5) Ib. 61. 6) Ib. 62. 7) Соч. Г. IV, 167. 8) Соч. II, 261.

лымъ предвѣстіемъ. Не даромъ провѣщалъ Тарасъ: такъ все и сбылось, какъ онъ провѣщалъ“ [1]).

„Смутны стояли“ — только малороссъ говоритъ „смутно на сердцу“ [2]), „смутненько ходила“ [3]) и т. п. Но съ этой формой онъ сродился; послѣ представленія „Ревизора“ онъ пишетъ одному литератору:

„Ревизоръ сыгранъ — а у меня на душѣ такъ *смутно* . . .“ [4]); и повѣствуетъ въ такихъ-же выраженіяхъ: „. . . молодые козаки ѣхали смутно . . .“ [5]).

А о синтаксисѣ въ приведенномъ мѣстѣ и говорить нечего.

Мнѣ кажется, вовсе нѣтъ нужды увеличивать количество примѣровъ изъ всего періода до созданія „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“; отрывкомъ изъ одного письма Гоголя къ Максимовичу доказывается болѣе, чѣмъ сотнями примѣровъ, какого бы рода ни было, въ какой мѣрѣ Гоголемъ переводилось порусски малороссійская рѣчь — мысленно: „Въ переводѣ болѣе всего нужно привязываться къ мысли и менѣе всего къ словамъ, хотя послѣднія чрезвычайно соблазнительны, и, признаюсь, я самъ, который теперь разсуждаю объ этомъ съ такимъ хладнокровнымъ безпристрастіемъ, врядъ-ли уберегся отъ того, чтобы не влѣпить звонкое словцо въ русскую рѣчь, въ простодушной увѣренности, что его и другіе такъ же поймутъ“ [6]).

Это признаніе имѣетъ всю силу превосходной иллюстраціи характера творчества на родномъ языкѣ: онъ могъ писать на общелитературномъ языкѣ, пока шла мысль по направленію, подсказываемому русскимъ языкомъ, подъ условіемъ сознательнаго къ нему отношенія, когда нужно помнить, что пишется

[1]) Соч. Г. II, 398. [2]) „Смутно на сердцу, хвиля наступаетъ, Що моя дивчина мене не кохаетъ“. Перетцъ, Историко-литерат. Изслѣдованіе, II. 169. [3]) “Къ чему жъ ты, серденько, по саду смутненько ходила . . .“. Перетцъ, Историко-литер. Изслѣд., I, 233. [4]) Соч. Г. III, 285. [5]) Соч. Г. II, 280. [6]) Соч. и Письма, V, 207.

для русскихъ, и потому, какъ онъ совѣтуетъ Максимовичу „всѣ малороссійскіе обороты рѣчи и конструкціи прочь!“ Но какъ только поэта оставляетъ необходимость имѣть въ виду постороннія соображенія, и онъ представленъ себѣ самому, снова выплываетъ языкъ малороссійскій. Онъ, напр., совѣтуетъ Максимовичу въ предложеніи: „Ѳеодора Безроднаго, атамана куренаго, пострѣляли, порубили, только не поймали чуры“ исправить: „*пострѣляли*“, равнымъ образомъ „*порубили*“ („оно не порусски спрягнулося и скомпоновалося“) и слабѣе выражаетъ, нежели на нашемъ“ [1]); а самъ, тѣмъ не менѣе, пишетъ: „Я . . . успѣлъ нарисовать три картины . . . ежели бы вы ихъ *повидѣли*, то вѣрно бы не могли повѣрить, что я ихъ писалъ“ [2]). „Однакожъ свиньи . . . *повлѣзали* въ окна“ [3]). „Все *порастивалось* и осталась бѣдность“ [4]), — и такихъ формъ множество: „*попа́даютъ*“, „*пороняли*“, „*понатаскали*“.

Нужно-ли говорить о томъ, что, если чувство просилось наружу въ случаяхъ, когда онъ надъ своимъ способомъ выраженія вовсе не задумывался, то рѣчь была проникнута малороссійскимъ элементомъ. „Благодарю васъ милый Павелъ Петровичъ, благодарю васъ дядько, за письмо ваше, за вашу память обо мнѣ; ежели бы вы знали какъ мнѣ ду́же не до́бре васъ не видѣть“ и т. д. [5]). „Не было-ли Елисея съ нижнесенькою супружницею“ [6]). „Поросся мое давно уже вышло въ свѣтъ“, пишетъ онъ другу по поводу выхода „Вечеровъ на хуторѣ“ [7]); „. . . А признаюсь грусть хотѣла было подступить ко мнѣ, но я далъ ей . . . такого пі́дсилою подступить ко мнѣ, но я далъ ей . . . такого пі́дсилесня, что она задрала ноги“ [8]). Подобныхъ фразъ въ громадномъ изобиліи; въ особенности въ письмахъ, въ первую пору молодости.

И не только въ первую пору молодости, но и гораздо позже, когда русская рѣчь окрѣпла въ художникѣ.

---

1) Тамъ-же. 2) Соч. и Письма, V, 16. 3) Соч. Г. II, 29. 4) Ib. 379. 5) Письма и Соч. Г. кулиша, V, 62. 6) Ib. 65. 7) Ib. 159. 8) Ib. 223.

Вотъ примѣры:

„. . . И захрапѣлъ такъ, что воробьи, которые забрались было на баштанъ, *поподымались* съ перепугу на воздухъ . . .“ [1]).

„Въ наказаніе, что не спохватился тотчасъ послѣ того освятить хату, бабѣ . . . дѣлалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни прiймется, ноги затѣваютъ свое . . .“ [2]).

„. . . Только было глядѣть, какъ *посмѣвался* католикъ православному народу . . .“ [3]).

„Фонарь умиралъ на одной изъ дальнихъ линій Васильевской Острова. Одни только бѣлые каменные домы кое-гдѣ *вызначивались* . . .“ [4]).

„. . . Когда все спитъ, когда кошки, безсмысленныя кошки, одни *спѣвываются* и бодрствуютъ . . .“ [5]).

Всякая форма, и не рѣзко отличающаяся отъ русской, свидѣтельствуетъ о другомъ ходѣ мысли, своеобразномъ: „Вотъ прошусь, да и не допрошусь исторіи про эту проклятую свитку . . .“ [6]), — оборотъ мало чѣмъ отличается отъ русской формы, и русскому онъ вполнѣ понятенъ, но въ немъ заключаются такія оттѣнки чувства и мысли, которыхъ нѣтъ, когда ее говоритъ русскій человѣкъ.

Справедливость сказаннаго подтверждается каждый разъ въ случаяхъ, когда выступаетъ словарь Гоголя, т. е. когда въ русскую рѣчь вносятся малороссійскія слова, имѣющія при одинаковой формѣ съ формой русскою, значеніе другое: „Всякій взглядъ ея полонилъ сердце, душа *занималась*, и дыханіе отрывисто становилось“ [7]).

„. . . Хохотъ поднялся со всѣхъ сторонъ; но разряженной сожительницѣ медленно выступавшаго мужа не *слишкомъ показалось* такое привѣтствіе“ [8]).

„Какъ вотъ разъ, подъ вечерокъ, приходитъ какой-то

---

[1]) Соч. Г. II, 236. [2]) Соч. Г. II, 102. [3]) Соч. Г. I, 99. [4]) Тамъ-же, 105. [5]) Тамъ-же. [6]) Соч. Г. II, 27. [7]) Соч. Г. I, 89. [8]) Не слишкомъ понравилось; II, 14.

человѣкъ: „Ну жидъ, отдавай мою свитку!“ жидъ сначала было и не *позналъ*“ [1]).

„... И зажмурилъ *ослабшіе* очи свои и *вынеслась* казацкая душа изъ суроваго тѣла ...“ [2]).

„... Бандуристъ ... скажетъ онъ про нихъ свое густое могучее слово. И *пойдетъ дыбомъ* по всему свѣту о нихъ слава, и все, что ни народится потомъ, заговоритъ о нихъ ...“ [3])

Мы убѣдимся еще не на одномъ фактѣ, какъ съ измѣненіемъ содержанія, мысль невольно обращается къ малороссійскому языку, болѣе удобному для нашего поэта тогда особенно, когда онъ готовится выразить чувство, или опредѣлить, невольно для него самого, свое отношеніе къ тому или другому событію. Привожу пока одинъ примѣръ.

„Страшно глядѣла она (пушка) широкою пастью, и тысяча смертей глядѣло оттуда. И какъ грянула она ... много нанесла она горя! Не по одному козаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, нѣтъ-ли между ихъ одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска, и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго всѣхъ“ [4]).

Еслибы зародилось сомнѣніе въ комъ либо, что здѣсь говоритъ малороссъ, что весь и складъ, и строй, и духъ рѣчи чисто малороссійскіе, тому слѣдуетъ лишь мѣсто это сравнить съ народною пѣснею; она краснорѣчивѣе всякихъ другихъ доказательствъ:

---

[1]) II, 28. Нѣсколько ниже, по требованію мысли — чисто русская форма: „знать не знаю твоей свитки“: мысль невольно обращается къ тому языку, какой способенъ сильнѣе, ярче выразить ее. [2]) Соч. Г. II, 367. [3]) II, 360. [4]) Соч. Г. II, 364.

У Глуховѣ, у городѣ стрѣльнули зъ гарматы;
Не по однôмъ казаченьку заплакала мати! [1])
То вона (вдова) отъ сна прочинала,
На базаръ выхожала
— — — — — — — — — — — — — — — —
Старого козака и младого о своемъ сынѣ пытала
Первая сотня и другая наступае, вдова сына не видае [2]).

Всматриваясь въ источники повѣстей, напр. „Тараса Бульбы“, мы можемъ замѣтить, что Гоголь цѣликомъ почти вставлялъ переводъ съ малороссійскаго, а потому въ нихъ и остался духъ не русской рѣчи. Вотъ мѣсто, въ которомъ Гоголь говоритъ о сборѣ охочекомонныхъ казаковъ: „. . . Стоило только есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: „Эй, вы, пивники, броварники, *полно* вамъ пиво варить, да валяться по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тѣломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосѣи, овцепасы, баболюбы, полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землѣ желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! Пора доставать казацкой славы . . .“ [3]). Это мѣсто представляетъ переложеніе въ прозу (съ необходимыми сокращеніями) начальныхъ стиховъ пѣсни о Коновченкѣ, по тексту, изданному Лукашевичемъ въ его сборникѣ „Малороссійскія и червонорусскія народныя думы и пѣсни“. Привожу оттуда отдѣльные стихи, имѣющіе ближайшее отношеніе къ отрывку:

„Вы грубники, вы лазники,
Вы броварники, вы винники,
Годѣ вамъ у винницахъ горѣлокъ курити,
По броварняхъ пивъ варити,
По лазняхъ лазень топити,
По грубамъ валятися, —
Товстымъ видомъ мухъ годовати . . .
Ходите за ними (нами?) на долину Черкень погуляти!“

---

[1]) Соч. Г. изд. X, I-й т., 653. [2]) Ib. 654. [3]) Сочин. Гоголя X изд. I, 570—571.

На отдѣльныхъ предложеніяхъ не трудно вести доказательства въ такомъ-же направленіи: „... Не о корысти и военномъ *прибыткѣ* теперь думали они ... но *загадались* они какъ орлы, сѣвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ ...“ [1]).

До частностей можно прослѣдить, какъ у Гоголя, по содержанію мысли выбивается наружу то малорусская, то великорусская рѣчь.

„А онъ (Андрей) между тѣмъ, объятый пыломъ и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся, какъ молодой, борзой песъ, красивѣйшій и *молодшій* всѣхъ въ стаѣ“ [2]).

Никакимъ образомъ нельзя передать ни прелести образа, ни самаго чувства, волнующаго при этомъ поэта, русскимъ словомъ *„младшій“*, не смотря на русское построеніе фразы: погибла бы красота звуковая всего прежде; „молодшій“, — не иначе могъ сказать поэтъ.

„... Ему, хоть бы тутъ же, передъ его запачканнымъ въ табачищѣ носомъ, нанесли *жінкѣ* его безчестье, ему и *нуждочки* не было ...“ [3]).

Оттѣнокъ глупой беззаботности не передается русскимъ словомъ „нужда“, какъ не передать „жінка“ ни великорусскимъ „женушка“, ни общерусскимъ „жена“, какъ не передать всей горечи, звучащей въ словѣ напр. русскаго *„хлѣбушки“*, протягивающаго руку за подаяніемъ, малороссійскимъ „хлібъ“, или какъ непереводимо ни на одинъ языкъ дѣтское *„хлѣбца“*, когда проситъ его втихомолку у няни своей, „дай хлѣбца“, въ видѣ лакомства, ребенокъ.

Не стану приводить въ большомъ количествѣ фактовъ, свидѣтельствующихъ, что Гоголь пользовался малороссійскимъ языкомъ каждый разъ, когда общерусскій языкъ не въ состояніи былъ передать той тонкости мысли, которая передавалась естественно языкомъ малороссійскимъ — и на-

---

[1]) Соч. Г. II, 360. [2]) Тамъ-же 371 [3]) Тамъ-же, 21.

оборотъ. Хочу обобщить факты, и сказать: малорусскій языкъ преобладаетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда мысль требуетъ выраженія настроенія. Какъ только вспыхиваетъ, напр., чувство любви къ тому, что сердцу близко, малороссійская рѣчь становится господствующею.

„Галю, Галю, ты спишь, или не хочешь ко мнѣ выйти? Ты боишься вѣрно ... что бы насъ кто не увидѣлъ, или нехочешь показать бѣлое личико на холодъ? Не бойся: никого нѣтъ; вечеръ тепелъ. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обматаю своимъ поясомъ, закрою руками тебя — и никто насъ не увидитъ. Но если бы и повѣяло холодомъ ... надѣну шапку свою на твои бѣленькія ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ ...“ [1]).

И мало-мальски знакомому съ малороссійскимъ, и хорошо знающему этотъ языкъ, и вовсе не знающему его, а только чуткому къ общерусскому языку становится яснымъ, что тутъ говоритъ малороссійская душа, изливая и горе и радость одновременно. Что это переводъ съ малороссійскаго на общерусскій ясно для всякого, кто знаетъ, что въ русской народной рѣчи такихъ выраженій нѣтъ, какъ *„рыбка моя“*, *„ожерелье“*, нѣтъ образовъ, какъ, напр. *„я ноженьки твои шапкой закрою“*, и нѣтъ такого словосочетанія. Знакомому съ малороссійскимъ вспоминается пѣсня народная:

„Ой выди, выди,
Не бись морозу,
Я твои ніженьки
Въ шапочку вложу“ и т. д.

вспоминается и *„Галю“*, и *„дрогій кришталю“*, *„серденько“*, когда читаемъ у Гоголя: „тебя позабыть, моя Ганночка, мое серденько, дорогой ты кристаллъ мой ...“ [2]), *„не вчини жалю“* и т. д.

---

[1]) Соч. Гог. II, 59—60. [2]) Соч. Г. I, 90.

„Какой же онъ хорошій! Какъ чудно горятъ его чорныя очи! какъ любо говоритъ онъ: Парасю, голубко! Какъ пристала къ нему бѣлая свитка . . !“ [1]). Пусть чувство, лежащее въ основаніи приведеннаго мѣста, свойственно всякой дѣвушкѣ любой народности, но сладость звуковъ пойметъ только малороссъ, потому что это переводъ на русскій, съ малороссійскаго. И Grätchen Гетевская любуется также своимъ милымъ, когда она остается одна съ собою – и любуется почти въ тѣхъ-же выраженіяхъ; Grätchen говоритъ понѣмецки то-же, что Параска, но и не то-же, потому что ударяетъ не по тѣмъ всѣмъ струнамъ, что Малоросса: „Ивасю мой милый, Ивасю, мой любый! Бѣги къ Петрусю“ — такъ и остается у Гоголя непереведеннымъ, потому что и непереводимо [2]). А „разскажи ему все: любила бы его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велитъ судьба“ [3]) — порусски правда, но переведено съ малороссійскаго, потому что въ оригиналѣ русскомъ такихъ оборотовъ не встрѣтимъ.

Читая мѣсто въ „Тарасѣ Бульбѣ“, изображающее отношеніе Андрія къ полячкѣ, мы чувствуемъ, какъ трепещетъ душа его, и какъ она рвется вылиться вполнѣ — но мы чувствуемъ также, что Андрій говоритъ не на общерусскомъ языкѣ, а на малороссійскомъ, что Гоголь эту рѣчь переводитъ.

Сказанное можно прослѣдить до мелочей. Какъ только Гоголь рисуетъ настроеніе, онъ прибѣгаетъ къ родной рѣчи, каково бы ни было это настроеніе, добродушное-ли, суровое-ли, гнѣвное, раздраженное, — особенно въ повѣстяхъ. Когда Хавронья Никифоровна угощаетъ своего возлюбленнаго и предлагаетъ ему различныя кушанья, она говоритъ: „галушечки пшеничныя, пампушечки, товченички!“ [4]); она какъ будто въ названія блюдъ хочетъ вложить свою душу, эта заботливая Хивря.

---

[1]) Соч. Г. II, 38. [2]) Соч. Г. II, 47. [3]) Ib. [4]) Ib. 24.

Когда старшина съ укоризною обращается къ казакамъ, взывая къ ихъ чувству чести, онъ говоритъ: „Вы баболюбы, полно вамъ за плугомъ ходить . . . да подбираться къ жинкамъ“ [1]); „*подбираться къ женамъ*“, разумѣется, не имѣетъ той прелести остроты.

Что идея ищетъ соотвѣтствующаго языка, болѣе способнаго выразить чувство, видно, напр., изъ мѣста, которое хорошо передаетъ основныя черты характера вражды къ врагамъ казака, воспитаннаго въ сѣчи:

„Будьте здоровы, сынки; и ты, Остапъ, и ты Андрій! Дай же Боже, чтобы вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобы бусурмановъ били, и турковъ бы били, и татарву били бы: когда и ляхи начнутъ что̀ противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били . . .“ [2]) и т. д. Вся рѣчь — малороссійская по сжатости стиля, по построенію и постановкѣ словъ. Это мѣсто, и мѣста приведенныя выше, выражены по малороссійски въ переводѣ на русскій, не ввиду только того, чтобы ярче и вѣрнѣе очертить личность казака, но и потому, главнымъ образомъ, что самъ Гоголь не находилъ лучшаго средства для выраженія оттѣнковъ мысли. Доказательствомъ этому служатъ мѣста, въ которыхъ среди чистой русской рѣчи, послужившей Гоголю для изображенія картины, неподдающейся рѣчи малорусской, прорываются фразы, обороты, слова̀ малороссійскія, идущія изъ глубины творческой души, выражающейся непосредственно.

„Тихо свѣтитъ по всему міру . . . Пани ихъ Катерина колышетъ дитя . . . любо глянуть съ середины Днѣпра . . . что, моя молодая жена, моя золотая, *вдалася* въ печаль . . .“ [3]).

„Сама тетушка замѣтила, что онъ будетъ хорошимъ хозяиномъ, хотя впрочемъ не во всѣ отрасли хозяйства позволяла ему вмѣшиваться: „*Воно ще молода дытына!*“, обык-

---

[1]) Ib. 275. [2]) Тамъ-же, 273. [3]) Соч. Г. II, 160.

новенно говаривала она, не смотря на то, что Ивану Федоровичу было безъ малаго сорокъ лѣтъ: „гдѣ ему все знать!“ [1]).

Никакими средствами „воно ще молода дытына“ не передастся ни на русскій, ни на иной языкъ, а съ другой стороны, никакимъ языкомъ не передать оттѣнковъ этой мысли, сопровождающейся специфическимъ чувствомъ нѣжности. И это сплошь и рядомъ, и не только въ поэзіи, но и въ прозѣ, даже въ послѣдній періодъ жизни. Въ „Завѣщаніи“ онъ говоритъ: „Клянусь я не сочинялъ и не выдумывалъ ея (прощальную повѣсть): она *выпѣлась* сама собою изъ души [2]), а звуки ея взялись изъ сокровенныхъ силъ нашей русской породы, намъ общей . . .“.

Русской породы, но малороссійской „подпороды“, могли бы мы прибавить. *„Выпѣлась“* создано по аналогіи съ *„выкричались“* [3]), потому что малороссійскій языкъ допускаетъ подобное образованіе.

Во многихъ случаяхъ прямо сказывается, что Гоголь, *думая* на родномъ своемъ языкѣ, и не старался переводить слова порусски, оставивъ его въ своемъ природномъ состояніи. — Незачѣмъ перечислять всѣхъ тѣхъ словъ, а ихъ нѣсколько сотъ, которыя уже напечатанны отдѣльнымъ словаремъ при изданіяхъ сочиненій Гоголя. Привожу нѣкоторые изъ тѣхъ, которые не обращаютъ на себя вниманія или остаются незамѣченными:

„*Побрались* за шапки и пошло лобызаніе“ [4]). „Осторожно *минали* зеленыя острова“ [5]); „Весеннее-ли расположеніе подѣйствовало на него или толкалъ его кто сзади, только онъ *выпирался* рѣшительно впередъ“ [6]). „Почтмейстеръ . . . *отступился* и посмотрѣлъ на него“ [7]). „Дѣло поступило въ палату, гдѣ было *разсужено* въ такомъ смыслѣ“ [8]). „А можетъ, какъ нибудь въ хозяйствѣ подъ случай *прина-*

1) Тамъ-же, 215 2) Соч. Г. V, 9. 3) Тамъ-же 59. 4) Соч. Г. II, 19. 5) Ib. 478 (хотя это въ ранней редакціи). 6) Соч. Г. X изд. VII, 301. 7) Тамъ-же. 8) Тамъ-же, 324.

добятся, возразила старуха, не прибравшая дать изъясненіе своей нерѣшительности"[1]). *„И опять тоже:* какъ носъ очутился въ печеномъ хлѣбѣ"[2]), *„И вправду* нѣтъ никакой правды на свѣтѣ"[3]).

„Если цапнетъ пуля, или царапнетъ саблей по головѣ *или по чему нибудь иному — не давайте большого уваженія* такому дѣлу . . ."[4]). (При чемъ, кстати сказать, *„или по чему нибудь иному"* — шутка, повторяемая Гоголемъ нѣсколько разъ уже не отъ лица изображаемаго).

Есть и нѣкоторыя слова, съ которыми Гоголю было трудно разстаться, какъ бы ни чисто по русски была ведена рѣчь. Къ нимъ относятся, напр. слово *„чудно"* во всемъ разнообразіи его значенія именно на малороссійскомъ языкѣ:

„Все, казалось, занимало ее; все было ей *чудно*, ново . . ."[5]). „Можетъ быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, подумала про себя красавица, только мнѣ *чудно* . . . вѣрно это лукавый"[6]). „Сердце забилось такъ, какъ еще никогда . . .: и *чудно* и любо ей показалось"[7]). „Человѣкъ, взглянувшій на него уже готовъ сознаться, что въ этой *чудной* душѣ . . ."[8]). „Глядь, краснѣетъ . . . почка, и, какъ будто живая, движется. Въ самомъ дѣлѣ *чудно*". „А на душѣ и необъятно и *чудно* . . ."[9]). *„Чудныя* дѣла, панъ голова!"[10]) (т. е. чудеса!). „А тебя, . . . хотя *чудно* мнѣ, какъ это дошло до него, я женю . . ."[11]). „Вотъ сколькимъ условіямъ нужно было выполниться . . . чтобы вся Россія приняла Гомера, какъ родного. Зато вышло что-то *чудное*"[12]). Изъ 9 случаевъ только въ двухъ — послѣднемъ примѣрѣ и „въ этой чудной душѣ" — слышится общерусское употребленіе; во всѣхъ другихъ, которые можно значительно увеличить числомъ, слышатся различныя значенія, которыя соединяются съ этимъ словомъ въ устахъ малоросса: странность, невѣ-

---

1) Тамъ-же, 99. 2) Соч. Г. III,31. 3) Соч. Г. II, 302. 4) Соч. Г. II, 309. 5) Ib. 13. 6) Ib. 17. 7) Ibid. 8) Тамъ-же, 23. 9) Тамъ-же, 66. 10) Ib. 78. 11) Ib. 89. 12) Соч. Г. V, 29.

роятность, чувство удивленія, иногда съ оттѣнкомъ непріятнаго чувства безпокойства — все такія представленія, которыя въ русскомъ данное слово не возбуждаетъ, и которыя не обозначаются этимъ словомъ вовсе, или обозначаются весьма рѣдко.

Такъ-же точно, напр. слово „*не можно*". Тогда какъ у Пушкина это слово попадается въ Полтавѣ: „Въ одну телѣгу впрячь не можно коня и трепетную лань", очевидно только для размѣра, оно у Гоголя является весьма часто; „Тутъ *не можно* пропустить одного случая, сдѣлавшаго вліяніе на . . ." [1]). Такъ же точно, какъ говоритъ самъ, онъ заставляетъ произносить это слово дѣйствующихъ лицъ. „Нѣтъ, Халява, не можно" [2]); „Не можно, проворчала старуха" [3]). Разъ только онъ измѣняетъ это слово въ уста Хлестакова. По одной редакціи: „Иногда что нибудь хочется сдѣлать — почитать . . . но *не можно*, потому что вовсе темно" [4]). Въ послѣдней редакціи „можно" замѣнено формою „*могу*", такъ какъ это Хлестакову болѣе къ лицу.

Я выбралъ два слова — какъ образцы; изъ нихъ одно — со значеніемъ разнообразнымъ, другое — съ содержаніемъ болѣе ограниченнымъ, и на этомъ основаніи, въ связи съ вышесказаннымъ, вправѣ сдѣлать выводъ, что въ случаяхъ, когда художнику не представлялось необходимости писать на общерусскомъ языкѣ, т. е. когда по требованію самой мысли онъ не обращался къ русскому языку, малороссійскій языкъ преобладалъ, какъ болѣе послушное ему орудіе мысли.

Каковые же моменты, заставлявшіе его обращаться къ общерусскому языку.

Во первыхъ, во всѣхъ случаяхъ когда того требовали изображенія картины природы. За весьма ничтожными, едва

1) Соч. Г. II, 204. 2) Соч. Г. II, 487. 3) Ib. 88. 4) Соч. Г. III, 322.

замѣтными исключеніями, рѣчь тогда чисто русская, безъ примѣси родного его языка.

Не будетъ, мнѣ кажется, ошибкой, сказать, что это кроется въ свойствахъ малороссійскаго языка, не успѣвшаго при Гоголѣ стать на высоту развитія, требуемаго отъ языка въ цѣляхъ художественныхъ. Литература малороссійская оставалась народной въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова; содержаніе ея ограничивалось кругомъ мыслей, воззрѣній, господствующихъ въ простомъ народѣ, и рамки, какія засталъ Гоголь, были слишкомъ узки для проявленія его генія во всей силѣ. Безпредѣльность богатства красокъ, смѣны тьмы и свѣта, роскошь изобилія звуковъ отъ громовыхъ раскатовъ грома до тончайшихъ вѣяній зефира, движенія вѣтра и воды, блескъ металловъ, жизнь растеній и тому подобныя явленія природы напрашиваются на наблюденія, болѣе — менѣе одинаковыя у всѣхъ народовъ, по крайней мѣрѣ въ главныхъ чертахъ; но малорусскій народъ не жилъ тою широкою жизнью, которая одна даетъ возможность поэтическому языку подняться до способности обнаруживать ихъ въ звукахъ по всѣмъ тѣмъ направленіямъ, гдѣ замѣчается участіе мысли и созерцанія; безпредѣльность не находитъ выраженія въ его языкѣ, служившемъ выразителемъ интересовъ, которые не развились до общечеловѣческихъ. Чувство природы находитъ выраженіе въ языкѣ, но оно до такой степени ограничено, что не въ состояніи передать всѣхъ переливовъ, какими полна душа человѣка. И безъ того у Гоголя природа не является такимъ элементомъ, какъ напр. для Гете, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Тургенева; — чувство природы обусловливается его основнымъ настроеніемъ: ненавистью къ окружающему испорченному обществу. Въ поэтическихъ его образахъ, какъ бы хороши они ни были, незамѣтно того упоенія чувствомъ природы, какое замѣчается у большихъ поэтовъ, когда оно сливается съ восторженнымъ гимномъ природѣ, а малороссійскій языкъ не далъ

бы раскинуться и въ его границахъ. — Незачѣмъ дѣлать много выписокъ: любая картина взятая изъ самыхъ малороссійскихъ повѣстей, нарисована языкомъ общерусскимъ. „Тарасъ Бульба“ содержитъ въ себѣ нѣсколько роскошныхъ картинъ, какъ и повѣсти предшествующаго этой поэмѣ періода — но малорусскаго языка нѣтъ слѣда: мысль вся уходитъ по направленію общерусскаго, нужды нѣтъ, что отдѣльныя слова́ и малороссійскія. Мало того, я убѣжденъ, что если перевести эти картины на малорусскій языкъ, то онѣ въ красотѣ своей пострадаютъ значительно [1]):

„Свѣжесть утра вѣяла надъ пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всѣхъ трубъ понеслись на встрѣчу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумѣла. Овцы заблеяли, лошади заржали; крикъ гусей и торговокъ понесся по всему табору — и страшные толки про *красную свитку,* наведшіе такую робость на народъ въ таинственные часы сумерокъ, исчезли съ появленіемъ утра“ [2]).

Я взялъ наиболѣе простую картину природы, стоящей въ непосредственной связи съ малороссійскою обстановкой, но и ея переводъ на малорусскій не передастъ послѣднихъ строкъ: „толки, наведшіе такую робость на народъ *въ таинственные часы сумерокъ,* исчезли съ появленіемъ утра“, т. е. переводъ значительно измѣнитъ основное содержаніе ея.

Еще рѣзче скажется отсутствіе малороссійскаго элемента, напр. въ 1-й картинѣ „Сорочинской ярмарки“: „Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи! Какъ томительно-жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ надъ землею, кажется, заснулъ,

---

[1]) Я не читалъ перевода; быть можетъ эта мысль между прочимъ, вызвала у проф. Дашкевича, хорошаго знатока малорусскаго языка, мнѣніе, что такіе переводы, какъ переводы произведеній Гоголя имѣютъ мало смысла помимо тенденціозности (см. Отзывъ о сочиненіи г. Петрова: „Очерки исторіи украинской литературы“ XIX ст. 229 стр. [2]) Соч. Г. II, 32.

весь потонувши въ нѣгѣ . . .! На немъ ни облака, въ полѣ ни рѣчи . . .“ [1]) и т. д.

А вотъ еще картина: „Усталое солнце уходило отъ міра, спокойно пропылавъ свой полдень, и утро, и угасающій день плѣнительно и ярко румянился. Ослѣпительно блистали верхи бѣлыхъ шатровъ и ятокъ, осѣненные какимъ-то едва примѣтнымъ розовымъ свѣтомъ . . .“ [2]).

Рѣчь — безусловно русская, не смотря на то, что далѣе слѣдуютъ и „чарки“, и „шинкарки“, и „дыни и арбузы“, и „перекупки“, и „галушки“.

Сказанное подтверждается при сравненіи описаній моментовъ природы съ тѣми картинами, въ которыхъ Гоголь рисуетъ предметъ, явленіе, не требующихъ такого тонкаго анализа, какого требуетъ красота въ природѣ. Взять, напримѣръ, описаніе сѣчи; здѣсь и стиль иной, и построеніе иное, и хотя написано общерусскимъ языкомъ, но за нимъ скрывается мышленіе „хохлацкой“ души.

Во вторыхъ, творческая мысль искала выхода въ языкѣ русскомъ, когда захватывалась сторона вопроса, выходящаго за предѣлы узкой жизни Малороссій, когда затрагивались интерессы общественныя, общенародные. Этимъ объясняется, почему въ двухъ крупнѣйшихъ произведеніяхъ. „Ревизорѣ“ и „Мертвыхъ Душахъ“, рѣчь ведется и дѣйствующими лицами и авторомъ порусски преимущественно.

Въ третьихъ, когда мысль работала надъ разрѣшеніемъ вопросовъ философскаго характера. Здѣсь малороссійскій языкъ былъ безсиленъ; облечь философскія мысли свои въ соотвѣтствующія формы Гоголь и не могъ иначе, какъ порусски. Насколько внѣ сомнѣнія, что въ большей части поэтическихъ его произведеній сказывается племенная стихія, когда и поэтическая вдумчивость, и поэтическая радость и веселіе жизни выразились на языкѣ родины, этомъ языкѣ, не любя-

---

[1]) Соч. Г. II, 11. [2]) Ib. 22.

щемъ обобщеній, отвлеченій, а только образы, рисунки, — настолько русскій языкъ долженъ былъ замѣнить родной въ произведеніяхъ, гдѣ разсужденіе составляетъ исключительное содержаніе.

Но въ этихъ произведеніяхъ Гоголь не творитъ, а потому онъ въ языкѣ прозы совершенно не тотъ, что въ языкѣ поэзіи. Его разсужденія не идутъ далѣе общихъ мѣстъ, не содержатъ никакихъ началъ основныхъ, они не свидѣтельствуютъ о способностяхъ напр. вѣрнаго пониманія этики. Его положенія доказываютъ истину, что добродѣтель не только хороша, но и выгодна, и Гоголь принимаетъ всѣ принципы этики въ томъ видѣ, какъ они встрѣчаются въ общественной практикѣ. Поэтому въ его философіи такъ мало жизненности, крѣпости, силы, способныхъ дать движеніе мысли.

Разумѣется, и стиль этотъ говоритъ объ умѣ ограниченномъ, не возвышающемся надъ обычнымъ уровнемъ. И такъ въ лучшемъ случаѣ. Обыкновенно же стиль его ниже средняго, когда онъ начинаетъ проповѣдовать. Собственно и стилемъ называть нельзя странный его языкъ, напр. „Переписки съ друзьями“. Это смѣшеніе предложеній, какъ будто взятыхъ на прокатъ у писателей духовныхъ раннихъ столѣтій; не то языкъ отшельниковъ, оставляющихъ міръ, не то славнорусскій и древнерусскій языкъ самобичующаго себя монаха, не то языкъ смиренія, доходящаго до святости. Всего чаще это мистическія умствованія, при невозможно неясномъ способѣ выраженія. Языкъ показываетъ, какъ мало его разсужденія соотвѣтствуютъ даже тѣмъ пріемамъ мысли, которые прилагаются нами съ давнихъ поръ для научнаго объясненія природы и человѣческой жизни.

Уже самое начало переписки уноситъ насъ далеко отъ нашего поэта и переноситъ въ древнюю исторію составленія поученій: „Прошу также прощенія у моихъ собратьевъ — литераторовъ за всякое съ моей стороны пренебреженіе или неуваженіе къ нимъ, оказанное умышленно или неумышлен-

но; кому же изъ нихъ почему либо трудно простить меня, тому напомню, что онъ христіанинъ. Какъ говѣющій передъ исповѣдью, которую готовится отдать Богу, проситъ прощенія у своего брата, такъ я прошу у него прощенія; и такъ, какъ никто въ такую минуту не посмѣетъ не простить своего брата, такъ и онъ не долженъ посмѣть не простить меня . . . мое неразуміе, недомысліе, самонадѣянность . . ." [1]).

Вотъ образчикъ стиля, стиля традиціоннаго, окаменѣвшаго въ своей формѣ, передаваемаго испоконъ вѣковъ молящемуся и кающемуся во грѣхахъ своихъ.

Не говорю о томъ состояніи ужаса, какой испытываетъ, вѣроятно, знакомый съ исторіею страданій Гоголя читатель, при воспоминаніи объ этихъ и подобныхъ мѣстахъ. Думая о нихъ, приходятъ на умъ слова Толстого

Обвиняющій слышался голосъ,
И рыдали въ отвѣтъ оправданья,
И безсильная воля боролась
Съ возрастающей бурей желанья".

Для меня важно было лишь отмѣтить это громадное разстояніе, эту, можно сказать, пропасть, какая образовалась между языкомъ поэта-художника и стилемъ мистика-философа. Гоголь ошибся, когда онъ полагалъ, что „бодренье" и „освѣженье" [2]) вокругъ себя онъ произведетъ „Перепиской", хотя онъ правъ былъ говоря въ ней, что „если рановременно похищаются люди всѣмъ нужные, то это знакъ гнѣва небеснаго, отъемлющаго симъ орудія и средства, которыя помогли бы инымъ подвигнуться къ цѣли, насъ зовущей" [3]).

„Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возрастанія и плоды, которыхъ сѣмена мы сѣяли въ жизни, не прозрѣвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся . . ." [4]). Такъ разсуждаетъ онъ о своей поэзіи, принесшей такъ много добра.

---

[1]) Соч. Г. V, 5. [2]) Ib. 7. [3]) Ib. 8. [4]) Ib. 9.

Невольно возбуждается вопросъ, можно-ли считать искренними мысли и чувства въ случаяхъ, когда Гоголь заводитъ рѣчь о дѣлахъ упованія, о дѣлахъ вѣры, смиреномудрія, терпѣнія и любви, такъ какъ невозможно допустить случаевъ несовпаденія искренности чувствъ со стилемъ, лишеннымъ всякой непосредственности, всякой естественности, не говоря уже художественности. И что особенно замѣчательно: въ случаяхъ, когда Гоголь перестаетъ проповѣдовать, словарь Гоголевскихъ выраженій снова разрастается, слово получаетъ жизненность, мы снова слушаемъ не скучныя рѣчи, а переживаемъ душевное волненіе; говоритъ передъ нами не духовное лицо автора, а человѣкъ. Для этого стоитъ только сравнить слѣдующее, напр., мѣсто изъ „Переписки": „Стыдно тому кто привлечется какимъ нибудь вниманіемъ къ гніющей персти, которая уже не моя; онъ поклонится червямъ ее грызущимъ" съ отрывкомъ на той же страницѣ той же статьи („Завѣщаніе"): „. . . Грѣхъ себѣ возьметъ на душу тотъ" и т. д.; въ послѣднемъ слышатся родные звуки [1]). Сравнимъ начало стр. 8 и конецъ ея, — то-же самое; и на оборотъ, стр. 9 снова показываетъ переходъ отъ литературной рѣчи къ языку, знаменующему паденіе творчества: „Соотечественники страшно! замираетъ отъ ужаса душа при одномъ только предслышаніи загробнаго величія" и т. д. Такое-же явленіе замѣчается на стр. 50: начало и конецъ не похожи. Такихъ случаевъ множество.

Возможности совпаденія искренности чувства и неестественности рѣчи противорѣчатъ, во первыхъ, всѣ факты изъ жизни и творчества поэтовъ, и нашихъ и другихъ странъ. Не трудно доказать, что, если наблюдаются противорѣчія между дѣломъ поэта и его словомъ, если иногда не въ моменты творчества „быть можетъ всѣхъ ничтожнѣй онъ", то въ моменты творчества онъ несомнѣнно искрененъ,

---

1) Соч. Г. V, 7.

и инымъ быть не можетъ, по крайней мѣрѣ пока онъ переживаетъ то, что имъ изображается. Нужно взять только Пушкина, особенно Некрасова; изъ европейскихъ — Шекспира, Байрона. Во вторыхъ, этому противорѣчило бы самое свойство поэтическаго языка, не способнаго быть искреннимъ по заказу. А между тѣмъ, самъ Гоголь даетъ матеріала достаточно, чтобы безошибочно заключить, что онъ впродолженіе своей жизни могъ и умѣлъ писать не то, что думалъ и что чувствовалъ, — прежде всего его письма изъ временъ дѣтства и молодости. Гоголь умѣлъ быть неискреннимъ, и это въ стилѣ его писемъ отражается съ очевидностью, когда онъ писалъ подъ вліяніемъ внѣшняго давленія. Если онъ въ письмахъ позднѣйшей поры говоритъ: „Предметы сего рода стоютъ того, чтобы о нихъ подумать много и долго, и я увѣренъ, что самыя слова мои, какъ ни безсильны сами по себѣ, но наведутъ тебя на полнѣйшее и разсудительнѣйшее объ этомъ, потому что слова истекли изъ наблюденій души и произвелись душевнымъ участіемъ“, то читающій можетъ и не вѣрить послѣднимъ словамъ, такъ искусственно они произнесены, такъ натянуто они сказаны. При всѣхъ недостаткахъ прозаическаго стиля Гоголя, мы съ подобнаго рода оборотами встрѣчаемся только или въ „Перепискѣ“, или въ раннихъ письмахъ къ матери, въ которыхъ притворство было, вѣроятно, вызываемо обстоятельствами, или, наконецъ, еще въ первую пору подражанія. Мы видѣли въ одной изъ предыдущихъ главъ, какъ искусственно создавались выраженія и гораздо раньше, но они создавались не такъ часто и не такъ настойчиво, по аналогіи больше, въ силу потребности созданія. Въ пору „Переписки“ — не то; слова́ не сами собою создаются; онѣ придумываются, высиживаются. „Часто мы должны бы просить не объ отвращеніи отъ насъ несчастій, но о *прозрѣніи*, о *проразумѣніи* тайнаго ихъ смысла и о просвѣтленіи очей нашихъ . . . заключенный въ нихъ лиризмъ глубокая истина души, живое *отторгновеніе* отъ самаго тѣла

души — потрясъ ихъ . . . и гласъ Божій слышится въ ея *восторгновеніи* . . . чтобы ты *возчувствовалъ* томленія и страданія . . . чтобы душа *подвигнулась,* . . . и будемъ молиться объ *уясненіи* очей нашихъ“ [1]). Вотъ языкъ, усвоенный Гоголемъ, который на „выработанье“ [2]) его потратилъ много трудовъ. Этимъ языкомъ Гоголь пишетъ къ своимъ друзьямъ личнымъ, а затѣмъ на такомъ же языкѣ печатаетъ „Переписку“. Въ письмахъ онъ благодаритъ за молитвы св. Дм. Ростовскаго, которыя ему обѣщали прислать, такъ какъ его „душѣ нужнѣй онѣ, чѣмъ то, что можно читать на французскомъ языкѣ“ [3]), а въ „Перепискѣ“ онъ самъ уже совѣтуетъ молиться; въ письмахъ онъ проситъ купить „обозрѣніе богослужебныхъ книгъ грекороссійской церкви“ потому, что это есть настоящая помощь и милостыня ближнему и брату [4]), а въ „Перепискѣ“ онъ пишетъ о „благодѣтельномъ потрясеніи“ [5]), которое слѣдуетъ произвести на людей. „И такъ, или силою *попаляющаго* божьяго гнѣва должно проникаться духовное стихотвореніе; или же оно должно быть проникнуто и подвигнуто, силою любви къ человѣку, зажженною также отъ небесной любви Божьей къ человѣку, любви, измѣрившей всю страшную участь тѣхъ, которые воздвигаютъ противъ себя гнѣвъ божій. Содрогаясь отъ ужаса за нихъ и подвигнувшись небеснымъ ангельскимъ состраданіемъ . . . Духовное стихотворенье можетъ быть подвигнуто силой внутренняго собственнаго изліянія — умягченнымъ и утопающимъ въ блаженствѣ вознесеньемъ сердца своего къ богу, внутреннимъ гнѣвомъ противъ собственныхъ своихъ недостатковъ унынія малодушья и безсилья своего, умоляющимъ горячимъ моленьемъ о ниспосланіи въ душу того . . . и т. д. словомъ когда оно предпріемлется какъ подвигъ . . .“ [6]). Это уже и не стиль, это словоизліяніе. На протяженіи цѣлаго ряда писемъ мы постоянно встрѣчаемся со словами:

---

[1]) Соч. и Пис. VI, 49. [2]) Ib. 49. [3]) Ib. 53. [4]) VI, 59. [5]) Ib. 65. [6]) Ib. 161.

„прозрѣніе, проразумѣніе, отторгновеніе, восторгновеніе, возчувствованіе, восторженіе; восчитаемъ, возбесѣдуемъ, воспишемъ [1]), *въ сокровенности пребывать, благодѣтельное потрясеніе, небесное гражданство, ангельство, воскрылиться, возболѣть духомъ* [2]), *воздвигнуть брань въ себѣ* [3]) и т. д.

„Возымѣть такую любовь во всей силѣ никто *не возможетъ*" [4]).

Однимъ словомъ, если вновь и оригинально созданныя Гоголемъ слова́ перваго періода творчества имѣютъ въ основаніи русскій народный языкъ, то по мѣрѣ того, какъ умъ и мысль Гоголя направляются въ сторону не поэтическаго творчества, а созерцанія въ области благочестія и мистицизма, тамъ языкъ становится страннымъ, тяжелымъ, неуклюжимъ, враждебнымъ всѣмъ законамъ благозвучія звучнаго русскаго языка.

Мы видѣли, какъ обстояло дѣло съ языкомъ малороссійскимъ, „когда божественный глаголъ до слуха чуткаго коснется" [5]).

Всего сильнѣе, какъ высказано уже было не одинъ разъ, элементъ малороссійскій выразился въ его юморѣ. Слѣдующая глава, послѣдняя, имѣетъ содержаніемъ обзоръ Гоголевскаго юмора, но предварительно слѣдуетъ отмѣтить отдѣльные моменты вліянія со стороны народно-поэтическаго творчества малороссійскаго народа на стиль Гоголя. Разумѣется нѣтъ надобности доказывать связь съ малороссій-

---

[1]) Ib. 81. [2]) Соч. Гог. V, 50. [3]) Ib. [4]) Ib. [5]) Не безинтересно отмѣтить отрицательное отношеніе современной Гоголю критики къ малороссійскому элементу въ его твореніяхъ. „Друзья должны попросить автора „Ревизора", чтобы онъ писалъ чище порусски и знакомился болѣе со свойствами великороссійскаго нарѣчія (съ идіотизмами). У него языкъ слишкомъ отзывается малороссіянизмомъ. Въ русскомъ просторѣчіи онъ слабъ и впадаетъ въ непріятныя плоскости (тривіальности)...". „...Помѣщиковъ вытащилъ изъ Малороссіи, Это настоящая малороссійская или бѣлорусская мелкая шляхта во всей красѣ! Но такихъ дворянъ съ такими нравами и ухватками нѣтъ въ великороссійскихъ губерніяхъ..." и т. п, Соч. Гог. X изд. II, 784.

скимъ въ болѣе широкомъ смыслѣ, такъ какъ Гоголь былъ малороссъ самъ.

Выше указано было мною, что у Гоголя одной изъ наиболѣе употребительныхъ, обычныхъ стилистическихъ формъ — синонимы. Теперь умѣстно указать на вѣроятность органической связи этого пріема съ явленіемъ, замѣчаемымъ въ малороссійскихъ думахъ.

Одной изъ стилистическихъ особенностей этихъ думъ состоитъ въ изобиліи всякаго рода синонимовъ, хотя характеръ ихъ нѣсколько отличается отъ Гоголевскихъ, представляясь больше въ видѣ синонимовъ глагольныхъ; принципъ, однако, одинъ и тотъ-же: синонимы воспроизводятъ оттѣнки дѣйствія и доводятъ мысль до желаемой ясности, она становится осязательнѣе. Таковы синонимы въ выраженіяхъ: *„прохалы“* та *„благалы“*, *„знае-видае“*, *„плаче-рыдае“*, *„бижыть-пидбигае“*, *„живе-проживае“*, *„кляне-проклынае“*, *„квылыть-проквыляе“*, *„грае-выгравае“* [1]), или въ слѣдующемъ четверостишіи:

„Отець да ӥ маты старшого сына кляне-проклынае,
Изъ очей зганяе,
Середульшаго сына штыть, жалуе, поважае,
За гостя прынимае [2]).

Встрѣчаются синонимы и въ видѣ существительныхъ, *„кумы-побратымы“*, *кайданы-зализо“*; въ видѣ прилагательныхъ: *„козацька-молодецка“* (душа); въ видѣ нарѣчій: *„малотрохы-небогатъ“*, *„тяжко-важко“*, *„смутно-жалибно“* [3]).

Мы знаемъ уже, какъ Гоголь интересовался думами; онъ ихъ и зналъ, безъ сомнѣнія, превосходно и умѣлъ ими пользоваться [4]); отмѣченные обороты, какъ весьма поэтическіе,

---

[1]) См. П. Житецкій, Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ, — книга, написанная, какъ и все, что этотъ даровитый ученый авторъ пишетъ, въ высшей степени увлекательно. Стр. 10—11. [2]) Ib. Срав. Антоновича и Драгоманова, историческія пѣсни малорусскаго народа I, 113. [3]) Житецкій, Мысли о нар. мал. д. 11.

могли сдѣлаться любимыми, какъ наиболѣе соотвѣтствующіе таланту Гоголя представить явленіе по мѣрѣ возможности ближе къ дѣйствительности, къ природѣ. И, вотъ, въ этомъ обстоятельствѣ я склоненъ видѣть причину его пристрастія къ синонимическимъ формамъ рѣчи, принявшимъ, однако, подъ конецъ жизни довольно уродливый характеръ.

Рѣчь была раньше о синтаксической формѣ повторенія. Теперь кстати отмѣтить связь, въ которой эта привычная Гоголю форма стоитъ съ повтореніями, встрѣчающимися также въ малороссійскихъ думахъ. О послѣднихъ Г. Житецкій говоритъ, что въ нихъ являются прозаическій складъ рѣчи, когда необходимо бываетъ „повторить тѣ или другія слова и выраженія, чтобы устранить всякую сбивчивость въ пониманіи того, что сказано выше" [1]). Вотъ одинъ изъ примѣровъ

„Ой на чорному мори,
На билому камени,
Ой то тамъ сыдыть ясенъ-соколъ-билозерець . . .
На святее небо, на чорное море испыльно поглядае,
Що на святому неби, на чорному мори, не гараздъ почынае:
На святому неби уси звизды потьмарыло,
— — — — — — — — — — — — — — — —
На чорному мори не гараздъ почынае
Изо дня моря сыльно хвыля вставае . . ." [2]).

Видно усиліе мысли выразительно указать на то, что происходило на небѣ и на морѣ.

Повторенія Гоголевскія не вполнѣ совпадаютъ съ приведенными, хотя принципъ этого пріема — тотъ-же; но есть въ думахъ иныя, съ которыми Гоголевскіе и тождественны:

„До Осавуръ могылы прыбувае
На Осавуръ могылу захожае" и т. д. [3]).

---

[1]) Житецкій, l. c. 12. [2]) Ib. Ср. Записки юго-запад. отдѣла Геог. общ. I, 3.
[3]) Записки о южной Руси, Кулиша 1, 39.

Незачѣмъ, конечно, объяснять Гоголевскія повторенія исключительно малороссійскимъ вліяніемъ, потому что онѣ обычны во всей славянской поэзіи, сильно распространены во всей русской народной поэзіи; но что вліяніе должно было быть и непосредственное, тѣмъ болѣе вѣроятно, что и эти формы соотвѣтствуетъ характеру Гоголевскаго творчества; а ближайшіе образцы были малороссійскіе, и далеко за другими ему ходить нечего было.

Мы видѣли выше, что однимъ изъ стилистическихъ пріемовъ Гоголя является восклицаніе, воззваніе. Нельзя не признать, что и въ этомъ отношеніи думы давали пищу характеру творчества Гоголя, состоящему, между прочимъ, въ непосредственности воспроизведенія мысли, чувства, предмета, т. е. въ свойствѣ, находящемся съ пріемомъ въ самой близкой связи. Дѣло въ томъ, что въ думахъ мы встрѣчаемъ лирическое изліяніе чувствъ именно въ формѣ обращеній, которыя пѣвецъ дѣлаетъ или прямо отъ себя, или отъ лица своихъ героевъ. Въ думахъ, то пѣвецъ обращается къ странѣ, измученной бѣдствіями войны, чтобы разсказать затѣмъ о новыхъ бѣдствіяхъ, вызванныхъ возстаніемъ; то пѣвецъ выражаетъ въ обращеніи настроеніе, вызванное положеніемъ невольниковъ въ Турціи, настроеніе тоски, горя. Подобныя воззванія встрѣчаются у Гоголя въ „Тарасѣ Бульбѣ" весьма часто, съ характеромъ, вполнѣ напоминающимъ характеръ языка самыхъ думъ. Другія обращенія, о которыхъ шла рѣчь раньше, имѣютъ форму такую же, хотя источникомъ ихъ содержанія служили иныя мотивы, напр. радость (и притворная) удивленіе (ироническое), довольство, и т. п.

Не зачѣмъ громоздить доказательствъ ввиду факта, что Гоголь вообще придавалъ народной поэзіи громадное зна-

ченіе даже для исторіи. Онъ въ одномъ мѣстѣ говоритъ, что „пѣсни малороссійскія могутъ вполнѣ назваться историческими, потому что онѣ не отрываютъ ни на мигъ отъ жизни и всегда вѣрны тогдашней минутѣ и тогдашнему состоянію чувствъ“ [1]). Сопоставленіе другого мѣста его разсужденія съ самымъ способомъ поэтическаго изображенія подтвердятъ неоспоримость того, что народныя пѣсни вліяли сильно въ стилистическомъ отношеніи. Если онъ въ статьѣ „о Малороссійскихъ пѣсняхъ“ говоритъ: „Вездѣ проникаетъ ихъ, вездѣ въ нихъ дышитъ эта широкая воля козацкой жизни. Вездѣ видна та сила, радость, могущество, съ какою козакъ бросаетъ тишину и безпечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзію битвъ, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами“ [2]), то то-же, почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, онъ повторяетъ и въ повѣстяхъ своихъ, дивными картинами поэтическими дополняя свои теоретическіе выводы. „Ни подруга, . . . вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарѣлая мать, разливающаяся какъ ручей слезами, которой всѣмъ существованіемъ завладѣло одно материнское чувство, — ничто не въ силахъ удержать его“ [3]). Это тѣже рѣчи, какія мы слышимъ въ „Тарасѣ Бульбѣ“, какъ слышимъ мы повтореніе: „упрямый, непреклонный, онъ спѣшитъ въ степи, въ вольницу . . . все замѣняетъ ватага гульливыхъ рыцарей“ [4]) и пр.

Гоголь, такимъ образомъ, проникся пѣснями глубоко; сознательно и безсознательно онъ черпаетъ изъ нихъ и матеріалъ для вдохновенія, и форму для воспроизведенія мыслей и чувствъ. Изъ множества фактовъ напомню, напр., тѣ мѣста изъ „Тараса Бульбы“, гдѣ говорится о славѣ козацкой, которая пойдетъ дыбомъ, о которой будетъ разносить густое вѣщее слово, и о товариществѣ, „которому подобнаго нѣтъ“, о завѣтной мечтѣ козацкой жизни умереть среди своихъ

---

[1]) Соч. Г. I, 314. [2]) Ib. [3]) Ib. [4]) Ib.

товарищей, составляющих „товарыство кревне и сердешне“; въ думахъ онъ лелѣетъ надежду, что слава его

„Не вмре не поляже“,

потому что

„лыцарство козацьке всякому роскаже“

о томъ, какъ погибъ козакъ. Всѣмъ будетъ на утѣшеніе, что

„Славу козацьку выхвалялы“,

и будетъ звонъ колокольный разносить эту славу, такъ какъ будетъ мать

„Козакамъ хусткы и рушныкы шыты давати,
По церквамъ и по монастырямъ службы и панахиды наймати
Заразомъ по своему сынови похоронъ и весилля одбуваты“ [1]).

Изслѣдуя вліяніе малороссійской поэзіи на творчество Гоголя, нельзя не притти къ выводу, что и цѣльные образы могли быть созданы имъ путемъ усвоенія такихъ-же образовъ изъ малороссійскихъ думъ, поэтичныхъ во многихъ отношеніяхъ. Рѣчь была уже о томъ, что народная поэзія вообще давала Гоголю матеріалъ для созданія образовъ (стр. 47 и д.); здѣсь умѣстно указать въ частности и на слѣдующій примѣръ вліянія чисто малороссійской поэзіи. Въ думѣ о сестрѣ и братѣ, сестра проситъ брата провѣдать ее на чужой сторонѣ; братъ отказывается отвѣчая:

„Пойды ты, сестро, до тыхого дунаю,
Возьмы ты, сестро, писку у билу ручку,
Посий ты, сестро, на каменю:
Колы той буде писокъ на билому камени зихожаты,
Сынимъ цвитомъ процвитаты,
Хрещатымъ барвинкомъ биленькой камень устылаты
Разными красными цвитами украшаты:
Тоди, сестро, буду до тебе въ гости прибуваты,
Твого жыття пры бидности доглядаты.

---

[1]) Житецкій, Мысли о народныхъ малорос. думахъ, 25. Срав. Записки Югозапад. Отд. Геогр. Общ. I, 21.

Сравненіе съ мѣстомъ, на которое указано выше, заставляетъ признать вліяніе непосредственное: „скорѣе песокъ взойдетъ на камнѣ ... нежели я нагнусь передъ тобою“ [1]). Параллели съ варіантами изъ другихъ поэзій, выставленныя на своемъ мѣстѣ, не уничтожаютъ того, что сказано сейчасъ.

Когда была рѣчь объ усвоеніи цѣлыхъ образовъ (стр. 17), я указывалъ на такіе, которые живутъ въ народной поэзіи вообще. Говоря о вліяніи малорусской въ частности, нельзя не вспомнить, напр., слѣдующаго мѣста, и опять въ думѣ, объ одномъ козакѣ, на которомъ

„... шапка-бырка,
Зверху дирка,
Травою пошыта,
Витромъ подбыта“ [2]).

Это образъ той-же категоріи, что хожденіе на „собственной подошвѣ“, „шапка волосяная“ и пр.

Разсматривая отдѣльныя выраженія нельзя не признать также тождества съ выраженіями чисто малороссійскими, напр. въ тавтологіяхъ:

„Не одынъ козакъ самъ соби шкоду шкодывъ [3]),

или

„Велыкымъ дывомъ дывовали“ [4]),

Или, хотя не совершенно полная тавтологическая форма, какъ это бываетъ у Гоголя,

„Ставъ Алканъ-паша дорогі напытки пыты-пидпывати ...“ [5]).

---

[1]) Соч. Г. II, 38. [2]) Житецкій, l. c. 22. Драгомановъ и Антон. Истор. пѣсни, I, 95—96, или варіантъ въ Сборникѣ Максимовича Украинскихъ пѣсенъ. 1849, 16 стр.

„На що ты уповаешъ
Чи на свою шапку-бирку
Що шовкомъ шита
Вѣтромъ пôдбита,
А зверху дѣрка? и т. д.

[3]) Кулишъ, Зап. о Юж. Руси, I, 215. [4]) Житецкій, l. c. 19. [5]) Ib.

Полагаю приведенныхъ фактовъ достаточно, чтобы понять на сколько малороссійскій элементъ поэзіи игралъ роль въ жизни Гоголя, и слѣдовательно, вліялъ и на ходъ мышленія, слѣдовательно и на стиль.

Разсмотрѣвши важнѣйшія особенности, отличающія стиль Гоголя, я долженъ заключить обзоръ общимъ выводомъ, совершенно не согласнымъ съ однимъ выводомъ г. Шенрока, ссылающагося въ подтвержденіе его на мнѣнія Анненкова и г. Скабичевскаго. Вотъ что мы читаемъ въ „Матеріалахъ для біографіи Гоголя“:

„Признавая въ Гоголѣ глубоко-практическую натуру онъ (Анненковъ) замѣчаетъ съ другой стороны, что природа его имѣла многія изъ свойствъ южныхъ народовъ, которыхъ онъ такъ цѣнилъ вообще. Онъ необычайно дорожилъ внѣшнимъ блескомъ, обиліемъ и разнообразіемъ красокъ въ предметахъ, пышными, роскошными очертаніями. Полный звукъ, ослѣпительный поэтическій образъ, мощное, громкое слово, все исполненное силы и блеска потрясало его до глубины сердца . . . въ представленіяхъ онъ совершенно сходился съ страстными, внѣшне-великолѣпными представленіями южныхъ племенъ. Г. Скабичевскій сравнивая („Нашъ историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ“) историческія повѣсти Пушкина и Гоголя, на основаніи ихъ разбора приходитъ къ заключенію, совершенно сходному съ тѣмъ, что Анненковъ уловилъ въ характерѣ послѣдняго по впечатлѣніямъ личнаго знакомства, и такое совпаденіе, по нашему мнѣнію, должно служить вѣскимъ доказательствомъ вѣрности взглядовъ обоихъ. Въ то время какъ Пушкинъ, замѣчаетъ г. Скабичевскій, все необычайное и выдающееся старается свести къ будничнему, показать намъ, что необычайнымъ оно кажется намъ издали, а на самомъ дѣлѣ тонетъ въ уровнѣ повседневной жизни, Гоголь, наоборотъ всѣ

образы въ своемъ романѣ (Тарасѣ Бульба) освѣщаетъ бенгальскимъ огнемъ и они рисуются въ дивномъ, волшебномъ сіяніи. Несомнѣнно, что внимательное изученіе Гоголя можетъ привести только къ этому выводу, который слѣдуетъ распространить также на всѣ тѣ случаи, гдѣ Гоголь говоритъ вообще о предметахъ ему сочувственныхъ, и, по нашему мнѣнію, все, что возбуждало въ немъ идеализацію, требуетъ никакъ не меньшаго вниманія сравнительно съ остальной сокровищницей его произведеній, такъ какъ въ этой идеализаціи именно и выливалось его завѣтное внутреннее содержаніе, въ ней находили себѣ отголосокъ самыя задушевныя его чувства и мечты" [1]).

Становись я на точку зрѣнія г. Шенрока и критиковъ, на которыхъ онъ ссылается, я могъ бы въ дополненіе къ сказанному г. Шенрокомъ привести мѣсто, которое лучше всякихъ разсужденій могло бы подтвердить мысль о пристрастіи Гоголя къ всему эффектному, блестящему. Въ набpoскѣ Гоголя „Какъ нужно создать эту драму", сдѣланномъ, какъ полагаетъ издатель сочиненій, по поводу задуманной Гоголемъ драмы изъ малороссійской жизни, мы читаемъ:

„Облечь ее въ мѣсячную чудную ночь и ея серебрянное сіяніе и въ (теплое) роскошное дыханіе юга. (Освѣтить) облить ее сверкающимъ потокомъ солнечныхъ яркихъ лучей, и да исполнится она вся нестерпимаго блеска!

„Освѣтить ее всю минувшимъ и вызваннымъ изъ строя удалившихся вѣковъ, полнымъ старины временемъ, обвить разгуломъ, казачкомъ и всѣмъ раздольемъ воли. И въ потокъ рѣчей неугасаемой страсти, и въ рѣшительный, отрывистый лаконизмъ силы и свободы и въ ужасный, дышущій дикимъ мщеніемъ порывъ, и въ грубыя суровыя добродѣтели,

---

[1]) Матеріалы для біографіи Гоголя, II, 37—38.

и въ желѣзные, несмягченные пороки, и въ самоотверженіе неслыханное, дикое и нечеловѣчески-великодушное“ [1]).

И не смотря на это мѣсто, нахожу, что данныя, приведенныя въ предшествующихъ главахъ должны убѣдить въ другомъ: Малороссія возбуждала въ немъ идеализацію — но онъ всего *проще*, всего *естественнѣе* и всего *поэтичнѣе* въ произведеніяхъ, въ картинахъ, въ отдѣльныхъ моментахъ, гдѣ отсутствуютъ начала „эффекта“. Тарасъ Бульба потому эффектенъ, что онъ въ сущности простъ. Лучшіе картины не имѣютъ тѣни „ослѣпительнаго блеска“, а лишь проникнуты чувствомъ. Это и есть „*крѣпкое*“ слово Гоголя. Мѣста́ „ослѣпительнаго блеска“ не производятъ ровно никакого впечатлѣнія — какъ это видно изъ „Переписки“.

Извѣстно, что описаніе въ поэзіи не даетъ возможности охватить предметъ такъ всесторонне, какъ это возможно въ живописи; это понятно, вслѣдствіе невозможности держать въ памяти всѣ подробности заразъ; между тѣмъ у Гоголя сила слова такова, что она заставляетъ сосредоточивать память и возсоединить разрозненныя элементы. Этого онъ достигаетъ при помощи наложенія нѣсколькихъ штриховъ, крупныхъ, выдающихся. Такихъ штриховъ нельзя назвать „выраженіемъ ослѣпительнаго блеска“. На оборотъ, воображеніе не поражается; дѣйствіе отъ такихъ словъ помогаетъ образованію болѣе яркаго представленія о предметѣ, о явленіи.

Это и составляетъ то существенное въ языкѣ, которое по выраженію Аристотеля не только „приправа“ — ἤ δυσμα, но главное кушанье: ἔδεσμα!.

А это рѣшительно достигается единствомъ настроенія, иногда лишь повышеніемъ эпическаго тона. Такимъ образомъ приведенное мною мѣсто, которое повидимому должно Г. Шенроку сослужить службу, можетъ говорить только противъ него. Гоголь, очевидно, подвинчиваетъ себя такъ

---

[1]) Соч. Г. X изд. V. 533.

нестественно. Ему объ этомъ незачѣмъ было бы заносить для памяти, если бы оно лежало въ природѣ вещей, т. е. въ природѣ Гоголя. Онъ намѣчаетъ, чтобы не *забыть* этихъ обстоятельствъ. Блескъ ему нуженъ былъ, вѣроятно, не для художественныхъ цѣлей; но въ природѣ Гоголя пристрастія къ блеску не было, т. е. блеску стилистическому.

Совпаденіе мнѣній Анненкова и г. Скабическаго не составляетъ „вѣскаго" довода для того, кто, какъ я, напр., можетъ предположить, что у г. Скабичевскаго мнѣніе могло составиться подъ вліяніемъ воззрѣнія, высказаннаго Анненковымъ. Разбора одного произведенія „Тараса Бульбы", если бы оно и носило характеръ, приписываемый ему г. Скабичевскимъ, вовсе не достаточно, чтобы это могло служить основаніемъ для вывода о всемъ строѣ Гоголевскаго стиля.

Могу въ заключеніе привести слова́ Гоголя, имѣющія прямое отношеніе къ вопросу, рѣшаемому мною въ смыслѣ, противоположномъ г. Шенроку.

„Истинно высокое одѣто величественною простотою: гдѣ величіе, тамъ и простота. Онъ (профессоръ) не долженъ довольствоваться тѣмъ, что его нѣкоторые понимаютъ; его должны понимать всѣ. Чтобы дѣлаться доступнѣе, онъ не долженъ быть скупъ на сравненія . . . сравненія онъ долженъ всегда брать изъ предметовъ самыхъ знакомыхъ слушателямъ" [1]).

Мнѣ ничего болѣе не остается прибавить, если напомню еще, что изслѣдованіемъ, предпринятымъ мною въ области его поэтическихъ сравненій, какъ одного изъ средствъ изображенія, положеніе Гоголя подтверждается.

XXI.

Значеніе Гоголевскаго юмора заключается не только въ томъ, что ему опредѣлено было „чудной властью итти

[1]) Соч. Г. X изд. V т. 144—145.

объ руку съ его странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы". Значеніе его заключается и въ формѣ. Она-то помогала угонять прочь „набѣгавшую на чело морщину и строгій сумракъ лица" самаго автора, и такимъ-же образомъ влiять на читателей.

Конечно, выборъ того или другого стиля органически обусловленъ содержаніемъ того, что выражено имъ, но стиль стоитъ также въ связи съ оригинальностью мышленія, зависящей отъ существованія особеннаго рода ассоціацій мыслей.

Въ одной изъ предшествующихъ главъ я старался отмѣтить преобладающую черту характера стиля Гоголя, обусловливая ее характеромъ его отношенія къ отрицательнымъ сторонамъ жизни и свойствами его собственной личности. Теперь необходимо войти въ подробности Гоголевскаго юмора, который самъ онъ опредѣлилъ извѣстными словами „смѣхомъ сквозь слезы".

Гоголь возбуждалъ „не тотъ пустой смѣхъ, которымъ пересмѣхаетъ человѣкъ человѣка, но смѣхъ, родившійся отъ любви къ человѣку" [1]). Однако не всегда это было такъ. Юморъ его языка имѣетъ довольно длинную исторію, и, въ зависимости отъ его душевной жизни, могутъ обнаружиться моменты этой исторіи.

Причина той *веселости*, говоритъ Гоголь самъ о себѣ, которую замѣтили въ первыхъ его сочиненіяхъ, показавшихся въ печати, заключалась „въ нѣкоторой душевной потребности". На него находили припадки тоски, ему самому необъяснимой, можетъ быть, отъ болѣзненнаго состоянія, какъ думаетъ онъ, и „чтобы развлекать себя самого, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставляя ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о

---

[1]) Соч. Г. III, 375.

томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы, подталкивала. Вотъ происхожденіе тѣхъ первыхъ моихъ произведеній, которыя однихъ заставили смѣяться также беззаботно и безотчетно, какъ и меня самаго, а другихъ приводило въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли человѣку умному приходить въ голову такія глупости. Можетъ быть съ лѣтами и съ потребностью развлекать себя, веселость эта изчезла бы, а вмѣстѣ съ нею мое писательство. Но Пушкинъ заставилъ меня взглянуть на дѣло серіозно . . .“ [1]).

Этимъ новымъ вмѣшательствомъ могучей силы Пушкина начинается второй періодъ въ исторіи „смѣха“.

Разсматривая стиль перваго періода юмористическаго творчества, который самъ Гоголь очертилъ очень вѣрно, мы замѣчаемъ дѣйствительно, что менѣе всего въ немъ обнаруживается идеализмъ, сказывающійся позже. Языкъ Гоголя возбуждаетъ смѣхъ только смѣха ради; смѣхъ самъ по себѣ цѣль, какъ удовольствіе; но и удовольствіе не изъ особенно возвышенныхъ; это скорѣе какое-то кривлянье, балаганство; рѣдко встрѣчаются даже остроумные каламбуры, удачныя выраженія; большею частью все грубо и отзывается уличнымъ; и брань, и ласка, и обращеніе, — все выходитъ вовсе не „распремило“ [2]). Ничего общаго съ художественнымъ изображеніемъ правды, дѣйствительности, не замѣтно.

Чтобы изобразить суетливость Анны Григорьевны, Гоголь говоритъ: „Ее дергало какъ въ лихорадкѣ, и сердце билось такъ сильно, что слышно было даже по угламъ комнаты“ [3]); чтобы обозначить нечистоплотность Петрушки, юмористъ распространяется о томъ, что въ темную конурку Петрушка „успѣлъ принести свою шинель, имѣвшую какой-то странный и особенный свой запахъ, и мѣшокъ съ разнымъ

[1]) Соч, Г. X изд. IV, 248—249 [2]) Такъ говоритъ дама, сообщая о костюмахъ. Соч. Гог. X изд. VII, 107. [3]) Ib

туалетомъ, имѣвшій тотъ-же запахъ, такъ что ему нечего было и надписывать на нихъ своего имени, ибо, вѣроятно, въ случаѣ пропажи, всякій нашедшій ихъ принесъ бы прямо къ нему въ руки, потому что и въ сюртукѣ его былъ слышенъ тотъ-же запахъ" [1]).

Въ той-же мѣрѣ, какъ трудился Гоголь надъ выработкою стиля поэтическаго вообще, такъ трудился онъ въ частности надъ стилемъ юмористическимъ. Приведенныя два образца — незначительная доля всѣхъ тѣхъ оборотовъ рѣчи, какія были или совершенно исключены въ позднѣйшихъ редакціяхъ, или замѣнены были совершенно иными, чтобы не нанести оскорбленія даже и не вполнѣ развитому эстетическому чувству, хотя нельзя не видѣть, что нѣкоторый шаржъ все-же остался въ произведеніяхъ Гоголя, и что поэтичность, художественность ихъ, не пострадала бы нисколько отъ опущенія нѣкоторыхъ мѣстъ. Такъ для примѣра: художественности „Женитьбы" не могло бы повредить исключеніе словъ: „Ну, есть-ли въ тебѣ капля ума? ну, не олухъ-ли ты, . . . ну, скажи, пожалуйста, не свинья-ли ты, не подлецъ-ли ты послѣ этого" [2]). Эти рѣчи расчитаны на балаганъ, такъ какъ характеръ Кочкарева опредѣлился и безъ этихъ эпитетовъ, тѣмъ болѣе, что онъ щедро раздаетъ и „дурака" и „дурака набитаго" и „проклятаго холостяка", и „дрянь" и „колпака". Нельзя, конечно, не видѣть нѣкотораго юмора въ томъ, что послѣ всѣхъ эпитетовъ, какими украсилъ Подколесина Кочкаревъ, послѣдній прибавляетъ: „сказалъ бы такое слово . . . да неприлично только", но юмористическая сторона покупается цѣною пренебреженія требованіями гармоніи.

Нѣтъ необходимости доказывать, что излишествъ осталось въ произведеніяхъ Гоголя достаточно много, но что онъ въ значительной степени смягчалъ грубыя краски, по-

---

[1]) Ib. 153—154. [2]) Соч. Г. III, 389.

ложенныя первоначально, объ этомъ упомянуть необходимо, такъ какъ это опредѣляетъ характеръ творчества.

Иное дѣло, если Черевикъ, желая показать свою храбрость передъ сатаною, говоритъ: „Плюйте ему на голову, хоть бы сію же минуту вздумалось ему стать вотъ здѣсь, напримѣръ, передо мною: будь я собачій сынъ, если не поднесъ бы ему дулю подъ самый носъ" [1]). Гоголь видитъ, что Черевикъ въ этихъ словахъ весь; но иное дѣло такія выраженія, которыя соотвѣтствуютъ балаганнымъ дѣйствіямъ, въ родѣ Хлестаковскихъ, когда онъ во время разговора съ Анной Андреевной кладетъ одну ногу на столъ, потомъ другую; и насколько художникъ счелъ нужнымъ исключить подобное поведеніе Хлестакова, вовсе не характерное для пониманія лица, такъ исключалъ онъ въ послѣдней редакціи грубый юморъ рѣчей.

Оставляю въ сторонѣ обнаруживающійся временами довольно дешевый юморъ, который онъ влагаетъ въ уста дѣйствующихъ лицъ своихъ повѣстей; не характеризуя личности, они не говорятъ и въ пользу силы творчества Гоголя; припомнимъ напр.: слова Черевика, сказанныя подъ вліяніемъ готовившихся ударовъ отъ сильно наступавшей супруги: „Господи, Боже мой, за что такая напасть на насъ грѣшныхъ? И такъ много всякой дряни на свѣтѣ, а ты еще и жинокъ наплодилъ" [2]). Но подобныя мѣста не нарушаютъ все же цѣльнаго впечатлѣнія, а потому и оставлены Гоголемъ; но во все продолженіе созиданія „Ревизора" и „Мертвыхъ душъ", мысль Гоголя весьма часто уносилась далеко отъ поэтическаго дѣла, подсказывала рѣчи, всего менѣе бывшія въ состояніи придать силу настоящаго смѣха, и Гоголю приходилось послѣ вновь созидать и пересозидать языкъ свой.

Привожу для образца нѣсколько мѣстъ, доказывающихъ, что въ Гоголѣ жило сознаніе необходимости воспитывать вкусъ

---

[1]) Соч. Г. II, 27. [2]) Соч. Г. II, 21.

и въ себѣ, и въ читателяхъ. Въ одной изъ редакцій „Ревизора“ Городничій, давая совѣты судьѣ, указываетъ на „обыкновеніе развѣшивать на дверяхъ для сушки свои онучи и листья табаку, называемаго бакуномъ. Отъ этого . . . воздухъ въ присутственныхъ мѣстахъ очень, очень густъ; также подсудокъ вашъ . . . такъ нагрузился, что проспалъ на стулѣ все время, запѣпшись ноздрею за свой мезинной палецъ . . .“[1]); Гоголь понялъ чутьемъ художника какъ излишество этой подробности при другихъ, болѣе характерныхъ, такъ и малозначительность ея для общей картины распущенности при исполненіи служебныхъ обязанностей, — и мѣсто это исключено. Исключено, напр., слѣдующее мѣсто, очевидно также расчитанное на одинъ внѣшній эффектъ: продолжая давать совѣты, Городничій говоритъ: „Или тотъ бишь, который читаетъ краснорѣчіе и риторику, тоже имѣетъ странную привычку. Онъ, напримѣръ, читаетъ: „Изящное, гм, гм, тфу!“ . . . и плюнетъ; „изящное, гм, гм, тфу!“ . . . и плюнетъ; оно, конечно, для науки не вредитъ, но со стороны совершенно другое, и я признаюсь, когда стоялъ въ классѣ по близости, то онъ мнѣ обчихалъ весь мундиръ. Хорошо, что тогда мундиръ былъ на мнѣ старый“ [2]).

Такъ же точно понялъ Гоголь неумѣстность вставокъ среди тревоги, переполоха, произведеннаго извѣстіемъ о пріѣздѣ ревизора, — вставокъ, расчитанныхъ на возбужденіе смѣха неразвитаго зрителя. „Я не знаю, у меня въ ушахъ такъ, какъ будто сверчки трещатъ. Вамъ, Антонъ Антоновичъ, не случалось этого? спрашиваетъ Городничій, „Случалось, все случалось, отвѣчаетъ собесѣдникъ, все случалось: иногда какъ будто барабанъ бьетъ, а тамъ смотришь стрѣльба, или какъ будто танцуетъ кто . . .“ [3]).

Пусть терпѣливый читатель возьметъ для сравненія любое дѣйствіе „Ревизора“, любую главу „Мертвыхъ душъ“

---

[1]) Соч. Г. X изд. VI, 67. [2]) Ib 163 и 69. [3]) Ib. 71.

раннихъ редакцій и послѣдней редакціи, и онъ увидитъ, какая громадная работа представлялась Гоголю при очищеніи произведеній ото всего, что составлялъ грубый юморъ, какъ остатокъ той поры, когда онъ смѣялся, чтобы себя потѣшать. Читатель увидитъ, какъ велико разстояніе, напр. между смѣхомъ, возбуждаемымъ словами Хлестакова: „Но чортъ возьми, если онъ (Городничій) вздумаетъ такъ, чтобы завязать на рукѣ веревочку, да на веревочкѣ повесть чортъ съ нимъ!“ [1]), и мѣстомъ, гдѣ этихъ словъ нѣтъ болѣе; онъ убѣдится, каково отличіе Хлестакова, увѣряющаго, что „одинъ рябчикъ стоитъ восемь сотъ рублей, да какая нибудь перепелка тысячу; подадутъ вамъ какой нибудь этакой пирогъ, что самъ онъ горячъ такъ, что вы не можете взять въ ротъ, а въ серединѣ мороженое, холодное, вотъ какъ ледъ“ [2]) — отъ Хлестакова по послѣдней редакціи: здѣсь — художественный типъ, всеобщій, стоящій одиноко по своей художественной правдивости; тамъ — паяцъ, потѣшникъ.

Вотъ другой образецъ фарса, расчитаннаго было на мгновенное дѣйствіе его, и выброшеннаго при мысли, что смѣхъ долженъ быть инымъ смѣхомъ. Городничій въ отвѣтъ на указаніе Бобчинскаго что Хлестаковъ денегъ не плотитъ восклицаетъ: „Что вы говорите? Этотъ самый молодой человѣкъ! ... Право такъ, какъ будто бы опять въ ухѣ сверчки. Какъ вы, господа, какъ? Вить я во всеобщемъ собраніи вашемъ теперь ... Какъ вы присовѣтуете? Что, то есть, что намъ дѣлать? Какъ, то есть, какъ приступить къ этому“.

О громадности труда, положеннаго на построеніе „Ревизора“ можно судить по списку, оконченному лишь въ 1842 г. Это было пересозданіе прежняго Ревизора отъ первой страницы до послѣдней. Лишь немногія сцены перваго изданія остались по изслѣдованіямъ спеціалиста по руко-

---

[1]) Ib. 181. [2]) Ib. 201.

письмамъ Гоголя, г. Шенрока, безъ всякой перемѣны въ этомъ послѣднемъ пересозданіи комедіи: 3 явленія, 1-го дѣйствія, 4 — 2-го дѣйствія; 7 — 3-го; 2 — 4-го; въ пятомъ дѣйствіи нельзя указать ни одного явленія, которое не подверглось бы въ этой переработкѣ хотя легкимъ измѣненіямъ [1]). А какая работа производилось въ тѣхъ редакціяхъ! И всѣ касаются главнымъ образомъ передѣлокъ мѣстъ, оказавшихся не того свойства юмора, который заставлялъ „снова жить“, желавшаго уже покончить съ собою, — а юмора грубаго.

Съ „Мертвыми душами“ было то-же; въ большей еще мѣрѣ, такъ какъ это произведеніе было дѣломъ всей его жизни. Всю душу свою вложилъ онъ въ эту поэму, и трудно указать другое произведеніе другого писателя, который сросся бы съ твореніемъ своимъ въ одно безраздѣльное цѣлое, какъ Гоголь и „Мертвыя души“.

Пусть слѣдующія сопоставленія трехъ редакцій этого произведенія послужатъ образцами того труда, который Гоголемъ быть израсходованъ для достиженія цѣли: настоящаго воздѣйствія при помощи смѣха; эти примѣры послужатъ вмѣстѣ съ тѣмъ указаніемъ перехода отъ юмора грубаго къ юмору художественному, тонкому.

При описаніи того, какъ „дама вспорхнула“, чтобы отправиться съ сообщеніемъ о скандалѣ, случившемся съ Чичиковымъ, Гоголь говоритъ: „Вниманіе дамы, сидѣвшей въ коляскѣ, казалось, устремлено было, чтобы удержать языкъ свой, чувствовавшій нестерпимый аппетитъ разсказать кое-какой секретъ. Это простиралось до того, что нѣсколько разъ она начинала отъ нетерпѣнія разсказывать себѣ самой“. Такъ въ первой редакціи [2]). Во второй редакціи мы читаемъ: „Сидѣвшая въ коляскѣ дама во всю дорогу не знала, какъ сладить съ собственнымъ языкомъ, чувствовавшимъ побужденіе непреодолимое сообщить только

---

[1]) Соч. Г. X изд. VI, 615. [2]) Соч. Г. X изд. VII, 105—106.

что полученную новость. Она поминутно выглядывала изъ окна и видѣла, что все еще остается полдороги . . ." [1]). Въ послѣдней редакціи выпущены юмористическія выраженія, нѣсколько дюженнаго свойства и сказано, безъ ущерба для пониманія сущности душевнаго настроенія дамы: „Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побужденіе непреодолимое скорѣе сообщить ее. Всякую минуту выглядывала изъ окна и видѣла, къ несказанной досадѣ, что все еще остается полдороги" [2]). Далѣе нѣсколько мѣткихъ штриховъ, рисующихъ ея нервное возбужденіе, торопливость, суетливость [3]).

Рисуя Собакевича, Гоголь изображаетъ между прочимъ цвѣтъ лица въ 1-й редакціи: „онъ былъ очень похожъ на цвѣтъ недавно выбитаго мѣднаго пятака; да и вообще все лицо его нѣсколько сдавало на эту монету; такое же было сдавленное, неуклюжее, только и разницы, что вмѣсто двухглаваго орла, были губы, да носъ" [4]). Тотъ-же образъ оставленъ во 2-й редакціи [5]).

Сравненіе, способное, конечно, вызвать улыбку, далеко не производитъ, однако, того впечатлѣнія, какое получается отъ мѣста 3-ей редакціи: „Цвѣтъ лица имѣлъ каленый, горячій, какой бываетъ на мѣдномъ пятакѣ" [6]).

Разсказывая о заключеніи перваго дня появленія Чичикова въ гуоернскій городъ, Гоголь въ первой редакціи говоритъ: „Какъ былъ заключенъ этотъ день, неизвѣстно. Холодная-ли телятина его увѣнчала съ бутылкою кислыхъ щей или цѣлый ужинъ, только онъ, по крайней мѣрѣ, заснулъ весьма крѣпко" [7]). По другой рукописи приведенныя строки зачеркнуты Гоголемъ и сверху приписано: „День, кажется, былъ заключенъ порціею холодной телятины, бутылкой кислыхъ щей и крѣпкимъ сномъ во всю заносную захрапку (прежде было: „прихрапку"), какъ выражаются въ иныхъ мѣстахъ обширнаго

[1]) Ib. 308. [2]) Соч. Г. XII, изд. IV, 199. [3]) Ib. [4]) X изд. VII, 51. [5]) Ib. 234. [6]) Соч. Г. XII изд. IV, 103. [7]) Соч. Г. X изд. VII, 157.

россійскаго государства“ [1]). Такъ осталось въ послѣдней редакціи, съ замѣной слова „заносную захрапку“ выраженіемъ „насосную завертку“ [2]).

Очевидно сущность юмора заключается не въ такъ называемой вульгарности слова (онъ такимъ словомъ замѣняетъ вполнѣ литературное выраженіе „заснулъ крѣпко“), а во внутреннемъ содержаніи, тонкомъ весьма, при всей малоупотребительности выраженія „насосная завертка“; и наоборотъ, ничего грубаго не заключающее въ себѣ построеніе кажется съ точки зрѣнія тонкаго юмора, не всегда отвѣчающимъ требованіямъ его; такъ, напр. „почтенная дама“ и „тоже почтенная дама“, замѣнены въ окончательной редакціи „дамою пріятною во всѣхъ отношеніяхъ“, и „просто дамою пріятною“.

Такимъ же образомъ замѣняетъ Гоголь народными выраженіями слова языка литературнаго, когда онъ говоритъ устами дѣйствующихъ лицъ: на заявленіе Плюшкина, что у него есть бѣглыя души, которыя могъ бы купить очень дешево, напримѣръ, пріятель Чичикова, послѣдній подумалъ про себя: „Этимъ мы воспользуемся сами“, — такъ въ первой редакціи [3]); по послѣдней редакціи: „Нѣтъ этого мы пріятелю и понюхать не дадимъ“, сказалъ про себя Чичиковъ, и потомъ объяснилъ, что такого пріятеля никакъ не найдется“ [4]).

Весьма часто замѣняетъ Гоголь чисто литературныя выраженія словами, обыкновенно въ изящной словесности и вообще въ литературномъ языкѣ недопускаемыми; но они пущены не только въ ущербъ художественности и юмору, а, наобротъ, ихъ присутствіе дѣлаетъ соотвѣтствующія мѣста художественными и юмористичными. Вотъ мѣсто изъ разсказа Ноздрева о балѣ:

„Одна была братецъ, такая разодѣтая! перья на ней, газы и тюли разные“ [5]); въ послѣдней редакціи эти вполнѣ литературныя выраженія замѣнены: „одна была такая разодѣ-

---

[1]) Ib. 609. [2]) Соч. Г. XII изд. IV, 9. [3]) Соч. Г. X изд. VII, 75. [4]) Соч. Г. XII изд. IV, 142. [5]) Соч. Г. X изд. VII, 207.

тая, рюши на ней, и трюши и чортъ знаетъ чего небыло . . .“ [1]). Кажется, не можетъ быть сомнѣнія о блѣдности перваго рисунка и о живости второго, какъ самаго по себѣ, такъ и по отношенію къ тому, кто эти слова произноситъ.

Мысль моя, такимъ образомъ, ясная: грубость юмора уступаетъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше утонченному юмору, причемъ простонародныя слова и выраженія не только не мѣшаютъ, но содѣйствуютъ въ значительной степени пониманію самой соли. При заявленіи Собакевича о необходимости поѣсть, „сколько душа желаетъ“ и послѣ того, какъ онъ „подтвердилъ это дѣломъ . . . опрокинулъ половину бараньяго бока, съѣлъ все, обгрызъ и обсосалъ до послѣдней косточки“ [2]), Чичиковъ подумалъ: „Да, этотъ себѣ на умѣ“. Послѣднія слова замѣнены въ послѣдней редакціи словами: „Да, у этого губа не дура“. Получилось нѣчто гораздо болѣе художественное.

Къ той порѣ, когда Гоголь потѣшаетъ еще самого себя, относятся во первыхъ, составленіе именъ, придуманныхъ, какъ видно, безъ расчета на „смѣхъ сквозь слезы“, притомъ имена способны смѣшить скорѣе малоросса, чѣмъ русскаго, такъ какъ съ ними связывается нѣкоторое содержаніе, прямо или косвенно имѣющее отношеніе къ изображаемой личности: *Пупопузъ* [3]), *Голопузь* [4]), *Довгочхунъ* [5]), *Голопупенко*, *Свербыгузъ* [6]), *Кизяколупенко* [7]), *Переперчиха* [8]), *Крутотрыщенко*, *Печерыця* [9]), *Закрутыгуба* [10]) и т. п. Эта манера придумыванія потѣшныхъ именъ осталась, впрочемъ, у Гоголя и позже: и *Яичница* („Женитьба“) и *Неуважай корыто* [11]) и *Бѣлобрюшкова* и *Башмачкинъ* („Шинель“), причемъ послѣднее имя даетъ поводъ къ игрѣ словъ. Иногда онъ подбираетъ преднамѣренно существующія имена: *Акакій Акакіевичъ*, *Трифилій*, *Дула*, *Вара-*

---

[1]) XII изд. IV, 71. [2]) X изд. VII, 55. [3]) XII изд. II, 528. [4]) Ib. 569 [5]) Ib. 550. [6]) Ib. 118. [7]) Ib. 119. [8]) Ib. 151. [9]) Ib. 233. [10]) Ib. 368. [11]) Соч. Г. IV, 150.

хасіи, Павсикихій, Вахтисіи и т. д.; иногда, большею частью позже — общерусскія названія: *Свиньинъ, Канапатьевъ, Харпакинъ, Плѣшакинъ*[1]), *Блохинъ, Мыльный, Чепраковъ*[2]); или онъ придумываетъ названія, совершенно соотвѣтствующія основной чертѣ характера лица, — *Держиморда;* или онъ даетъ имя, звуковою своею стороною наиболѣе подходящее къ лицу, какъ напр. *Ѳеодулія Ивановна,* громоздкое слово (идущее ко всей громоздкой обстановкѣ, къ которой онъ, очевидно, относитъ и жену, всунувшую Чичикову руку, вымытую огуречнымъ разсоломъ и т. д.), требующее и большое усиліе языка при самомъ произнесеніи его.

Фамилія въ нѣкоторой степени предрасполагаетъ въ пользу или не въ пользу изображаемаго лица. Незвучное имя какъ будто стоитъ въ соотвѣтствіи съ отсутствіемъ въ лицѣ симпатичныхъ свойствъ, или дѣлаетъ лицо смѣшнымъ, или заставляетъ относиться къ нему съ пренебреженіемъ. Это достигается отчасти необычнымъ сочетаніемъ звуковъ, мало способнымъ ласкать слухъ, или названіями, слишкомъ рѣзко напоминающими самый предметъ, носящій это названіями, и этимъ отвлекаетъ читателя отъ мысли, что собственное имя — вовсе не выражаетъ понятія. Въ иныхъ случаяхъ онъ пользуется именами для каламбуровъ (указанный пріемъ примѣняется съ давнихъ поръ всѣми писателями юмористами. Мольеръ забавляетъ своихъ слушателей именами въ родѣ Pourceugnac, Diafoiras, Purgon, Macroton, Desfonandrès, Vilebrequin; Рабелэ еще въ неизмѣримо болѣе сильной мѣрѣ пользуется невѣроятнымъ сочетаніемъ звуковъ, представляющихъ матеріалъ для смѣха уже тѣмъ, что имѣютъ лишь отдаленное сходство со словомъ, въ родѣ Solmigondinoys, Trinquamelie, Trouillogan и т. п.).

Какъ бы ни были сами по себѣ имена смѣшны, просто какъ необычное сочетаніе звуковъ, они однако не всегда стоятъ

---

1) Соч. Г. IV. 47. 2) Ib. 66.

на первой степени грубаго юмора, потому что они весьма часто, какъ форма, соотвѣтсвуютъ извѣстному содержанію. Во всякомъ случаѣ Гоголь не переходитъ предѣловъ литературнаго приличія; а если поставить его фамиліи рядомъ съ именами, какія придумываетъ напр. Рабелэ, то прійдется признать большую умѣренность въ употребленіи словъ и названіи такъ называемаго нецензурнаго свойства; стоитъ припомнить такія напр. какъ капитанъ Morpiaille, судья Baisecul Humeresse, придворнаго Trepelu и т. д. въ сравненіи съ которыми Гоголевскіе Свербигузъ и Голопузь окажутся „благороднаго" происхожденія, при изумительной силѣ выразительности, а, напр. городъ „Тьфуславль" [1]) — даже скромнымъ. Гоголь не всегда и помѣщалъ выраженія, переходящія границы принятаго, признавая ихъ „немного шероховатыми", напр. въ томъ случаѣ когда даже, „кухмистръ почувствовалъ самъ, что выразился не совсѣмъ ясно, и притомъ упомянулъ отца немного шероховатыми словами" [2]).

Въ такихъ случахъ Гоголь вообще остороженъ, предоставляя о произнесенныхъ различными лицами грубыхъ словахъ догадываться при помощи выраженій, въ свою очередь доказывающихъ изумительную силу творческую въ примѣненіи различныхъ выраженій для обозначенія одного и того же понятія: „. . . Въ разговорѣ рождалось само собою маленькое желаніе кольнуть другъ друга; просто одна другой, изъ небольшаго наслажденія, при случаѣ *всунетъ* иное живое словцо: „вотъ, молъ, тебѣ! на, возьми, съѣшь" [3]). „Пошла ты баба", закричали ей тутъ же бороды заступомъ, лопатой и клиномъ: „ишь куда полѣзла корявая"; кто-то *приворотилъ* къ этому такое словцо, отъ котораго одинъ только русскій мужикъ могъ не засмѣятся" [4]). У Гоголя для этого довольно большой запасъ выраженій: „пригнетъ", „пристегнетъ", „влѣпитъ", „ввернетъ" слово и т. п.

---

[1]) Ib. 430. [2]) Соч. Г. I, 62. [3]) Соч Г. IV, 209. [4]) Ib. 328.

Вотъ описаніе, въ которомъ разнообразныя выраженія дѣйствуютъ юмористически совокупностью, соединенностью силъ, такъ сказать: „Чей ты? говоритъ Капитанъ-исправникъ, *ввернувшій тебѣ*, при сей вѣрной оказіи, кое-какое крѣпкое словцо. „Такого-то помѣщика . . .“ „Что же ты врешь, говоритъ Капитанъ-исправникъ, съ *прибавкою* кое-какого крѣпкаго словца, . . . „Что-же ты опять врешь, говоритъ Капитанъ-исправрикъ, *скрѣпивши рѣчь* кое-какимъ крѣпкимъ словцомъ . . . „А солдатскую шинель, говоритъ Капитанъ-исправникъ, *загвоздивши* тебѣ опять въ придачу кое-какое крѣпкое словцо . . .“ [1]).

Въ другой разъ Гоголь выражается нѣжнѣе, но смыслъ тотъ-же: „Ей Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно гороху наѣвшись (это еще ничего: Иванъ Никифоровичъ и не *такіе фразы отпускаетъ*)“ [2]); или: „принялся *приголубливать* такими словами, . . . я бы покраснѣлъ отъ нихъ, если бы это случилось среди дня“ [3]). „Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ головы ваши: и академіи. и всѣ тѣ книжки . . . все это *ка зна що*, я плевать на все это. Здѣсь Бульба *пригналъ* въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати“ [4]). А Марія Антоновна, въ виду ожиданія сдѣлаться высокопоставленной дамой, недовольная бранью мужа, говоритъ: „Ахъ, какія ты, Антоша, слова *отпускаешь*“ [5]).

Къ низшему же юмору языка Гоголя слѣдуетъ отнести всѣ выраженія, взятыя правда изъ народной рѣчи, но не той, какою говоритъ народъ въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, а языкомъ обыденной жизни, разговорнымъ языкомъ, и то больше фабричныхъ, мастеровыхъ, городского люда. И въ этихъ случаяхъ Гоголь обнаруживаетъ рѣдкое чутье къ разнообразнѣйшимъ выраженіямъ для обозначенія

---

1) Ib. 153. 2) Соч. Г. II, 538. 3) Ib. 236. 4) Ib. 271. 5) Соч. Г. III, 271.

одного и того же понятія. Только что я привелъ одинъ примѣръ: *„привороmитъ, всунуть, пригнуть, ввернуть, влѣпить, загвоздить. отпустить* слово. А вотъ другіе примѣры:

„А ты, окромя сивухи, ничего больше, чай, и въ ротъ не бралъ? Чай и теперь *налимонился . . .*" [1]).

„Первый врагъ . . . свободная продажа вина, . . . въ двѣ недѣли изопьются и *будутъ стельки . . .*" [2]).

„Обѣдъ давно кончился, и вина были перепробованы . . . зять *нагрузился* вдоволь и сидя на стулѣ клевался носомъ" [3]). „Какая нибудь исторія непремѣнно происходила . . . или *нарѣжется* въ буфетѣ такимъ образомъ, что только смѣется . . ." [4]). Сверхъ приведенныхъ находимъ: „Нализавшись", „выпивши", „наклюкался" и т. п.

Вотъ еще другая категорія синонимовъ: „Въ губернію назначенъ былъ новый генералъ-губернаторъ, — . . . пойдутъ *переборки, распеканья взбутетениванья,* должностныя *похлебки* [5]).

„Но Копѣйкинъ . . . и въ усъ не дуетъ, . . . шумъ поднялъ такой, всѣхъ *распушилъ!* Всѣхъ тамъ этихъ правителей, секретарей, всѣхъ началъ *откалывать, гвоздить . . .* всѣхъ *отшлепалъ . . .*" [6]).

„Нѣтъ врешь . . . и потомъ прибавилъ въ пику для большей досады . . . и хотя *отбрилъ* его такимъ образомъ кругомъ" [7]) и т. п.

Или вотъ еще изъ другого круга понятій синонимы: „А ужъ тамъ въ четыре пары *откалывали* мазурку, *„работалъ ногами, отвертывая па"* [8]), *„отдирали* танецъ самый бѣшенный" [9]), *„ногами вырабатывали"* [10]), *„отплясывали"*, *„пошелъ вывертывать ногами"*, *„дѣлать выкрутасы* [11]). „Пустился и *началъ чесать дробно"* [12]), *„ногами вензеля направо и налѣво"* [13]), и. т. д.

---

[1]) Соч. Г. IV, 362. [2]) Ib. 172. [3]) Соч. Г. IV, 82. [4]) Ib. 76. [5]) Ib. 216. [6]) Ib. 229. [7]) Ib. 268. [8]) Ib. 188. [9]) Соч. Гог. II, 291. [10]) Ib. [11]) Ib. 234. [12]) Ib. 235. [13]) Соч. Г. IV, 195.

Слѣдуетъ отмѣтить выраженія, характерныя для пониманія взаимныхъ отношеній людей неразвитыхъ, вызывающихъ смѣхъ способностью Гоголя представить ихъ съ наиболѣе видной стороны — это брань, ругань. Всѣ эти выраженія переносятъ насъ цѣликомъ въ самую грубую толпу, показывая, какъ Гоголь умѣлъ подслушать и воспроизвести эти ласкательныя имена. Тутъ не только „*ссадка въ бока, подъ микитки*, въ *подсочельники*“ [1]); тутъ не только сколотъ былъ „*нососъ*“ [2]) или кто „*съѣздитъ въ ухо своего брата*“ [3]), но и „*чепуха*“, и „*белиберда*“ и „*сапоги въ смятку*“ [4]) и подобныя. Другого свойства выраженія свидѣтельствуютъ объ изумительномъ краснорѣчіи толпы: „Чтобы я былъ за олухъ царя небеснаго, когда бы . . .“ [5]); „Чтобы ему переломались объ черствый гречаникъ всѣ зубы!“ [6]); „Это ты, собачій сынъ! Вишь, бѣсовское рожденіе! Я думаю какая это шельма, какой это вывороченный дьяволъ строитъ штуки! А это, выходитъ, все ты, невареный кисель твоему батькѣ въ горло“ [7]) „Чтобъ ему собачьему сыну приснился крестъ святой“ [8]); „Разсобачій жидъ“ [9]). „Нехай ему такъ легонько икнеться, якъ зъ тыну ввирветься“ [10]); „Чортъ бы спихнулъ съ моста отца ихъ“; „Напьешся какъ собака, да и протрезвишься какъ собака, если не протрезвятъ тебя еще хуже. Нѣтъ, прахъ возьми . . . собачья моя жизнь!“; „Типунъ бы тебѣ подъ языкъ, старая вѣдьма, тебѣ какое дѣло“ [11]). „Ты чего хочешь, свиное ухо?“ [12]); „Зачѣмъ драка, холопство проклятое? Лысый бѣсъ въ кашу со смальцемъ . . . порвалъ бы васъ собака“ [13]); „Чортъ бы тебя схватилъ въ банѣ за пупъ“ [14]).

Вотъ то, что Гоголь называетъ „трескомъ отборныхъ словъ“, который сыпится изъ устъ жены Черевика: „Чтобы

---

[1]) Соч. Г. IV, 217. [2]) Ib. [3]) Соч. Г. IV, 238. [4]) Соч. Г. IV, 213. [5]) Соч. Г. I, 61. [6]) Соч. Г. II, 112. [7]) Ib. Почему-то считаютъ, что Графъ Л. Н. Толстой впервые употребляетъ это выраженіе во „Власти тьмы“. [8]) Ib. 46. [9]) Ib. 305. [10]) Соч. Г. I, 61. [11]) Ib. 66. [12]) Ib.) 80 [13]) Ib. [14]) Ib. 81.

ты подавился негодный бурлакъ! Чтобы твоего отца горшкомъ въ голову стукнуло... Чтобъ ему на томъ свѣтѣ чортъ бороду обжогъ“ [1]). А вотъ переводъ съ жаргона, которымъ говоритъ Янкель: „Цуръ имъ, пусть имъ приснится такое, что плевать нужно“ [2]). Иначе бранится Иванъ Никифоровичъ, ссорясь съ другомъ: „Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивановичъ, что вы такъ раскудахтались“, или: „Поцалуйтесь со своей свиньею, а коли не хотите, такъ съ чортомъ“, а Иванъ Ивановичъ въ отвѣтъ: „Нашпигуютъ вамъ на томъ свѣтѣ языкъ горячими иголками за такія богомерзкія слова“ [3]). „Чтобы вы перелопались, дьявольское племя“, закричалъ дѣдъ [4]). А Чичиковъ, когда душа на распашкѣ, въ гнѣвѣ говоритъ о женщинахъ: „Провалъ ихъ возьми... подстега Сидоровна“ [5]); но когда онъ недоволенъ Селифаномъ, то обращеніе болѣе рѣзкое: „Лѣшій дери твою душу“ [6]), или просто: „Подлецъ!“; Тентѣтниковскіе слуги „угощаютъ“ другъ друга иначе: „Душёнка ты мелкопомѣстная! Ничтожность этакая! Тебѣ бы гнусной бабѣ молчать да и только“ [7]). „Ужъ тебя-то не послушаюсь ненасытное горло; вѣдь съ тобой никто не уживется, вѣдь ты и съ прикащикомъ сцѣпишься, мелочь ты амбарная“ [8]); „Вы губители господскаго, бездонныя бочки“ [9]) и т. п.

А Городничій имѣетъ свои словечки, усвоенныя имъ отъ близкаго и частаго пребыванія съ тѣми, на счетъ которыхъ онъ обогащается: *„канальи“*, *„аршинники“*, *„самоварники“*; *„архиплуты“*, *„протобестія“*, *„надувалы морскіе“*, „знаетъ-ли вы, семь чертей и одна вѣдьма въ зубы“ и т. п. Ноздревъ опять по своему ругается: *„скалдырникъ“* [10]), *„шильникъ“*, *„печникъ гадкій“*, *„чорта лысаго получишь“* [11]), *„свинтусъ“* [12]) и т. д. безъ конца.

Гоголь, характеризуя своихъ героевъ прямо отъ себя, говоритъ языкомъ, очень близко стоящимъ къ языку изо-

[1]) Соч. Г. II, 14. [2]) Ib. 468. [3]) Ib. 539. [4]) Ib. 100. [5]) Соч. Г. IV, 195. [6]) Ib. 249. [7]) Ib. 316. [8]) Ib. [9]) Ib. 317. [10]) Ib. 86. [11]) Ib. 89. [12]) Ib. 70

бражаемыхъ лицъ, т. е. языкомъ простонароднымъ, обиходнымъ. „Работали перья писцовъ и, попихивая табакъ, трудились *казусныя* головы, . . . любуясь собственной *крючковатой строкой*“ [1]); „Чичиковъ понялъ *заковыку*, которую *завернулъ* Иванъ Антоновичъ“ [2]); „Видно было, что это былъ человѣкъ благоразумыхъ лѣтъ, не то, что молодой болтунъ и *вертоплясъ*“ [3]).

Характеризуя различныхъ „жителей города, душевно полюбившихъ Чичикова“, Гоголь говоритъ между прочимъ: „Были тоже, болѣе или менѣе люди просвѣщенные; . . . кто былъ то, что называютъ „*тюрюкъ*“, . . . кто былъ просто „*байбакъ*“, . . . [4]); „одинъ другому старался *напакостить*“ . . . [5]), „. . . онъ подходилъ . . . и *съменилъ* ножками, какъ . . . „*мышиные жеребчики* . . .“ [6]) „*подсыпая* кучу аллегорій“ [7]); „скрипки и трубы *наръзывали*, какъ будто гдѣ-то вдали [8]); „онъ началъ даже получать *форсъ*“; „а тамъ четыре пары *откалывали* мазурку“ [9]); „онъ *захлебнулъ куражу* . . .“ [10]); „Онъ былъ такъ *отдѣланъ* со всѣхъ *боковъ и сторонъ*“ [11]); „Онъ получилъ *шишъ*“ [12]). „Русскій умъ . . . не *лѣзетъ за словомъ въ карманъ*, а *влѣпливаетъ* сразу, какъ пашпортъ на вѣчную носку“ [13]); „Собакевича, какъ видно, *пронесло*“ [14]); „Языкъ его *брякнулъ* вмѣсто одного другое слово“ [15]); „Безъ предварительнаго разрѣшенія, какъ извѣстно, не можетъ быть даже взята простая справка, — все же хоть по бутылкѣ *мадеры придется влить во всякую глотку*“ [16]) и т. д. безъ конца.

Къ категоріи словъ, вызывающихъ смѣхъ, слѣдуетъ отнести и тѣ, которые необычны или звуковыми сочетаніями, или способомъ измѣненія ихъ специфическимъ образомъ, помощью напр. суффиксовъ, или, наконецъ, юмористичны са-

---

[1]) Ib. 453. [2]) Ib. 159. [3]) Ib. [4]) Соч. Г. IV, 174. [5]) Ib. 176. [6]) Ib. 184. [7]) Ib. 185. [8]) Ib. 189. [9]) Ib. 188. [10]) Ib. 191. [11]) Ib. 197. [12]) Соч. Г. Ib. 131. [13]) Соч. Г. IV, 119. [14]) Ib. 112. [15]) Ib. 111. [16]) Ib. 271.

мимъ отсутствіемъ ихъ въ словарѣ, сочиненностью своей. Образцы этой категоріи: *Червоточина, пикенція, пикендрасъ, пічурущукъ, пичура, пичукъ*[1]), или *„Пульпультикъ“*, *„Монмуня“* при выраженіи нѣжностей: „Вставай пульпультикъ, слышишь ли гости!“ [2]), и въ отвѣтъ на это со стороны нѣжнаго супруга: „Протяни, моньмуня, свою шейку“ [3]); или *„пузантикъ“*, *„толстунчикъ“*, *„кубышка“*; всяческія, *„кики“*, *„жужу“*, и другія названія, которыя жены въ нѣжныхъ разговорахъ, происходящихъ въ уединеніи, давали „надежнымъ мужьямъ“[4]); или *„мордашъ“*, *„каплунчикъ“*, названіе, какое даетъ Чичиковъ себѣ самому[5]). Нѣжности Селифана нѣсколько иного рода, и соотвѣтствуютъ степени его образованія: *„Панталонникъ нѣмецкій“* [6]).

Для капитана Копѣйкина Гоголь создаетъ иныя слова и выраженія: „Приказалъ себѣ подать пулярку съ разными *финтерлеями*[7]), и *кутнулъ во всю лопатку*“ [8]); „Во всемъ столичный *поведенцъ*[9]), а въ головѣ котлеты всякія и *суплеты*“ [10]), и поваръ, французъ этакой, съ открытой физіогноміей, работаетъ *фензервъ* . . . словомъ *разсупе деликатесъ этакой*[11]). Въ такихъ словахъ Гоголь неисчерпаемъ. Въ уста Ноздреву влагаетъ онъ опять новыя: „Попользоваться на счетъ клубнички“ „Оподельдокъ Ивановичъ“[12]), *„субдительный суперфлю“* [13]), *„катай-валяй“* [14]), и *„рюши, трюши“*. Баба какая нибудь скажетъ: *„соплюнчикъ ты нашъ“*, *„нѣмчура“* [15]), а Городничій по своему сочиняетъ слова, въ родѣ: *„финтирлюшки“* *„заламливать аллегоріи и екивоки“* и т. д.

При такомъ замѣчательномъ, исключительномъ умѣніи создавать слова́ и выраженія для возбужденія смѣха, обнаруживается необыкновенное богатство словъ, собраніе которыхъ могло бы составить Гоголевскій словарь; въ нихъ вошли бы, а), простонародныя слова, которыхъ чуждается языкъ образованности, даже языкъ народной поэзіи, б), искаженія, принад-

---

[1]) Ib. 14. [2]) Соч. Г. III, 141. [3]) Ib. [4]) Соч. Г. IV, 174. [5]) Ib. 416. [6]) Соч. Г. IV, 41. [7]) Ib. 227. [8]) Ib. 227. [9]) Ib. 226. [10]) Ib. 228. [11]) Ib. [12]) Ib. 71. [13]) Ib. 81. [14]) Ib. [15]) Ib. 328.

лежащія самому Гоголю. Образцы послѣднихъ приведены въ достаточномъ количествѣ; образцы первыхъ привожу также, хотя ихъ гораздо болѣе у Гоголя вообще, такъ какъ ими онъ выражаетъ чуть ли не всѣ душевныя настроенія. Во всякомъ случаѣ читатель встрѣтитъ выраженія болѣе крупныхъ категорій чувствъ: гнѣва, негодованія, презрѣнія, зависти, тщеславія, себялюбія, заносчивости, униженія, уничиженія, забитости, тупости, пустоты, фразерства, притворной любви, мнимой дружбы и др, — и все это при помощи словъ, какія отмѣтилъ я подъ буквами *а* и *б*. Вотъ на выдержку, нѣсколько словъ первой категоріи: „Пироговъ *влѣпилъ* нахально поцалуй въ самыя губки“ [1]). „Иванъ Осиповичъ *вклепался* въ тебя такъ . . .“ [2]). „Еще съ того счастливаго возраста, когда русскій *живетъ на фуфу*“ [3]). „Пилъ онъ не такъ . . . что запираетъ двери на крючокъ и *наръзывается*“ [4]). „Тоненькіе наслѣдники *спускаютъ на курьерскихъ* все отцовское добро“ [5]). „Вѣдь если сказать правду, онъ *усахарилъ* твою матушку“ [6]). „Онъ имѣлъ надобность пріѣзжать въ городъ и *подмазывать* судейскихъ“ [7]); „*подмасливать* засѣдателя“ [8]). „Какія ты забранки *пригинаешь*“ [9]). „Поскользнулся и чуть чуть не *расклеилъ* носа“ [10]); „сынки купцовъ *дебошничаютъ*“ [11]). „Я поворчала, а ему *нуждочки* мало“ [12]). „*Брешутъ, сучи бабы*“ [13]). „Хоть самъ пропалъ, но *упекъ* товарища“ [14]); можно бы заключить . . . что удалится въ мирное захолустье и *заклекнетъ* на вѣки въ ситцевомъ халатѣ“ [15]). „Вона, *пошла писать* губернія“ [16]). „*Пошли писать* версты“ [17]), „*отсмалили* себѣ новые шубы“ и т. д.

Ко второй категоріи, кромѣ приведенныхъ выше для примѣра, слѣдуетъ еще отнести и звукоподражательныя слова. *бухъ, убухалъ, хлопъ, шлепъ, шлепнулся, шасть* и т. п. или

---

[1]) Соч. Г. I, 307. [2]) Ib. 63. [3]) Ib. 308. [4]) Ib. [5]) Соч. Г. IV, 13. [6]) Соч. Г. III, 391. [7]) Соч. Г. IV, 356. [8]) Ib. 54. [9]) Ib. 57. [10]) Соч. Г. I. 381. [11]) Ib. 383. [12]) Ib. 388. [13]) Соч. Г. II, 120. [14]) Соч. Г. IV, 268. [15]) Ib. 269. [16]) Ib. 183. [17]) Ib. 247.

слова, близко стоящіе къ нимъ; „Хозяинъ заказывалъ повару . . . и губами подсасывалъ и *причвокивалъ*“ [1]). „Выѣхалъ онъ къ протопопу среди *чавканья, шлепанья* грязи . . .“ [2]).

При способности своей пользоваться огромнымъ запасомъ словъ, возбуждающихъ смѣхъ, самихъ по себѣ, и еще болѣе въ сочетаніи съ другими словами, Гоголь, разумѣется пріучалъ и себя, а затѣмъ и читателей, къ словамъ, какихъ чуждались въ литературѣ, и если не именно къ даннымъ онъ пріучалъ, или не именно къ такимъ словамъ, то къ духу этихъ народныхъ словъ, къ характеру ихъ. Въ этомъ большая заслуга Гоголя. Геніальные люди предвосхищаютъ нравственныя стремленія позднѣйшаго времени, распространяютъ и укрѣпляютъ чувства, внушаютъ обязанности и побужденія, которыя большинству людей кажутся чуждыми потребностямъ жизни. Вотъ почему я имѣлъ право сказать, въ началѣ этой работы, что и Пушкинъ не писалъ такимъ языкомъ народнымъ, какимъ писалъ Гоголь, и что Гоголь — *первый*, писавшій на народномъ языкѣ въ широкомъ смыслѣ слова. При разборѣ вліянія малороссійскаго элемента на языкъ Гоголя это обнаруживается еще яснѣе и опредѣленнѣе. — Не въ сферахъ воображенія, а въ наличной дѣйствительности совершается истинная жизнь, и освященіе человѣка вырабатывается не въ области идеаловъ, а среди близкихъ осязаемыхъ вещей. Языкъ Гоголя есть выразитель настоящей жизни, потому что при самыхъ простыхъ выраженіяхъ мыслей, языкъ все таки болѣе чѣмъ средство пониманія: онъ средство развитія мысли и чувства: это сказывается весьма ярко при переводѣ Гоголевскаго юмора на другой языкъ.

То было результатомъ отчета о собственной душѣ, о своей дѣятельности, о которой онъ говоритъ въ одномъ

---

1) Ib. 375. 2) Ib. 290.

мѣстѣ „Исповѣди". Я увидѣлъ, что въ сочиненіяхъ моихъ смѣюсь даромъ, напрасно, самъ не зная, зачѣмъ. Если смѣяться, такъ ужъ лучше смѣяться сильно и надъ тѣмъ, что дѣйствительно достойно осмѣянія всеобщаго . . . Сквозь смѣхъ, который никогда еще во мнѣ не появлялся въ такой силѣ, читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствовалъ, что ужъ смѣхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, что уже не могу быть въ сочиненіяхъ моихъ тѣмъ, чѣмъ былъ дотолѣ, и что самая потребность развлекать себя невинными беззаботными сценами окончились вмѣстѣ съ молодыми годами . . ."

Это признаніе яснѣе станетъ изъ сопоставленія съ однимъ мѣстомъ письма къ Погодину, въ которомъ онъ восклицаетъ:

„Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ свѣдѣній, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія, мысли волновали меня. Миръ вамъ, мои небесные гости, наводившіе на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку! Васъ никто не знаетъ, васъ вновь опускаю на дно души моей до новаго пробужденія, когда вы исторгнитесь съ большею силою . . ."

Эта бо̀льшая сила и явилась позже, но какъ уже отмѣчено въ одной изъ главъ, не вдругъ и не разомъ.

Съ другой стороны слѣдуетъ помнить, что эта сила лежала въ Гоголѣ въ скрытомъ состояніи и исподоволь обнаруживалась еще гораздо ранѣе того, чѣмъ произошла встрѣча съ нимъ Пушкина, разъяснившаго ему значеніе его *врожденной* силы, рѣшившей его судьбу.

Перехожу къ указанію пути, которымъ шелъ Гоголь, совершенствуясь въ созиданіи языка юмора.

Судя по поправкамъ, вставкамъ, и измѣненіямъ, дѣлаемымъ Гоголемъ, нужно заключить, что важнѣйшую заботу его составляла мысль произвести по возможности то впечатлѣніе на читателя, какое испытывалъ самъ, и подойти къ явленію какъ можно ближе, самому показать его, какъ

можно ближе держа передъ собесѣдникомъ. Рисуя напр., пріемъ, сдѣланный Чичикову Собакевичами, Гоголь говоритъ: „Чичиковъ подошелъ къ ручкѣ Ѳеодуліи Ивановны, которую она ему почти *всунула* въ губы"; такъ въ ранней редакціи [1]); въ послѣдней редакціи читаемъ: „которую она ему почти „*впихнула*" въ губы" [2]); эффектъ другой: оттѣнокъ большей доли грубости, меньшей степени граціи.

Чичиковъ раскаивался, что заговорилъ съ Ноздревымъ о дѣлѣ (мертвыхъ душахъ), „которое вовсе не было такого рода, чтобы быть разглашеннымъ, а тѣмъ болѣе сдѣлаться предметомъ какихъ бы то ни было *толковъ*" [3]). Во второй редакціи: „Ноздревъ человѣкъ дрянь; Ноздревъ можетъ наврать, прибавить, распустить, чортъ знаетъ что̀; выйдутъ еще какія нибудь *сплетни*" [4]). Вся соль юмора — въ замѣнѣ слова „толковъ" — „*сплетнями*", безъ этой замѣны не было бы силы ядовитости, хотя читатель могъ и не предвидѣть юмористическаго усиленія, и удовольствовался бы словомъ „толковъ".

По сообщеніи Чичиковымъ о желаніи купить „мертвыхъ", Маниловъ „подумалъ не спятилъ-ли онъ съ ума" [5]). По другой редакціи Маниловъ „подумалъ, уже не сошелъ-ли онъ *какъ нибудь вдругъ и внезапно* съ ума" [6]). Въ послѣдней редакціи: „Потомъ подумалъ, не спятилъ-ли гость какъ нибудь *невзначай* съ ума" [7]). Разумѣется это одно слово „невзначай" способно очертить безмозглую голову героя, потому что даже „вдругъ и внезапно" было было бы со стороны Манилова слишкомъ здравымъ сужденіемъ.

Характеризуя Манилова Гоголь говоритъ:

„Отъ него не дождешься никакого живого слова, какое можешь услышать отъ всякаго, если коснешься его предмета.

---

[1]) Соч. Г. X изд. VII, 236. [2]) Соч. Г. XII изд. IV, 104. [3]) Соч. Г. X изд. VII, 223. [4]) Соч. Г. XII изд. IV, 90. [5]) Соч. Г. X изд. VII, 15. [6]) Ib. 178. [7]) Соч. Г. IV, 34—35.

У всякаго человѣка есть какой-нибудь *конекъ*" [1]). По послѣдней редакціи: отъ него не дождешься никакого живого слова... если коснешься задирающаго его предмета. У всякаго есть свой *задоръ*..." [2]).

Выраженія, которыми изображается Ноздревъ: „Это просто происходило отъ какой-то *неугомонной дѣятельности* и живости характера" [3]) замѣнены словами: „все это происходило отъ какой-то неугомонной юркости и бойкости характера" [4]). На сколько *конекъ* далекъ отъ *задора*, для обозначенія понятія, какое имѣлъ въ виду Гоголь, говоря о предметѣ, близкомъ каждому съ живымъ темпераментомъ, непохожимъ на водянистую природу Манилова, на столько къ бушевавшему избыткомъ „задирательства" характеру Ноздрева не подходятъ *дѣятельность* и *живость*.

„Но здѣсь герой нашъ замѣтилъ, что это скорѣе былъ ключникъ, чѣмъ ключница, ибо ключница бороды не брѣетъ, а этотъ, напротивъ того брилъ и притомъ, какъ казалось, довольно рѣдко, потому что подбородокъ и часть щекъ были очень похожи на густую сапожную щетку" [5]). По второй редакціи: вмѣсто „на сапожную щетку" — *густую скребницу* изъ желѣзной проволоки, которую чистятъ лошадей" [6]); „*весь* подбородокъ и вся *нижняя* часть" осталось безъ перемѣны и въ послѣдней редакціи, но *похожъ* замѣненъ глаголомъ „*походилъ*" [7]), и картина получилась иная; сравненіе, болѣе соотвѣтствующее дѣйствительности, поражаетъ, однако, сильнѣе противоположностью бороды и скребницы; прилагательное „похожи были" *отвлеченнѣе*, чѣмъ походили, и требуетъ болѣе усилія мысли чѣмъ глаголъ, какъ вообще качество отвлеченнѣе дѣйствія.

Такія мелкія измѣненія весьма существенны при отдѣлкѣ стиля, и очень часто поправка, незамѣтная безъ особеннаго напряженія вниманія, производитъ дѣйствіе совершенно дру-

---

[1]) Соч. Г. X изд. VII, 375. [2]) XII изд. IV, 23. [3]) X изд. VII, 214. [4]) XII изд. IV, 77. [5]) X изд. VII, 63. [6]) Ib. 257. [7]) XII изд. IV, 127.

гое. Иногда одно словечко, одинъ союзъ совершенно измѣняетъ картину.

„А, такъ ты покупщикъ, сказала Коробочка, какъ жаль, что я продала медъ купцамъ такъ дешево, а вотъ ты бы, отецъ мой, у меня теперь вѣрно, купилъ“ [1]).

Чичиковъ: „Меду мнѣ покамѣсть не нужно“. По послѣдней редакціи: „А вотъ меду и не купилъ бы“ [2]), — и въ этомъ отвѣтѣ заключается и воззрѣніе на Коробочку, и отношеніе къ ней, и запасъ мыслей, кроющійся въ Чичиковѣ при его хитромъ обдумываніи дѣла.

Синтактическимъ измѣненіямъ конца нѣтъ. Каждый разъ оборотъ иной, и каждый разъ иной оттѣнокъ мысли, пока не удовлетворится художникъ соотвѣтствіемъ формы и содержанія. Изъ тысячи примѣровъ одинъ только: казалось бы нѣтъ никакого отличія по содержанію между формой прямой и косвенной рѣчи — но эстетическое дѣйствіе совершенно иное. На заявленіе Плюшкина, что „вѣдь соболѣзнованіе въ карманъ не положишь“, Чичиковъ отвѣчаетъ, по первой редакціи: „*мое* соболѣзнованіе вовсе не такого рода . . .“ [3]); по послѣдней редакціи: „Чичиковъ постарался объяснить, что его соболѣзнованіе совсѣмъ не такого рода“ [4]). Впечатлѣніе другое отъ большей реальности рѣчи.

И такъ постоянно. Все, что сказано было выше въ главѣ о работѣ надъ стилемъ, примѣнимо и къ стилю юмора; только здѣсь болѣе специализируется Гоголь, направляя усилія на достиженіе цѣли въ одну сторону. Тамъ заботы разбрасывались по всѣмъ направленіямъ.

Мы упомянули выше, что художественное воспріятіе совершается тѣмъ безпрепятственнѣе, чѣмъ менѣе усилій расходуется на воспріятіе, чѣмъ менѣе мысль отвлекается, или задерживается. Гоголь чутьемъ своимъ мѣняетъ слова именно въ такомъ направленіи. На первый взглядъ показалось бы

---

1) X изд. VII, 28. 2) XII изд. 53. 3) X изд. VII, 69. 4) XII изд. IV, 135.

совершенно безразличнымъ, напр., какія названія и имена придаетъ онъ собакамъ Ноздрева, но всматриваясь глубже въ причину замѣны однихъ другими, видно, что именно художественныя цѣли, эстетическія, преслѣдовались при этомъ, а расчетъ психологическій всегда вѣренъ. Называя собакъ въ 1-й редакціи, ранней: „*Разбоемъ*", „*Разоромъ*", „*Красоткой*", „*Птицей*", „*Змѣйкой*" [1]), Гоголь задерживалъ мысль на самихъ названіяхъ, имѣющихъ всю силу словъ, съ извѣстнымъ содержаніемъ; замѣнивъ ихъ въ послѣдней редакціи именами: „*Стрѣляй*", „*Обругай*", „*Порхай*", „*Скосырь*", „*Черкай*", „*Допекай*", „*Северга*", „*Награда*", „*Попечительница*" [2]), Гоголь не заставляетъ вниманіе останавливаться на содержаніи словъ, смѣшныхъ въ примѣненіи и сочетаніи своемъ; сверхъ того, въ самыхъ звукахъ какъ будто бы болѣе соотвѣтствія съ разнузданностью самаго Ноздрева, а также съ поведеніемъ его собакъ; иначе не зачѣмъ было и называть всѣхъ собакъ.

„Почему же мнѣ одному такое несчастіе? Почему же другіе, которые пріобрѣтаютъ и наживаются тоже пополамъ съ грѣхомъ, а иногда и совсѣмъ съ грѣхомъ, почему же другіе пріобрѣтаютъ вѣсъ и значеніе" [3])? Такъ думалъ Чичиковъ, послѣ всѣхъ неудачъ и непріятностей . . . по ранней редакціи. Это разсужденіе замѣняется въ послѣдней редакціи слѣдующимъ восклицаніемъ: „Почему-же я? Зачѣмъ на меня обрушилась бѣда? Кто же зѣваетъ теперь по должности? всѣ пріобрѣтаютъ . . ." [4]). Въ одномъ случаѣ — юмора нѣтъ; въ послѣднемъ цѣль достигнута, и всего — замѣною перваго предложенія выраженіемъ „*почему-же я*". Вокругъ этого художественнаго образа можетъ быть легко собрано то разнообразное содержаніе, которое возникаетъ въ каждомъ подобномъ случаѣ, а въ этомъ именно цѣнность образа; примѣненіе его получаетъ значеніе формулы. Въ первомъ слу-

---

[1]) Соч. Гог. X изд. VII, 215. [2]) Соч. Г. IV, 79. [3]) Соч. Гог. X изд. VII, 151. [4]) Соч. Гог. IV, 270.

чаѣ этого нѣтъ, и сказанное должно пониматься буквально. Художественность, кромѣ того, заключается въ сбереженіи силъ читателя. Всякая фраза, произнесенная дѣйствующимъ лицомъ Гоголя художественно созданнымъ, кромѣ заключающейся въ ней мысли, содержитъ сумму свойствъ, весь характеръ, темпераментъ, позу, жестъ, взглядъ, — и все это получается въ какую нибудь секунду. Такъ говорятъ всѣ герои Гоголя. Онъ обладалъ способностью воспроизводить лицо въ одно мгновеніе, какъ будто имъ поняты всѣ подробности лица.

Незачѣмъ увеличивать примѣровъ. Стоитъ только сравнить нѣсколько различныхъ редакцій, чтобы убѣдиться въ вѣрности вывода. Все сказать — значитъ быть скучнымъ, и Гоголь поэтому работаетъ постоянно и главнымъ образомъ надъ исключеніемъ лишнихъ словъ, длиннотъ, разсужденій, мотивированій, объясненій, и т. п. Сила произведенія не въ томъ, что разумѣлъ подъ нимъ авторъ, а въ томъ, какъ дѣйствуетъ оно на читателя, слѣд. въ неисчерпаемости его содержанія; заслуга художника не въ томъ содержаніи, какое ему думалось, а въ силѣ возбуждать самое разнообразное содержаніе. Юморъ Гоголя и обладаетъ этой силой.

Мы видѣли, что въ продолженіе его работы надъ стилемъ, преднамѣренность составляетъ очень часто настоящій двигатель созиданія; поэтъ сознательно подбираетъ то или другое слово; на поправкахъ въ рукописяхъ его это очень ясно видно. Но во многихъ случаяхъ Гоголь за секунду не знаетъ самъ, какое сочетаніе словъ явится, чтобы стать юмористичнымъ: получается нѣчто неожиданно новое, о чемъ помысла у него небыло. Пробужденная творческая стихія настолько могущественнѣе воли писателя, что во время ея прилива пишется точно подъ чьимъ то неотразимымъ вліяніемъ. Это особенно замѣтно въ такихъ случаяхъ, когда слово является не только *выразителемъ* поэтическаго образа,

но и само служитъ двигателемъ мысли, причиной созиданія образа. То-же замѣчается и у другихъ писателей (напр. „Мы вольные птицы“ подсказываетъ Пушкину цѣлый образъ); но у Гоголя сплошь и рядомъ: „Хорошенькій овалъ лица ея круглился, какъ свѣженькое яичко, и, подобно ему, бѣлѣлъ какою то прозрачною бѣлизною, когда свѣжее, только что снесенное, оно держится противъ свѣта въ смуглыхъ рукахъ испытующей его ключницы и пропускаетъ сквозь себя лучи сіяющаго солнца“ [1]). Слово яичко, какъ предметъ сравненія, нужное только какъ таковое, вызвало въ воображеніи художника новый образъ, весьма мало имѣющій отношеніе къ предмету изображаемому.

Объ этомъ была рѣчь раньше, когда указывалось на происхожденіе балласта въ произведеніяхъ Гоголя. Въ юморѣ это увлеченіе словомъ, вноситъ, однако, какое-то разнообразіе, и очень рѣдко замѣчается балластъ, о которомъ упомянуто.

„Немножко *прошелся*, говоритъ голодный Хлестаковъ, думалъ не *пройдетъ*-ли аппетитъ“ [2]). Очевидно игра словъ является неожиданно для самаго автора. „Деревня *Маниловка* немногихъ могла *заманить* своимъ мѣстоположеніемъ“ [3]). Здѣсь снова игра словъ вноситъ юмористическій характеръ какъ будто независимо отъ автора.

Нѣсколько иначе обнаруживается вліяніе слова на мысль въ случаяхъ, когда Гоголь дѣлаетъ изъ него болѣе подробный образъ: „Фамилія чиновника была *Башмачкинъ*. Ужъ по самому имени видно, что она произошла отъ башмака; но когда, какимъ образомъ произошла она отъ башмака... неизвѣстно, и отецъ, и дѣдъ, и даже шуринъ, всѣ совершенно Башмачкины ходили въ сапогахъ“ [4]).

„... Мирная жизнь дотекла бы... до глубокой старости, если бы не было бѣдствій, разсыпанныхъ на жизнен-

---

1) Соч. Г. IV, 98. 2) Соч. Г. III, 215. 3) Соч. Г. IV, 20. 4) Соч. Г. III, 96.

ной дорогѣ не только титулярнымъ, но даже тайнымъ, дѣйствительнымъ . . . и всякимъ совѣтникамъ, даже и тѣмъ, которые не даютъ никому совѣтовъ, ни отъ кого не берутъ сами“ [1]).

Послѣ обѣда у Костанжогло, когда Чичиковъ приведенъ былъ въ восторгъ отъ разсказовъ о хозяйственныхъ распоряженіяхъ, всѣ встали, и „подставивъ руку коромысломъ, повелъ Чичиковъ обратно хозяйку, но уже недоставало ловкости въ его оборотахъ, потому что мысли заняты были существенными оборотами“ [2]).

„Два мужика глядѣли съ равнодушіемъ стоическимъ на гнѣвъ пьяной бабы; одинъ чесалъ себя . . . другой зѣвалъ. Зѣвота видна была на строеніяхъ, крыши также зѣвали. Платоновъ, глядя на нихъ, зѣвнулъ: заплата на заплатѣ“ [3]).

„О, это таковскій народъ! Они большія бестіи, эти чиновники, *ловить рыбу въ мутной водѣ. Въ дождь, снѣгъ,* всегда эта амфибія на улицѣ . . .“. Это говорится по поводу погони „чиновныхъ крысъ въ вицмундирѣ съ крестикомъ“ за дамами, поднявшими платье „далѣе чего нельзя поднять“ [4]).

Въ минуты философствованія надъ судьбою крестьянъ Чичиковъ разсуждаетъ: „Максимъ Телятниковъ, сапожникъ. Хе, сапожникъ! *Пьянъ* какъ сапожникъ, говоритъ пословица“ [5]); затѣмъ слѣдуетъ исторія конкуренціи русскаго сапожника съ нѣмцемъ, которою объясняется представленіе Телятникова. Очевидно, фамилія намекаетъ на опоекъ, — и отсюда разсужденіе.

„. . . Чичиковъ былъ самый благопристойный человѣкъ . . . хотя онъ долженъ былъ протираться въ грязномъ обществѣ, но въ душѣ всегда сохронялъ чистоту, любилъ, чтобы въ канцеляріяхъ были столы изъ лакированнаго дерева и все бы было благородно“ [6]). Здѣсь двойная игра словъ.

---

[1]) Соч Г. III, 101. [2]) Ib. 545. [3]) Ib. 556. [4]) Соч. Г. I. 107—108. [5]) Соч. Г. IV, 151. [6]) Ib. 264.

„Отчего у тебя дубки сдѣлались рѣдки“, спрашиваетъ прикащика Пульхерія Ивановна, „гляди, чтобы у тебя волосы не стали рѣдки“ [1]) — угроза, очевидно, подсказана ей словомъ „рѣдки“.

„Начальникъ видитъ; нужно прибѣгнуть къ мѣрамъ строгости . . . препроводить его на мѣсто жительства!“ А фельдъегеръ ужъ тамъ, понимаете, за дверью и стоитъ: трехъ-аршинный мущина . . . ручища у него . . . словомъ *дантистъ* этакой . . .“ [2]).

Вспомнимъ, напр., фамилію „Яичницу“ въ „Женитьбѣ“, дающую поводъ создавать реплики [3]); вспомнимъ, что прокуроръ, разузнавая о Чичиковѣ у Петрушки, „могъ *услышать* только запахъ“; вспомнимъ о долгомъ протираніи глазъ, вслѣдствіе *небольшаго* ихъ объема [4]); о *неприступной* крѣпости (повытчикъ), къ которой Чичиковъ думалъ *навести приступъ* [5]) и т. п. — въ громадномъ изобиліи, и мы получимъ представленіе о разнообразіи случаевъ созиданія Гоголемъ юмористическихъ оборотовъ при помощи мыслей, единственно подсказанныхъ словомъ.

---

[1]) Соч. Г. II, 249. [2]) Соч. Г. IV, 229. [3]) Соч, Г. III, 400. Жевакинъ: Позвольте спросить, съ кѣмъ имѣю счастье изъясняться?

Иванъ Павловичъ. Въ должности экзекутора, Иванъ Павловичъ Яичница.

Жевакинъ (не дослышавъ). Да, я тоже перекусилъ. Дороги то, знаете, впереди будетъ довольно, а время холодновато: селедочку съѣлъ съ хлѣбцемъ.

Иванъ Павловичъ. Нѣтъ, кажется, вы не такъ поняли: это фамилія моя Яичница.

[4]) Соч. Г. IV. 316. „Поутру просыпался онъ очень поздно, и приподнявшись, долго еще сидѣлъ на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, какъ на бѣду, были довольно маленькіе, и потому протираніе ихъ производилось необыкновенно долго. [5]) Ib. 258—259. „Онъ (Чичиковъ) попалъ подъ начальство уже престарѣлому повытчику, который былъ образъ какой-то каменной безчувственности и непотрясаемости: вѣчно тотъ-же неприступный . . . Наконецъ онъ пронюхалъ его семейственную жизнь, узналъ, что у него была зрѣлая дочь . . . съ этой стороны думалъ онъ навести приступъ“. Образъ выдержанъ на разстояніи двухъ страницъ.

Изъ приведеннаго ясно видно, что у Гоголя — слово иногда перестаетъ быть *средствомъ* выраженія мысли, и само становится цѣлью: искусство для искусства. Мы могли видѣть, что въ такихъ случаяхъ не изображеніе „пошлаго„ составляетъ главное, а охота позабавиться, что онъ часто увлекается словомъ, дающимъ поводъ къ этому. Онъ хохочетъ, когда изображаетъ лицо, на которомъ „чортъ приходилъ по ночамъ молотить горохъ“; смѣется надъ носомъ, напоминающимъ сливу; надъ головою, вызывающею представленіе о тыквѣ, надъ животомъ, похожимъ на карету, и т. д. Иногда писатель теряетъ чувство мѣры, но въ большинствѣ случаевъ юморъ, подсказываемый словомъ, имѣетъ громадное значеніе, нужды нѣтъ, что рѣчь шла о весьма незначительномъ обстоятельствѣ самомъ по себѣ. Никакой мелочью нельзя пренебрегать въ искусствѣ, потому что, какъ замѣчаетъ Л. Н. Толстой, иногда полуоторванная пуговица можетъ освѣтить извѣстную сторону лица. Необходимо только, чтобы творчество было направлено на внутреннюю сущность дѣла, а не отвлекало вниманія отъ главнаго и важнаго къ частностямъ. Это нужно принять въ соображеніе при оцѣнкѣ способовъ, какими пользуется Гоголь, когда слово руководитъ мыслью, а не наоборотъ.

Человѣческая личность есть нѣчто замкнутое, для другого недоступное; то что происходитъ въ одной личности не можетъ быть передано другой. Если слово служитъ средствомъ для сообщенія мысли, то единственно потому, что оно въ слушающемъ производитъ процессъ созданія мысли, аналогичный тому, который происходитъ въ говорящемъ. Штейнталь и Потебня мѣтко выражаются относительно этого такъ: „говорить — значитъ возбуждать въ другомъ его собственныя мысли“. Если этихъ мыслей въ запасѣ нѣтъ, то нѣтъ и пониманія. Гоголь такъ не разсуждалъ, вѣроятно, не руководствовался выводами психологіи; онъ творилъ интуитивно, когда создавалъ образы, опредѣляющіе людей на основаніи обоюднаго непониманія, т. е. различнаго пониманія одного и

того-же слова, такъ какъ слово, сказанное другимъ, понимается на столько, на сколько оно вызвало въ слушающемъ готовое въ душѣ содержаніе. Слова Тѣнтѣтникова не въ силахъ, ни подъ какимъ видомъ, передать его представленій о чувствѣ чести Чичикову, у котораго нѣтъ запаса представленій объ этой, чуждой его характеру, сторонѣ; юморъ изображенія основанъ цѣликомъ на недоразумѣніи, вызываемомъ словами; и отсюда: „Какой странный человѣкъ этотъ Тѣнтетниковъ, думаетъ про себя Чичиковъ“. „Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ, думаетъ про себя Тѣнтетниковъ“ [1]). Въ противоположность этой сценѣ, можно поставить другую, изображающую встрѣчу съ юристомъ-дѣльцомъ и разсужденія Чичикова: оба понимаютъ другъ друга съ полуслова, съ намека [2]), и Чичиковъ, выслушавъ совѣты собесѣдника, подумалъ про себя: „Нѣтъ, этотъ человѣкъ точно мудрецъ“ [3]). Если сущность нашихъ мыслей связана со словомъ, то въ результатѣ получится, что содержаніе слова у Чичикова и Тѣнтетникова совершенно различны.

Вотъ еще два-три примѣра, не требующихъ большихъ выписокъ: Подколесинъ говоритъ свахѣ (на ея жалобу, что онъ медлитъ объясненіемъ дѣвицѣ, предлагаемой ею): „Нужно поразсудить, *поразсмотрѣть*“; а сваха отвѣчаетъ: „Коли смотрѣть, такъ и смотри, на то *товаръ*, чтобы посмотрѣть“ [4]).

Два различныхъ пониманія слова создали юморъ: апперцепція различная у одного и другой.

Чичиковъ, сконфуженный тѣмъ, что попалъ по недоразумѣнію къ Пѣтуху, Петру Петровичу, говоритъ, раскланиваясь: „Я сóвѣщусь, . . . такая нежданная ошибка . . .“. „*Не ошибка*, живо проговорилъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ, *не ошибка*. Вы прежде попробуйте, каковъ обѣдъ, да потомъ скажете, ошибка-ли это“ [5]).

---

[1]) Соч. Г. IV, 347—348. [2]) Ib. 428. [3]) Ib. 429. [4]) Соч. Г. III, 384.
[5]) Соч. Г. IV, 367.

Чичиковъ говоритъ, что онъ „пострадалъ“ на службѣ, — и въ данномъ случаѣ юморъ его утвержденія основанъ, конечно, на своеобразномъ пониманіи слова и т. д.

Особенность Гоголевскаго юмора состоитъ еще въ такомъ сочетаніе словъ, которое, не имѣя никакого содержанія, производитъ, однако, впечатлѣніе чего-то будто содержаніе имѣющаго. На этомъ свойствѣ основано множество моментовъ.

Прежде всего сочетаніе словъ въ видѣ набора ихъ въ предложеніи безъ подлежащаго и безъ сказуемаго, по такому образцу: „А однакоже при всемъ томъ, хотя конечно, можно допустить и то и другое и третье, можетъ даже . . . ну да и гдѣ-жъ не бываетъ несообразностей? — а все однакоже, какъ поразмыслишь, во всемъ этомъ, право, есть что-то . . .“ [1]). Такія мѣста встрѣчаются въ „Женитьбѣ“, въ разсужденіяхъ зрителя послѣ представленія „Ревизора“, въ „Театральномъ разъѣздѣ“; у Акакія Акакіевича и др.

Затѣмъ, болѣе частые случаи даютъ такое сочетаніе, при которомъ слово оказывается главнѣйшимъ факторомъ юмористическаго оборота вслѣдствіе неправильности логической, но *принимающей* въ данномъ случаѣ видъ логичнаго: „Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которыя въ *нѣкоторомъ родѣ* окончили свое существованіе“, говоритъ Манюловъ по поводу уступки Чичикову мертвыхъ [2]). Вслѣдъ затѣмъ Маниловъ увѣряетъ, „что это *сущее ничего*“, и что „умершіе души въ *нѣкоторомъ родѣ совершенная дрянь*“; на что Чичиковъ отвѣчаетъ: „*Очень не дрянь*“ [3]). „Не будетъ-ли это предпріятіе, или, чтобы *еще болѣе, такъ сказать*, выразиться, негоція . . .“ [4]). „Ужъ такое, право доставили наслажденіе, майскій день, *именины сердца*“ [5]). „Вы все имѣете, все имѣете, *даже еще болѣе*“ [6]). „*Храмъ уединеннаго размышле-*

---

[1]) Соч. Г. III, 31. [2]) Соч. Г. IV, 37. [3]) Ib. [4]) Ib. 36. [5]) Ib. 26. [6]) Ib

18

нія“ [1]). „*Школа нормальнаго просвѣщенія поселянъ*“ [2]). На вопросъ, желаетъ-ли Чичиковъ купить крестьянъ съ землею, онъ отвѣчаетъ: „Нѣтъ я не то, чтобы *совершенно* крестьянъ“ [3]). Когда Собакевичъ заявляетъ, что не сыщется дурака, который бы продалъ по двугривенному ревизскую душу, Чичиковъ возражаетъ: „Но позвольте … вѣдь *души-то* самыя давно уже *умерли,* остался одинъ *неосязаемый чувствами звукъ*“ [4]). И эта безсмыслица не вызываетъ возраженій. Подобное сочетаніе словъ еще сильнѣе дѣйствуетъ на умъ Коробочки, усматривающей въ рѣчахъ Чичикова верхъ мудрости, упорствующей во всякомъ случаѣ не потому, чтобы доводы казались ей неосновательными.

„Вы, кажется, человѣкъ довольно умный, *владѣете свѣдѣніями образованности*“ [5]) — этими словами Чичиковъ льститъ самолюбію Собакевича.

Ноздревъ восторгается бутылкой вина, утверждая, что это „была и *бургоньонъ и шампаньонъ вмѣстѣ*“ [6]); Чичиковъ, „отвѣчая весьма прямо и открыто“, говоритъ Лѣницыну, что у него есть *дѣло и законное и незаконное вмѣстѣ*“ [7]), а отъ себя уже Гоголь говоритъ: „Какихъ бричекъ и повозокъ тамъ не было … одна была *и бричка и повозка вмѣстѣ*“ [8]).

Иванъ Осиповичъ дошелъ даже до богословія и залетѣлъ бы *невѣсть куда,* вѣроятно *еще далѣе,* если бы не шалуны …“ [9]). Это напоминаетъ рѣчь Манилова, увѣряющаго Чичикова: „У васъ все есть, Павелъ Ивановичъ, все есть, *даже еще болѣе*“ [10]). Въ нѣсколько измѣненномъ видѣ безсмыслица выражается такъ: „Господа, сказалъ Почтмейстеръ … я того мнѣнія, что это дѣло хорошенько нужно изслѣдовать, разобрать хорошенько, и разобрать камерально, — сообща, собравшись всѣмъ, какъ въ англійскомъ парламентѣ, понимаете, чтобы досконально раскрылось до всѣхъ изгибовъ, понимаете“ [11]).

---

1) Ib. 21. 2) Ib. 532. 3) Ib. 34. 4) Ib. 111. 5) Ib. 113. 6) Ib. 82. 7) Ib. 568. 8) II, 567. 9) Соч. Г. I, 54. 10) Соч. Г. IV. 26. 11) Ib. 296.

Или вотъ еще въ какомъ родѣ соединеніе словъ безъ содержанія влагается въ уста дѣйствующихъ лицъ: „Съ Пушкинымъ на дружеской ногѣ. Бывало, часто говорю ему: „Ну, что братъ Пушкинъ?" „Да такъ, братъ" отвѣчаетъ бывало: „такъ какъ-то все . . . большой оригиналъ" [1]).

Опять иначе выражается безсодержательность при сочетаніи словъ когда рисуются въ „Женитьбѣ" характеры. Вотъ способъ приведенія доказательствъ:

Кочкаревъ. Право, чудо человѣкъ, усовершенствовалъ часть свою . . . просто удивительный человѣкъ!

Агаѳья Тихоновна. Какъ же, а другой? А Никоноръ Ивановичъ — вѣдь онъ тоже хорошій человѣкъ.

Кочкаревъ. Помилуйте это дрянь противъ Ивана Кучьмича.

Агаѳья Тихоновна. Отчего-же?

Кочкаревъ. Ясно отчего. Иванъ Кузьмичъ человѣкъ . . . ну, просто, человѣкъ, . . . человѣкъ, какихъ не сыщешь.

Агаѳья Тихоновна. Ну, а Иванъ Павловичъ.

Кочкаревъ. А Иванъ Павловичъ дрянь, всѣ они — дрянь.

Агаѳья Тихоновна. Будто уже всѣ.

Кочкаревъ. Да вы только посудите, сравните только: это, какъ бы то ни было, — Иванъ Кузьмичъ, а вѣдь то, что ни попало: Иванъ Павловичъ, Никаноръ Ивановичъ, чортъ знаетъ что́ такое [2]).

И эти слова Кочкарева убѣждаютъ сваху. Ей кажется, какъ будто есть въ словахъ что-то весьма убѣдительное.

„Одинъ говорилъ, что Чичиковъ дѣлатель государственныхъ ассигнацій, и потомъ самъ прибавлялъ: а можетъ быть и *не дѣлатель*" [3]) и т. д. и т. д.

Слѣдуетъ отмѣтить и излюбленныя, такъ сказать, безсодержательности, образуемыя Гоголемъ при удобномъ случаѣ и составляющія соль юмора при кажущейся логичности,

---

[1]) Соч. Г. III, 236. [2]) Соч. Г. III, 410. [3]) Соч. Г. IV, 223.

напр.: „Онъ *отозвался съ большою похвалою* о пространствѣ русскаго государства“ [1]).

„О, тамъ отличныя земли, сказалъ предсѣдатель и *отозвался съ большою похвалою* на счетъ рослости тамошнихъ травъ“.

„И при этомъ случаѣ *отозвался съ большою похвалою* объ ланкастерской школѣ взаимнаго обученія“ [2]).

„И *отозвался съ большою похвалою* объ ласковомъ выраженіи его лица“ [3]). Такъ очень часто.

Сюда относится, напр. обычное употребленіе: „*Совершенно неизвѣстно изъ какихъ причинъ*“ [4]), или „*Неизвѣстно какимъ образомъ*“ [5]), когда очень хорошо извѣстно почему:

„На картинахъ все были молодцы, все греческіе полководцы . . . Между крѣпкими Греками, неизвѣстно, какимъ образомъ и для чего, помѣстился Багратіонъ, тощій, худенькій“ [6]) и т. д.

Весьма много случаевъ сочетанія какого-либо слова, съ другимъ, несочетаемымъ; они поражаютъ именно неожиданностью и странностью соединеній, небывалостью: „*Какой-то* Шекспиръ сидѣлъ на чернильницѣ“ [7]); „Невскій проспектъ *этакой*“, „*Этакую лету*“ [8]); „Я долженъ умереть въ *нѣкоторомъ родѣ*“ [9]). Вообще понятія съ очень опредѣленнымъ содержаніемъ, не подлежащимъ колебанію, соединяются съ словами, исключающими опредѣленность и постоянство.

„. . . Но позвольте прежде одну просьбу . . .“ проговорилъ онъ голосомъ, въ которомъ отдалось какое-то странное или *почти* странное выраженіе“ [10]).

„Ѳемистоклюсъ! сказалъ Маниловъ . . .“ Чичиковъ поднялъ нѣсколько бровь, услушавъ такое *отчасти* греческое имя . . .“ [11]); „Съ быстротой и ловкостью *почти военнаго* человѣка“ [12]); „Я тебя *совершенно* принялъ за главнокомандую-

---

1) Ib. 109. 2) Ib. 173. 3) Ib. 105. 4) Ib. 24. Томъ III, 139. 5) Соч. Г. IV, 168. 6) Ib. 103. 7) Ib. 409. 8) IV, 310. 9) Ib. 307. 10) Ib. 32. 11) Ib. 30. 12) Ib. 377.

щаго“ [1]); „Были небравшіе, и бравшіе, кривившіе и *полукривившіе*“. „Большую часть наукъ читалъ онъ самъ . . . безъ *огромныхъ воззрѣній* и *взглядовъ* . . . умѣлъ передать душу науки“ [2]); „Полиціймейстеръ, благотворитель города, любимецъ купечества и *чудотворецъ* въ угощеніяхъ“ [3]). „Разрѣшился междометіемъ смѣха, но *пустилъ* смѣхъ на букву *е*: хе, хе . . .“ [4]).

Кажется, незачѣмъ увеличивать примѣровъ, — читатель будетъ на нихъ наталкиваться на каждомъ шагу.

Однимъ изъ замѣчательныхъ пріемовъ, при помощи котораго Гоголь дѣлаетъ языкъ свой юмористичнымъ, заключается въ сопоставленіи названій предметовъ или дѣйствій, производящемъ необыкновенную быстроту смѣны впечатлѣній; совершается переходъ отъ одного названія къ другому, не стоящему съ первымъ ни въ какой связи, и не могущій установить никакихъ ассоціацій — ни по времени, ни по мѣсту, ни по причинѣ, ни по послѣдствіи.

„Онъ (Ноздревъ) накупалъ кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза въ лавкахъ: хомутовъ, курительныхъ свѣчекъ, платковъ для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойникъ, голландскаго холста, крупичатой муки, табаку, пистолетовъ, селедокъ, картинъ, точильный инструментъ, горшковъ, сапоговъ . . “ [5]).

Мысль читателя по неволѣ перелетаетъ отъ одного предмета, къ другому не успѣвая остановиться ни на одномъ; предметы лишь мелькаютъ, не оставляя слѣда.

„Посреди площади самыя маленькія лавочки; въ нихъ всегда можно замѣтить связку баранокъ, бабу въ красномъ платкѣ, пудъ мыла, дробь для стрѣлянія, демикотонъ и двухъ купеческихъ прикащиковъ“ [6]).

---

[1]) Соч. Г. III, 235. [2]) Соч. Г. IV, 319. [3]) Ib. 294. [4]) Ib. 357. [5]) Соч. Г. IV, 77. [6]) Соч. Г, III, 132.

Интересно, какъ при этомъ способѣ изображенія Гоголь испытываетъ особенное удовлетвореніе, внося, повидимому сознательно, безпорядокъ и тамъ, гдѣ онъ замѣтенъ и безъ того, самъ собою. У Пушкина въ „Цыганахъ“ изображается также безпорядокъ; но самое изображеніе его систематично. Гоголь очевидно создаетъ картинку подъ вліяніемъ этого описанія: „Шумъ, брань, мычаніе, блеяніе, ревъ — все сливается въ одинъ нестройный говоръ. Волы, мѣшки, сѣно, цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами . . .“ [1]).

Не трудно доказать преднамѣренность, желаніе вызвать смѣхъ именно указаннымъ путемъ, если примемъ въ соображеніе, что въ другомъ мѣстѣ, напр. при изображеніи сѣчи, когда не до юмора было, онъ даетъ описаніе, отличающееся полною систематичностью, послѣдовательностью:

„При въѣздѣ (въ сѣчь), ихъ оглушили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати пяти кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подъ навѣсомъ . . . Крамари подъ ятками . . . Армянинъ развѣсилъ . . . татаринъ ворочалъ . . . жидъ цѣдилъ. Но первый, кто попался имъ на встрѣчу, это былъ запорожецъ . . .“ [2]).

---

[1]) Соч. Г. II, 16. Въ „Цыганахъ“:

„Все вмѣстѣ тронулось — и вотъ
Толпа валитъ въ пустыхъ равнинахъ.
Ослы въ перекидныхъ корзинахъ
Дѣтей играющихъ несутъ;
И старъ и младъ вослѣдъ идутъ:
Крикъ, шумъ, цыганскіе припѣвы,
Медвѣдя ревъ, его цѣпей
Нетерпѣливое бряцанье,
Лохмотьевъ яркихъ пестрота,
Дѣтей и старцевъ нагота
Собакъ и лай и завыванье,
Волынки говоръ, скрипъ телѣгъ —
Все скудно, дико, все нестройно“.

[2]) Соч. Г. II, 290.

Съ другой стороны, противоположный этому пріемъ — изображеніе при слишкомъ заботливомъ соблюденіи въ передачѣ послѣдовательности по времени и мѣсту, по образцу мышленія ума неразвитаго:

„Подошедши къ окну, онъ (Чичиковъ) началъ разсматривать бывшіе передъ нимъ виды; окно глядѣло едва-ли не въ курятникъ. Индѣйкамъ и курамъ не было числа; промежъ нихъ расхаживалъ пѣтухъ мѣрными шагами, потряхивая гребнемъ и поворачивая голову набокъ, какъ будто къ чему-то прислушиваясь; свинья съ семействомъ очутилась тутъ-же; тутъже, разгребая кучу сора, съѣла она мимоходомъ цыпленка и, не замѣчая этого, продолжала уписывать арбузныя корки своимъ порядкомъ . . .“ [1]).

Насколько вышеуказанный способъ вызыванія быстрой смѣны впечатлѣній служитъ средствомъ характеризовать вмѣстѣ съ тѣмъ легкомысліе, безсодержательность, какъ напр. Хлестакова, Ноздрева, на столько послѣдній способъ замедленія хода мысли помогаетъ Гоголю изображать умы примитивнаго свойства: этотъ умъ не умѣетъ слѣдовать прямой нити разсужденія или разсказа. Онъ или топчется на одномъ мѣстѣ, возвращается къ началу, или, пораженный какимъ нибудь представленіемъ, все держитъ его предъ собою въ головѣ; а если ему удается двинуться впередъ, то онъ будетъ ворочаться между сотней побочныхъ обстоятельствъ, прежде чѣмъ доберется до необходимой фразы. Всякая посторонняя мысль, попадающаяся на пути, останавливаетъ его. Отсюда цѣлый рядъ неожиданностей, а слѣдствіемъ его — юморъ.

Типическимъ примѣромъ представляется то мѣсто, въ которомъ мужикъ объясняетъ, что существуетъ „Маниловка“ а не „Заманиловка“: „Направо, сказалъ мужикъ, это будетъ тебѣ дорога въ Маниловку, а Заманиловки никакой нѣтъ. Она зовется такъ, т. е. ея прозваніе Маниловка, а Заманиловки

---

1) Соч. Г. IV, 49—50.

тутъ вовсе нѣтъ. Тамъ прямо на горѣ увидишь домъ, каменный, въ два этажа, — господскій домъ, въ которомъ, т. е. живетъ самъ господинъ. Вотъ это тебѣ и есть Маниловка, а Заманиловки совсѣмъ нѣтъ никакой здѣсь и не было“ [1]).

Типическимъ примѣромъ другого рода служитъ сообщеніе, дѣлаемое Городничему Бобчинскимъ о несомнѣнномъ присутствіи Ревизора по даннымъ, которыя онъ подмѣтилъ съ Добчинскимъ. Самому сообщенію предшествуютъ разсказы о томъ, что по выходѣ отъ Городничаго (послѣ полученія письма) онъ забѣжалъ къ Коробкину; — не заставши его — къ Ростаковскому; а тамъ опять встрѣча съ пріятелемъ, знавшимъ уже о пріѣздѣ ревизора отъ ключницы Авдотьи, которую посылали къ Почечуеву [2]) и т. д.

Особенно юмористичны при этихъ способахъ случаи, когда разсказъ прерывается вдругъ совершенно неожиданнымъ моментомъ, нарушающимъ нормальное теченіе мысли; такъ, напр., идетъ описаніе бекеши Ивана Ивановича, весьма подробное; оно сопровождается чувствомъ восторга, вызываемымъ прелестью вида бекеши . . . „онъ сшилъ ее тогда еще, когда Агаѳія Ѳедосѣевна не ѣздила въ Кіевъ. Вы знаете Агаѳію Ѳедосѣевну? Та самая, чтó откусила ухо у Засѣдателя“ [3]).

Родственный указанному пріему составляетъ чаще всего пускаемый Гоголемъ въ ходъ пріемъ сопоставленія сужденій, не имѣющихъ никакой логической связи, ни внутренней, ни внѣшней, въ сферѣ ли свойствъ человѣка, въ сферѣ-ли качествъ предметовъ, характеровъ явленій, событій, или нравственныхъ понятій, по такому, напримѣръ, образцу: „Они посматривали только по сторонамъ, не разставлялъ-ли гдѣ губернаторскій слуга зеленаго стола для виста. Лица у нихъ были полныя и круглыя; на иныхъ были *даже* бородавки . . .“ [4]).

---

[1]) Соч. Г. IV, 20. [2]) Соч. Г. III, 204—205. [3]) Соч. Г. II, 525. [4]) Соч. Г. IV, 12.

„Прочіе тоже были, болѣе или менѣе, люди просвѣщенные: кто читалъ Карамзина, кто „Московскія Вѣдомости“, кто *даже* и совсѣмъ ни не читалъ“ [1]).

Этотъ способъ всего болѣе опредѣляетъ Гоголевскій юмористическій стиль; а потому на немъ остановлюсь подробнѣе. Эта сторона юмора даетъ новый матеріалъ для опредѣленія свойства юмора вообще и, быть можетъ облегчитъ задачу изслѣдователямъ-теоретикамъ, бьющимся надъ объясненіемъ причинъ, создающихъ юморъ, и все же не могущимъ прійдти къ результату, удовлетворившему бы научнымъ требованіямъ. Не смотря на то, что по дѣйствію Гоголевскій юморъ сплошь почти національнъ, главнымъ образомъ потому, что онъ основанъ на самомъ языкѣ, но и какъ таковой онъ долженъ быть принимаемъ въ расчетъ при построеніи теоріи, во первыхъ потому, что въ сущности и совершеннѣйшія произведенія, которые во всемірной литературѣ стоятъ одиноко, или по художественности занимаютъ первое мѣсто, все-же по *дѣйствію* производимому на человѣка *національны;* а затѣмъ и потому, что Гоголь представляетъ моменты, которымъ равные не имѣются у другихъ писателей, и которые часто на другой языкъ непереводимы [2]).

На указанной сейчасъ неожиданности сопоставленія свойствъ основана характеристика лицъ, составляющая замѣтную составную часть въ тѣхъ разсказахъ Гоголя, которые отличаются юморомъ спеціально Гоголевскимъ, т. е. наиболѣе имъ излюбленнымъ и ему свойственнымъ; онъ орудуетъ имъ съ необыкновенной легкостью.

„Въ молодости своей онъ былъ и *капитанъ и крикунъ*, употреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо *высѣчь*, былъ и расторопенъ, и щеголь и глупъ . . .“ [3]).

Вотъ другой образъ:

---

[1]) Соч. Г. IV, 174. [2]) Въ приложеніи помѣщены образцы переводовъ [3]) Соч. Г. I, 176.

„Агаѳія Ѳедосѣевна носила на головѣ чепецъ, три бородавки на носу и кофейный капотъ . . . она сплетничала и ѣла вареные бураки по утрамъ, и отлично хорошо ругалась . . .“ [1]).

А вотъ еще образы: „Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него домъ въ Миргородѣ! . . .“ [2]). „Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни; это его любимое кушанье . . . его знаетъ комиссаръ Полтавскій!“ [3]) и т. д. И значительная часть всего разсказа построена на такихъ неожиданностяхъ со стороны содержанія и формы.

Къ этой формѣ юмора слѣдуетъ отнести неожиданности въ противопоставленіи свойствъ и признаковъ при сравненіяхъ, особенно если мысль читателя подготовлена была предварительно на сравненіе вполнѣ логическое. Это выступаетъ съ особенною яркостью при сравненіи Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича: у одного голова такая-то, у другого — такая-то, у одного обычай такой-то, у другого — такой-то и т. д. а затѣмъ: „Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера, у Ивана Никифоровича, *напротивъ того*, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ и т. д. [4]).

Сопоставленіе, о которомъ рѣчь, примѣняется къ случаямъ, когда Гоголю необходимо выставить на показъ отрицательныя стороны цѣлыхъ группъ людей:

„Рѣшили тутъ-же множество самыхъ затруднительныхъ вопросовъ. Чичиковъ никогда не чувствовалъ себя въ такомъ веселомъ расположеніи... говорилъ объ разныхъ улучшеніяхъ, о трехпольномъ хозяйствѣ, о счастіи и блаженствѣ двухъ душъ и сталъ читать . . . посланіе Вертера къ Шарлоттѣ . . .“ [5]). Въ такомъ же родѣ, напр. въ началѣ „Мерт-

---

[1]) Соч. Г. II, 544. [2]) Ib. 525. [3]) Ib. 526. [4]) Ib. 528—529. [5]) Соч. Г. IV, 169.

выхъ душъ“, когда Чичиковъ очутился въ обществѣ, гдѣ „разсуждали-ли о биліардной игрѣ — и въ биліардной игрѣ не давалъ онъ промахъ; говорили-ли о добродѣтели — и о добродѣтели разсуждалъ онъ очень хорошо, даже со слезами на глазахъ . . .“ [1]).

Нельзя сказать, чтобы эта манера была исключительно Гоголевская; она совершенно соотвѣтствуетъ, напр. манерѣ Гейне. Послѣдній пишетъ въ такомъ родѣ: „Въ то время предметомъ моей пассіи было яблочное пирожное, теперь — любовь, истина, свобода и раковый супъ“ (Reisebilder, 2) или: „Когда я замѣтилъ, что грубая чернь . . . что черномазые подмастерья — портные и сапожники — на своемъ неуклюжемъ, кабачномъ говорѣ дерзали отрицать бытіе Божіе, когда атеизмъ завонялъ сыромъ, сивухой и махоркой: тогда . . .“ Когда за нѣсколько часовъ досмерти къ нему пришелъ знакомый и освѣдомился о его религіозномъ настроеніи, онъ успокоивалъ знакомаго словами „Dieu me pardonnera; c'est son métier“. Въ такомъ-же родѣ обороты по поводу отношеній своихъ къ Берне: „Онъ не избавлялъ меня отъ разсужденій въ ресторанѣ, за обѣдомъ . . . и онъ портилъ мнѣ мои любимыя телячьи ножки à la maître d'hôtel своими потрясающими извѣстіями изъ отечества“. Такихъ мѣстъ не мало у Гейне, но у Гоголя обороты въ этомъ духѣ разбросаны по всѣмъ направленіямъ мысли. Они, какъ сказано, наиболѣе характеристичны для юмора нашего художника. У Гейне они спорадичны.

„Будучи увѣренъ, что его теперь никто не собьетъ и не смѣшаетъ, онъ говорилъ и объ огурцахъ, и о посѣвѣ картофеля и о томъ, какіе въ старину были разумные люди“ [2]).

„За ужиномъ болтовня овладѣвала самыми неговорливыми языками. Тутъ обыкновенно говорилось обо всемъ, и о томъ, кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка“ [3]).

---

[1]) Ib. 15. [2]) Соч. Г. II, 23. [3]) Ib. 505.

— Ну, какія-же были кушанья?

„Сыршики были со сметаною, соусъ съ голубями, начиненными.

— А индѣйка со сливами была?

Была и индѣйка! Весьма красивыя барышни, сестрицы Григорья Григорьевича . . .“ [1]).

Когда Аммосъ Феодоровичъ отказыватся первымъ представиться ревизору, подъ предлогомъ, что у него вовсе не „Цицеронъ слетаетъ съ языки“, а что онъ только увлекается, говоря о домашней сворѣ, всѣ пристаютъ къ нему: „Нѣтъ вы не *только о собакахъ, вы и о столпотвореніи* . . .“ [2]). Чичиковъ мечтаетъ служить по таможнѣ потому, что „и граница близко, и просвѣщенные люди; а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестить“ [3]). Самъ Чичиковъ „въ пріемахъ своихъ имѣлъ что то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко“ [4]).

„Бывалъ у меня правда, Филиппъ Ивановичъ Потанчиковъ. И хотя онъ точно искалъ руки моей дочери, будучи самъ хорошаго и трезваго поведенія и великой учености . . .“ [5]).

Давши очень ясное представленіе о дамѣ, „пріятной во всѣхъ оспошеніяхъ“, Гоголь говоритъ: „Нужно замѣтить, что во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама была отчасти *матеріалистка, склонна къ отрицанію и сомнѣнію и отвергала весьма многое въ жизни*“ [6]) — и это вслѣдъ за тѣмъ, какъ пріятная во всѣхъ отношеніяхъ дама доказывала, что „полосочки узенькія — узенькія, *какія только можетъ представить воображеніе человѣческое* и все глазки и лапки, глазки и лапки . . . словомъ безподобно“ [7]).

Нѣкоторое видоизмѣненіе этого же пріема, основаннаго на умѣніи дѣлать неожиданныя сопоставленія, представляетъ напр. восклицаніе Ковалева (въ „Носѣ“): „Боже мой, за что

---

[1]) Ib. 224. [2]) Соч. Г. III, 245. [3]) Соч. Г. IV, 265. [4]) Ib. 7. [5]) Соч. Г. III, 26. [6]) Соч. Г. IV, 202. [7]) Ib.

это такое несчастіе? Будь я безъ руки или безъ ноги — все бы это лучше; но безъ носа человѣкъ, чортъ знаетъ что: птица не птица, гражданинъ не гражданинъ“ [1]).

„Одинъ разъ задумалось . . . гетману послать грамоту“ начинаетъ свою повѣсть дьячокъ (самъ авторъ). „Тогдашній полковой писарь, — вотъ нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню . . . Вискрякъ не Вискрякъ, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцекъ не Голопуцекъ . . . знаю только, что какъ-то чудно начинается . . .“ [2]).

Послѣднее сопоставленіе, впрочемъ, совершенно въ народномъ духѣ; хотя народъ при этомъ не имѣетъ мысли объ остроуміи, а часто такъ говоритъ въ обыкновенной рѣчи, „громко“ (т. е. вслухъ) перебирая свои мысли.

Такое же психологическое основаніе смѣха замѣчается при установленіи Гоголемъ причинной связи двухъ явленій, не имѣющихъ ничего общаго, напр., въ отвѣтѣ Аммоса Феодоровича, на вопросъ, почему отъ засѣдателя такой запахъ, какъ будто бы изъ винокуреннаго завода: „Этого невозможно выгнать; онъ говоритъ въ дѣтствѣ мамка его ушибла, и съ тѣхъ поръ отъ него отдаетъ немного водкою“ [3]).

Кошкаревъ разсказалъ (Чичикову) „съ самоуслажденіемъ . . . сколько нужно было бороться съ невѣжествомъ русскаго мужика, чтобы одѣть его въ нѣмецкіе штаны и заставить почувствовать хотя сколько нибудь высшее достоинство человѣка“ [4]).

„Если (онъ) коллежскій совѣтникъ, какъ же пуститься на такое уголовное преступленіе, какъ дѣлать бумажки!“, подумалъ вицегубернаторъ, который былъ самъ коллежскій совѣтникъ, любилъ играть на флейтѣ и душу скорѣй имѣлъ склонную къ искусствамъ изящнымъ, а не къ преступленью“ [5]).

---

[1]) Соч. Г. III, 19. [2]) Соч. Г. II, 92. [3]) Соч. Г. III, 200. [4]) Соч. Г. IV, 384—385. [5]) Ib. 295.

Нѣкоторый оттѣнокъ той же категоріи сопоставленія мыслей представляетъ „Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку": „... А вслѣдствіе того приказываю тебѣ сейчасъ же часъ женить твоего сына ... на казачкѣ изъ вашего села, а также починить мосты по столбовой дорогѣ ..." [1]).

Или сообщеніе Артемія Филипповича, „что не успѣетъ войти въ лазаретъ (больной), какъ уже здоровъ не столько медикаментами, сколько честностью и порядкомъ" [2]).

Если Кочкаревъ говоритъ: „Она или вышла замужъ или переломила себѣ ногу", то и въ этомъ случаѣ юморъ построенъ на нелогичности противопоставленіи, какъ въ вышеприведенныхъ на нелогичности сопоставленія.

Ближайшимъ образомъ примыкаетъ способъ вплетенія обстоятельствъ или лицъ, не имѣющихъ никакой связи, ни внутренней, ни внѣшней съ тѣмъ о чемъ говорится: „Тетка моего дѣда говорила бывало ..." [3]), или „Тетка покойнаго дѣда разсказывала" [4]), или „Съ теткой покойнаго дѣда, которая сама была на свадьбѣ, случилась забавная исторія" [5]) вставляется безъ всякаго смысла, безъ отношенія къ предшествующиму, къ слѣдующему. Сюда также относится, напр. замѣчаніе Чичикова, когда онъ узналъ, что Коробочку зовутъ Настасьей Петровной: „Хорошее имя, Настасья Петровна, и у меня есть тетка, которую зовутъ Настасья Петровна". Когда полицейскій чиновникъ объясняетъ маіору Ковалеву, какимъ образомъ носъ, который тотъ „изволилъ затерять", найденъ, онъ предварительно докладываетъ: „Вѣдь я близорукъ, и если вы станете предо мною, то я вижу только, что у васъ лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замѣчу. Моя теща, т. е. мать моей жены, тоже ничего не видитъ" [6]).

Вотъ разновидность того же способа. Объясняется причина, по которой Акакій Акакіевичъ получилъ свое названіе. „Ро-

---

[1]) Соч. Г. II, 88. [2]) Соч. Г. III, 232. [3]) Соч. Г. II, 52. [4]) Ib. 45. [5]) Ib. 53. [6]) Соч. Г. III, 21.

дился Акакій Акакіевичъ противъ ночи, . . . покойница-матушка, *чиновница и очень хорошая женщина*, расположилась какъ слѣдуетъ, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати противъ дверей, а по правую руку стоялъ кумъ, превосходнѣйшій человѣкъ, Иванъ Ивановичъ Ерошкинъ, служившій столоначальникомъ въ сенатѣ, и кума, жена квартальнаго офицера, женщина рѣдкихъ добродѣтелей, Арина Семеновна Бѣлобрюшкова . . .“ [1]).

Въ такомъ-же духѣ созданъ одинъ отрывокъ, характеризующій Чичикова; послѣдній, несмотря на то, что губернаторская дочка зѣвала отъ его разсказовъ, продолжалъ „разсказывать множество пріятныхъ вещей, которыя уже случалось ему произносить въ подобныхъ случаяхъ въ разныхъ мѣстахъ: въ Симбирской губерніи, у Софрона Ивановича Безпечнаго, гдѣ были тогда дочь его Аделаида Ефремовна съ тремя заловками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Ѳеодора Ѳеодоровича Перекроева, въ Рязанской губерніи; у Фрола Васильевича Побѣдоноснаго, въ Пензенской губерніи, и у брата его Петра Васильевича, гдѣ были свояченица его Катерина Михайловна и внучатныя сестры ея: Роза Ѳеодоровна и Эмилія Ѳеодоровна; въ Вятской губерніи, у Петра Варсонофьевича, гдѣ была сестра невѣстки его Пелагея Егоровна, съ племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами: Софьей Александровно и Маклатурой Александровной“ [2])

Перечисленіе фамилій, напоминаетъ письмо Гоголя къ матери, въ которомъ, онъ, въ отвѣтъ на письмо ея съ просьбой сообщить имена всѣхъ начальниковъ, на самомъ дѣлѣ и перечисляетъ. Гоголь отнесся къ просьбѣ вѣроятно свысока, такъ какъ требованія матери дѣйствительно бывали мелочны и переходили иногда всякія предѣлы обыкновеннаго вмѣшательства матери въ дѣла сына.

---

[1]) Ib. 96. [2]) Соч. Г. IV, 190.

Въ виду того, что очень много моментовъ изъ его собственной жизни вошло, такъ или иначе, въ составъ его произведеній, можно, кажется, допустить мысль, что „месть“ матери [1]) т. е. перечисленіе всѣхъ начальниковъ, пригодившись разъ, пришлась по душѣ, и пріемъ сталъ имъ практиковаться. Въ предисловіи къ „Вечерамъ на хуторѣ близъ Диканьки“ Гоголь сообщаетъ, что къ нему пріѣзжали гости: „Захаръ Кириловичъ Чухопупенко, Степанъ Ивановичъ Курочка, Тарасъ Ивановичъ Смачненькій, засѣдатель Харлампій Кириловичъ Хлоста . . .“ [2]). Такъ-же точно перечисляется составъ „ассамблеи“, данной Городничимъ, на которую должны были быть приглашены Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ. Гоголь самъ говоритъ: „Позвольте, я перечту всѣхъ, которые тамъ были. Тарасъ Тарасовичъ, Евплъ Акинѳовичъ, Евтихій Евтихіевичъ, Иванъ Ивановичъ — не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, Савва Гавриловичъ, нашъ Иванъ Ивановичъ, Елевферій Елевферіевичъ, Макаръ Назарьевичъ, Ѳома Григорьевичъ . . . Не могу далѣе! Не въ силахъ! Рука устаетъ писать!“ [3]) Вотъ это послѣднее обстоятельство, „рука устаетъ“, по всей вѣроятности заставило его вспомнить обязательность писемъ къ матери съ содержаніемъ, подобнымъ отмѣченному.

Къ этой же категоріи юмористическихъ мѣстъ, основанныхъ на изображеніи мышленія неразвитаго ума, относится напр., мѣсто въ описаніи казни Остапа, сына Тараса Бульбы: „Онъ (шляхтичъ) ей (Юзысѣ) растолковалъ совершенно все, такъ что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить: „Вотъ это душечка, Юзыся, говорилъ онъ, весь народъ, что вы видите, пришелъ за тѣмъ, чобы посмотрѣть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что вы ви-

---

[1]) А месть Гоголь проявлялъ въ письмахъ. Въ одномъ письмѣ отъ 26 Февр. 1832 г. онъ говоритъ между прочимъ: „мнѣ просто досадно было на вашу забывчивость, и чтобы отмстить вамъ и разсердить васъ, я написалъ“. Соч. и Пис. Г. V, 146. [2]) Соч. Г. II, 105. [3]) Ib. 567.

дите, держитъ въ рукахъ сѣкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать . . . то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже не будетъ больше головы“ [1]) и т. п.

Опять иную категорію сопоставленій понятій составляютъ всѣ тѣ случаи, когда Гоголь приписываетъ лицу свойства, или несогласныя, или прямо противорѣчащія основному характеру лица, съ точки зрѣнія нашей нравственности, или противорѣчатъ нашему представленію о совмѣстимости свойствъ въ данномъ лицѣ. Когда Хлестаковъ говоритъ Артемію Филипповичу: „Вы очень хорошо угостили завтракомъ“, Артемій Филипповичъ отвѣчаетъ: „Радъ стараться на службу отечеству“ [2]). Чичиковъ, разсказывая о своей печальной участи, говоритъ: „Жизнь мою можно уподобить судну среди волнъ, ваше превосходительство. На терпѣніи, можно сказать, выросъ, терпѣньемъ воспоенъ, терпѣньемъ спеленатъ, и самъ, такъ сказать, не что другое, какъ одно терпѣніе. А ужъ сколько протерпѣлъ отъ враговъ . . .“ [3]).

„Повѣрьте моей совѣсти, не могу“, говоритъ Чичиковъ, увѣряя Собакевича, что онъ не можетъ заплатить больше, чѣмъ по полтора рубля за мертвую душу; а „положа руку на сердце“ — „по восьми гривенъ за душу — это самая красная цѣна“ [4]).

Равносильны тѣ мѣста произведеній, гдѣ Гоголь разсказываетъ, что „почтмейстеръ и предсѣдатель и даже самъ полицеймейстеръ подшучивалъ надъ нашимъ героемъ, что, дескать, у

---

[1]) Ib. 391—392. [2]) Соч. Г. III, 250. [3]) Соч. Г. IV, 352. [4]) Ib. 111.

Павла Ивановича *сердечишко прихрамываетъ*“ [1]). Выраженіе очень идетъ именно къ любящему сердечишку Чичикова.

Это вызываетъ такой же смѣхъ, какъ, напр., картинка, изображающая Петра Петровича Пѣтуха, одѣтаго „въ травяно-зеленый нанковый сюртукъ, желтые штаны, и шея безъ галстуха, *на манеръ Купидона*“ [2]), или замѣчаніе: „Жандармскій полковникъ говорилъ, что Чичиковъ ученый человѣкъ“ [3]), или совершенно соотвѣтствующій этому отвѣтъ Чичикова на вопросъ Платонова, „Отчего это у насъ такъ, что если не смотришь во всѣ глаза за простымъ человѣкомъ, сдѣлается или пьяницей или негодяемъ“: — „Отъ недостатка просвѣщенія, замѣтилъ Чичиковъ“ [4]).

Еще юмористичнѣе, когда Хлестаковъ становится въ ряды протестующихъ противъ обмановъ. Въ тотъ моментъ, когда онъ недоволенъ другими, онъ забываетъ совершенно свои отношенія къ чужому карману и кричитъ, когда ему подаютъ скверное кушанье: „Подлецы! . . . Канальи! Мошенники! Бездѣльники! дерутъ только съ проѣзжающихъ“ [5]). Такъ-же точно Собакевичъ обо всѣхъ отзывается нелестно; а въ другой разъ, онъ находитъ, что чиновники: „мошенникъ на мошенникѣ сидитъ и мошенникомъ погоняетъ . . . всѣ христопродавцы“; а еще въ другой разъ, когда жена спрашиваетъ его, отчего Прокуроръ такъ рано ушелъ, онъ отвѣчаетъ: „Угрызеніе совѣсти ощутилъ, такъ и вышелъ, . . . собаки всѣ. Мало того, что даромъ бременятъ землю, да еще дѣла такія дѣлаютъ, что ихъ всѣхъ бы въ одинъ мѣшокъ да въ воду! Весь городъ — разбойничій вертепъ . . . уѣдемъ! Опасно даже заѣзжать въ этотъ городъ . . . можно самому легко погрязнуть вмѣстѣ съ ними во всякихъ порокахъ“ [6]). Жена Городничаго говоритъ мужу: „Ты простой человѣкъ, никогда не видѣлъ порядочныхъ людей“, а онъ въ отвѣтъ:

---

1) Ib. 194. 2) Ib. 366 и 515. 3) Ib. 16. 4) Ib. 407. 5) Соч. Г. III, 219. 6) Соч. Г. IV, 289.

„Я самъ, матушка, порядочный человѣкъ . . .“; а Добчинскому Анна Андреевна съ укоризной говоритъ: „Я на васъ однихъ полагалась, какъ на порядочнаго человѣка“ [1]).

Юморъ обнаруживается при изображеніи какого либо дѣйствія, несоотвѣтствующаго всему складу человѣка, будь это — въ физическомъ, умственномъ или нравственномъ отношеніи, — а равнымъ образомъ въ примѣненіи выраженій къ предметамъ, по существу чуждымъ свойствамъ, обозначаемымъ даннымъ выраженіемъ.

Изображая перемѣны, совершившіяся съ Чичиковымъ долго спустя послѣ всѣхъ его подвиговъ, Гоголь говоритъ: „Но выраженье лица, приличье, обхожденье остались тѣ-же. Даже, казалось, какъ бы еще пріятнѣе сталъ онъ въ поступкахъ и оборотахъ. Еще ловче подвертывалъ подъ *ножку ножку* [2]), или: „Окончивъ рѣчь, гость (Чичиковъ) съ обворожительной пріятностью подшаркнувъ *ножкой*, отпрыгнулъ тутъ же нѣсколько назадъ съ легкостью резиннаго мячика [3]).

Аммосу Ѳеодоровичу приписывается: „У васъ, что ни слово, то Цицеронъ съ языка“ [4]).

При обозначеніи одного изъ возмутительнѣйшихъ дѣйствій Чичикова по отношенію къ своему учителю, Гоголь замѣчаетъ: „Одинъ *Павлуша* Чичиковъ отговорился неимѣніемъ“ (денегъ) [5]).

Чиновникъ, строющій свое благосостояніе на взяткахъ, называется „драгоцѣннымъ алмазомъ“, и когда онъ долго оставляетъ просителя безъ вѣсти о дѣлѣ, послѣдній идетъ къ *„драгоцѣнному алмазу“* [6]).

Въ углу выстроились рядкомъ сапоги (Чичикова) съ новыми головками . . . „Они *стыдливо занавѣсились* шелковымъ носовымъ платкомъ“ [7]).

Предсѣдатель палаты „обнималъ нѣсколько разъ Чичикова, произнеся въ изліяніи сердечномъ: „Душа ты моя!

---

[1]) Соч. Г. III, 228. [2]) Соч. Г. IV, 340. [3]) Ib. 339. [4]) Соч. Г. III, 245. [5]) Соч. Г. IV, 256. [6]) Ib. 261. [7]) Ib. 341.

маменька моя!“ „Жители душевно поздравляли Чичикова . . . они все были *народъ добрый* . . . обращались по пріятельски: „Послушай, братъ Антипаторъ Захарьевичъ! . . .“ *Ты заврался, мамочка,* Иванъ Григорьевичъ“ [1]).

„Въ этомъ лѣсу обитали дикія кошки . . . онѣ мяукаютъ *грубымъ, необработаннымъ голосомъ . . . никакія благородныя чувства имъ неизвѣстны*“ [2]). „Сѣренькая бѣглянка (кошечка) . . . набралась *романическихъ правилъ,* что бѣдность при любви лучше палатъ, а коты были голы какъ соколы“ [3]).

„Читатель, безъ сомнѣнія, слышалъ такъ часто повторяемую исторію объ *остроумномъ путешествіи испанскихъ барановъ,* которые, совершивъ переходъ черезъ границу въ двойныхъ тулупчикахъ, пронесли подъ тулупчиками на милліонъ брабантскихъ кружевъ“. „Послѣ трехъ или *четырехъ бараньихъ походовъ* черезъ границу, у чиновниковъ очутилось по четыреста тысячъ“ [4]).

Еще нѣсколько образцовъ сопоставленія выраженій, вызывающихъ въ читателѣ смѣхъ неожиданностью при встрѣчѣ съ ними: „Славная бекеша у Ивана Ивановича! . . . Фу ты пропасть, какія смушки! . . . взгляните съ боку: что *за объѣденіе!*“ [5]).

„Удивительная лужа, *прекрасная* лужа!“.

„Садитесь, садитесь, . . . пусть вамъ остается ваше ружье, *пускай себѣ сгніетъ* . . .“ и нѣсколько дальше: „Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ! *Пусть оно себѣ околѣетъ*“ [6]).

„Два портрета было большихъ, писанныхъ масляными красками . . . изъ узенькихъ рамъ глядѣла герцогиня Лавальеръ, *запачканная* мухами“ [7]).

Не трудно разграничивать причины, вызывающія смѣхъ въ каждомъ данномъ случаѣ, но къ одной категоріи ихъ слѣдуетъ отнести все-таки. Если въ послѣднемъ при-

---

[1]) Ib. 174. [2]) Соч. Г. II, 258. [3]) Ib. 259. [4]) Соч. Г. IV, 267. [5]) Соч. Г. II, 525. [6]) Ib. 538. [7]) Ib. 246.

мѣрѣ юморъ заключается въ томъ, что мысль, привыкшая соединять съ понятіемъ о „герцогинѣ“ нѣчто величественное, натыкается на признакъ, низводящій величіе до низменнаго, — Герцогиня, запачканная мухами, вмѣсто портрета, запачканнаго, — то и въ примѣрахъ, приведенныхъ передъ этимъ, психологическое основаніе одно и тоже: *объѣденіе* не входитъ въ понятіе „прелести“ смушекъ; „околѣть“ и „гнить“ не соединимы съ представленіемъ о желаніи видѣть испорченнымъ ружье и т. п. Если въ другой разъ Гоголь, при изображеніи комической сцены между Ноздревымъ и Чичиковымъ, сравниваетъ дѣйствія Ноздрева съ дѣйствіями „подступавшаго подъ крѣпость отчаяннаго поручика“, т. е. даетъ признаки, не противорѣчащіе нашимъ представленіямъ о лѣзущихъ въ драку, то выраженіемъ: *„Крѣпость чувствовала страхъ, что душа ея спряталась въ самыя пятки“* смѣхъ вызывается сопоставленіемъ Чичикова съ крѣпостью, съ одной, и признаками, приписываемыми крѣпости: „страхъ“ и „душа въ пяткахъ“, съ другой стороны [1]).

Говоря о томъ, какъ Чичиковъ избѣжалъ ударовъ, Гоголь говоритъ, что „судьбамъ угодно было спасти бока плеча и всѣ *благовоспитанныя* части нашего героя“.

Мы встрѣчаемся такимъ образомъ съ понятіями, граничащими съ тѣми, которыя логически совершенно исключаютъ друга друга, на чемъ Гоголь и строитъ юморъ весьма часто:

„Что-жъ вы, батюшка, въ издѣвку-то развѣ, что-ли, посмѣяться развѣ надъ нами вздумали“, кричитъ Арина Пантелеймоновна, подступая къ Кочкареву . . . „Да я за то батюшка, вамъ плюну въ лицо, коли вы честный человѣкъ, да вы послѣ этого подлецъ, коли вы честный человѣкъ . . . Видно, только на пакости да на мошенничества у васъ хватаетъ дворянства!“ [2]).

---

1) Соч. Г. IV, 95. 2) Соч. Г. III, 434—435.

Выдѣляя тѣ моменты, въ которыхъ юморъ граничитъ съ сатирой, мы должны обратить вниманіе на тѣ случаи, когда Гоголемъ выставляются отрицательныя стороны, тамъ, гдѣ по ходу мыслей ожидаемъ положительныхъ. Создается логическая невозможность слiянiя ихъ въ нашемъ представленіи, вслѣдствіе сопоставленія понятій, исключающихъ одно другое.

Когда рѣчь заходитъ о завѣщаніи старухи, подмѣненномъ Чичиковымъ, и адвокатъ называетъ изъ свидѣтелей, подписавшихъ завѣщаніе, Хаванова, Чичиковъ подумалъ: *„худо*, Хавановъ, говорятъ, *честенъ* . . . но . . . тутъ-же почувствовалъ рѣшимость на всѣ штуки“ [1]).

„Эхъ, русскій народецъ! не любитъ умирать своею смертью! . . . Никита Волокита, сынъ его Антонъ Волокита, по прозвищу видно, что хорошіе бѣгуны. Поповъ . . . долженъ быть грамотей, ножа, я чай, не взялъ въ руки, да *проворовался благороднымъ образомъ* . . .“ [2]).

Есть другого рода обороты, стоящіе въ близкой связи съ указанными; они построены такимъ образомъ, что подготовляютъ настроеніе читателя къ одному, а ведутъ, неожиданно, разумѣется, къ совершенно другому.

Городничій говоритъ Почтмейстеру „нельзя-ли вамъ для общей нашей пользы, всякое письмо . . . знаете, этакъ *немножко распечатать* и прочитать, не содержится-ли въ немъ донесенія . . . Если же нѣтъ, то можно опять запечатать: впрочемъ можно даже и такъ отдать письмо, распечатанное“ [3]).

„Что касается до обысковъ, то здѣсь, какъ выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье . . . Онъ не измѣняясь ни въ лицѣ, ни въ вѣжливыхъ поступкахъ, приговаривалъ только: „Не угодно-ли вамъ будетъ немножко побезпокоиться и привстать“ или „не угодно-ли вамъ будетъ, сударыня, пожаловать въ другую комнату, тамъ супруга одного изъ чиновниковъ нашихъ объяснится

---

[1]) Соч. Г. IV, 426. [2]) Ib. 152. [3]) Соч. Г. III, 203.

съ вами"; или: „Позвольте, вотъ я ножичкомъ немного распорю подкладку вашей шинели" [1]).

Юморъ обнаруживается въ случаяхъ, когда Гоголь, какъ будто не желая пугать громадностью пороковъ, облекаетъ ихъ въ весьма мягкія формы, усиливая этимъ порокъ еще больше: „Чуткій носъ его (Ноздрева) слышалъ за нѣсколько десятковъ верстъ, гдѣ была ярмарка со всякими съѣздами и балами; онъ уже въ одно мгновенье ока былъ тамъ, спорилъ и заводилъ сумятицу за зеленымъ столомъ, ибо имѣлъ, подобно всѣмъ таковымъ, *страстишку къ картишкамъ*" [2]).

И рядомъ съ этимъ, какимъ нибудь эпитетомъ, самимъ по себѣ не содержащимъ усиленія, Гоголь усиливаетъ впечатлѣніе отъ отрицательной стороны: „Сосѣдъ . . . выражался о немъ лаконическимъ выраженіемъ: „Естественнѣйшій скотина" [3]).

Одно изъ важнѣйшихъ условій возбужденія смѣха заключается въ томъ, что какимъ либо привнесеніемъ новаго элемента прерывается естественная связь представленій (логическихъ ассоціацій), а привнесеніе носитъ характеръ случайности. Сюда относится, напр. сопоставленіе качествъ совершенно разнородныхъ категорій. Этотъ способъ у Гоголя всего болѣе обыченъ и особенно замѣтенъ въ пріемѣ сравненія предмета изображаемаго съ другимъ. У другихъ поэтовъ вызывается смѣхъ, когда къ сравненію привлекаются предметы изъ сферы весьма делекой отъ изображаемаго. У Свифта мы узнаемъ о сектѣ, основнымъ принципомъ которой было положеніе, что міръ есть только гардеробъ нарядовъ: „Что такое земля, въ самомъ дѣлѣ, какъ не кафтанъ съ зелеными вышивками, а море — не жилетъ водянаго цвѣта? У бука на головѣ весьма изящный парикъ, а лучше и бѣлѣе мундира

---

[1]) Соч. Г. IV, 266. [2]) Ib. 75. [3]) Ib. 315.

березы не можетъ быть ни у кого". Переходя къ душевнымъ качествамъ, Свифтъ продолжаетъ: да и религія, сама по себѣ, не тотъ-ли плащъ, а совѣсть — панталоны, которые хотя и не надѣваются для прикрытія грязи и безстыдства, однакоже легко сбрасываются, если дѣло идетъ о пользѣ той или другой". И въ меньшей степени отдаленность сравниваемыхъ предметовъ, замѣчаемая у него, все же носитъ характеръ иной, чѣмъ у Гоголя: „Офицеръ въ отставкѣ произноситъ конституціонныя выраженія, но онъ вставляетъ ихъ не понимая, куда попало, лишь бы они придавали фразѣ звучность, какъ тотъ лакей, который развѣшивая географическія карты въ кабинетѣ джентельмена, нѣкоторыя прибивалъ бокомъ, другія вверхъ ногами, лишь бы не испортить симметріи" (Это отчасти соотвѣтствуетъ Гоголевскому „лишь бы горячо"). Въ такомъ же, или почти въ такомъ-же родѣ у Диккенся, у Мольера, у другихъ большихъ юмористическихъ писателей европейскихъ; о Рабелэ и говорить нечего.

У Гоголя не то. У него въ большинствѣ случаевъ образы сравненія взяты изъ сферы ближайшей; очень часто изъ жизни, отрицательныя стороны которой служатъ ему предметомъ сатиры. Рѣдко встрѣтить, напр. у него такой образъ (рѣчь идетъ о чрезвычайно „приличномъ" поведеніи Чичикова у Тѣнтѣтникова): „. . . Съ удовольствіемъ молчалъ. Въ то время, когда первый пускалъ кудреватыми облаками трубочный дымъ, другой, не куря трубки, придумывалъ соотвѣтствовавшее тому занятіе: вынималъ, напримѣръ, изъ кармана серебряную съ чернью табакерку и утвердивъ ее между двухъ пальцевъ лѣвой руки, оборачивалъ ее быстро пальцемъ правой, въ подобье того, *какъ земная сфера обращается около своей оси*" [1]).

У него рѣдки и не столь отдаленныя сравненія, напр.: „Поваръ тамъ, можете себѣ представить, иностранецъ, фран-

---

[1]) Соч. Г. IV, 342.

цузъ этакой съ открытой физіогноміею, бѣлье на немъ голландское, *фартукъ бѣлизною равный снѣгамъ*“ [1]). „Орлиный глазъ его, *какъ вечерѣющее солнце*, начиналъ жмуриться и меркнуть“ [2]). „У него была зрѣлая дочь, съ лицомъ, похожимъ на то, какъ будто бы на немъ *по ночамъ происходила молотьба гороху*“ [3]).

Считая внѣ сомнѣнія, что всякія метафоры, аллегоріи и т. п. фигуры имѣютъ въ основаніи сравненіе, я отмѣчаю только типичныя, полныя сравненія Гоголевскія, т. е. главнымъ образомъ такія, которыя выражаются посредствомъ союза: „какъ“ или „какъ-такъ“. Сюда, стало быть не войдутъ такія, какъ напр.: „полицеймейстеръ-чудотворецъ“ („ему стоитъ только мигнуть, проходя мимо рыбнаго ряда или погреба, такъ мы, знаете-ли какъ, закусимъ!“) [4]), или „баринъ-арбузъ“ (Петръ Петровичъ Пѣтухъ).

Какъ сказано, Гоголь привлекаетъ для сравненія предметы и явленія изъ самой обыденной жизни, самые простыя. Сама простота сравненія и служитъ, между прочимъ, психологическимъ основаніемъ смѣха, — у Гоголя, по крайней мѣрѣ. Увѣряя, что продажа пшеницы будетъ плохая, Черевикъ („Сорочинской ярмарки“) говоритъ: „Я готовъ вскинуть на себя петлю и болтаться на этомъ деревѣ, какъ колбаса передъ Рождествомъ на хатѣ, если мы продадимъ хоть одну мѣрку“ [5]). „Морозъ увеличился . . . чортъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое . . . Не мудрено, однакожъ, и зябнуть тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, и гдѣ, надѣвши колпакъ и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ дѣлѣ кухмистръ, поджаривалъ онъ грѣшниковъ съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ обыкновенно баба жаритъ на Рождество колбасу“ [6]). „Козаки наши ѣхали бы и далѣе, если бы въ полѣ не стало такъ темно, какъ подъ овчиннымъ

---

[1]) Ib. 307. [2]) Соч. Г. II, 72. [3]) Соч. Г. IV, 259. [4]) Соч, Г. IV, 165. [5]) Соч. Г. II, 18. [6]) Ib. 117.

тулупомъ“ [1]). „Это вздорное, повидимому, происшествіе замѣтно разстроило нашего героя. Онъ сталъ чувствовать себя неловко, неладно, точь-въ-точь, какъ будто прекрасно вычищеннымъ сапогомъ вступилъ вдругъ въ грязную, вонючую лужу . . .“ [2]). „На душѣ было такъ тяжело, какъ будто на тебя взвалилъ кто дохлую корову“.

Раньше, по поводу сравненій вообще, я указывалъ особенность Гоголя; она заключается въ сопоставленіи состоянія душевнаго съ состояніемъ душевнымъ другой категоріи, болѣе доступной. Здѣсь принципъ сохраненъ тотъ-же; только привлекаются для сравненія состоянія, не имѣющія никакихъ точекъ прикосновеній съ изображаемыми, а потому неожиданныхъ для мысли, а потому юмористичныхъ.

Вотъ рядъ сравненій, имѣющихъ все одинъ и тотъ же основный характеръ, хотя видовыхъ особенностей множество. Интересно, что этотъ пріемъ сравненій отличаетъ Гоголя и въ тѣхъ наброскахъ, которыя затѣмъ не вошли въ окончательную редакцію. Въ „Женитьбѣ“ сваха увѣряетъ невѣсту: „Ну, да за то ужъ могу похвастаться, какихъ я тебѣ жениховъ припасла! Вотъ какъ орѣхи каленые, всѣ на подборъ: одинъ другого лучше“ [3]). Трудно опредѣлить, по какой причинѣ это сравненіе не получило мѣста въ напечатанной комедіи, оно совершенно совпадаетъ съ духомъ и направленіемъ всѣхъ другихъ сравненіи. „Надобно сказать, что палатскіе чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразіемъ. У иныхъ были лица — точно дурно выпеченный хлѣбъ: щеку раздуло въ одну сторону, подбородокъ покосило въ другую, верхнюю губу взнесло пузыремъ . . . словомъ совсѣмъ не красиво“. [4]). „Подъѣзжая къ крыльцу, замѣтилъ онъ выглянувшія изъ окна два лица; женское, въ чепцѣ, узкое, длинное, какъ огурецъ, и мужское, круглое,

[1]) Ib. 94. [2]) Соч. Г. IV, 194. [3]) Соч. Г. III, 436. По образцу: „бабенка какъ рѣпа“. [4]) Соч. Г. IV, 258.

широкое, какъ молдаванскія тыквы“ [1]). „Вся дворня была безъ ума отъ него, не смотря, что лицо его и окладомъ совершенно походило на бутылку“ [2]). „Облака дыма быстро разрастались надъ нимъ, одѣвая его въ сизый туманъ. Казалось, будто широкая труба съ какой нибудь винокурни, наскуча сидѣть на своей крышѣ, задумала прогуляться и чинно усѣлась за столомъ“ [3]). „Генералъ, понимаете, больше ничего, какъ только взглянулъ, а взглядъ — огнестрѣльное оружіе“ [4]). „Въ заключеніе всего онъ (Чичиковъ) высморкался въ бѣлый батистовый платокъ, какъ Андрей Ивановичъ еще не слыхивалъ. Подчасъ попадается въ оркестрѣ такая пройдоха-труба, которая когда хватитъ, покажется, что крякнуло не въ оркестрѣ, но въ собственномъ ухѣ: точно такой-же звукъ раздался въ пробужденныхъ покояхъ дремавшаго дома“ [5]).

Указывая на юмористическія изображенія внѣшности, умѣстно замѣтить слѣдующее: Извѣстно, что смѣхъ возбуждается въ насъ, между прочимъ, когда при встрѣчѣ съ лицомъ обнаруживается несоотвѣтствіе между нимъ и тѣмъ нашимъ представленіемъ о лицѣ, съ которымъ мы сжились. Поэтому-то мы смѣемся при недостаткѣ физическаго свойства: слишкомъ объемистое тѣло, слишкомъ маленькій носъ. Замѣчательно, что юморъ Гоголя не останавливается вовсе на такихъ недостаткахъ физическихъ, если съ ними не соединяется уродство нравственнаго свойства (голова, напоминающая рѣдьку; лицо, какъ дурно выпеченный хлѣбъ; хромота полицейскаго, „берущаго крыльцо приступомъ“). Вотъ образчикъ недостатка: „У судьи губы находились подъ самымъ носомъ, и оттого носъ его могъ нюхать верхнюю губу, сколько душѣ было угодно. Эта губа служила ему вмѣсто табакерки, потому что табакъ, адресуемый въ носъ, почти всегда сѣялся на нее. [6]) и т. п. Всѣ они сопро-

---

[1]) Ib. 102. [2]) Соч. Г. I, 56. [3]) Соч. Г. II, 72. [4]) Соч. Г. IV, 309. [5]) Ib. 339. [6]) Соч. Г. II, 548.

вождаются непремѣнно соотвѣтственнымъ уродствомъ нравственнымъ. Этого требовали и тѣ законы художественные, по которымъ форма соотвѣтствуетъ содержанію: обжору всего художественнѣе было изобразить въ видѣ толстаго огромнаго шара (Пѣтуха) такъ какъ идея объ обжорѣ не такъ легко связывается, напр., съ человѣкомъ худой комплексіи. Грубость нравственная нашла соотвѣтствующую форму въ образѣ грубомъ, неуклюжемъ, неповоротливомъ (Собакевича) и т. п. Вотъ почему мы встрѣчаемъ, что всѣ лица сравниваются Гоголемъ съ предметами, не соотвѣтствующими нашимъ представленіямъ объ изяществѣ, о красотѣ:

„Харя вся въ морщинахъ, будто выпорожненный кошелекъ“ [1]), — сравненіе, которое стоитъ въ полномъ соотвѣтствіи съ основными чертами носителя этого лица: кабатчикъ только о деньгахъ и думаетъ. Вотъ изображеніе лица, еще ближе стоящее въ соотвѣтсвіи съ владѣльцемъ его: „Въ окнѣ помѣщался сбитеньщикъ съ самоваромъ изъ красной мѣди и лицомъ такъ-же краснымъ, какъ самоваръ, такъ что издали можно было бы подумать, что стояло два самовара, если бы одинъ самоваръ не былъ съ черною какъ смоль бородою“ [2]).

Изобразительность при сравненіяхъ юмористическихъ не только не страдаетъ, а, напротивъ, становится средствомъ необыкновенно вѣрнаго воспріятія главнаго свойства лица, или момента дѣйствія. Если Гоголь рисуетъ позу, то для этого ему достаточно одного штриха, и передъ нами какъ изваянный стоитъ человѣкъ: „Посѣменивши съ довольно ловкими поворотами направо и налѣво, онъ (Чичиковъ) подшаркнулъ тутъ же ножкой, въ видѣ *коротенькаго хвоста*, или *на подобіе запятой*“ [3]). Ничего не остается прибавить къ этому рисунку. Чичиковская фигура вся тутъ.

---

1) Ib. 74. 2) Соч. Г. IV, 4. 3) Ib. 184.

Тотъ-же юморъ обнаруживаетъ Гоголь при изображеніи предметовъ. Тогда замѣчается обыкновенно извѣстнаго рода связь, устанавливаемая имъ между даннымъ предметомъ и какой нибудь отрицательной стороной владѣльца предмета, или людей, близко стоящихъ къ нему; въ другихъ случаяхъ предметъ изображается въ обычномъ свѣтѣ положительныхъ или отрицательныхъ свойствъ. Весьма обычна характеристика признака при помощи сравненія предмета со свойствомъ человѣка.

Предлагаю рядъ образцовъ различныхъ категорій:

„Въ отдаленныхъ улицахъ города дребезжалъ весьма странный экипажъ, наводившій недоумѣніе на счетъ своего названія. Онъ былъ похожъ ни на тарантасъ, ни на коляску, ни на бричку, а былъ скорѣе похожъ на толстощекій выпуклый арбузъ, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, затворялись плохо". „... Арбузъ былъ наполненъ ситцевыми подушками ... Напичканъ мѣшками ..." „Ворота наконецъ *проглотили* это неуклюжее произведеніе" [1]). Образъ весь выдержанъ, даже *съѣденъ* арбузъ этотъ. Читатель, помня образъ Коробочки и ея образъ жизни, найдетъ не мало чертъ въ этомъ „арбузѣ", обусловливаемыхъ характеромъ его владѣлицы [2]).

„Хата ихъ была вдвое старѣе шароваръ волостного писаря", говорится о жилищѣ кумовой жены (въ „Ночи передъ рождествомъ"), пресмыкавшейся у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ и „дравшейся только по утрамъ со своимъ мужемъ, потому что въ это время и видѣла только его" [3]).

„... Сюртукъ вообще ... производитъ въ селахъ ... удивительное вліяніе; ... всѣхъ сюртуковъ считалось въ селѣ

---

[1]) Соч. Г. IV, 197—198. [2]) Сравненіе съ арбузомъ оцѣнятъ лучше тѣ, которые имѣли случай видѣть арбузы непомѣрной величины въ самой Малороссіи. Въ другомъ мѣстѣ арбузъ сравнивается Гоголемъ именно съ дилижансомъ: „Пройдетъ-ли мимо Милютинскихъ лавокъ ... арбузъ — громадище, дилижансъ этакой, высунулся изъ окопъ". Соч. Г. IV, 228. [3]) Соч. Г. II, 139.

три; но какъ величественная тыква гордо громоздится и заслоняетъ прочихъ поселенцевъ богатой бакши (нивы, засѣянной арбузами, дынями, тыквами и т. п.), такъ и сюртукъ нашего пріятеля затемнялъ прочихъ собратьевъ своихъ". Такъ рисуется костюмъ щеголеватаго наставника юношества въ повѣсти „Страшный кабанъ" [1]), достаточно мѣтко характеризующей послѣдняго, этого свѣтилу, передъ которымъ прочія лица стояли „какъ всѣ строенія, казалось, пресмыкались передъ чуднымъ зданіемъ съ великолѣпнымъ его фронтономъ" [2]).

На мундирѣ Городничаго, бравшаго крыльцо съ бою приступомъ, „посажено было восемь пуговицъ; девятая, какъ оторвалась во время процессіи при освященіи храма назадъ тому два года, такъ до сихъ поръ десятскіе не могутъ отыскать . . . Эти восемь пуговицъ были насажены у него такимъ образомъ, *какъ бабы садятъ бобы:* одна направо, другая налѣво [3]). Сравненіе и въ этомъ случаѣ, хотя не вполнѣ ясно, основано на томъ-же принципѣ: выставляется на видъ безпорядокъ, какъ признакъ городничаго.

Вотъ образчикъ положенія предметовъ, юмористично представленнаго при помощи сравненій.

Баба выносила залежалое платье и развѣшивала его провѣтривать: „Старый мундиръ съ изношенными обшлагами протянулъ на воздухъ рукава и обнималъ парчевую кофту" [4]). Въ другомъ мѣстѣ показывался какой нибудь „инвалидъ-горшокъ, которому не смотря на раны и увѣчье не даютъ отставки и, въ награду за ревностную службу, наливаютъ помоями" [5]) — это изображаетъ обстановку бѣдноты. „Трехугольные столики по угламъ, четырехугольные передъ диваномъ и зеркаломъ въ тоненькихъ золотыхъ рамахъ . . . которыя мухи усѣяли черными точками; передъ диваномъ коверъ съ птицами, похожими на цвѣты и цвѣтами, похожими на птицъ" [6])

---

[1]) Соч. Г. I, 55. [2]) Ib. 58. [3]) Соч. Г. II, 559. [4]) Соч. Г. II, 531. [5]) Соч. Г. I, 61. [6]) Соч. Г. II, 247.

— обстановка старосвѣтскихъ помѣщиковъ. „Бульба и Янкель пришли къ строенію, имѣвшему видъ сидящей цапли: оно было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня . . .“ [1]). „Чичиковъ увидѣлъ въ рукахъ его графинчикъ, который былъ весь въ пыли, какъ въ фуфайкѣ“ [2]). Свѣтлица Тараса Бульбы содержитъ въ себѣ посрединѣ „печь, разъѣхавшаяся на полкомнаты, какъ толстая русская купчиха“ [3]). „Повалился на постель, и казалось огромная перина легла на другую [4]). „Черные фраки мелькали и носились врозь и кучами тамъ и тамъ, какъ носятся мухи“ [5]). И тысяча подобныхъ другихъ, которыхъ нѣтъ возможности перечислить, напр. по образцу: „За два рубля въ сутки проѣзжающія получаютъ покойную комнату съ тараканами, выглядывающими какъ черносливъ, изъ всѣхъ угловъ . . .“.

Скажу еще нѣсколько словъ о сравненіяхъ при изображеніи чувствъ, ощущеній, нравственныхъ свойствъ.

Гоголь повѣствуетъ о томъ, какъ все, что нибыло подъ начальствомъ вновь назначеннаго генерала начальника сдѣлалось страшными гонителями неправды: Вездѣ во всѣхъ дѣлахъ они преслѣдовали ее, какъ „рыбакъ острогой преслѣдуетъ какую-нибудь мясистую бѣлугу . . .“ [6]).

Рисуя душевное настроеніе Чичикова послѣ пережитыхъ имъ „страданій“, Гоголь говоритъ: „Это была какая то развалина прежняго Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояніе души съ разобраннымъ строеніемъ, которое разобрано съ тѣмъ, чтобы строить изъ него же новое, а новое еще не начиналось, потому что не пришелъ отъ архитектора опредѣлительный планъ“ [7]).

---

[1]) Ib. 465. [2]) Соч. Г. IV, 138. [3]) Соч. Г. II, 405. [4]) Ib. 212. [5]) Соч. Г. IV, 11. [6]) Ib. 263. [7]) Соч. Г. IV, 461.

„Иванъ Ивановичъ имѣетъ необыкновенный даръ говорить чрезвычайно пріятно . . . Это ощущеніе можно сравнить только съ тѣмъ, когда у васъ ищутъ въ головѣ или потихоньку проводятъ пальцемъ по вашей пяткѣ“ [1]). „Пріятно, какъ сонъ послѣ купанья“ [2]).

„Мачиха, выучившаяся держать его отца въ рукахъ такъ-же ловко, какъ онъ возжи своей старой кобылы“ [3]).

Гораздо чаще берутся Гоголемъ для сравненія явленія изъ жизни, окружавшей его, изъ сферы, противъ которой онъ направлялъ свой острый юморъ.

Когда Петру Петровичу Пѣтуху хочется окончательно убѣдить Чичикова съѣсть еще вкусныхъ блюдъ, а Чичиковъ отвѣчаетъ, что онъ не можетъ, что „не взойдетъ, нѣтъ мѣста“, Пѣтухъ отвѣчаетъ: „Да вѣдь и въ церкви не было мѣста, взошелъ городничій — нашлось. А была такая давка, что и яблоку негдѣ было упасть. Вы только попробуйте: этотъ кусокъ тотъ-же городничій“. „Побробовалъ Чичиковъ — дѣйствительно, кусокъ былъ въ родѣ городничаго: нашлось ему мѣсто . . .“ [4]).

Нужды нѣтъ, что Щепкинъ передалъ ему разсказъ о городничемъ, которому нашлось мѣсто, и о сравненіи его съ лакомымъ кускомъ, попадающимъ въ полный желудокъ, — анекдотъ художественно вставленъ въ разсказъ, по Гоголевски; художникъ претворилъ его въ свой собственный образъ.

„Иной, напримѣръ, даже человѣкъ въ чинахъ . . . со звѣздой въ груди . . . разговорится съ вами о предметахъ, глубокихъ, вызывающихъ на размышленіе, а потомъ, смотришь, и тутъ-же, передъ вашими глазами нагадитъ вамъ, и нагадитъ такъ, какъ простой коллежскій регистраторъ, а вовсе не такъ, какъ человѣкъ со звѣздой на груди . . .“ [5]). Здѣсь двойной юморъ — сравнивается лицо съ самимъ собою такъ ловко, какъ будто оно — не оно.

---

[1]) Соч. Г. II, 528. [2]) Ib. [3]) Ib. 13. [4]) Соч. Г. IV, 521. [5]) Ib. 76.

„Его (Чичикова) воротникъ, какъ Хамелеонъ, мѣняетъ свой цвѣтъ каждую минуту отъ температуры, но онъ самъ не измѣненъ, какъ его канцелярскій порядокъ“ [1]).

„Кропи ихъ дождь, за все: за наглое безстыдство плутовской бороды . . . но ихъ не пройметъ оплеуха квартальнаго надзирателя, — что же можетъ дѣлать дождь?“ [2]).

„Онъ (Чичиковъ) спѣшилъ не потому, что боялся опоздать, — опоздать онъ не боялся, ибо предсѣдатель былъ человѣкъ знакомый и могъ продлить и укоротить, по его желанію, присутствіе, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи . . .“ [3]).

Гете говоритъ: Niemand hört, als was er weiss, Niemand vernimmt, als was er empfinden, imaginiren und denken kann. Это положеніе несомнѣнно вѣрно, если держаться психологическаго закона, по которому привходить въ сознаніе можетъ новое не иначе, какъ связываясь съ тѣмъ, что въ сознаніи лежитъ уже готовымъ. Съ этой точки зрѣнія могутъ казаться необъяснимыми иныя сопоставленія, дѣлаемыя въ случаяхъ, когда сравненіемъ хотимъ сдѣлать предметъ или явленіе болѣе понятнымъ. Въ природѣ нѣтъ такихъ явленій, какія изображаются гиперболически.

Не входя въ историко-психологическій анализъ происхожденія этой фигуры, отмѣчу, однако, что употребляя эту форму въ обыденной рѣчи, мы дѣлаемъ это совершенно безсознательно: мы ищемъ ближайшаго пути для выхода, когда требуется освобожденія отъ волнующей насъ мысли. Это имѣетъ мѣсто въ случаяхъ чрезвычайныхъ, когда нѣтъ времени останавливаться на выраженіяхъ, или отыскивать ихъ. Мысль просится наружу; окрашенная чувствомъ, она хватается за первое попавшееся слово, могущее выразить силу,

---

1) Соч. Г. I, 108. 2) Ib. 3) Соч. Г. IV, 154.

интензивность сопровождающаго мысль чувства. Если бы слóва не было, мы выразили бы это въ соотвѣтствующемъ движеніи, очень сильномъ; мы и теперь крикомъ, напримѣръ, усиливаемъ впечатлѣніе, или ударомъ рукою по столу; мы какъ будто этимъ ближе и скорѣе достигаемъ цѣли. „Ты *вѣчно* противорѣчишь мнѣ", „Ты *никогда* не слушаешься" говорятъ, когда желаютъ обобщить повторяющееся непослушаніе. Неудивительно, что преувеличеніями кишитъ наша рѣчь: „Я тебѣ *тысячу разъ* это говорилъ". Но, спрашивается, какимъ образомъ создаются гиперболы писателями, которые работаютъ надъ своимъ стилемъ, которые знаютъ, что каждое слово подвергается разбору и читающаго.

Отвѣтомъ можетъ служить отчасти указаніе на основаніе историко-психологическое, о которомъ говорилось въ началѣ книги: сила преданія, традиціонная условность, безсиліе писателя отрѣшиться отъ обязательныхъ формъ, выработанныхъ самимъ языкомъ. Гиперболы живутъ съ тѣхъ поръ, какъ живетъ языкъ, съ тѣхъ поръ какъ человѣкъ ищетъ выраженія необычныхъ чувствъ восторга, ужаса, горя, отчаянія.

Поэтъ, писатель, какъ мы видѣли, преобразовываетъ, видоизмѣняетъ, но вновь не создаетъ; — не создаетъ онъ и гиперболовъ, хотя даетъ образы гиперболическіе.

Гиперболическіе образы сравненія Гоголя отличаются замѣчательною оригинальностью; они естественны и правдивы, при всемъ кажущемся несоотвѣтствіи между сравниваемыми предметами.

„Оба (Селифанъ и Петрушка) заснули въ ту же минуту, поднявши *храпъ неслыханной густоты*" [1]). Юморъ, такъ сказать двойной: сочетаніе словъ „неслыханной" съ „густотою" и самое слово „густота", несоотвѣтствующее представленію о „храпѣ". Въ такомъ же родѣ, обычные у Гоголя: „Всѣ эти

---

[1]) Соч. Г. IV, 170.

герои были съ такими толстыми ляжками и *неслыханными усами,* что дрожь проходила по тѣлу“ [1]). „Я тебѣ продалъ такую пару (собакъ брудастыхъ), просто — морозъ по кожѣ подираетъ!... бочковатость ребръ *уму непостижимая*“ [2]). „Оно (мыло), дѣйствительно, имѣло свойство сообщать *непостижимую нѣжность* и бѣлизну щекамъ изумительную“ [3]). „Съ *глазами,* какими сколько мнѣ извѣстно, *ни одинъ герой въ лѣтописяхъ романовъ не былъ одаренъ*“ [4]). „Домъ на набережной ... полутора-саженныя зеркала, мраморы ... *словомъ ума помраченія*“ [5]). „Въ нарядахъ ихъ вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи... Легкій головной уборъ держался только на одних ушахъ ... таліи были обтянуты ... только мѣстами вдругъ высовывался какой нибудь *невиданный землею чепецъ*“ [6]). „Сестрѣ я прислала матерінку: это такое очарованіе, котораго просто нельзя выразить словами. Вообразите себѣ: полосочки узенькія-узенькія, *какія только можетъ представить воображеніе человѣческое* ... глазки и лапки ... можно сказать рѣшительно, что *ничего еще не было подобнаго на свѣтѣ*“ [7]).

При формахъ сравненія гиперболическихъ — тѣ-же пріемы. — Рисуя ужасъ, оковавшій всѣхъ при появленіи свиной рожи во время разсказа о чортѣ, Гоголь говоритъ: „Какъ полоумный бѣжалъ (Черевикъ) по улицамъ, не видя подъ собою земли ... *сердце его колотилось, какъ мельничная ступа; потъ лилъ градомъ*“ [8]).

Равнымъ образомъ при описаніи физическаго ощущенія: „Въ животѣ такая трескотня, говоритъ Осипъ, *какъ будто бы цѣлый полкъ затрубилъ въ трубы*“ [9]), а дьячокъ, наоборотъ (въ повѣсти „Заколдованное мѣсто“), разсказываетъ, вспоминая прошлую жизнь, „бывало наѣшься въ день столько огурцовъ, дынь, рѣпы, ... что *въ животѣ, ей Богу, какъ будто*

---

1) Ib. 103. 2) Ib. 87 3) Ib, 425. 4) Соч. Г. I, 56. 5) Соч. Г. IV, 226. 6) Ib. 181—182. 7) Ib. 202. 8) Соч. Г. II, 31. 9) Соч. Г. III, 212,

пѣтухи кричатъ“ [1]). Ноздревъ говоритъ еще нагляднѣе о своемъ состояніи послѣ безсонной ночи. „Такая мерзость лѣзла всю ночь, что гнусно разсказывать; и во рту послѣ вчерашняго дня *точно эскадронъ переночевалъ*“ [2]).

Изображая предметы юмористически, Гоголь идетъ все по тому-же направленію, гипперболизируя объемъ, величину, размѣръ и т. д. „Дивно устроенъ свѣтъ нашъ!“ . . . Тотъ имѣетъ отличнаго повара, но, къ сожалѣнію, такой маленькій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ не можетъ пропустить; другой имѣетъ ротъ *величиною въ арку Главнаго Штаба*, но, увы, долженъ довольствоваться обѣдомъ изъ картофеля“ [3]). „У Ивана Ивановича шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помѣстить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ“ [4]). „Его посадили за столъ, длиною, можетъ, отъ Конотопа до Батурина“ [5]).

Отдѣльныхъ моментовъ подобныхъ — на каждомъ шагу, примѣровъ нѣтъ надобности увеличивать. Гоголь не знаетъ преграды въ образованіи фигуръ, но каждый разъ они характерны въ смыслѣ изображенія господствующаго признака. Если онъ говоритъ по поводу того, что вздумалось Петрусю „влѣпить поцѣлуй“ Пидоркѣ: „отцу почудился поцѣлуй громче, чѣмъ ударъ макогона объ стѣну, которымъ въ наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за неимѣніемъ фузій и пороха“ [6]), то онъ въ сущности, какъ во всѣхъ случаяхъ, *увеличиваетъ* размѣръ, чтобы рельефнѣе и ярче выдвинуть преобладающій въ предметѣ или явленіи признакъ. Этимъ собственно гипперболы Гоголя отличаются отъ подобныхъ образовъ другихъ художниковъ-юмористовъ, которые *преувеличиваютъ* на самомъ дѣлѣ.

Гоголь, можно сказать, преисполненъ пристрастія къ подобнымъ гипперболамъ; онъ пускаетъ всѣ средства усп-

[1]) Соч. Г. II, 233. [2]) Соч. Г. IV, 90. [3]) Соч. Г. I, 311. [4]) Соч. Г. II, 529. [5]) Ib. 98. [6]) Ib. 46.

ленія — пространства, времени, числа, объема, мѣры — чтобы возбудить чувство, соотвѣтствующее его чувству Но предметы, привлекаемые для сравненія, всегда имѣютъ признакъ хотя субъективный, но общій съ предметами изображаемыми; глазъ не всегда можетъ обнять ихъ: ротъ — съ арки Главнаго Штаба; шаровары — съ Черное море; и т. д. но все же объемъ предмета можно себѣ представить легко; у другихъ нѣтъ этого чувства мѣры. Когда Санчо Пансо требуетъ отчетъ о 100 золотыхъ, его желудокъ оказывается въ бѣдственномъ положеніи: „если-бы не нѣсколько глотковъ хорошаго вина, взятые мною, желудокъ высохъ бы до такой степени, что какъ нитку меня можно было продѣть черезъ иголку“. Здѣсь юморъ почти исчезаетъ, вслѣдствіе крайности преувеличенія; но если Гоголь говоритъ: „Здѣсь вы встрѣтите такія таліи... тоненькія, узенькія, таліи, никакъ не толще бутылочной шейки...“ [1]), то тонкость таліи вставлена въ естественныя предѣлы сравненія — такъ какъ соблюдена пропорціональность отношенія между предметами, и смѣхъ неминуемъ.

Рабелэ завидуетъ господамъ, не нуждающимся въ портныхъ; у нихъ уши такъ велики, что одно можно превратить въ панталоны, сюртукъ и жилетъ, а изъ другого легко сдѣлать шинель. Смѣха это мѣста не вызываетъ, вслѣдствіе преувеличенія искаженія.

На гипперболахъ не юмористическихъ нагляднѣе становится различіе въ способахъ изображеній. Поэты говорятъ о предметѣ болѣе, чѣмъ сами знаютъ о немъ, или чѣмъ сами могутъ вѣрить въ то что говорятъ, а при этихъ условіяхъ представить себѣ что либо опредѣленнаго нельзя. Не говорю о многихъ случаяхъ, зависящихъ отъ свойствъ языка: нѣмецкое *allerschneeweisseste* — для обозначенія бѣлизны руки, совер-

---

[1]) Соч. Г, I, 277.

шенно не возможно у Гоголя; Du bist die meinigste, ich bin die deinigste — также не мыслимы въ русской рѣчи.

Къ фигурамъ поэтическимъ слѣдуетъ, разумѣется, отнести и аллегоріи. Частью они построены на народныхъ рѣченіяхъ, частью оригинальны. Первыхъ довольно много, и они характеризуютъ Гоголя со стороны близости его стиля къ языку народному. На вопросъ, обращенный къ винокуру, скоро-ли онъ поставитъ винокурню, онъ отвѣчаетъ: „На Покровъ, бьюсь объ закладъ, что панъ-голова будетъ писать ногами нѣмецкіе крендели по дорогѣ“[1]). Но личность Гоголя сказывается очевидно, когда онъ на этой народной почвѣ строитъ самъ: „Продавица бубликовъ, которой подвижная лавка была рядомъ съ яткою шинкарки, *раскланивалась* весь день безъ надобности и *писала ногами совершенное подобіе своего товара*“ [2]). „Ноги его не могли держаться на одномъ мѣстѣ . . . и *косвенными шагами пустился бѣжать*“ [3].

„Ректоръ и профессоръ не жалѣли лозъ и плетей, и . . . пороли такъ жестоко, что нѣсколько недѣль *почесывали свои шаровары*“ [4]), преобразовано изъ простонародной аллегоріи, всѣмъ извѣстной. „Другимъ сильно надоѣдали такія *безпрестанныя припарки* и они убѣгали въ Запорожьѣ“ [5]), также показываетъ способъ преобразованія народнаго остроумія; а слѣдующая, напр. фигура, хотя переведена съ малороссійскаго, но представляется вполнѣ оригинальной порусски: „Подлецъ ты, вскрикнулъ Чичиковъ, всплеснувъ руками и подошелъ (къ Селифану) такъ близко, что Селифанъ изъ боязни, чтобы не *получить отъ барина подарка*, попятился нѣсколько назадъ“ [6]). По малороссійски „гостінець“ — подарокъ, и употребляется аллегорически вмѣсто ударовъ: „всиплю гостін-

---

[1]) Соч. Г. II, 73. [2]) Ib. 26. [3]) Ib. 67. [4]) Ib. 283. [5]) Ib. [6]) Соч. Г. IV, 243—244.

цевъ". Близко къ этой аллегоріи стоитъ: „Онъ снялъ со стѣны дѣдовскую нагайку и уже хотѣлъ было *покропить* ею *спину* бѣднаго Петра" [1]).

Другого рода образцы аллегоріи: „Руки у полицейскихъ служителей всегда нѣсколько *отзываются топорной работой*" [2]). „Онъ начиналъ было подозрѣвать, не было-ли со стороны Чичикова какой нибудь *фабрикаціи относительно завѣщанія*" [3]). „Многіе были вновь приняты на службу. Но Чичиковъ ... не могъ втереться; какъ ни старался и ни стоялъ за него *подстрекнутый письмами князя Хаванскаго* первый генеральскій секретарь, постигнувшій совершенно управленіе генеральскимъ носомъ" [4]). (Сравни: „Какъ только приходилъ проситель и засовывалъ руку въ карманъ, съ тѣмъ, чтобы вытащить оттуда извѣстныя рекомендательныя письма за подписью князя Хованскаго") [5]). „Онъ хотѣлъ побѣдить въ душѣ своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказалъ: „Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна! Вы, вѣрно, вмѣсто декохта, чтó часто пьете, *выпили персиковой*" [6]).

Въ большомъ обиліи въ ряду аллегорій и такія, которыя даютъ намекъ на что-то. „Въ нравахъ дамы были строги, ... если-же между ними происходило какое-нибудь то, что называютъ *другое-третье*, то оно происходило втайнѣ ... и самый мужъ, если видѣлъ *другое-третье*, то отвѣчалъ: „*кому какое дѣло, что кума съ кумомъ сидѣла*" [7]).

О фигурѣ, называемой ироніею, говорить много незачѣмъ. Она, являясь въ исключительныхъ случаяхъ, вращается въ сферѣ недостатковъ, обусловливаемыхъ тѣми отрицательными сторонами, какія Гоголь изобличалъ, хотя пріемы и

---

[1]) Соч. Г. II, 47. [2]) Соч. Г. I, 178. [3]) Соч. Г. IV, 426. [4]) Ib. 263. [5]) Ib. 260. [6]) Соч. Г. II, 260. [7]) Соч. IV, 176.

здѣсь не совсѣмъ обыкновенные, и не всѣ случаи подходятъ подъ то опредѣленіе ироніи, къ которой мы привыкли. Сравнительно весьма мало такихъ, въ которыхъ выраженіе должно обозначать нѣчто противоположное значенію даннаго слова. Въ одномъ мѣстѣ, „Портрета", гдѣ говорится о томъ, что Чертковъ подкупилъ полицейскаго „съ руками топорной работы" мы читаемъ: „Физіогномія въ одну минуту измѣнилась у *достойнаго* блюстителя за нравами пьяныхъ извощиковъ"[1]). Изображая шествіе Чичикова и Манилова для совершенія купчей на мертвыя души, Гоголь говоритъ: „Во взаимныхъ услугахъ они дошли наконецъ до площади, гдѣ находились присутственныя мѣста — большой трехъ-этажный домъ, весь бѣлый какъ мѣлъ, вѣроятно для изображенія *чистоты душъ* помѣщавщихся въ немъ должностей"[2]). „Губернатору намекнулъ Чичиковъ вскользь, что въ его губернію въѣзжаешь какъ въ рай, дороги вездѣ бархатные"[3]). „Какіе то философы изъ гусаръ . . . да промотавшійся игрокъ затѣяли какое то филантропическое общество, подъ верховнымъ распоряженіемъ плута . . . общество было устроено съ необыкновенно обширной цѣлью — доставить счастье всему человѣчеству"[4]). Изобразивши день, проведенный Афанасіемъ Ивановичемъ и Пульхеріею Ивановной, Гоголь продолжаетъ: „Послѣ ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворилась въ этомъ *дѣятельномъ* уголкѣ"[5]). Во время собранія чиновниковъ (послѣ совершенія купчей) у Чудотворца-Полиціимейстера, когда послѣ шампанскаго, раскупорили венгерское, развеселившее общество, всѣ спорили, кричали, говорили о политикѣ, объ военномъ даже дѣлѣ, излагали вольныя мысли . . . „рѣшили тутъ-же множество *самыхъ затруднительныхъ* вопросовъ"[6]).

Такихъ образовъ, повторяю, весьма мало. Гораздо чаще встрѣчаются цѣлые образы, какъ воспроизведеніе того, что на

---

[1]) Соч. Г. I, 178. [2]) Соч. Г. IV, 156. [3]) Соч. Г. IV, 9. [4]) Ib. 338. [5]) Соч. Г. II, 252. [6]) Соч. Г. IV, 169.

самомъ дѣлѣ было, но что само по себѣ, какъ проявленіе положительной стороны, принимаетъ въ данномъ случаѣ характеръ стороны осмѣиваемой, какъ несоотвѣтствующей строю лица изображаемаго. Ноздревъ говоритъ Чичикову: „Ну да вѣдь я знаю тебя, ты вѣдь большой мошенникъ — позволь мнѣ это сказать тебѣ по дружбѣ! Ежели бы я былъ твоимъ начальникомъ, я бы тебя повѣсилъ на первомъ деревѣ". Гоголь замѣчаетъ при этомъ: „Чичиковъ оскорбился такимъ замѣчаніемъ. Уже всякое выраженіе сколько нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему непріятно" [1]). „Иванъ Ивановичъ чрезвычайно тонкій человѣкъ и въ порядочномъ разговорѣ никогда не скажетъ неприличнаго слова и тотъ-часъ обидится если услышитъ его" [2]).

Разсказавши, что Чичиковъ пристроился къ коммиссіи построеній, гдѣ и онъ оказался однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ, о томъ, что шесть лѣтъ возились около зданія, что оно не шло выше фундамента, тогда какъ у каждаго изъ членовъ очутилось по дому, Гоголь говоритъ: „Тутъ только и теперь только сталъ Чичиковъ понемногу выпутываться изъ подъ суровыхъ законовъ воздержанія и неумолимаго своего самоотверженія. Тутъ только долговременный постъ, наконецъ, былъ смягченъ и оказалось, что онъ всегда не былъ чуждъ разныхъ наслажденій, отъ которыхъ умѣлъ удержаться въ лѣта пылкой юности" [3]).

Нѣкоторый оттѣнокъ, при томъ-же психологическомъ основаніи, лежитъ въ слѣдующей, напримѣръ, типической иронiи: „Послѣ трехъ или четырехъ бараньихъ походовъ черезъ границу у обоихъ чиновниковъ очутилось по четыреста тысячъ капиталу. У Чичикова даже перевалило черезъ пятьсотъ, потому что онъ былъ побойчѣе" [4]).

„Я къ вамъ съ просьбой", произнесла дама ласковымъ тономъ, съ какимъ обыкновенно онѣ говорятъ съ художни-

---

1) Ib. 85—86. 2) Соч. Г. II, 529. 3) Соч. Г. IV, 262. 4) Соч. Г. IV, 267.

ками, французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствія другихъ" [1]).

Не оригинальный способъ примѣненія „высокаго стиля" къ изображенію весьма прозаическихъ явленій, къ мелочамъ, принимаетъ все таки своеобразный оттѣнокъ у Гоголя.

Иванъ Осиповичъ долетѣлъ даже до богословія... но наскуча быть безмолвнымъ зрителемъ безпрестанно мѣнявшагося вѣтренiаго поколѣнія и дѣтской игрушкой, принужденъ былъ бросить семинарію" [2]). „За столомъ пріятно было видѣть, ... съ какимъ умиленіемъ почтенный наставникъ... отправлялъ всеобщій процессъ житейскаго насыщенія. Ни слова посторонняго, ни движенія лишняго: весь переселился онъ, казалось, въ свою тарелку" [3]). „Она пекла особеннаго рода крендели... которыхъ одинъ запахъ производилъ непостижимое волненіе въ педагогѣ, страстно привязанномъ ко всему, что питаетъ душевную и тѣлесную природу человѣка [4]).

„Вотъ бѣда! Не ушиблись-ли вы, не сломили-ли еще, Боже борони, шеи? Лепетала заботливая Хивря поповичу, упавшему, когда онъ перелѣталъ къ ней черезъ заборъ".

„Тсъ! Ничего, ничего, любезнѣйшая Хавронья Никифоровна! ... выключая только уязвленія со стороны кра-

---

[1]) Соч. Г. I, 179. [2]) Соч. Г. I, 55. [3]) Ib. 56. [4]) Ib. 58. Вся глава впрочемъ написана въ томъ же тонѣ, выдержанномъ вполнѣ.

„Въ лицѣ ея (владѣтельницы помѣстья), тронутомъ рѣзкою кистью, которою время съ незапамятнымъ временъ расписываетъ родъ человѣческій и которую Богъ знаетъ съ какихъ поръ называютъ морщиною... глаза его узнали тотъ періодъ жизни, который есть слабое повтореніе минувшихъ, холодный, безцвѣтный переводъ созданій пламеннаго, кипящаго вѣчными страстями поэта, — тотъ періодъ, когда воспоминаніе остается человѣку, какъ представитель и настоящаго и прошедшаго, и будущаго, когда роковыя шестьдесятъ лѣтъ гонятъ холодъ въ нѣкогда бившія огненнымъ ключомъ жилы и термометръ жизни переводитъ за точку замерзанія".

нивы, сего зміеподобнаго злака, по выраженію покойнаго отца протопопа“ [1]).

Конечно эти обороты имѣютъ скорѣе отношеніе къ умѣнью Гоголя говорить языкомъ дѣйствующихъ лицъ, о чемъ рѣчь впереди, но они характеризуютъ отчасти и юмористическій способъ пользоваться „высокою рѣчью“ для возбужденія смѣха.

Во время бала у губернатора „изъ дамскихъ благовонныхъ устъ устремились къ нему (Чичикову) множество намековъ и вопросовъ, проникнутыхъ насквозь тонкостью и любезностью: „Позволено-ли намъ, бѣднымъ жителямъ земли, быть такъ дерзкими, чтобы спросить васъ о чемъ мечтаете?“ „Гдѣ находятся тѣ счастливыя мѣста, въ которыхъ порхаетъ мысль ваша?“ „Можно-ли знать имя той, которая погрузила васъ въ эту сладкую долину задумчивости“ [2]).

Къ указанному роду слѣдуетъ отнести и серіозный тонъ, хотя не „высокаго стила“, которымъ Гоголь возбуждаетъ въ читателѣ смѣхъ, когда всего менѣе ожидаешь такой рѣчи: „Какъ пѣніе райской птички заслушался Чичиковъ сладкозвучныхъ рѣчей. Глотали слюнку его уста“ [3]). „Послѣ удачной купли Чичиковъ, потребовавши самый легкій ужинъ, состоявшій только въ поросенкѣ, онъ тотъ-же часъ раздѣлся, и забравшись подъ одѣяло, заснулъ сильно, крѣпко,

---

[1]) II, 24. И раньше и позже изображались поповичи въ такомъ же родѣ и въ малороссійской и въ русской поэзіи. Вспомнить лишь, напр. съ одной стороны героя въ „Наталкѣ Полтавкѣ“ того, который поетъ:

„Отъ юныхъ лѣтъ не знавъ я любови
Не ощущалъ волненія крови“ и т. д.

а съ другой стороны дьякона, который въ повѣсти Чертопхановъ и Недопюскинъ приводятъ въ отчаяніе сумасброднаго „дворянина“ открытіемъ, что „сѣрыя лошади бѣлѣютъ“. Характеръ краснорѣчія — тотъ-же: „Истинно вы мужъ ума чудпаго; просто аки левъ . . . Одного живота, по навѣту злыхъ людей, лишились, и ни мало не унывая, а напротивъ надѣясь на божественный промыслъ, пріобрѣли себѣ другого, нисколько не худшаго, а почитай даже, что и лучшаго“.

[2]) Соч. Г. IV, 187. [3]) Ib. 545.

заснулъ чуднымъ образомъ . . .“ [1]) и вспоминаются обращеніе. „Засните здѣсь сномъ силы и покоя, какъ Боги спятъ въ глубокихъ небесахъ“, съ которымъ „Скупой рыцарь“ отправляетъ золото въ сундуки . . . И вслѣдъ за тѣмъ снова поворотъ въ шутку: „Какъ спятъ только счастливцы, которые не вѣдаютъ ни геморроя ни блохъ“.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ Гоголь примѣняетъ одинъ и тотъ же способъ выраженія, въ видѣ refrain'a, этотъ способъ напоминаетъ отчасти Гомеровское, напр. „И встала изъ мрака младая перстами пурпурная Эосъ“. Костанжогло выражаетъ свое негодованіе противъ расточителей . . . онъ плюнулъ и чуть — чуть не выговорилъ нѣсколько неприличныхъ и бранныхъ словъ . . . „Суровая тѣнь омрачила его лицо“, или „желчное расположеніе осѣнило сумрачнымъ облакомъ его чело“ [2]).

„Будочникъ . . . закричалъ съ просонья, что̀ стало мочи „кто идетъ“; но увидѣвъ, что никто не шелъ . . . поймалъ у себя какого-то звѣря и казнилъ его тутъ-же у себя на ногтѣ, послѣ чего уснулъ опять по уставамъ своего рыцарства“ [3]).

Если не слогомъ серіознымъ, то тономъ очень серіознымъ, съ исключительной серіозностью, говорятъ лица полнѣйшую безсмыслицу. Агаѳья Тихоновна разсуждаетъ весьма сосредоточенно о томъ, какъ трудно рѣшиться выбрать мужа. „Если бы губы Никанора Ивановича да приставить къ носу Ивана Кузьмича, да взять сколько нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить къ этому еще дородность Ивана Павловича“ [4]).

Какъ среди легкаго разговорнаго языка вставляются отборныя литературныя фразы, изящно построенныя, для возбужденія смѣха, такъ, наоборотъ совершенно строгій стиль разсказа обрывается вдругъ внесеніемъ слова, переносящаго читателя въ другую область. „Сынъ будучи отправленъ

---

[1]) Ib. 146. [2]) Ib. 543, 553. [3]) Соч. Г. IV, 198. [4]) Соч. Г. III, 409.

въ губернскій городъ съ тѣмъ, чтобы узнать . . . службу существенную, опредѣлился въ полкъ и написалъ отцу, уже по своемъ опредѣленіи, прося денегъ на обмундировку; весьма естественно, что онъ получилъ на это то, что называется *шишъ*"[1]). „Долгомъ поставляю надоумить читателя, что сюртукъ вообще . . ."[2]). „Языкъ, по неисповѣдимымъ велѣніямъ судьбы, у женщинъ почти вчетверо быстрѣе поворачивается, нежели у мущинъ; онѣ гибко развертывали его . . ."[3]).

Самое построеніе синтактическое (грамматическое) отличается въ подобныхъ случаяхъ тѣмъ же характеромъ: При описаніи образа жизни Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны, когда въ восьмой разъ принимаются за ѣду, Гоголь прибавляетъ: „Послѣ чего (предложенія поѣсть) все это немедленно было приносимо и, какъ водится, съѣдаемо"[4]).

Иногда юморъ происходитъ отъ преднамѣреннаго сочетанія предложеній при помощи однаго и того же союза, употребленнаго подрядъ нѣсколько разъ и дѣлающаго сочетаніе однороднымъ. „Но управляющій сказалъ, что меньше чѣмъ за 5000 нельзя найти хорошаго управителя. Но предсѣдатель сказалъ, что можно и за 300 сыскать. Но управляющій сказалъ, гдѣ же вы его сыщете? развѣ у себя въ носу? Но предсѣдатель сказалъ . . ."[5]).

„Но все это предметы низкіе, а Манилова воспитана хорошо, а хорошее воспитаніе получается въ пансіонахъ, а въ пансіонахъ, какъ извѣстно . . ."[6]).

Изъ моментовъ, выдвигающихъ юморъ чисто язычными средствами, т. е. грамматическими въ тѣсномъ смыслѣ, можно назвать, напр. употребленіе однородныхъ суффиксовъ въ цѣломъ рядѣ словъ, одинъ за другимъ: „Я вамъ доложу,

---

1) Соч. Г. IV, 131. 2) Соч. Г. I, 55. 3) Ib 54. 4) Соч. Г. II, 252. 5) Соч. Г. IV, 172. 6) Ib. 25.

каковъ былъ Михѣевъ, такъ вы такихъ людей не сыщете: машинища такая, что въ эту комнату не войдетъ, . . . а въ плечищахъ у него была такая силища, какой нѣтъ у лошади“ [1]).

„Чиновникъ — низенькаго роста, нѣсколько рябоватъ, нѣсколько рыжеватъ, нѣсколько . . . подслѣповатъ [2]).

Нельзя не упомянуть и объ отдѣльныхъ словахъ, юмористичныхъ по звуковому своему составу, по образованію, внѣ предложенія, самихъ по себѣ: „молокососно“ [3]), „очень дасожалительно“ [4]), „непросвѣтительность“ [5]), „доброхотное дательство“ [6]), „безсапожье“ [7]), „толковня“; или образованіе словъ въ родѣ „портное народонаселеніе“ [8]), о которыхъ упомянуто выше. Вмѣстѣ съ этими и множествомъ другихъ, не перечисленныхъ мною, слова Гоголевскія составятъ большую коллекцію, все характера юмористическаго.

Наконецъ, совершенно оригинальный пріемъ у Гоголя — это изображеніе повторяемаго дѣйствія однимъ и тѣмъже выраженіемъ, сколько бы разъ дѣйствіе не повторялось. Такихъ образовъ не много, но они чрезвычайно типичны. Если вообще трудно отдѣлить юморъ отъ комизма, то въ слѣдующемъ отрывкѣ оба явленія срослись въ нѣчто такое единое, что ни одного звена нельзя выбросить, не нарушая всей прелести цѣлаго.

Комизмъ, очевидно, состоитъ въ изображеніи поведенія, несоотвѣтствующаго нашему представленію о достоинствѣ — о томъ, что по Гоголю выходитъ „поддержать свое достоинство“. Юморъ — въ способѣ изображенія. Отрывокъ необходимо привести цѣликомъ.

„Не прикажете-ли чашку чаю?“ (Спросилъ судья).

„Нѣтъ весьма благодаренъ“, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, *поклонился и сѣлъ*.

---

1) Ib. 113. 2) Соч. Г. III, 95. 3) Соч. Г. III. 380, напоминаетъ Пушкинское „Кюхельбекерно“. 4) Соч. Г. II, 222. 5) Соч. Г. IV, 433. 6) Ib. 438. 7) Ib. 404. 8) Ib. 460.

„Сдѣлайте милость, одну чашечку!", повторилъ судья.

„Нѣтъ благодарю. Весьма доволенъ гостепріимствомъ!" отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, *поклонился и сѣлъ.*

„Одну чашку!" повторилъ судья.

„Нѣтъ, не безпокойтесь, Демьянъ Демьяновичъ!" При этомъ Иванъ Ивановичъ *поклонился и сѣлъ.*

(Иванъ Ивановичъ наконецъ взялъ).

„Не прикажете-ли еще чашечку?"

„Не могу, весьма благодаренъ". При этомъ Иванъ Ивановичъ *поклонился и сѣлъ.*

„Иванъ Ивановичъ! сдѣлайте дружбу, одну чашечку!"

„Нѣтъ, весьма обязанъ за угощеніе". Сказавши это Иванъ Ивановичъ *поклонился и сѣлъ* [1]).

Мы видимъ полное совпаденіе комизма положенія и юмора изображенія. Художественность приведеннаго отрывка сказывается ярче при сравненіи его, напр., съ мѣстомъ изъ пріема дѣлаемаго Чичикову Маниловыми:

„Хозяйка очень часто обращалась къ Чичикову со словами: „Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли". На что Чичиковъ отвѣчалъ всякій разъ: Покорнѣйше благодарю, я сытъ" [2]). Здѣсь нѣтъ воспроизведенія явленія; есть только ссылка на явленіе, а потому дѣйствія комическаго не происходитъ.

Выписанный отрывокъ производитъ впечатлѣніе какого-то дѣла, напоминаетъ мѣсто изъ посѣщенія Чичиковымъ Собакевича: „Въ это время вошелъ прокуроръ. Собакевичъ сказалъ: „Прошу" и, приподнявшись, *сѣлъ опять на стулъ.* Прокуроръ подошелъ къ ручкѣ Ѳеодуліи Ивановны и, приложившись къ ней, *сѣлъ также на стулъ.* Ѳеодулія Ивановна, получивши себѣ на руку поцѣлуй, *сѣла также на стулъ"* [3]).

Совершенно однородный пріемъ употребляетъ Гоголь

---

[1]) Соч. Г. II, 549—550. [2]) Соч. Г. IV, 31. [3]) Ib. 287—288.

при изображеніи входа чиновниковъ въ квартиру предсѣдателя, послѣ скандала съ Чичиковымъ.

„Кстати чортъ принесъ этого Чичикова", думалъ предсѣдатель, *снимая съ себя шубу*.

„У меня идетъ кругомъ голова", говорилъ прокуроръ. *снимая съ себя шубу*.

„Я все не могу разобрать этото дѣла, сказалъ вице-губернаторъ, *скидая шубу*". При чемъ характерна замѣна слова „снимать" словомъ „скидать", — какъ будто не одно и тоже „дѣло сдѣлали". Преднамѣренность и расчетъ замѣны этой обнаруживается въ слѣдующемъ за тѣмъ предложеніи:

„Почтмейстеръ ничего не сказалъ, *сбросилъ просто*" [1]).

Единство формы и содержанія въ своей нераздѣльности встрѣчается рѣдко у писателей, предметъ изображенія которыхъ отрицательныя стороны жизни, и у которыхъ сознаніе беретъ верхъ надъ творчествомъ безсознательнымъ, надъ непосредственностью. Только въ натурѣ геніальной эта непосредственность отличается особенной могучестью, не поддающейся силѣ преднамѣренности. Такою натурою былъ Гоголь.

Я исчерпалъ, кажется, всѣ виды юмора въ стилѣ Гоголя.

Остается еще показать безграничность силы художника въ умѣніи заставлять выступить каждое лицо съ рѣчью ему свойственной, рѣчью, присущей характеру по необходимости. — Это стоитъ въ связи съ тѣмъ, на что мы выше указывали, а именно, что Гоголь рисуетъ окружающихъ его людей не случайно; онъ беретъ тѣхъ, которые отвѣчаютъ роду его таланта.

Съ поразительною рельефностью выступаетъ поэтому въ языкѣ цѣлый міръ живыхъ фигуръ, освѣщенныхъ яркимъ свѣтомъ. Всякая фраза, произнесенная всякимъ изъ его

[1]) Ib. 294.

лицъ, показываетъ намъ, кромѣ идеи, во имя которой художникъ создалъ ихъ, сумму свойствъ, темпераментъ, — съ такою выразительностью, до которой не достигали крупнѣйшіе юмористы. Мы какъ будто слышимъ голосъ ихъ, видимъ всякія ихъ движенія. По нѣкоторымъ фразамъ можно угадать всего человѣка. Нужды нѣтъ, что лица одной почти категоріи — пошлые, но пошлость эта въ языкѣ выражается до того разнообразно, что свою собственную, свою пошлую физіогномію сохраняетъ всякій въ отдѣльности. Есть пошлость въ деликатной внѣшности, во внѣшности грубой; пошлость безъ воли, пошлость болѣе энергичная; пошлость безсмысленная, глупая, болтливая. Онъ не обходилъ ничего, рисуя людей во всѣхъ мелочахъ, въ каждой безпорядочности, въ каждомъ безобразіи. Онъ показывалъ ихъ всѣхъ за столомъ, въ постели, за игрою, пьянымъ, въ обществѣ. Одинъ стремится къ своимъ цѣлямъ слѣпо и разражается ругательствами, бросается очертя голову всюду, куда завлекаютъ его минутныя побужденія, и онъ вещи называетъ грязными ихъ именами, вращаясь въ подробностяхъ своей пьяной жизни; другой — соблюдаетъ внѣшнее приличіе, составляющее нѣкоторую узду, и въ его рѣчи виденъ характеръ; третій откровененъ до безстыдства; четвертый изворотливъ, быстръ и т. д.

Положительно можно сказать, что у Гоголевскихъ лицъ есть такія слова, для передачи которыхъ на другомъ языкѣ потребовались бы цѣлыя строки коментарій. Ниже привожу параллели между текстомъ и французскимъ переводомъ, сдѣланнымъ такимъ писателемъ, какъ Пр. Мериме, и по нимъ можно судить о силѣ Гоголевскаго слога, независимо отъ богатства русскаго языка, вообще болѣе способнаго единымъ словомъ выражать цѣлыя предложенія.

Гоголь по натурѣ умѣлъ отрѣшаться отъ самого себя и превращаться въ каждое лицо, которое желалъ представить, а къ этому умѣнью въ немъ присоединяется нѣкоторое родство съ лицами изображаемыми, по крайней мѣрѣ имъ чув-

ствовалось временами родство сильнѣе или слабѣе, какъ мы видѣли въ началѣ книги. Что перечувствовано и переиспытано самимъ, то гораздо прочнѣе, и сознается лучше изученнаго; онъ понимаетъ ихъ интимную жизнь, онъ знаетъ, какъ они думаютъ — по собственному опыту.

А къ тому — общія свойства поэта, присущія поэтамъ, у него врожденныя. Художникъ, вслѣдствіе какого то отраженія впечатлѣнія, по какому-то необъяснимому инстинкту ставитъ себя на мѣсто того, что намѣренъ изображать, людей, и часто даже животныхъ; онъ чувствуетъ стремленія видимой природы, и его безконечно сложная организація отражаетъ все, что его окружаетъ.

Слогъ содѣйствуетъ разъясненію самаго произведенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ характеризуетъ отличительныя черты творца его и въ не меньшей мѣрѣ даетъ ключъ къ пониманію множества другихъ свойствъ, органически связанныхъ съ силою, создающею слогъ. Мы, иначе говоря, разъясняемъ себѣ Гоголя по его слогу.

Гоголь не обладаетъ обильнымъ воображеніемъ. Сравнительно съ большими нашими поэтами, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ, воображеніе его даже бѣдно, а въ сравненіи съ европейскими — и еще бѣднѣе, поэтому и языкъ бѣднѣе. Но если оцѣнивать его какъ юмориста, избравшаго себѣ отмежеванную его геніемъ область, то трудно себѣ представить, какими способами можно было бы языкомъ изображать душу вѣрнѣе, рельефнѣе. Если Гоголь отмѣчаетъ словомъ отрывокъ чувства, мы по этому частичному проявленію души угадываемъ цѣлаго человѣка, до такой степени слово его соотвѣтствуетъ движенію души: когда Городничій въ отвѣтъ Хлестакову, на вопросъ послѣдняго, нельзя-ли поиграть въ карты, говоритъ: „Я картъ и въ руки никогда не бралъ, даже не знаю, какъ играть въ *эти карты* . . . и если случится увидѣть этакъ *какого-нибудь бубноваго* короля, или что нибудь другое, омерзеніе нападаетъ . . .“, то однихъ мѣстоименій „эти кар-

ты", „какого нибудь бубноваго короля", достаточно, чтобы проникнуть въ смѣсь лжи, притворства, боязни, низкопоклонничества, попрошайничества, какая происходитъ въ этомъ типѣ чиновнаго плута-взяточника. Я взялъ для образца самую малозамѣтную часть рѣчи. Изъ за каждаго слова видна картина душевнаго настроенія, видна и поза. Произносятся слова́, которыя естественно, по необходимости, невольно, должны были быть сказаны въ данный моментъ; они переносятъ насъ всецѣло въ самый строй человѣка. Небольшія, отрывочныя фразы, безграмотно сказанныя, выражаютъ своею неправильностью повороты и движенія внутренняго человѣка. То тривіальныя слова, то изысканныя предложенія — и тѣ и другіе часто безъ формы, но подъ каждымъ таится соотвѣтствующее внѣшнее движеніе, поза, лицо, какъ выраженіе движенія внутренняго. Какъ бы ни была каждая фраза проста, нѣтъ ни одной, которая выражала бы только частность, случайность; она выражаетъ идею, характеръ человѣка; а всѣ вмѣстѣ — гармоническое сочетаніе свойствъ, представленныхъ черезъ увеличительное стекло. Вотъ разгадка, почему Гоголь такъ оригиналенъ и великъ, и вотъ почему, въ качествѣ изумительнаго знатока и анатома „мертвыхъ душъ", вызываетъ въ насъ цѣлый міръ формъ, выводя передъ нами живыхъ личностей, — хотя въ размѣрахъ увеличенныхъ.

Гоголь, очевидно, больше всего наблюдатель, художникъ, многосторонній сатирикъ, больше всего юмористъ, иногда остроумный скептикъ, хотя онъ, помимо воли, содѣйствовалъ великому дѣлу общему. Соціальные интересы ему чужды, слабы нравственныя инстинкты, общественныя движенія. Въ немъ нѣтъ сильныхъ убѣжденій. Это человѣкъ слова, анализа, фантазіи, человѣкъ художественной игры. Установиться въ понятіяхъ, найти себѣ путеводную нить для опредѣленнаго нравственнаго поведенія, на это Гоголь не былъ способенъ. Исторія стиля его служитъ выраженіемъ этихъ сторонъ природы Гоголя.

Я въ одномъ мѣстѣ указывалъ на сходство творчества Гоголя съ творчествомъ Гейне. Сходство есть и въ характерахъ, при всемъ несходствѣ чертъ, обусловливаемыхъ различіемъ національностей (такое сходство натуръ возможно: Костомаровъ, напр. установилъ замѣчательно мѣткую параллель между Нерономъ и Іоанномъ Грознымъ). Только въ Гейне неустойчивость въ понятіяхъ была еще болѣе рѣзкая; страсть къ игрѣ мыслью сильнѣе; Гоголь не зналъ „діалектическихъ фейерверковъ", какими орудовалъ, напр. Гейне. Послѣднее отразилось, по вѣрному замѣчанію Шахова, и на литературной техникѣ.

Для Гейне невозможно было созданіе какого нибудь цѣльнаго, стройнаго, законченнаго произведенія съ обработаннымъ сюжетомъ, съ отдѣланными характерами. На это у него не хватало силъ, онъ не могъ глубоко проникнуться одной какой нибудь темой. Онъ не обдумываетъ матеріала, не вживается въ явленія, а хватаетъ все, что навертывается на глаза, что попадаетъ подъ руку и обдаетъ всю эту пестроту „шипучимъ нектаромъ" своихъ остротъ. Одинъ за другимъ перебираетъ онъ перстами артиста всѣ лады дѣйствительности, не останавливаясь долго ни на одномъ явленіи, метаясь отъ одной фигуры къ другой, раздавая пощечины и щелчки направо и налѣво — не будучи въ состояніи *вынашивать* свои образы; онъ отдается неудержимому потоку представленій и наслаждается оригинальными комбинаціями событій, лицъ, чувствъ, понятій. Гоголя можно противопоставить Гейне въ характерѣ вынашиванія образовъ, вдумчивости, постоянствѣ, выдержкѣ. На созданіе „Мертвыхъ Душъ" геній Гейне не былъ бы способенъ.

Писателями до Гоголя мало и вовсе не соблюдалось основное положеніе, по которому лицо должно говорить такъ, какъ это соотвѣтствуетъ характеру, складу ума, мысли.

Гоголю это дѣлать было тѣмъ легче, что онъ всецѣло переносился въ душу изображаемыхъ лицъ, а въ какой мѣрѣ онъ владѣлъ словомъ, мы видѣли достаточно.

Для болѣе вѣрнаго анализа его лицъ въ этомъ отношеніи, слѣдовало бы распредѣлить ихъ по категоріямъ. Останавливаюсь на болѣе крупныхъ категоріяхъ: а) Люди низшихъ слоевъ и б) люди, принадлежащіе къ привиллегированнымъ.

Простой народъ представляется Гоголю не безразличной массой. Какъ бы ни былъ низокъ уровень нравственнаго и умственнаго развитія выводимыхъ Гоголемъ лицъ, и какъ казалось бы, поэтому ни одинаковъ былъ этотъ уровень, нивеллируясь условіями климата, почвы, жизни — при всемъ томъ языкъ безконечно разнообразится. Мужикъ, объясняющій Чичикову дорогу въ Маниловку, тупой и безтолковый, топчущійся на одномъ мѣстѣ, какъ дѣти, зная только повторять „а Заманиловки тутъ нѣтъ никакой", и такъ и не разсказавшій дороги, не похожъ на того, которому пріятель объясняетъ, что „колесо до Москвы не довезетъ", непохожъ и на другого, къ которому Чичиковъ обращается со словами: „Эй борода". Всѣ они опять таки отличны отъ Селифана, кучера, философствующаго съ лошадьми въ формѣ восклицаній, „эй вы, любезные", „засѣдатель", и отъ Петрушки, молчаливаго, покорнаго, едва умѣющаго слово вымолвить. „Да что-жъ, баринъ, дѣлать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма" — это языкъ кучера, для котораго кнутъ является мѣриломъ опредѣленія важности интересовъ. Для него напиться пьянымъ — значитъ только „съ пріятелемъ поговорить", а на угрозу со стороны Чичикова быть высѣченнымъ, онъ предобродушно и смиренно отвѣчаетъ „какъ милости вашей будетъ завгодно". По такимъ фразамъ можно возстановить образъ человѣка. А словарь его ласкательныхъ словъ дополнитъ физіогномію кучера. Онъ-то сообщитъ лошадямъ, что его барина всякій уважаетъ, „потому что онъ,

слышь ты, сполнялъ службу государскую, онъ сколѣской совѣтникъ“ [1]).

Образы мужиковъ, какіе даетъ Гоголь, рисуя ихъ какъ будто на холстѣ красками, дополняются каждый разъ рѣчью этихъ лицъ; но не будь рисунковъ — по языку слышно, что за люди стоятъ передъ нами: „Накаливай, накаливай его! Пришпандорь кнутомъ вонъ того, соловаго — что онъ корячится, какъ корамора“. „Отсаживай, что-ли, нижегородская ворона“, кричитъ опять другой, поважнѣе который, „ты что такъ разскакался, глаза свои въ кабакѣ заложилъ, что-ли?“ [2]).

Бабы опять ведутъ рѣчь иную, и каждая различно. Вотъ одна; она отъ безсильной злобы едва духъ переводитъ; она хочетъ высыпать всю рѣчь заразъ, торопится, она уже сама не знаетъ, что говоритъ и какъ говоритъ; слова̀ выходятъ сами, она ихъ, очевидно, двадцать разъ повторяла; — слышится, какъ настоящая дробь разсыпается: „На городничаго челомъ бью, и чтобы ни дѣтямъ его, ни ему, мошеннику, ни дядьямъ, ни теткамъ ни въ чемъ никакого прибытку не было“, такъ начинаетъ она — и затѣмъ продолжаетъ стрѣлять такъ, что слово обгоняетъ другое. Она обливаетъ городничаго всякими помоями, за то, что тотъ мужа отдалъ въ солдаты. „Да какъ же онъ могъ сдѣлать?“ спрашиваетъ мнимый ревизоръ. „Сдѣлалъ мошенникъ, сдѣлалъ, побей Богъ его и на томъ и на этомъ свѣтѣ! Чтобы ему, если тетка есть, то и теткѣ всякая пакость, и отецъ, если живъ у него, такъ чтобы и онъ, каналья, околѣлъ, или поперхнулся на вѣки, мошенникъ такой!“ И затѣмъ крикъ торговки въ видѣ перечня дѣйствій Городничаго, какъ онъ „присыкнулся“ къ сыну купчихи, чтобы отдать его въ солдаты, какъ Пантелеева подослала супругѣ полотна три штуки, „такъ онъ ко мнѣ: „На что говоритъ, тебѣ мужъ, онъ ужъ тебѣ не годится“. Да я то знаю — годится или не годится,

---

[1]) Соч. Г. IV, 41—44. [2]) Соч. Г. IV, 97—99.

это мое дѣло, мошенникъ такой! „Онъ“, говоритъ, воръ; „хоть онъ теперь и не укралъ, да все равно, говоритъ, украдетъ, его и безъ того на слѣдующій годъ возьмутъ въ рекруты“. Да мнѣ-то каково безъ мужа жить, мошенникъ такой“! А затѣмъ безпомощность, и горе, и отчаніе: я слабый человѣкъ, подлецъ ты такой, чтобы всей роднѣ твоей не довелось видѣть свѣта вольнаго! . . .“ [1]).

Это называется представленіе въ рѣчи характера дѣйствующаго лица. Человѣкъ въ рѣчи весь, какъ передъ глазами; въ рѣчи видится и мимика, и положеніе тѣла, и движеніе рукъ, и униженіе, и главное — безпомощность, ищущая спасенія въ мести. Это типъ хищный.

Другая баба, повидимому, счастливѣе; она смирнѣе; ея высѣкли только; „По ошибкѣ, отецъ мой! бабы-то наши задрались на рынкѣ, а полиція не подоспѣла, да и схвати меня, да такъ отрапортовали — два дни сидѣть не могла“, и за эту обиду, ей учиненную: „Дѣлать, конечно, нечего, а за ошибку-то повели заплатить *штрафтъ*. Мнѣ отъ своего счастья нечего отказываться, а деньги бы мнѣ очень пригодились“. Какъ изъ мрамора высѣчена фигура [2]).

У Ѳеклы (свахи въ „Женитьбѣ“) рѣчь городской бабы, испорченной купеческимъ развратомъ и языкомъ мелкихъ чиновниковъ: она говоритъ о домѣ „о двухъ ѣлтажахъ“, о „хлигеряхъ“; у нея то „апалета“ на языкѣ, то „рефинатъ“ (кавалеръ), то „великатесъ“; она постоянно искажаетъ слова, любитъ щеголять незнакомыми ей названіями, чтобы придать рѣчи болѣе вѣсу; „оберсекхлетарь“, „алгалантерство“. Попутно въ рѣчи она захватываетъ все, что ей подъ глаза попадается; болтовня, безъ содержанія, лишь бы поговорить; она любительница „деликатнаго скусу“.

На нѣсколько высшей ступени стоитъ купечество; и оно отличается своимъ строемъ рѣчи: „Не по поступкамъ по-

---

[1]) Соч. Г. III, 259—60. [2]) Ib.

ступаетъ"; „Если бы, то есть, чѣмъ нибудь не уважили его, а то мы ужъ порядокъ всегда исполняемъ . . ."; „Мы противъ этого не стоимъ" [1]). Это языкъ прикащиковъ, приправляющихъ рѣчи словечками, не имѣющими смысла, играющими роль мимическихъ знаковъ. Кажется, еслибы мы не видѣли никогда купца, то по рѣчи ихъ можно себѣ легко представить фигуру; а отъ способа, какимъ рисуетъ ихъ Гоголь, получаются черты, дающія о нихъ безошибочно вѣрное представленіе: „Купцы, прикащики, ловко приподымая шляпы, запрашивали барынь . . . Пожалуйте, пожалуйста! Да ужъ извольте только взойти въ лавку! Господинъ, господинъ!" Мы словно очутились въ какомъ нибудь Апраксиномъ; а вотъ дополняющія черты: „Отличныя сукна", сказалъ купецъ, приподнимая одной рукой картузъ, а другой указывая на лавку . . . ловко приподнялъ доску . . . и очутился па другой сторонѣ его спиною къ товарамъ . . . лицомъ къ покупателю. Опершись ловко обѣими руками . . . и т. д. а затѣмъ языкъ съ претензіями на образованность: „Малый, подай сукно, что за 34-мъ номеромъ. Да не то, братецъ! Что ты вѣчно выше своей сферы, точно пролетарій какой:" И далѣе еще: „Афанасій Васильевичъ дѣло свое знаетъ, но просвѣтительности нѣтъ. Вѣдь купецъ есть негоціантъ, а не то что купецъ. Тутъ съ этимъ соединено и буджетъ, и реакція, а иначе выйдетъ пауперизмъ" [2]).

Переходя къ сферѣ помѣщичьей и чиновничьей, мы и здѣсь по рѣчи изображаемыхъ лицъ знакомимся съ самими лицами и, очевидно, знакомимся такъ, что не будь никакихъ другихъ данныхъ, по которымъ лицо характеризуется, ихъ рѣчей было бы для этого вполнѣ достаточно.

Какъ извѣстно, фигуры всѣ до единой (Улиньки исключая) въ „Мертвыхъ душахъ", въ „Ревизорѣ" и въ нѣкоторыхъ мелкихъ произведеніяхъ — отрицательнаго свойства. Всѣ до од-

[1]) Соч. Г. III, 257. [2]) Соч. Г. IV, 571—574.

ного пошлые люди пошлой сферы. Но пошлость разнообразится и индивидуализируется столько, сколько выводимыхъ лицъ. Мы слышимъ (и видимъ какъ будто) и пошлость легкомыслія, и болтливую пошлость, и пошлость обжоры, и пошлость, доходящую до цинизма, и грубую, и деликатную такъ сказать, и плутовскую, и пьяную, и безсмысленную, и пошлость мошенника, и труса. Она различна и у генерала, и у кучера и лакея, и у поляка, и у жида — и у женщины и у мущины.

Вотъ образцы рѣчей и рѣченій, которыми Гоголь неисчерпаемо богатъ, и которыми индивидуальность лицъ опредѣляется.

Одинъ произноситъ рядъ предложеній безъ связи, безъ смысла. Слова не соединяются даже грамматически. Рѣчь его переноситъ и его и его слушателей въ среду дѣтей, что-то лепечущихъ, что-то болтающихъ; иногда мысль какъ будто просится наружу, но въ головѣ пусто, хоть шаромъ покати; — онъ чего-то хочетъ, самъ не зная чего; стремится куда-то безъ цѣли. На языкѣ у него „грязные трактиры, мракъ невѣжества“, „паръ, которому подобнаго нельзя отыскать въ природѣ“, „просто землетрясеніе, все трясется и дрожитъ какъ листъ“, „Ну что, братъ Пушкинъ?“, „да такъ, братъ, такъ какъ-то все“ — большой оригиналъ“. „Если не увѣнчаете постоянную любовь“, „Съ пламенемъ въ груди прошу руки вашей“, „И карамзинъ сказалъ: „Законы осуждаютъ“ и т. д. Весь запасъ словъ этого героя, въ которыхъ можетъ смыслъ отыскаться, исчерпывается какими нибудь 50 словами: онъ умѣетъ только ругнуть, попросить поиграть въ карты, кутнуть, обмануть, солгать, — инстинктивно, непроизвольно, безсознательно.

Передъ нами другой; рѣчь его опредѣляетъ характеръ совершенно исключительнымъ образомъ, при помощи подбора двухъ-трехъ словъ, примѣняемыхъ ко всѣмъ людямъ безъ исключенія, даже къ тому, кто и не заслуживаетъ этихъ эпи-

тетовъ: „воръ“, „разбойникъ“, „мошенникъ“ — „есть одинъ порядочный человѣкъ, и тотъ если сказать правду, свинья“.

У него языкъ поворачивается особенно: медленно, увѣсисто, тяжело; звуки такіе, которые не допускаютъ обыкновеннаго темпа рѣчи, а требуютъ замедленнаго: „Гога и Магога“; „плечища“, „машинища“, „а въ плечищахъ силища“, — такія слова могутъ произноситься звукъ за звукомъ, ни одинъ не пропадаетъ въ тяжеловѣсности своей. Мы понимаемъ выраженіе Гоголя, когда онъ говоритъ, что Чичиковъ, разинулъ ротъ, не зная, самъ-ли онъ ослышался, „или языкъ Собакевича, по своей тяжелой натурѣ, не такъ поворотившись, брякнулъ, вмѣсто одного, другое слово“. Ни слова лишняго; все коротко и ясно; все опредѣленно и точно, и никакихъ недоразумѣній не можетъ быть. Ко всему — оригинальный способъ проявленія грубости въ подборѣ названій блюдъ, дополняющихъ и грубую природу омедвѣжившагося кулака; щи, бараній бокъ съ кашей, которой „отвалилъ“, рѣдька въ меду; этому человѣку „всю свинью на столъ“, „всего барана“. Затѣмъ: „обдеретъ тотъ канальня поваръ кота“; и далѣе: „что ни шиломъ кольнетъ, то и сапоги“; „душа — что ядреный орѣхъ“ и т. д. для котораго „образованіе — фукъ“. И въ этомъ случаѣ, языкъ — мѣрило внутренняго человѣка [1]).

Иной опять стиль у Манилова. — У этого господина приторно-слащавый языкъ, а главное языкъ, свидѣтельствующій объ убожествѣ мысли, вѣрнѣе — объ отсутствіи всякой мысли. Онъ прозноситъ слова, не зная, куда они его поведутъ, или связываетъ такія, которыя не выражаютъ ничего: „Не будетъ-ли это предпріятіе (продажа мертвыхъ душъ) или, чтобы еще болѣе, такъ сказать, выразиться, негоція, — такъ не будетъ-ли эта негоція несоотвѣтствующею гражданскимъ постановленіямъ и дальнѣйшимъ видамъ Россіи“. Такихъ

[1]) Соч. Г. IV, 106—111.

фразъ нельзя отыскать во всемірной литературѣ. У него „магнитизмъ души“, который онъ „хотѣлъ доказать“; у него уступка мертвыхъ душъ — „сущее ничего“, а умершія души, „въ нѣкоторомъ родѣ, совершенная дрянь“. У него „храмъ уединеннаго размышленія“; у него „имянины сердца“, или „какая нибудь этакая наука, чтобы дала, такъ сказать, паренье этакое, чтобы этакъ расшевелило душу“ и т. д. Что онъ совершилъ такое — незачѣмъ знать. Онъ, и безъ того, какъ на ладони [1]).

Къ языку Манилова всего ближе подходитъ рѣчь Бобчинскаго; только убожество запаса словъ больше и чувствительнѣе, только смысла еще меньше: „ходитъ этакъ по комнатѣ и въ лицѣ этакое разсужденіе . . . физіогномія . . . поступки и здѣсь (вертитъ рукою около лба) много, много всего“. Рѣчь отличается, однако, нѣкоторыми замѣтными особенностями. Она, прежде всего, характеризуется первобытностью, отъ которой разитъ неистощимая болтовня сплетницы-бабы; постоянныя повторенія — ходъ мысли ума неразвитаго. Прямой нити сообщенія или разсужденія этотъ умъ не слѣдуетъ; онъ топчется на одномъ мѣстѣ; еле-еле сообщеніе подвигается впередъ; онъ останавливается на двадцати второстепенныхъ обстоятельствахъ, не идущихъ вовсе къ дѣлу, и съ большимъ трудомъ добирается до словъ, нужныхъ для выраженія того, что сообщенію подлежитъ. Онъ сбивается съ дороги вслѣдствіе того, что побочныя обстоятельства не отдѣляются отъ главныхъ; принимается все въ расчетъ, что попадается на пути, и слушателю остается выдѣлить главное изъ кучи мелочей, сора. Отступленія ежеминутны. Онъ хочетъ разсказать „все по порядку“, а порядка въ головѣ на столько не замѣтно, что послѣ каждаго предложенія слѣдуетъ: „да-съ“, свидѣтельствующее, что онъ задумывается надъ тѣмъ, что самъ произнесъ, и что слѣдуетъ произнести

---

[1]) Ib. 26—40.

дальше, такъ какъ цѣль разсказа уходитъ все далѣе: „Какъ только имѣлъ удовольствіе выйти отъ васъ, послѣ того — какъ *изволили смутиться* полученнымъ письмомъ, да-съ — такъ я тогда забѣжалъ къ Коробкину, а не заставши Коробкина дома, заворотилъ къ Растаковскому, а не заставши Растаковскаго, зашелъ къ Ивану Кузьмичу . . . встрѣтился съ Петромъ Ивановичемъ, пошли съ нимъ къ Почечуеву, да-съ . . . и т. д [1]).

Къ этой же категоріи, еще на болѣе низкой ступени, стоитъ Акакій Акакіевичъ, у котораго нѣтъ и тѣхъ словъ въ запасѣ, которыя нужны для ежедневнаго обихода. Онъ мучится, онъ въ потугахъ, и не въ состояніи сказать слова. Самъ Гоголь предупреждаетъ, впрочемъ, что Акакій Акакьевичъ изъяснялся большею частью предлогами, нарѣчіями и, наконецъ, такими частицами, которыя рѣшительно не имѣютъ никакого значенія. Если же дѣло было очень затруднительное, то онъ даже имѣлъ обыкновеніе совсѣмъ не оканчивать фразы, такъ что весьма часто, начавши рѣчь словами „это, право, совершенно того . . .“ а потомъ ужъ и ничего не было и самъ онъ позабывалъ, думая, что все уже выговорилъ“ [2]). На сколько Гоголь убѣжденно, не случайно, выводитъ языкъ изображаемыхъ лицъ, принадлежащихъ къ одной категоріи, видоизмѣняя его чуть замѣтно нѣкоторыми штрихами, ввиду различія положенія, показываетъ слѣдующій образецъ.

Сваха объясняетъ, гдѣ живетъ Купердягина: „А вотъ, какъ поворотишь въ проулокъ, такъ будетъ тебѣ прямо будка; и какъ будку минешь, свороти налѣво, и вотъ тебѣ прямо въ глаза, то есть, такъ вотъ прямо въ глаза и будетъ деревянный домъ, гдѣ живетъ швея, что жила прежде съ сенатскимъ оберъ-секлехтаремъ. Ты къ швеѣ то не заходи, а сейчасъ за нею будетъ второй домъ, каменный, вотъ этотъ домъ и есть ея, въ которомъ, то-есть, она живетъ, Агаѳья

---

[1]) „Ревизоръ“. [2]) Соч. Г. III, 101.

Тихоновна, невѣста"[1]). Какъ и Бобчинскій, какъ умъ примитивный, она не умѣетъ идти прямо къ цѣли; но она еще болтливѣе, безтолковѣе; а оттѣнокъ дѣлаемый словомъ „то-есть" сближаетъ ее, съ одной стороны, съ средою купеческой, съ другой стороны, способъ объясненія напоминаетъ того мужика, который показываетъ дорогу въ Маниловку и этимъ и самый характеръ: „а какъ проѣдешь еще одну версту такъ вотъ тебѣ, то-есть, такъ прямо направо . . ." [2]).

Ближайшимъ родственникомъ Хлестакова по рѣчи — Ноздревъ. Но въ немъ нѣтъ лепета; въ его рѣчи прежде всего разнузданность. Ему впрочемъ и говорить некогда; онъ вѣчно дѣйствуетъ, а потому и рѣчь его отличается быстротою, разорванностью, отрывочностью, нервностью; онъ однимъ словомъ хочетъ выложить цѣлыя исторіи, а въ разсказахъ перескакиваетъ громадныя пространства. Мы напрасно будемъ искать промежуточной дороги и задавать себѣ вопросъ, какимъ образомъ переходы мысли совершаются. Изрѣдка лишь удается подмѣтить жердочку, какъ будто ведущую отъ одной мысли къ другой. Рѣчь обыкновенно поражаетъ скачками въ движеніяхъ мысли. Такъ какъ нѣтъ словъ для выраженія скачковъ, онъ придумываетъ свои собственныя сочетанія звуковъ, которыя должны выразить мысль заразъ: „Одна была такая разодѣтая, *рюши* на ней и *трюши* и чортъ знаетъ чего не было". Ручки *„субдительной суперфлю"*, *„попользоваться на счетъ клубнички"*, *„находиться въ эмпиреяхъ"*, *„продулся въ пухъ"*, *„убухалъ"*, *„свинтусъ ты этакой"*. Брань его отборная, но разгульная; тонъ слышится изъ за каждаго слова, *„скалдырникъ"*, *„чорта лысаго получишь"*, *„шильникъ"*, *„печникъ гадкій"*, *„вѣдьмы-блохи"*. Изъ за словъ видны движенія; быстрая смѣна впечатлѣній выражается быстрыми переходами мысли — и видно какъ онъ суетится, ерзаетъ, юлитъ; „юркость" натуры — во всемъ. Онъ отправляется на скоро

---

[1]) Ib. 386. [2]) Соч. Г. IV, 20.

потому что „нужно ругнуть подлеца прикащика“, а возвращается въ попыхахъ и кричитъ „такъ ты не можешь подлецъ“, и т. д. Реплики у него всегда мгновенные, вспышками, необдуманно, импульсами. — Вотъ образчикъ: „Отчего-же ты не хочешь играть?“ „Ну оттого что... вовсе не охотникъ играть“. — „Отчего-же не охотникъ?“ — „Потому что не охотникъ“. — „Дрянь-же ты“. И все въ такомъ родѣ. Слова выходятъ прежде, чѣмъ мысль подсказала ихъ. Онъ за минуту не знаетъ, что будетъ говорить черезъ минуту; а потому онъ говоритъ нелѣпицы, что онъ видѣлъ „лошадь розовой масти“, что *иностранный* мастеръ „Савельевъ въ Тулѣ“ сдѣлалъ ружье, что онъ суслика поймалъ за ногу. Онъ лжетъ не по вдохновенію, какъ Хлестаковъ; онъ лжетъ, расчитывая обмануть, надуть, такъ какъ и его „поддедюливаютъ“; онъ можетъ дать „безе“ въ данную минуту, а черезъ минуту онъ „отдѣлаетъ“ пріятеля. Интересна самая разстановка словъ — распущенность, какъ и въ характерѣ, въ правѣ: „я, братъ, такая мерзость лѣзла всю ночь“.

Рѣчь этого господина въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ того, что во лжи онъ неистощимъ; ложь растетъ, цвѣтетъ, разрастается, даетъ начало другой лжи, третьей, сотой. Онъ лжетъ и отъ „юркости“ своей природы, онъ лжетъ и по необходимости. Когда его зять и Чичиковъ уличаютъ его, онъ нисколько не теряется; онъ наглъ и находчивъ насколько нужно для собесѣдника. Ноздревы, отчасти Хлестаковы, такъ иногда чистосердечно безнравственны, что именно вслѣдствіе этого вызываютъ смѣхъ; вмѣсто совѣсти — импульсъ, и отсюда слогъ его.

У Плюшкина опять свой языкъ. Какъ ни мало говоритъ онъ вообще, но его словарь какой-то спеціальный — весь онъ состоитъ изъ отрывочныхъ фразъ, пропитанныхъ недовольствіемъ, подозрительностью, злобностью, враждебностью ко всему, что окружаетъ его. Не успѣлъ Чичиковъ взойти къ нему, ужъ первая встрѣча характеризуется какою-то враж-

дою. „Что слѣпы-то, что-ли? эхва, а вить хозяинъ-то я“ [1]). „Скверный анекдотъ, сѣна хоть бы клокъ въ цѣломъ хозяйствѣ, . . . землишка маленькая, мужикъ лѣнивъ, думаетъ какъ бы въ кабакъ, того и гляди пойдешь на старости по міру“ [2]); этими словами онъ вводитъ насъ въ свою обстановку и въ свой внутренній міръ, въ которомъ одинъ страхъ царитъ за свою знаменитую кучу. На замѣчаніе Чичикова, что говорятъ о тысячѣ душъ ему принадлежащихъ, — онъ отвѣчаетъ съ досадой: „— вы бы, батюшка, наплевали въ глаза тому, который это сказывалъ“ [3]). Когда Чичиковъ притворно вздохнулъ, услышавъ о погибели множества народа, онъ со злобой замѣчаетъ: „Да вѣдь соболѣзнованіе въ карманъ не положишь“ [4]). Затѣмъ идутъ восклицанія радости и выраженія чувства благодарности, имѣющія источникомъ тотъ-же страхъ передъ возможностью быть ограбленнымъ, обобраннымъ. Поэтому сыпится брань на мальчика, брань на кухарку, брань, имѣющая отношеніе къ его чувству, не дающему ему покоя: тотъ непремѣнно украдетъ „имъ ни въ чемъ нельзя довѣрять“, „мигомъ украдетъ“, а кухарка — „разбойница“, куда то „подтибрившая лоскутъ бумаги“; она „вретъ“, что не унесла ее; ее на страшномъ судѣ припекутъ желѣзными рогатками: „а вотъ черти-то тебя припекутъ! скажутъ: А вотъ тебѣ мошенница, за то, что барина-то обманывала“ [5]). Затѣмъ мы узнаемъ, что у него много бѣглаго народа; — и опять тотъ же языкъ озлобленнаго человѣка: „народъ-то больно прожорливъ, отъ праздности завелъ привычку трескать, а у меня ѣсть и самому нечего“ [6]).

Коробочка опять ведетъ свою рѣчь. Это рѣчь тупицы, которая твердитъ одно и то же, потому что нѣтъ доступа никакой мысли, она не можетъ понять того, что ей толкуютъ. Языкъ ея не языкъ упрямой, какою иные хотятъ опредѣлить Коробочку, а именно языкъ непроходимаго тупоумія.

---

[1]) Соч. Г. IV, 127. [2]) Ib. 134. [3]) Ib. [4]) Ib. 135. [5]) Ib. 140. [6]) Ib. 141.

„Да вѣдь онѣ-жъ мертвыя“.

— „Да кто-же говоритъ, что онѣ живыя? Потому-то и въ убытокъ вамъ, что мертвыя; вы за нихъ платите, а теперь я васъ избавлю отъ хлопотъ и платежа. Да не только избавлю, да еще сверхъ того дамъ пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?“

— „Право не знаю, произнесла хозяйка съ разстановкой: вѣдь я мертвыхъ никогда еще не продавала . . .“.

— „Или вы думаете, что въ нихъ есть въ самомъ дѣлѣ какой нибудь прокъ?“

— „Нѣтъ, этого я не думаю. Что-же въ нихъ за прокъ? Проку никакого нѣтъ. Меня только то и затрудняетъ, что онѣ ужъ мертвыя“.

— Ну, баба, кажется крѣпколобая, подумалъ про себя Чичиковъ . . .

— „Право отецъ мой, никогда еще не случалось продавать мнѣ покойниковъ. Живыхъ-то я уступила вотъ и третьяго года Протопопову — двухъ дѣвокъ по сту рублей каждую, и очень благодарилъ . . .“.

— „Ну, да не о живыхъ дѣло . . . Я спрашиваю мертвыхъ“.

— „Право, я боюсь на первыхъ-то порахъ, чтобы какъ нибудь не понести убытку. Можетъ быть ты, отецъ мой, меня обманываешь, а они того . . . они больше какъ нибудь стоятъ . . .“.

— „Ну, скажите сами, на что оно нужно?“

— „Ужъ это точно правда. Ужъ совсѣмъ ни на что не нужно; да вѣдь меня одно только и останавливаетъ, что вѣдь онѣ ужъ мертвыя . . .“ и т. д.

Здѣсь цѣлая психологія бабьей трусости, непониманія, жадности, неувѣренности въ собственныя мысли, увѣренности въ безсиліи мысли. „А они того . . , они больше стоятъ“. За этими словами видно, какъ она подозрительно на Чичикова поглядываетъ, слышно, какимъ голосомъ говоритъ она, еле

разборчивымъ; чувствуется, какъ хочетъ она и выгоды, и какъ боится въ одно и то-же время прогадать.

Все это достигается способами невѣроятно простыми: „того“, „право“, „да ты“, „какъ нибудь“, „это ужъ, точно“, „только-то и“ — вотъ слова и разстановка ихъ въ предложеніи — и это-то производитъ эффектъ.

Извѣстно, что способъ выраженій, весь складъ рѣчи иной у женщины, чѣмъ у мужчины. Этотъ вопросъ въ высокой степени интересный, остался до сихъ поръ внѣ сферы изслѣдованія [1]). Задавалъ-ли себѣ этотъ вопросъ Гоголь теоретически, трудно сказать, но для рѣшенія его онъ далъ богатый матеріалъ психологическаго свойства. При внимательномъ чтеніи мѣстъ его произведеній, изображающихъ женскія рѣчи, становится очевиднымъ, съ какимъ замѣчательнымъ чутьемъ онъ понималъ эту рѣчь, изъ за которой, разумѣется, виденъ каждый разъ характеръ.

Представляя себѣ эти рѣчи, мы какъ будто слышимъ тембръ голоса, высоту его. Всѣ его женщины говорятъ съ быстротою непомѣрною, а это при глубокихъ нотахъ невозможно; какой-то тихій голосъ слышится только у Пульхеріи Ивановны, которая не молода, которая и добродушна безгранично, въ отличіе отъ всѣхъ городскихъ дамъ и женщинъ, выводимыхъ Гоголемъ, пускающихъ въ ходъ верхнія ноты. Еще Коробочка говоритъ медленно — но у нея и словъ-то нѣтъ никакихъ. Затѣмъ съ ясностью выступаетъ преобладающая черта рѣчи, стоящая въ связи со всею психикою женскою — чувствительность; власть чувства, подчиненное положеніе разсудка. Въ отличіе отъ Гоголевскихъ мужчинъ, всѣ его женщины чрезвычайно впечатлительны и поддаются первому душевному движенію; отсюда интенсивность, исключительность, непосредственность, внезапность ихъ рѣчей. Вспомнимъ только, какими

[1]) Небольшая статья по этому вопросу, намѣчающая лишь сущность его, находится въ интересной, легко написанной книжкѣ на шведскомъ языкѣ: G. Cederschiöld. Om kvinnospråk och andra ämnen. Lund. 1900.

яркими красками рисуетъ Гоголь поѣздку „дамы пріятной во всѣхъ отношеніяхъ“ къ дамѣ „просто пріятной“ (отрывокъ былъ выше приведенъ по тремъ редакціямъ). Дама не въ силахъ сдерживать мыслей, она должна ихъ „выложить“ непремѣнно. Она горитъ нетерпѣніемъ сказать ихъ, теперь-же, тотчасъ-же; она вся отдается сообщенію, и вся живетъ въ немъ; какая-то невѣдомая сила толкаетъ ее, она едва успѣваетъ одѣться, а время переѣзда кажется ей вѣчностью. Вспомнимъ рѣчь Анны Андреевны: и она пылаетъ вся, какъ жаръ, она хочетъ узнать что либо о ревизорѣ; рѣчь ея, разорванная и безсвязная, показываетъ, какъ она мечется; она больше вскрикиваетъ, говоритъ отдѣльными словами. Она должна дать исходъ чувству непосредственно, мгновенно, со всей силой мгновеннаго возбужденія. Она примѣшиваетъ сюда подробности, не идущія къ дѣлу, происходитъ путаница мыслей, — и путаница въ словахъ и выраженіяхъ и т. д.[1]).

Языкъ дамъ характеризуетъ ихъ душевное настроеніе вполнѣ; онѣ перекидываются словами какъ будто взглядами, и какъ будто видно, какъ они перемигнулись: „Пойдемъ, Машенька, я тебѣ скажу, что я замѣтила у гостя такое, что намъ вдвоемъ только можно сказать“ [2]). Или въ другомъ мѣстѣ, когда Городничій говоритъ своей супругѣ: „Ты, душа моя, обращалась съ нимъ такъ свободно, какъ будто съ какимъ нибудь Добчинскимъ“, Анна Андреевна говоритъ: „Объ этомъ я ужъ совѣтую вамъ не безпокоиться. Мы кой-что знаемъ такое . . . (посматриваетъ на дочь)“ [3]).

Въ особенности выдѣляются восклицательныя звуки — безъ нихъ не обходятся дамы Гоголя, какъ вообще безъ нихъ мало обходятся дамы. „Ахъ, прелести! такъ онъ за старуху принялся?“ „Ахъ, Анна Григорьевна,

---

[1]) Всѣ сцены ея появленія, кромѣ сцены разговора съ Осипомъ, гдѣ рѣчь сколько нибудь связная. Эти сцены слишкомъ извѣстны, а потому незачѣмъ приводить образцы. [2]) Соч. Г. III, 243. [3]) Ib. 240.

пусть бы еще куры строилъ". „Ахъ, Боже мой, что же я такъ сижу передъ вами" и т. д.

Рѣчь женщинъ Гоголя характеризуется, сверхъ того, вѣрно подмѣченнымъ неумѣніемъ передавать смыслъ сказаннаго вкратцѣ, сущность сказаннаго; онѣ не умѣютъ отвлечься отъ лица, говорившаго такимъ-то образомъ. Это, впрочемъ, характеризуетъ неразвитой умъ Гоголевскихъ личностей и мужскихъ. „Я, тебя", говоритъ, „не буду", говоритъ, „подвергать тѣлесному наказанію, или пыткой пытать, это", говоритъ, „запрещено закономъ . . ." [1]). „На что, говоритъ, тебѣ мужъ", „Онъ", говоритъ „воръ . . ." „все равно", говоритъ, „украдетъ" [2]). .

Одна изъ особенностей рѣчей женскихъ — это непрерывный потокъ ихъ; женщина неудержима, пока не высказала всего, „съ лишкомъ"; а вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно чрезвычайная быстрота переходовъ отъ одного предмета къ другому, Богъ вѣсть по какой ассоціаціи, въ родѣ, напр. той, какая обнаруживается въ упрекѣ, дѣлаемомъ Анной Андреевной Бобчинскому за медлительность въ извѣщеніи: „Я на васъ полагалась, какъ на порядочнаго человѣка, всѣ вдругъ выбѣжали, и вы туда-жъ за ними . . . я у васъ крестила вашего Ваничку и Лизаньку, а вы вотъ какъ со мною поступили . . ." [3]).

Далѣе особенность — примѣненіе гиперболическихъ выраженій, въ родѣ тѣхъ, какія слышатся у двухъ дамъ, изъ нихъ одна „пріятная во всѣхъ отношеніяхъ", чуть не задыхаясь, говоритъ „знаете, Анна Григорьевна, вѣдь это просто раздираетъ сердце, когда видишь, до чего достигла наконецъ, безнравственность". Другая говоритъ: „Вдругъ раздается въ ворота стукъ ужаснѣйшій, какой только можно себѣ представить" [4]). „Вообразите себѣ: полосочки узенькія-узенькія, какія себѣ можетъ представить человѣческое воображеніе" [5]). И все въ такомъ родѣ.

[1]) Ib. 257—258. [2]) Ib. 260. [3]) Ib. 228. [4]) Соч. Г. IV, 205. [5]) Ib. 202.

Необыкновенно вѣрно подмѣчена черта женская, на которую мало кто изъ писателей останавливается и послѣ Гоголя: —стремленіе сохранить приличный видъ, хоть бы въ душѣ у нея и происходилъ адъ. Тѣ-же дамы готовы нанести другъ другу непріятности, такъ озлоблены онѣ, а между тѣмъ говорятъ: „Милая, это пестро“; „Мило, Анна Григорьевна“, „Ахъ, жизнь моя, Анна Григорьевна“, „Позвольте разсказать вамъ, душенька, Анна Григорьевна“ [1]).

Онѣ любятъ избѣгать называть предметы ихъ собственными именами и выражаются аллегорически, приблизительно такъ: „Вообразите, лифчики пошли еще длиннѣе; впереди мыскомъ, и передняя косточка совсѣмъ выходитъ изъ границъ . . .“. А рядомъ съ этимъ эксцентричность въ рѣчи: „Ахъ, дайте мнѣ выкройку, *ради всего святого*“ [2]).

Нѣтъ возможности привести всѣхъ оттѣнковъ женскихъ рѣчей, — это требовало бы спеціальной работы, но общія черты намѣчены мною. Къ нимъ можно было бы прибавить изображеніе безсилія со стороны дамъ выразить степень испытываемыхъ ощущеній; онѣ говорятъ напр.: „Красавецъ, лицо свѣжее, румянецъ, *какъ я не знаю что*“ [3]); иногда безсиліе это выражается просто безсмыслицею, въ родѣ восклицаній: „Ахъ, перестаньте, *не стыдно-ли вамъ такъ смѣшить*“, говоритъ какъ бы недовольная красавица, когда она въ сущности очень охотно вслушивается въ анекдоты, и хохотъ ее душитъ [4]).

Совершенно одиноко во всемірной литературѣ стоитъ типъ Чичикова. Европейская литература не имѣетъ ничего и приблизительнаго, потому уже, что Чичиковъ продуктъ русской общественной (исторической) жизни. И въ этомъ

---

[1]) Соч. Г. IV. 202—203. Сцену, стоящую въ соотвѣтствіи съ этой, представляетъ „Moster Malvina“ Edgren'a. Двѣ женщины озлоблены, а говорятъ другъ другу: „Malvina lilla“, (Мальвиненька), „goda Lydia“ (добрая Лидія) „lilla, goda Fru Billgren“. Подобныя сцены съ необыкновенною силою и безпримѣрнымъ мастерствомъ выставлена Гр. Л. Н. Толстымъ въ сценѣ вырыванія портфеля у смертнаго одра Безухова. [2]) Ib. [3]) Соч. Г. III, 302. [4]) Соч. Г. I, 300.

типѣ, при всей сложности его, рѣчь совершенно соотвѣтствуетъ строю душевному, основному характеру его. Гоголь самъ опредѣляетъ одну изъ выдающихся чертъ характера людей, представителемъ которыхъ Чичиковъ является. „У насъ на Руси“, говоритъ онъ, „если не угнались еще кой въ чемъ другомъ за иностранцами, то далеко перегнали ихъ въ умѣньи обращаться. Пересчитать нельзя всѣхъ оттѣнковъ и тонкостей нашего обращенія и т. д.“ [1]). Вотъ эту тонкость обращенія Гоголь выставилъ въ языкѣ Чичикова. Съ Маниловымъ у него одна рѣчь — въ духѣ маниловскаго характера, понятаго Чичиковымъ сразу: „Ничего не можетъ быть пріятнѣе, какъ жить въ уединеніи, наслаждаться зрѣлищемъ природы и почитать иногда какую нибудь книгу“ [2]). „Если нѣтъ друга съ которымъ можно подѣлиться . . . (неизвѣстно чѣмъ), то „что всѣ сокровища въ мірѣ! *Не имѣй денегъ, имѣй хорошихъ людей для обращенія,* сказалъ одинъ мудрецъ“ [3]). Какъ Маниловъ предлагаетъ „щи, но отъ чистаго сердца“ [4]), такъ для Чичикова „пріятный разговоръ пріятнѣе всякаго блюда“ [5]). Онъ у него хочетъ купить „не то чтобы совершенно крестьянъ“ [6]), потому что для него „обязанность дѣло священное, законъ — я нѣмѣю предъ закономъ“ [7]), а что мертвыя души „очень не дрянь“, потому что: „Если бы вы знали, какую услугу оказали сей, повидимому дряныо безъ племени и роду! Да и дѣйствительно, чего не потерпѣлъ я? Какъ барка какая нибудь среди свирѣпыхъ волнъ. . . какихъ гоненій, какихъ преслѣдованій не испыталъ, какого горя не вкусилъ! а за что? за то что соблюдалъ правду, что былъ чистъ на своей совѣсти . . .“ Рѣчь по формѣ и по содержанію вполнѣ соотвѣтствуетъ краснорѣчію Манилова, который не былъ увѣренъ въ томъ, что не будетъ-ли продажа мертвыхъ, „эта негоція, не соотвѣтствующею гражданскимъ постановленіямъ и дальнѣйшимъ видамъ Россіи?“ [8]). Но мы ви-

[1]) Соч. Г. IV, 51. [2]) Ib. 28. [3]) Ib. [4]) Ib. 29. [5]) Ib. 31. [6]) Ib. 34. [7]) Ib. 36. [8]) Ib.

димъ изъ за безсмыслицы Чичикова лицемѣра, а въ его сентиментальности — плута.

Чичиковъ совершенно иною рѣчью говоритъ съ Коробочкой. Эта женщина — для него „матушка", и онъ это выраженіе пускаетъ въ ходъ ежеминутно: „Вы, матушка", „Да какъ-же, матушка", „Слушайте, матушка"; изрѣдка только — Настастасья Петрова. Онъ въ рѣчи съ нею то фамильяренъ, то снисходителенъ, „Спасибо-спасибо, матушка"; „Пройдетъ-пройдетъ матушка". Когда Коробочка суетъ ему сала, онъ говоритъ: „Купимъ, купимъ, всего купимъ". Въ такомъ снисходительно — лживомъ тонѣ довольнаго обманщика онъ ведетъ рѣчь все время, съ момента окончанія сдѣлки: „Заложатъ, матушка, заложатъ"; „Не забуду, не забуду"; „Хорошо, хорошо", „Будетъ, будетъ готова". Мы все время въ его словахъ видимъ его чичиковскую улыбку и радость отъ торжества надъ тупоуміемъ собесѣдницы.

Чичиковъ опять иной въ рѣчи съ Ноздревымъ. Онъ понялъ эту пронырливую, юркую натуру; онъ опасается его, и не довѣряетъ ему; онъ долженъ отклонить всякую тѣнь подозрѣнія въ своихъ намѣреніяхъ и говоритъ такъ, чтобы отвлечь его отъ того, что составляетъ главный предметъ собственныхъ мыслей. На вопросъ Ноздрева, куда онъ ѣдетъ, Чичиковъ отвѣчаетъ: „А я *къ человѣчку къ одному*" — чѣмъ придаетъ незначительность самому лицу, — на что Ноздревъ, дѣйствительно, и возражаетъ, „Ну, что́ человѣчекъ, брось его" [1]). Когда нужно заговорить о главномъ предметѣ — онъ выражается съ небрежностью и пренебреженіемъ къ нему, разумѣется съ той-же цѣлью — не привлекать вниманія Ноздрева. На вопросъ послѣдняго, зачѣмъ ему мертвые крестьяне, Чичиковъ отвѣчаетъ, что мертвые души нужны ему для пріобрѣтенія вѣсу въ обществѣ, что онъ помѣстьевъ большихъ не имѣетъ, такъ до того времени

[1]) Соч. Г. IV, 71.

„хоть бы *какія-нибудь душонки*"[1]). Общій тонъ рѣчи сдержанный, съ сознаніемъ достоинства, недопускающаго фамильярности: отсюда моменты проявленія оскорбленнаго самолюбія, когда Ноздревъ даетъ ему названія „мошенника".

Чичиковскій языкъ съ Собакевичемъ — дѣловой, съ притязаніями на солидность образованія; онъ показываетъ всю силу вліянія школы, пройденной Чичиковымъ подъ руководствомъ учителя, преслѣдовавшаго образованіе. „Вы, кажется, владѣете свѣдѣніями образованности"[2]); „Кажется, между нами происходитъ театральное представленіе, или комедія"[3]). „Я покупаю (души) не для какой-либо надобности ... а такъ, по наклонности собственныхъ мыслей". У него постоянныя амплификаціи и многословіе, чтобы прикрыть глупость положенія: „По моему, какъ я думаю"; „Не могу, повѣрьте, моей совѣсти, не могу; чего ужъ невозможно сдѣлать, того никакъ невозможно сдѣлать"[4]).

Однимъ словомъ, мы видимъ, что человѣкъ попался: ему нужно выпутаться; слово не всегда слушается его, — и онъ думаетъ наборомъ ихъ запутать другого, представляющаго камень, на который наскочила коса.

Отпечатокъ подобострастія на каждомъ словѣ въ обращеніи съ Бетрищевымъ дѣлаетъ рѣчь Чичикова опять своеобразною, начиная съ появленія въ домъ, когда онъ „наклоня почтительно голову на бокъ, началъ такъ: „Счелъ долгомъ представиться вашему Превосходительству. Питая уваженіе къ доблестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ полѣ, счелъ долгомъ представиться лично вашему Превосходительству"[5]). „Ваше превосходительство", само собою, сыпится въ изобиліи, такъ какъ не даромъ Чичиковъ получилъ аттестатъ „За благонадежное поведеніе". — Когда Генералъ хочетъ знать имя его, онъ смиренно спрашиваетъ: „Должно-ли быть

---

[1]) Ib. 85, [2]) Ib. 113. [3]) Ib. [4]) Ib. 111—112. [5]) Ib. 352.

знаемо имя и отечество человѣка, не ознаменовавшаго себя доблестями? Павелъ Ивановичъ, Ваше Превосходительство“[1]. Послѣ сообщенія „казуснаго“ анекдота, когда туловище генерала стало колебаться, и плечи тряслись отъ смѣха: ха, ха, ха, Чичиковъ „разрѣшился тоже междометіемъ смѣха, но изъ уваженія къ Генералу, пустилъ его на букву *е:* хе, хе, хе“. „Изволите знать“, „Изволите видѣть“, „Изволите замѣтить“ — обычные обороты въ тѣхъ случаяхъ, когда уваженіе къ человѣку велико; а когда Генералъ спрашиваетъ: „Ты мнѣ позволишь одѣваться при тебѣ?“ Павелъ Ивановичъ любезно отвѣчаетъ: „Помилуйте, не только одѣваться, но можете совершать при мнѣ все, что угодно вашему Превосходительству“ [2]).

Рѣчь Чичикова еще иная, когда онъ въ самоуниженіи и самоуничиженіи вопитъ о прощеніи: „Ваше сіятельство, я мерзавецъ, и послѣдній негодяй, я дѣйствительно лгалъ . . . и т. д. [3]). Это была, вѣроятно, искренняя рѣчь, которую Чичиковъ сказалъ въ первый разъ, когда и слезы хлынули, когда онъ „повалился въ ноги князю, такъ, какъ былъ: во фракѣ наваринскаго пламени съ дымомъ . . .“ [4]).

Потребовалось бы особаго изслѣдованія, чтобы опредѣлить рѣчь каждаго дѣйствующаго лица всѣхъ произведеній Гоголя. Но указанныя особенности нѣкоторыхъ отдѣльныхъ лицъ вполнѣ достаточно обрисовываетъ эту громадную творческую силу художника, съ которой едва-ли кто-либо изъ нашихъ писателей можетъ сравниться въ одномъ, по крайней, отношеніи: въ умѣніи, единственно при помощи воспроизведенія языка говорящихъ, возсоздавать характеры такимъ способомъ, чтобы изображеніе образа дѣйствія людей этихъ, ихъ намѣреній, помысловъ, т. е. обычныхъ средствъ изображенія характера, оказалось какъ бы и ненужнымъ.

---

[1]) Ib. 354. [2]) Ib. 358. [3]) Ib. 583. [4]) Ib.

XXII.

Полагаю, въ предъидущемъ сгруппировано довольно фактовъ, чтобы на основаніи ихъ сдѣлать общій выводъ о характерѣ стиля Гоголя, на сколько онъ опредѣляетъ черты характера его личности.

При всѣхъ недостаткахъ, какіе біографы открывали въ Гоголѣ, есть одна замѣчательная черта, которая, повидимому, противорѣчитъ всей суммѣ отрицательныхъ его сторонъ, какъ нравственной личности, и искупаетъ всѣ его недостатки. Гоголь былъ идеалистъ. Въ немъ обнаруживается повсюду душа, болѣвшая отъ сознанія, что не успѣлъ въ немъ образоваться и окрѣпнуть начинавшій въ немъ строиться „высокій внутренній человѣкъ". Тайное и тихое, но глубокое горе подтачивало его тѣмъ, что въ немъ двоился человѣкъ. Онъ сознавалъ недочеты свои, но безсиленъ былъ побѣдить себя. Не находя самъ въ себѣ той силы, какую онъ хотѣлъ сознавать въ себѣ, согласно своему идеалу о силѣ, онъ страдалъ. Страдалъ онъ тѣмъ болѣе потому, что „нѣтъ теперь никого во всемъ свѣтѣ, кто бы крикнулъ живымъ, пробуждающимъ голосомъ пробуждающее слово „*впередъ!*", котораго жаждетъ повсюду на всѣхъ ступеняхъ стоящій, всѣхъ сословій, званій и промысловъ русскій человѣкъ".

„Гдѣ-же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать это всемогущее слово: впередъ? кто, зная всѣ силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, однимъ чародѣйнымъ мановеніемъ могъ бы устремить на высокую жизнь русскаго человѣка? Какими слезами, какою любовью заплатили бы ему". Такъ спрашиваетъ сердце, желающее блага родинѣ своей. Но мысль человѣка горько разочарованнаго отвѣчаетъ: „Но вѣки проходятъ за вѣками, полмилліона сидней, увальней и байбаковъ дремлетъ непробудно, и рѣдко рождается на Руси мужъ, умѣющій произносить его, это всемогущее слово".

Здѣсь, въ этихъ словахъ заключается вся страшная драма, какую суждено было пережить одному изъ писателей нашихъ, желавшему быть этимъ мужемъ, и ставшему такимъ лишь отчасти. Онъ показалъ намъ наше настоящее, но не отмѣтилъ и не назвалъ направленія, по которому идти должно, т. е. назвалъ не тотъ путь, какимъ Россія пошла, узрѣвши себя въ образахъ Гоголевскихъ героевъ.

Въ одной изъ предъидущихъ главъ отмѣчены были главныя условія, содѣйствовавшія развитію въ Гоголѣ его юмористическаго таланта. Опредѣляя свой юморъ, онъ самъ разсматриваетъ его какъ фактъ, не вдаваясь въ объясненіе его. Мы узнаемъ лишь, что онъ „выставляетъ на показъ бѣдность нашей жизни и наше грустное несовершенство, и что такъ ужъ устроенъ талантъ его, чтобы изображать ему бѣдность нашей жизни . . .“ Насъ это не удовлетворяетъ, и мы ищемъ объясненія его основной силы, объясненія его юмора.

Юморъ Гоголя непремѣнно долженъ былъ исходить, и дѣйствительно исходилъ изъ сознанія цѣнности для жизни идеала о высокомъ, изъ представленія о значеніи для жизни истины. Въ этомъ заключается идеализмъ, о которомъ была рѣчь. Поэтому Гоголь клеймитъ дѣйствительность, его окружавшую, какъ нѣчто позорное, хотя онъ самъ считается съ нею, участвуя въ жизни и чувствами, и привычкою существованія. Жизнь реагируетъ; онъ хочетъ изобразить темное въ жизни такъ сильно, чтобы почувствовали всѣ, что съ нимъ надобно сражаться, „чтобы кинуло въ трепетъ зрителя, и ужасъ отъ безпорядковъ пронялъ бы его насквозь всего“ (372, III). „Чѣмъ больше она выставляетъ презрѣнное презрѣннымъ, чѣмъ больше она привела въ содроганіе зрителя, тѣмъ больше выполняла она свое значеніе“, говоритъ Гоголь устами Михала Михалча о комедіи; но то-же можно примѣнить къ юмору Гоголя вообще. И въ этомъ его воззрѣніи кроется причина тѣхъ пріемовъ, о которыхъ говорили многія страницы моей книги.

Достоинство націи зиждется на достоинствѣ отдѣльныхъ лицъ.

Юморъ Гоголя усердно направленъ на всевозможныя мелочи, касающіяся отдѣльныхъ личностей; можно сказать, все его творчество уходитъ именно въ сторону изображенія мелочей; полагаю даже — въ этомъ главная сила и главное значеніе Гоголевскаго юмора. Но если Гоголь сосредоточиваетъ свой талантъ на изображеніи мелочей и отдѣльныхъ несовершенствъ, переходящихъ въ пошлость, то этимъ опредѣляется значеніе Гоголевскаго юмора для цѣлаго, такъ какъ отъ цѣнности отдѣльной жизни зависитъ въ свою очередь цѣнность жизни всего общество.

Юморъ не можетъ не стоять на стражѣ націи, народа, но нація и народъ не могутъ быть содержаніемъ юмора. Вотъ почему вліяніе Гоголя неотразимо. Онъ даетъ образы не отрицательныхъ чертъ народныхъ, а частныхъ проявленій, которыя, однако, сами по себѣ многозначны и полны содержанія, потому что они являются представителями тысячей однородныхъ явленій.

„Докторъ, сказалъ однажды Гольдсмитъ Джонсону, мнѣ кажется, что если бы вы вздумали написать басню о маленькихъ рыбахъ, то они заговорили бы у васъ какъ киты". Эти слова въ полной мѣрѣ примѣнимы къ образамъ Гоголя: благодаря способу его воспроизведенія, самые ничтожныя вещи пріобрѣтаютъ значительность, на которую обратитъ вниманіе и тотъ, кто и не хотѣлъ бы. Образы предметовъ Гоголя превосходятъ все, что мы себѣ представляемъ о такомъ или другомъ, предметѣ, о томъ или другомъ явленіи, какъ бы смѣлы ни были эти представленія; но они все таки по идеѣ правдивое изображеніе. Недостатокъ, порокъ, имъ изображенный, мы видимъ черезъ увеличительное стекло. Мы видимъ то, что безъ него вовсе бы не замѣтно было (Иначе у другого крупнѣйшаго въ исторіи юмора юмориста Раблэ. Его образы такъ колоссальны, преувеличены, что

ихъ видѣть ясно нѣтъ возможности. Предметъ теряется, онъ не вкладывается въ рамку — и идея о явленіи ослабляется (потому что берутся отрицательныя стороны націи).

Художественность и живучесть Гоголевскихъ образовъ вытекаетъ изъ того, что составныя ихъ части освобождены отъ случайностей, связаны между собою и не поддаются вовсе измѣненіямъ, или поддаются при условіи полнаго уничтоженія самыхъ образовъ. Такіе только сплоченные образы способны стать схемой спутанныхъ явленій жизни и служить и ея объясненіемъ.

Этихъ результатовъ Гоголь достигаетъ при помощи своего языка. Благодаря умѣнію обнять явленіе, назвавши его тѣмъ или инымъ словомъ, выраженіемъ, оборотомъ, у Гоголя предметы проникаютъ въ его умъ организованными и полными, тогда какъ въ умѣ обыденныхъ людей они мелькаютъ безсвязно, нестройно, по частямъ. Гоголь беретъ иногда какой нибудь отрывокъ предмета, моментъ, — но предметъ все таки стоитъ предъ нами въ цѣломъ. Сколько, напр. нужно было бы красокъ, чтобы замѣнить Гоголевскую фразу, влагаемую въ уста одного дѣйствующаго лица, въ видѣ вопроса: „А вы сами, позвольте васъ спросить, баба что-ли?“. Отвлечемся на мгновеніе отъ нашего знакомства съ лицомъ, предложившимъ этотъ вопросъ, — не объяснитъ-ли намъ фраза эта всю грубость, черствость, неуклюжесть того, надъ кѣмъ „природа не долго мудрила?“ Можно не знать всѣхъ преступленій, совершаемыхъ человѣкомъ, какъ Собакевичъ, — но духъ его слышится въ этомъ вопросѣ,

Я сказалъ — благодаря умѣнію обнять явленіе, назвавши его словомъ; нужно прибавить юмористическимъ.

Юморъ Гоголя созидался путемъ пережитыхъ страданій отъ внутренняго разлада съ собой, отъ борьбы, разорванности. Много примѣровъ тому, что юмористы — люди очень несчастливые, и объяснить это можно, кажется, тѣмъ, что они весьма воспріимчивы и чувствительны ко всему, что противорѣчитъ ихъ

болѣе возвышеннымъ представленіямъ о жизни, тѣмъ что они близко принимаютъ къ сердцу всякія мелочи, мимо которыхъ человѣкъ обыкновенно проходитъ равнодушно; но у Гоголя эта чувствительная воспріимчивость принимала болѣе широкіе размѣры вслѣдствіе несчастнаго стеченія обстоятельствъ, развившихъ въ немъ мысль, что его считаютъ не тѣмъ, чѣмъ считалъ онъ себя самъ, что онъ ничтоженъ сравнительно съ идеаломъ, который онъ носилъ въ себѣ. Гоголь сталъ меланхоликомъ, ипохондрикомъ. Сосредоточенный въ себѣ, довѣряя и не довѣряя себѣ въ одно и то-же время, онъ подозрительно копался въ себѣ, и какъ мы видѣли, развилъ въ себѣ пониманіе мелочей до степени, далѣе которой не доходилъ никто изъ юмористовъ.

Отсюда понятны и свойства юмора Гоголя. Онъ бывалъ въ первую пору творчества веселъ; его шутки бывали проявленіемъ этого веселія — катарзисъ, такъ сказать, веселія. Направленіе силъ шло затѣмъ въ сторону, отвлекавшую мысль отъ состоянія подавленности, въ которомъ онъ часто находился; а когда сила юмора развилась вполнѣ, Гоголь направлялъ ее на предметы, какъ на причину вызвавшую печаль и страданія. Отсюда источникъ юмора: недостатки, пороки. Тоска и печаль составляетъ съ этихъ поръ душу произведеній, особенно тѣхъ, въ которыхъ онъ „собралъ воедино" всѣ отрицательныя стороны.

Мы видѣли уже, что онъ рисуетъ ту или другую сторону не случайно; онъ выбираетъ изъ обширнаго матеріала и вноситъ тѣ побужденія, тѣ поступки, которые наиболѣе отвѣчаютъ роду его таланта — которые лучше поддаются его кисти, его слову и которые не видимы другимъ. Отсюда и тайна его вліянія: „Das ist eben das wahre Geheimniss, dass alles vor Augen liegt, Euch ewig umgiebt, aber von keinem gesehen".

У Гоголя предметомъ поэтическаго изображенія были самыя малозначущія вещи — а они выросли въ поэму, въ эпопею, въ драму. Нужды нѣтъ, что языкъ придаетъ имъ

оттѣнокъ субъективнаго чего-то: въ этомъ заключается только больше гарантіи непреднамѣренности, — а при этомъ только и возможно было полное единство между формою и содержаніемъ. Тактъ психологическій помогалъ не переходить предѣловъ субъективнаго; а работа художника, шлифовка языка приходила на помощь. Отсюда понятное явленіе: форма въ такой же степени перестала зависѣть отъ воли Гоголя, въ какой самый предметъ изображенія представлялся воображенію въ такомъ, а не иномъ видѣ, независимо отъ него. Одно только время, первое время, міръ, съ котораго онъ рисовалъ свои произведенія, казался ему „слишкомъ обыкновененъ и однообразенъ, чтобы вызвать и возмутить воображеніе“. Но и тогда и послѣ Гоголь, описывая предметъ, мѣстность, свойство, проявленіе, внутренно видитъ его, и каждое слово, каждый звукъ соотвѣтствуетъ измѣненіямъ внутреняго представленія.

Впечатлѣнія, изображаемыя въ словахъ Гоголя, таковы, каковы они есть, по мѣрѣ возникновенія ихъ, а не выступаютъ готовыми, неподвижными, заранѣе опредѣленными, какъ въ большинствѣ случаевъ, какъ у всѣхъ писателей до Гоголя.

Вотъ почему за стилемъ Гоголя можно видѣть отчасти его самого.

Стиль Гоголя *демократиченъ* — не нахожу другого выраженія для обозначенія существеннѣйшаго признака, которымъ языкъ Гоголя отличается отъ языка всѣхъ писателей, за исключеніемъ стихотворнаго языка Кольцова, отчасти Никитина и не слишкомъ аллегорическаго языка Крылова. Какъ ни художественъ языкъ, какъ ни національнъ онъ у Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Достоевскаго, онъ не проникнутъ духомъ, который свидѣтельствовалъ бы о преобладаніи элементовъ, исключающихъ мысль о томъ, что онъ *не* касается всѣхъ и каждаго. Языкъ Гоголя именно таковъ.

Великіе наши писатели изображали русскую природу и лю-

дей какъ бы со словъ самихъ русскихъ людей т. е. какъ представляетъ себѣ ее именно русскій человѣкъ всѣхъ сословій, всѣхъ званій; но языкъ ихъ — языкъ аристократическій, языкъ меньшинства, языкъ людей, уходящихъ отъ мысли о народѣ хоть порою, хоть изрѣдка; языкъ ихъ въ этомъ отношеніи могъ вчера не быть такимъ, какъ сегодня, а завтра снова быть не тѣмъ, чѣмъ былъ вчера. У Гоголя — онъ цѣльный, единый, неизмѣнный — имѣю въ виду поэтическій его языкъ. Этимъ объясняется, почему нѣтъ русскаго человѣка, который не понималъ бы этого языка поэтическаго, отъ первой строчки до послѣдней.

Этого нельзя сказать ни объ одномъ изъ писателей, даже о „великомъ писателѣ земли русской“.

Объяснить это можно, думается мнѣ, вопервыхъ, отчасти воспитаніемъ; большой близостью къ самымъ несложнымъ вопросамъ жизни впродолженіе долгаго времени; исключительною любовью къ Малороссіи, вѣчно къ себѣ привлекавшей хорошими сторонами патріархальнаго быта; развитымъ чувствомъ сознанія своей народности во всей странѣ (въ то время), большою сплоченностью сословій, большою общностью интересовъ. Все это выразилось въ языкѣ Гоголя, воспринявшемъ элементы Малороссійскаго; и не только воспринявшемъ ихъ, а сдѣлавшемъ ихъ преобладающими въ области изображенія всего, что ближе человѣку и дороже ему, въ минуты, когда онъ удаляется отъ шкурныхъ вопросовъ жизни, слишкомъ заѣдающихъ его, когда онъ сознаетъ свою сопринадлежность къ народу. Эти начала перенесены въ русскій литературный языкъ благодаря только Гоголю.

Во вторыхъ, причиною должно признать спеціализацію Гоголевскаго творчества.

Онъ избралъ одну сферу — этическую, и въ ней вращался постоянно и неизмѣнно. Его теоретическія представленія въ этомъ отношеніи могли быть не обоснованы философски; но онъ съ чутьемъ самой простой правды, общече-

ловѣческой правды, подходилъ къ этическимъ вопросамъ; голосъ совѣсти, голосъ самой элементарной любви къ собрату подсказывалъ ему, чего быть не должно. Не дѣлай другому того, что не желаешь, чтобы тебѣ сдѣлали. Это его мораль. И такъ какъ эта мораль общечеловѣческая, она этимъ самымъ демократична. Въ этомъ источникъ и демократичности стиля. Такъ какъ Гоголь въ поэзіи своей не поучаетъ морали, а показываетъ отступленія отъ нея, отступленія на каждомъ шагу, отступленія, касающіяся всякаго, отступленія постоянныя, ежеминутныя, повсюдошнія, то языкъ его и принялъ выраженіе такой обыденности. Въ этомъ все дѣло.

Не разборъ этическихъ воззрѣній Гоголя составляетъ мою задачу. Но для примѣра нѣсколько образцовъ изображенія этическихъ моментовъ обозначить необходимо, чтобы понять, какое соотношеніе устанавливается между ними и его стилемъ.

Одно изъ господствующихъ золъ, подтачивающихъ нравственность общественную — ханжество, религіозное лицемѣріе. Давно уже въ русской литературѣ, подъ вліяніемъ европейской, это зло воспроизводится. Напомнить только Ханжихину и однородные типы сатирическихъ журналовъ XVIII столѣтія и кончая типомъ Іудушки. Но во всѣхъ ихъ все таки мораль — прямо или косвенно, все равно, а потому не можетъ трогать, не можетъ повліять на всѣхъ.

Гоголь даетъ двѣ, три формы проявленія этого порока, и стиль выразилъ разомъ весь ужасъ послѣдствій, — непосредственно воспринятыхъ. Читатель вспомнитъ сцену передъ церковью Ивана Ивановича съ нищенкой.

По окончаніи службы въ церкви, гдѣ Иванъ Ивановичъ, стоя на клиросѣ, подтягивалъ басомъ, онъ обходилъ всѣхъ нищихъ. „Здорово, небого“, говорилъ онъ, отыскавши самую искалеченную бабу, въ изодранномъ сшитомъ изъ заплатъ платьѣ: „Откуда ты, бѣдная?“

„Я паночку, изъ хутора пришла, третій день какъ не пила, не ѣла; выгнали меня собственныя дѣти“.

„Бѣдная головушка! Чего-жъ ты пришла сюда?“

„А такъ паночку, милостыню, просить не дастъ-ли кто нибудь на хлѣбъ“.

„Гм! Что-жъ, тебѣ развѣ хочется хлѣба?“ обыкновенно спрашивалъ Иванъ Ивановичъ.

„Какъ не хотѣть! Голодна, какъ собака“.

„Гм!“ отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ, „Такъ тебѣ, можетъ и мяса хочется?“

„Да все, что милость ваша дастъ, всѣмъ буду довольна“.

„Гм! развѣ мясо лучше хлѣба?“

„Гдѣ ужъ голодному разбирать. Все что пожалуете, все хорошо“. При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку.

„Ну, ступай же съ богомъ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ. „Чего-жъ ты стоишь? Вѣдь я тебя не бью?“

Такой душу раздирающей драмы не изображалъ юмористически никто, и никогда никто такъ не представилъ всей низменности души человѣка, признаваемаго за человѣка съ религіозными убѣжденіями, всѣми уважаемаго, не только называемаго „богомольнымъ“.

Въ чемъ сила и вліяніе приведенной сцены? Въ воспроизведеніи самыхъ мелкихъ, едва замѣтныхъ оттѣнковъ, единственно способныхъ, однако, обнять весь характеръ пошлости, а вмѣстѣ съ тѣмъ понятныхъ уму самому первобытному, тому прежде всего, кто испытываетъ на себѣ вопросы Ивановъ Ивановичей.

Другой моментъ, — въ Ревизорѣ, когда Городничій оправдываетъ взяточничество тѣмъ, что онъ „*зато* въ вѣрѣ твердъ и каждое воскресенье бываетъ въ церкви“. Это „зато“ переноситъ насъ всецѣло въ душу Ноздрева, въ тотъ моментъ, когда онъ, сообщивши Чичикову, что „проигрался въ

пухъ“, говоритъ въ утѣшеніе и себѣ и собесѣднику: „Зато, братъ, покутили мы съ поручикомъ и. т. д.“. Соотношеніе понятій совершенно одинаковое; одинъ беретъ взятки, „*зато*“ въ вѣрѣ твердъ; другой — проигрался въ пухъ — „*зато*“ покутилъ . . . И такимъ образомъ въ языкѣ выразился цѣликомъ образъ человѣка, который безнаказанно грабитъ людей, который считаетъ себя даже въ правѣ это дѣлать, потому что въ вѣрѣ твердъ, стало быть вознаграждаетъ убытокъ.

Гоголь не задумывался, быть можетъ, надъ тѣмъ, каковы причины безобразій, имъ самимъ изображенныхъ, но зло онъ чувствуетъ всѣмъ существомъ своимъ; онъ видитъ, какъ это зло отражается въ жизни, онъ непосредственно воспроизвелъ одинъ моментъ его, служащій образомъ для множества явленій однородныхъ.

Стремленіе увеличить или уменьшить общественное благополучіе не служило, можетъ быть, для Гоголя критеріемъ для оцѣнки всякой дѣятельности; но онъ видѣлъ, какъ уменьшается это благополучіе; видѣлъ тутъ-же, при себѣ, передъ собою, на всякомъ шагу; то что видѣлъ онъ, воспроизводится имъ изображеніемъ рѣчи дѣйствующаго лица, а съ этимъ вмѣстѣ — движеніе души въ данный моментъ; возводя данный моментъ въ перлъ созданія, онъ изображаетъ и всю душу человѣка, благодаря которому благополучіе страдаетъ.

Вслѣдствіе такихъ пріемовъ получается матеріалъ для изслѣдованія человѣческихъ характеровъ, заставляющихъ стремиться къ такимъ, а не инымъ цѣлямъ, не потому, чтобы это лежало въ природѣ вообще, а потому, что оно стоитъ въ связи съ пріобрѣтенными, но господствующими свойствами даннаго лица, могущаго однакоже служить представителемъ цѣлой большой, огромной группы лицъ. Люди этой группы не знаютъ, что такое стремленіе къ добру; они не знаютъ, что такое стыдъ; они не знаютъ, что такое отвѣтственность передъ совѣстью. Но стиль дорисовываетъ эти ихъ свойства, откры-

вая весь цинизмъ ихъ проявленія. Это лицемѣріе, о которомъ шла рѣчь, кажется узаконеннымъ, освященнымъ всѣми признаннымъ, — „а я въ вѣрѣ твердъ и въ церковь хожу“ — вотъ основаніе для права совершать всякія беззаконія и на виду у всѣхъ.

Этотъ цинизмъ особей выражается въ языкѣ повсюду. Городничій въ минуту торжества своего обращается къ купцамъ за жалобу, поданную ими ревизору: „Жаловаться, а кто тебѣ помогъ сплутовать, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на двадцать тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было? Я помогъ тебѣ, козлиная борода . . .“. Признаніе, такое же характерное, какъ и другое, „Сдѣлаешь подрядъ съ казною — на сто тысячъ надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потомъ пожертвуешь двадцать аршинъ, да и давай тебѣ награду за это . . .“ И рѣчь совершенно соотвѣтствуетъ всему строю души человѣка, увѣреннаго, что онъ обвиненъ купцами несправедливо, что онъ поступилъ по „правиламъ“, подсказываемымъ долгомъ если не службы, то чести, хотя своеобразно понимаемой.

Такимъ стилемъ говорятъ всѣ лица: И жена Антона Антоновича, „напрасно“ считающая за „порядочнаго“ человѣка Бобчинскаго, оказавшагося по ея мнѣнію не таковымъ, потому, что не извѣстилъ ее о пріѣздѣ ревизора, не взирая на то, что она „крестила его ребенка“; такимъ стилемъ говоритъ и Иванъ Ивановичъ, и всѣ дѣйствующія лица, какъ „Ревизора“ такъ и „Мертвыхъ душъ“. Самъ Павелъ Ивановичъ, убѣжденно говоритъ: „Несчастнымъ я не сдѣлалъ никого, я не ограбилъ вдову, я не пустилъ никого по міру; пользовался я отъ избытковъ; бралъ тамъ, гдѣ всякій бралъ; не воспользуйся я — другіе воспользовались бы . . . И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотрѣть теперь въ глаза всякому почтенному отцу семейства . . . И что скажутъ потомъ мои дѣти? „Вотъ, скажутъ, отецъ скотина: не оставилъ намъ никакого состоянія“.

Могъ-ли бы кто-либо изобразить лучше человѣка, издѣвающагося надъ самимъ собою помимо воли. Какая казнь ужаснѣе, какое самоуниженіе сильнѣе? А между тѣмъ Чичиковъ говоритъ, какъ сердце подсказываетъ ему, „оскорбленное и униженное“ другими.

И въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ другихъ, Гоголь не теоретизировалъ, быть можетъ, вовсе. Можетъ быть, онъ самъ контрабандою перевозилъ черезъ границу, не задумываясь надъ тѣмъ, что онъ совершилъ простую кражу, уклонившись отъ обязательной уплаты, перенеси безсознательно на другихъ плательщиковъ обязанность, которая падала на него. Иначе говоря, Гоголь, быть можетъ, не взвѣшивалъ зла, проистекающаго отъ дурнаго поступка, когда оно не падаетъ на отдѣльную голову, — но именно потому и стиль такой правдивый. Онъ подслушалъ зло въ собственномъ своемъ сердцѣ, зло, которое онъ дѣлалъ самъ, и которое дѣлается на каждомъ шагу, не будучи замѣченнымъ. Другіе писатели изображали зло en gros, такъ сказать; Гоголь — въ индивидуальностяхъ, зло, каждый разъ повторяющееся, видоизмѣняясь. Въ этомъ его сила.

Какія бы ни были позже собственныя воззрѣнія Гоголя на содержаніе его произведеній, произведенія остались великой силой. Нравственная нищета бросалась въ глаза именно тѣмъ, что она воспроизводилась ежеминутно и во всѣхъ безъ исключенія лицахъ. И что замѣчательнѣе всего: взглядъ на литературу, какъ на отвлеченное художество, приводившій къ полному удаленію литературы отъ вопросовъ дѣйствительной жизни, діаметрально шелъ въ разрѣзъ съ внутренней потребностью именно изображать дѣйствительность, и не только въ обобщеніяхъ, а въ тѣхъ мелочахъ, которыя ускользали отъ обыденнаго наблюденія; „житейское волненье“ сильно било въ жилахъ Гоголя, помимо его желанія, воли и пониманія.

Когда онъ рисуетъ взяточничество, ему вѣроятно въ голову не приходило, что оно результатъ нашего безправія,

но онъ видѣлъ фактъ давленія, насилія, вымогательства, несправедливости, видѣлъ то, на что всѣ смотрятъ равнодушно, какъ на должное, не возмущаясь. Гоголь не выводилъ, разумѣется, изъ своихъ произведеній тѣхъ заключеній, какія логически изъ нихъ вытекаютъ; наоборотъ, онъ смотрѣлъ на свои замѣчательныя творенія, какъ на изображеніе „случая", чего то „частнаго", когда въ этомъ-то заключается *общее* жизни, и не понималъ, что онъ, по справедливымъ словамъ кн. Вяземскаго, за живое задираетъ не однѣ наружныя и прививныя болячки, что онъ проникаетъ въ глубь, выворачиваетъ всю природу, всю душу и не находитъ ни одного здороваго мѣста, что безсознательно онъ насъ приводитъ къ страшному сознанію глубокой общественной порчи, какъ послѣдствіе общественнаго безправія. Если Гоголь въ письмѣ къ гр. А. П. Толстому (1845) простодушно разсуждаетъ о нашей администраціи: „Разсматривая каждую (должность) въ ея законныхъ предѣлахъ, мы находили, что онѣ именно то, что̀ имъ слѣдуетъ быть, всѣ до единой какъ бы свыше созданы для насъ, съ тѣмъ, чтобы отвѣчать на всѣ потребности нашего быта . . .", то мы отчетливо представляемъ себѣ, какая пропасть лежитъ между его теоретическими понятіями и художественнымъ изображеніемъ тѣхъ самыхъ должностей, которые „какъ бы свыше созданны для насъ"!

Мысли о необходимости улучшеній самыхъ учрежденій, объ измѣненіи въ отношеніяхъ сословій, о воспитаніи, о гражданской самодѣятельности, у него нищенски бѣдны, или вовсе отсутствуютъ теоретически, но въ воображеніи рисуются отдѣльныя проявленія неразумныхъ отношеній, существующихъ между людьми, благодаря ненормальнымъ общественнымъ условіямъ жизни — и стиль это доказываетъ ясно.

Если отецъ Чичикова даетъ сыну наставленіе: „послушествуй старшимъ", „возись съ тѣми, кто богаче", „не ду-

ри“, „береги копѣйку, она не выдастъ“, тогда какъ „человѣкъ выдастъ“ — то весь складъ душевный какъ на ладони, — и выводы изъ этого языка могло сдѣлать слѣдующее поколѣніе, а наставленіе „копѣйка не выдастъ“ опредѣляетъ весь ужасъ условій, въ которыя членъ общества былъ поставленъ.

Какъ должно было отразиться на творчествѣ душевное состояніе художника, только и знавшаго что натыкаться на явленія, хотя частныя, возмущающія однако каждый разъ при столкновеніи его съ внѣшнимъ міромъ?

Эти явленія производятъ впечатлѣніе, нарушающее спокойное теченіе мыслей и воображенія; они тревожатъ его, и онъ находится постоянно въ возбужденномъ состояніи духа, всего чаще злобномъ, раздраженномъ противъ лицъ, поступающихъ скажемъ дурно, беззаконно, безсовѣстно и т. д. При пониманіи Гоголемъ, пониманіи хотя бы внѣшнемъ, царящей безурядицы, произвола, лжи, обмана и т. д. и при тонкой, воспріимчивой организаціи художника, раздраженіе проявляется въ словѣ, когда воля безсильна сдерживать негодованіе.

Стиль Гоголя и носитъ характеръ то горя, то озлобленія, то негодованія; въ его рѣчи слышится безнадежность при всемъ кажущемся расположеніи смѣяться. Мы слышимъ страданія, — и вмѣстѣ съ тѣмъ боль и въ рѣчахъ его собственныхъ и въ рѣчахъ его дѣйствующихъ лицъ. Рѣчь передаетъ мелкія оттѣнки, въ какихъ обнаруживается присутствіе чувства, какъ у автора, такъ у лицъ дѣйствующихъ. О его собственномъ чувствѣ говорить много нечего. Его лирическія отступленія — настоящія элегіи. Ихъ знаетъ читатель, вѣроятно, и наизусть. Нѣсколько замѣчаній лишь о чувствѣ у дѣйствующихъ лицъ. Вездѣобнаруживается какое-то безотчетное недовольство.

Всматриваясь въ ихъ разговоры, въ рѣчи ихъ, мы слышимъ какой-то ропотъ. Въ самыя разгульныя минуты жизни

выражается глухое чувство, ищущее чего-то. Въ Маниловѣ, въ этомъ, повидимому, счастливѣйшемъ изъ смертныхъ, котораго не тревожитъ ни одна мысль, ни одна забота, и въ немъ рѣчь какая-то грустная. Онъ вздыхаетъ, что нѣтъ „друга, съ которымъ можно было бы, въ нѣкоторомъ родѣ, говорить о дружбѣ, чтобы расшевелило, этакъ, душу“ и т. д. Онъ мечтаетъ о томъ, чтобы выйти изъ этой сферы, которая чѣмъ-то гнететъ его — онъ не знаетъ чѣмъ.

Разнузданнѣйшій изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, у котораго нѣтъ ni foi, ni loi, стоящій внѣ всякихъ законовъ даже самой низменной нравственности — разудалый кутила, обжора, картежникъ — и онъ недоволенъ, и рвется куда то, зачѣмъ то. И въ рѣчи его слышится грустный тонъ обиды, сдѣланной ему кѣмъ-то.

Дамы, пріятная въ всѣхъ отношеніяхъ и просто пріятная, не жизнерадостны, при всей безграничной суетливости. Ихъ рѣчь выражаетъ тоску, скуку. Не скучаетъ только Петръ Петровичъ Пѣтухъ, потому что и образъ и подобіе человѣка потерялъ. И такъ до единаго всѣ, и мрачный Собакевичъ, который изъ города даже уѣзжаетъ, потому что „погрязнетъ въ немъ“; несчастный Плюшкинъ, который бѣжитъ отъ людей, и Хлобуевъ, и Акакій Акакіевичъ, и Тѣнтѣтниковъ, которые также избѣгаютъ людей, хотя по другой причинѣ. О Чичиковѣ и говорить нечего. Онъ несчастнѣйшій смертный. Какая-то безнадежность, безконечная печаль вѣетъ отовсюду. Никто изъ героевъ не засмѣется ни разу. Развѣ Бетрищевъ разразится смѣхомъ отъ идеи Чичикова — смѣхомъ, отъ котораго Чичикову взгрустнулось, — своего рода смѣхъ сквозь слезы.

Рѣчи и самого Гоголя и всѣхъ дѣйствующихъ лицъ характеризуются словами съ эмоціональнымъ тономъ — рѣзкій знакъ, что говорящіе въ возбужденномъ состояніи.

Только судьи Гоголевскіе шепчутся межъ собою — и то не безстрастно — въ ожиданіи чего-то.

Всѣ его герои таковы, что спокойно не разсуждаетъ ни одинъ, — въ каждомъ слышится тревога.

Съ этимъ тѣсно связана еще особенность стиля, не замѣчаемая у другихъ художниковъ слова.

Воспроизведеніе душевнаго строя состоитъ въ воспроизведеніи цѣлаго ряда моментовъ дѣйствій, рѣчей, въ обозначеніи положенія изображаемой личности, отношенія къ людямъ и пр. художникъ говоритъ также, какое было выраженіе лица, каково было положеніе тѣла — и. т. д. И по этимъ признакамъ, стоящимъ въ извѣстномъ соотношеніи, въ связи логической (внутренней и внѣшней), мы представляемъ себѣ человѣка съ его характеромъ.

Гоголь не прибѣгаетъ вовсе къ этимъ пріемамъ: каждая фраза стоитъ какъ образъ, сама по себѣ, и одна она уже способна опредѣлить человѣка. Если вырвать изъ общей связи любое предложеніе, оно стоитъ какъ отдѣльно взятая формула, выражающая свое содержаніе, притомъ одинаково понимаемое всѣми. У любого писателя образъ различно дѣйствуетъ на различныхъ людей, и даже на одно лицо въ различное время; у Гоголя не то — это какая то математическая величина, точная и опредѣленная, не допускающая двухъ толкованій.

Вспомнимъ разговоръ Собакевича до обѣда за столомъ, — и послѣ обѣда, въ кабинетѣ, и попытаемся разбить его на отдѣльныя фразы; каждая составляетъ часть цѣлаго, но составляетъ цѣлое само по себѣ. Каждый моментъ отдѣлимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ стоитъ въ органической связи со всѣмъ, что Собакевичъ говоритъ. Выписки излишни. Читатель откроетъ самъ эти мѣста; выводъ подтвердится — и останется неизмѣннымъ въ примѣніи ко всей рѣчи, отъ перваго слова до послѣдняго.

То-же съ рѣчью всѣхъ и каждаго. У Манилова — что ни фраза — безсмыслица; у Ноздрева — распутство, картежъ, пьянство, амикошонство, ложь безсмысленная, въ родѣ

лошади розовой масти или тульскаго ружья иностранной фабрики. Хлестаковъ „иногда любитъ заумствоваться, иной разъ прозой, въ другой и стишки выкинутся“, а всего больше — вожделѣнія радостей — выражаемое отдѣльными восклицаніями, вопросами.

У дѣйствующихъ лицъ мелкихъ повѣстей наблюдается то-же, хотя тамъ вырванная изъ текста фраза не всегда будетъ имѣть самостоятельное значеніе.

Стиля съ подобнымъ характеромъ нельзя найти ни у одного писателя всемірной литературы.

Его нѣтъ даже у величайшаго изъ юмористовъ — Рабелэ, съ стилемъ котораго Гоголевскій постоянно напрашивается на сравненіе.

А смѣхъ Гоголевскій?

И онъ совершенно отличенъ отъ обычнаго смѣха, возбуждаемаго большей частью произведеній, въ которыхъ преобладаетъ комизмъ. Комизмъ выражается въ дѣйствіяхъ, въ положеніяхъ, въ мимикѣ, въ движеніяхъ и. т. п.

Но есть смѣхъ, въ основаніи котораго лежитъ юморъ.

Юморъ отличается отъ комизма тѣмъ, что онъ *устанавливаетъ отношенія между понятіями, идеями, мыслями, словами*, противорѣчащія нашимъ представленіямъ о возможности или невозможности существованія такихъ отношеній.

Когда Гоголь разсказываетъ, что Чичиковъ и Маниловъ взбирались на лѣстницу цѣлыя четверть часу рука въ руку, не выпуская другъ друга; когда Гоголь изображаетъ, какъ Петрушка остановился съ минуту передъ низенькою своею кроватью, придумывая, какъ бы лечь приличнѣе, и легъ совершенно поперекъ, такъ что ноги его упирались въ полъ; или когда Чичиковъ внутренно негодуетъ на ребенка Лѣницына, испортившаго ему фракъ, а дѣлаетъ видъ, что онъ къ этому относится равнодушно, — то эти сцены комичны; здѣсь

передъ нами цѣлый рядъ изображеній дѣйствій; но, когда Чичиковъ говоритъ по поводу непріятности: „Можетъ-ли что́ нибудь невинный ребенокъ?“ „Золотой возрастъ!“, и въ тоже время негодуетъ внутренно, „да вѣдь какъ мѣтко обдѣлалъ чертенокъ проклятый“, — то мы имѣемъ юморъ. Въ первомъ случаѣ мы встрѣчаемся съ *дѣйствіями*, противорѣчащими нашимъ представленіямъ объ образѣ дѣйствія при такихъ-то условіяхъ; во второмъ — съ *мыслями, идеями, выраженіями*, не вяжущимися съ представленіями нашими объ обыкновенномъ теченіи мыслей, понятій, выраженіи, при такихъ-то условіяхъ.

Когда Ковалевъ, очутившись безъ носа, и желая увѣриться, что онъ не пьянъ, ущипнулъ себя такъ больно, что самъ вскрикнулъ, — передъ нами комизмъ; когда же полицейскій докладываетъ ему: „Вы изволили затерять носъ свой“, или если чиновникъ отказывается напечатать объявленіе, что у Ковалева „сбѣжалъ носъ“, то мы имѣемъ дѣло съ юморомъ, потому что сочетаніе понятій „изволили“ съ понятіемъ „затерять“, а „затерять“ съ понятіемъ „носъ“ противорѣчитъ нашему представленію о соотношеній *понятій, словъ*.

Чичиковъ услышалъ *отчасти греческое* имя; *отчасти рѣзкій отзывъ*, услышалъ совершенно *неожиданное имя*[1]), замѣтно было *почти странное* выраженіе; съ ловкостью *почти военнаго* человѣка — все это юморъ, не комизмъ. „*Доносъ сѣлъ верхомъ*“, на „*доно́съ*“ — юморъ; *ввалилось сонмище* — юморъ[2]).

По крайней мѣрѣ всѣ факты, которыми я пользовался въ продолженіе моей работы, носятъ характеръ такой, какой придаю ему я, хотя не всегда представлялось возможнымъ отдѣлить комичность (комизмъ) отъ юмора.

Во всякомъ случаѣ въ юморъ Гоголя не входитъ то начало, какое приписывается комическому элементу, какъ

[1]) Соч. Гог. X изд. VII, 174. [2]) Соч. Г. XII изд. IV, 356.

морализирующему началу. Въ немъ нѣтъ контраста между тѣмъ, что есть и что быть должно, или желается, чтобы было.

Кстати сказать, даже въ комизмѣ Гоголя нѣтъ обычныхъ элементовъ, находимыхъ у комиковъ вообще: напр. слабости, придающей себѣ силу, трусости, считающей себя храбрымъ и т. д.

Такого какъ Фальстафъ, утопающаго въ грязи и считающаго, что онъ на высотѣ нравственности — у Гоголя нѣтъ. У него, наоборотъ, постоянныя намеки на то, какъ мы далеки отъ высоты нравственной, не только что мы не устоимъ на высотѣ.

Анализъ Гоголевскаго юмора приводитъ къ заключенію, что главная сила его заключается въ своеобразномъ соединеніи понятій, идей, не имѣющихъ ничего общаго съ точки зрѣнія обычнаго сознанія. Гоголь открываетъ какой нибудь признакъ сходства, дѣлаетъ его вѣроятнымъ, — вслѣдствіе чего установленіе отношенія между ними принимаетъ видъ совершенно логическаго сужденія въ примѣненіи къ условіямъ жизни съ отрицательной ея стороны.

Если вся суть художественнаго произведенія заключается въ томъ, чтобы передать какъ можно осязательнѣе существенный характеръ или, по крайней мѣрѣ, характеръ, преобладающій въ лицѣ, предметѣ, то не можетъ быть сомнѣнія, что Гоголь достигаетъ этого вполнѣ при помощи своего стиля. Онъ устраняетъ черты, скрывающія характеръ, избираетъ именно тѣ, которыя лучше обнаруживаютъ его; всѣ исправленія, какія Гоголь дѣлалъ, преслѣдовали очевидно эту цѣль.

По отношенію къ изображаемымъ имъ предметамъ у него самобытная воспріимчивость; его поражаетъ въ предметѣ именно тотъ, а не другой характеръ, и впечатлительность развивалась больше въ одномъ направленіи. Развивался въ этомъ направленіи и кругозоръ по мѣрѣ того, какъ онъ

самъ и обстоятельства давали ему пищу. Силою своей этой способности онъ проникалъ вглубь человѣка и оказывался болѣе проницательнымъ, чѣмъ кто либо другой.

Слова, сказанныя Гоголемъ о мѣткости прозвищъ, даваемыхъ русскимъ человѣкомъ, примѣнимы въ полной мѣрѣ къ самому Гоголю: онъ „влѣпливаетъ сразу, какъ пашпортъ, на вѣчную носку, и нечего прибавлять ужъ потомъ, какой у тебя носъ или губы: одной чертой обрисованъ ты съ ногъ до головы“.

Гоголь никогда не смягчаетъ явленія, на которомъ онъ останавливался. Онъ не удаляетъ грубости, жестокости, драки, криковъ — все, что можетъ непріятно дѣйствовать на читателя того времени, когда скромность и изящество дѣйствующихъ лицъ считались условіями sine qua non всякого стиля.

Его герои — не исключая самаго вѣжливаго, не умѣютъ удерживаться отъ проявленія грубости, какой то стихійной грубости, даже не умѣютъ сохранить до конца обычной вѣжливости свѣтской.

Быстрая сообразительность встрѣчается лишь у Павла Ивановича; лишь у него замѣчается умѣнье принаровиться къ тону рѣчи собесѣдника, — но и тотъ не въ силахъ остаться вѣжливымъ до конца (сцена съ Коробочкой). Одинъ Маниловъ построенъ иначе — въ немъ даже слишкомъ много сахару — но за то и полное отсутствіе личности.

Гоголь живѣе чувствуетъ истину, чѣмъ красоту; онъ больше понимаетъ душевную жизнь, глубину индивидуальной личности, чѣмъ теоріи. Онъ не отступаетъ ни предъ однимъ изъ безобразій и уродствъ, и смѣлое пониманіе дѣйствительности сказывается во всѣхъ фигурахъ, со всей отвратительной ея стороны.

Онъ беретъ ихъ такими, какими видитъ на рынкѣ, на улицѣ, въ трактирѣ, въ гостяхъ, на пирушкахъ; а фигуры — пузатые торгаши, подкутившіе гуляки, обжоры, заказывающіе

обѣдъ, сваха съ невѣстами, помѣщики всевозможныхъ родовъ и видовъ, чиновники, живущіе взятками и пр.

Всякая стилистическая форма опредѣляетъ извѣстное душевное состояніе: вспышки или напряженіе, порывъ или нерѣшительность, спокойствіе или тревогу, но ярче всего стиль Гоголя способенъ выразить грубыя инстинкты выводимыхъ имъ лицъ.

У него нѣтъ контрастовъ стиля, чтобы выставить высшія и низшія ступени человѣческой природы; идеализмъ нѣжности женскихъ характеровъ отдаетъ романтизмомъ; но черствая грубость нравовъ невѣжества и крѣпостничества, глубокая порча безсознательно функціонирующихъ чиновниковъ и т. д. — это исчерпано.

Въ сжатой формѣ юмора языкъ представляетъ уму въ осязательной формѣ, то главнѣйшіе черты историческаго періода, то прирожденные инстинкты, рѣдко намеки на типъ общечеловѣческій и первичныя психологическія силы, которыя составляютъ основныя причины дѣйствій человѣческихъ.

Такъ какъ мысли и образы, представленныя Гоголемъ относятся къ предметамъ, явленіямъ, затрагивающимъ чувство, то Гоголь въ большинствѣ случаевъ употребляетъ такія слова и выраженія, которыя независимо отъ своего предметнаго значенія, обладаютъ способностью напоминать о чувствѣ, сопровождающемъ содержаніе слóва.

Эта сторона дѣлаетъ весь стиль Гоголя субъективнымъ, какъ ни у одного нашего писателя. Ссылаюсь на рѣчи дѣйствующихъ лицъ и рѣчь самаго Гоголя. Въ тѣхъ случаяхъ, когда просились словá объективнаго характера, онъ въ исправленіяхъ старался замѣнять ихъ словами субъективнаго свойства.

И это одинъ изъ наиболѣе знаменательныхъ моментовъ въ стилѣ Гоголя. Его иначе и нельзя назвать какъ Гоголевскимъ.

Понималъ-ли, напр., Гоголь, что человѣкъ, прибѣгающій къ запугиванію, стоитъ на томъ же нравственномъ уровнѣ,

какъ и прибѣгающій къ подкупу; понималъ-ли Гоголь, что такъ какъ запугиваніе не сопряжено съ расходами, то оно еще возмутительнѣе подкупа, что, съ другой стороны, опасность потерять то, что у запугиваемаго есть, дѣйствуетъ гораздо сильнѣе нежели подкупъ, потому что послѣдній сулитъ только впереди, тогда какъ запугиваніе отнимаетъ все, что пріобрѣтено?

Нѣтъ слѣдовъ, чтобы Гоголь задавался этими вопросами теоретически; но что онъ всѣми фибрами души чувствовалъ это, не можетъ подлежать сомнѣнію, если вспомнимъ моменты особеннаго запугиванія, имъ создаваемые. Учитель запугиваетъ ученика [1]; отецъ — сына [2]; мать — дочь [3]. На служебномъ поприщѣ — запугиваніе еще болѣе рѣзкое, потому что „дастъ онъ почувствовать . . . занявши мѣсто повиднѣе всѣмъ тѣмъ, которые узнали какую нибудь науку“ [4]. Въ такихъ случаяхъ явится полная атрофія личности: „Ты у меня поѣшь селедки“ [5] — и все тутъ и. т. д.

Моменты изображенія дѣйствительности, проникнутые чувствомъ страданія, составляютъ преобладающую черту Гоголевскаго комизма, — а юмористическая форма мышленія — черту Гоголевскаго стиля.

XXIII.

Въ заключеніи изслѣдованія считаю необходимымъ коснуться вопроса методологическаго свойства.

Однимъ нашимъ ученымъ, весьма извѣстнымъ, высказано было мнѣніе, не появлявшееся, однако, въ печати, что при

---

1) „Я съ тебя выгоню заносчивость и непокорность . . . способности и дарованія — это все вздоръ! Я смотрю только на поведеніе. Я поставлю полные баллы во всѣхъ наукахъ тому, кто ни аза не знаетъ да ведетъ себя похвально; а въ комъ я вижу дурной духъ да насмѣшливость, я тому — нуль . . .“. Соч. Г. IV, 255. 2) „. . . Береги копѣйку , . . товарищъ или пріятель надуетъ, а копѣйка не выдастъ . . . все прошибешь копѣйкой. Ib. 254. 3) Сцены изъ „Ревизора“. 4) Соч. Г. IV, 116. 5) Соч. Г. III, 258.

разборѣ языка писателя необходимо изслѣдовать отдѣльно языкъ изображаемыхъ авторомъ лицъ отъ языка самаго автора. Не зная доводовъ ученаго въ пользу этого мнѣнія, и не понимая, чѣмъ такое мнѣніе можетъ быть поддерживаемо, считаю свой методъ изслѣдованія, не отдѣляющій языкъ Гоголя отъ языка его дѣйствующихъ лицъ, болѣе правильнымъ, по слѣдующимъ соображеніямъ.

Когда говорятъ о языкѣ писателя, то имѣютъ въ виду произведеніе, или совокупность произведеній, поскольку въ нихъ отражается способъ, какимъ писатель создаетъ изображаемый имъ кругъ явленій, событій, лицъ, предметовъ. Дѣйствующія лица, при помощи которыхъ міръ изображается, говорятъ языкомъ, свойственнымъ характеру самыхъ изображаемыхъ лицъ, но тѣмъ не менѣе они говорятъ языкомъ творца ихъ: иначе не было бы творчества, а было бы подраженіе языку говорящихъ. Портретъ не то-же, что фотографированіе лица, въ которомъ творчества нѣтъ; стенографированіе уголовнаго процесса — не творчество, которое обнаружится лишь въ своеобразномъ воспроизведеніи процесса въ словѣ.

Какъ не станетъ изслѣдователь „Слова о Полку Игоревѣ“ утверждать, что „Плачъ Ярославны“ не есть языкъ автора слова; такъ не станетъ утверждать знатокъ лѣтописи Нестора, что діалогическая форма изложенія при изображеніи историческихъ событій не есть языкъ самаго лѣтописца. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что шумно-образный стиль дѣйствующихъ лицъ Шекспира — стиль самаго поэта, а рѣчи говорящихъ лицъ въ горестно-сардонической лирикѣ Гейне — рѣчь Гейне; „золото-чеканные стихи“, по выраженію академика А. Н. Веселовскаго, въ „Борисѣ Годуновѣ“ — языкъ самаго Пушкина. Изъ того, что въ произведеніяхъ, заключающихъ въ себѣ народныя сцены, или въ произведеніяхъ, гдѣ встрѣчаются моменты изъ жизни простолюдина, весьма рѣдко замѣчаются особенности рѣчи по сословіямъ, по положенію, по происхожденію, — не слѣдуетъ, чтобы лица

не говорили каждый своимъ языкомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ составляющимъ языкъ самаго Пушкина. Тургеневъ заставляетъ своихъ героевъ говорить тихою, мягкою рѣчью, художественно построенною, а безалаберная, дикая рѣчь Достоевскаго передается авторомъ его героямъ. Въ пѣснѣ „Косаря", „Лихача Кудрявича" и др. — слышится рѣчь самаго Кольцова.

Герои Расина и Корнеля имѣли мало общаго съ характерами, встрѣчающимися въ жизни, а потому было бы, конечно, ошибочно по языку ихъ дѣлать выводъ о языкѣ ихъ авторовъ; всѣ герои говорили языкомъ, употреблявшимся при версальскомъ дворѣ; но если самъ Гете влагаетъ въ уста дикаго скиѳскаго царя „Ифигеніи" рѣчи философа, то это вовсе не мѣшаетъ считать его произведеніе столько же совершеннымъ по формѣ, сколько вѣрнымъ правдѣ въ изображеніи отдѣльныхъ личностей, а языкомъ послѣднихъ характеризовать языкъ великаго ихъ автора.

Говоря о языкѣ Гоголя, я имѣю въ виду его поэзію. Проза — какъ переписка съ друзьями, какъ статьи по исторіи, и нѣкоторыя другія разсужденія, никакого стиля особеннаго не содержатъ — нѣтъ языка индивидуальнаго, а есть языкъ, какимъ всѣ пишутъ — въ однихъ случаяхъ, или какимъ пишутъ малообразованные, которые языкомъ не владѣютъ: плохимъ, тяжелымъ русскимъ языкомъ — въ другихъ случаяхъ. Что касается поэтическаго языка его, то онъ отъ его собственнаго, ему свойственнаго, не отличается ничѣмъ, т. е. рисуетъ-ли Гоголь отъ себя, или рисуетъ онъ посредствомъ выводимыхъ имъ лицъ — характеръ одинъ и тотъ же.

Психологически это подтверждается, a priori, очень существеннымъ обстоятельствомъ. По поводу характера своего творчества, онъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ такъ:

„Во мнѣ небыло какого нибудь одного слишкомъ сильнаго порока, который бы высунулся виднѣе всѣхъ моихъ прочихъ пороковъ . . ., но за то во мнѣ заключилось собраніе

всѣхъ возможныхъ гадостей, каждой по немногу и притомъ въ такомъ множествѣ, въ какомъ я еще не встрѣчалъ доселѣ ни въ одномъ человѣкѣ... Я не любилъ никогда моихъ дурныхъ качествъ, и если бы небесная любовь Божія не распорядилась такъ, чтобы они открылись передо мною постепенно и понемогу, намѣсто того, чтобы открылись вдругъ и разомъ передъ моими глазами... я бы повѣсился. По мѣрѣ того, какъ они стали открываться... усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ... Я былъ наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ... Съ этихъ поръ я сталъ надѣлять своихъ героевъ сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою, всѣмъ, чѣмъ ни попало. Если бы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ подъ пера моего въ началѣ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся [1]).

Кажется, ясно, что съ передачей своихъ свойствъ Гоголь передавалъ и форму этихъ недостатковъ — какъ въ дѣйствіяхъ, такъ и въ языкѣ.

Доводы a posteriori заключаются въ безчисленномъ множествѣ фактовъ, заключенныхъ въ самихъ произведеніяхъ. Приведенныхъ раньше, на стр. 258 было бы достаточно для того, чтобы безошибочно сказать, что Гоголевскій языкъ — это языкъ его героевъ. Но читатель убѣдится въ этомъ окончательно, принимая во вниманіе еще слѣдующіе:

Городничій, внѣ себя отъ злости, обращается къ окружающимъ: „Чему смѣетесь? Надъ собою смѣетесь! Эхъ вы... Я бы всѣхъ этихъ бумагомаракъ! У, щелкоперы...“ [2]).

[1]) Соч. Г. V, 95—96. „Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моею душею и моимъ внутреннимъ воспитаніемъ“ V, 143. [2]) Соч. Гог. III, 282.

А Гоголь (хотя отъ лица дьячка), уже самъ, въ веселомъ расположеніи духа, отзывается объ этихъ „бумагомаракахъ“ такъ: „Разъ, одинъ изъ тѣхъ господъ . . . мудрено и назвать ихъ: писаки оні — не писаки, а вотъ то самое, что барышники на нашихъ ярмаркахъ: нахватаютъ, напросятъ, накрадутъ всякой всячины, да и выпускаютъ книжечки . . .“ [1]).

Послѣ происшествія на балѣ, весьма непріятнаго для Чичикова, послѣдній разрѣшается слѣдующими словами: „Чтобы васъ чортъ побралъ всѣхъ, кто выдумалъ эти балы. Ну, чему сдуру обрадовались? Въ губерніи неурожаи, дороговизна, такъ вотъ они за балы! Экъ штука, разрядились въ бабьи тряпки! Невидаль, что иная навертѣла на себя тысячу рублей! А вотъ насчетъ же крестьянскихъ оброковъ, или что еще хуже, на счетъ совѣсти нашего брата. Вѣдь извѣстно, зачѣмъ берешь взятку и покривишь душой: для того, чтобы женѣ достать на шаль или на разные роброны. Чтобы не сказала какая нибудь Подстега Сидоровна, что на полиціймейстершѣ лучше было платье, да изъ за нея и бухъ тысячу рублей“ [2]).

Въ такихъ же выраженіяхъ высказывается самъ Гоголь въ письмѣ къ гр. А. П. Т . . . му: „Показать . . . всѣмъ модницамъ, которыя не любятъ никуда появляться въ однихъ и тѣхъ-же платьяхъ и, не донашивая ничего, нашиваютъ кучи новаго, слѣдуя за малѣйшимъ уклоненіемъ моды; . . . показать, что мужъ иной жены схватилъ уже изъ-за этого взятку съ своего-же брата чиновника (. . . принужденный грабить нищихъ и имущихъ); да вслѣдъ за тѣмъ выставить всѣмъ модницамъ картину голода . . .“ [3]).

Городничій, въ критическій моментъ ожиданія кары, молитъ Хлестакова: „Не погубите, . . . по неопытности, недостаточность состоянія . . . Сами изволите посудить: казен-

---

[1]) Соч. Г. II. 41. [2]) Соч. Г. IV, 195. [3]) Соч. Г. V, особенно стр. 110—111 „. . . показать, что онѣ в. все не тѣмъ грѣшатъ. что тратятъ деньги, но тѣмъ, что сдѣлали такой образъ жизни необходимостью для другихъ“ и т. д.

наго жалованья не хватаетъ даже на чай и сахаръ. Если же и были какіе взятки, то самая малость: къ столу что нибудь, да на пару платья“ [1]).

Тѣ-же рѣчи мы встрѣчаемъ въ письмѣ одномъ, чуть — не дословные рѣчи:

„Теперь взятки господъ служащихъ . . . гораздо ограничены; если же и случаются какія нибудь, то слишкомъ незначительны и едва могутъ служить только небольшою помощью къ поддержанію скуднаго ихъ существованія“ [2]).

Отличіе только въ томъ, что здѣсь говорится не иронически.

Когда Гоголю стало ясно, что ему долго еще опредѣлено „чудною властью идти объ руку съ странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы“, онъ во время этого шествія „объ руку“ передавалъ имъ *свои свойства*, и *свои рѣчи*. „Что-же мнѣ дѣлать!, восклицаетъ онъ, ужъ судьба моя враждовать съ моими земляками“ [3]), а земляки его — онъ самъ; не напрасно говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, что онъ „уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ нимъ смѣяться“ [4]); не напрасно въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моей душею и моимъ внутреннимъ воспитаніемъ . . .“ [5]), а еще въ одномъ: „Что-же дѣлать, если такого свойства сочинитель и такъ ужъ самъ заболѣлъ своимъ несовершенствомъ, и такъ ужъ устроенъ талантъ его“ [6]). Этимъ объясяится легко, что лица, выставленныя авторомъ и говорятъ языкомъ автора, хотя художественное чутье подсказывало Гоголю необходимость скрывать собственную личность подъ образомъ того или другого „героя“. Нужно-ли доказывать,

[1]) Соч. Г. III, 221. [2]) Кулишъ, Соч. и Пис. Гог. V, 113. [3]) Русс. Арх. 1871 г. 4—5. [4]) Соч. Г. V, 99. [5]) Ib. 143. [6]) Соч. Г. IV, 313.

что во всѣхъ герояхъ „Мертвыхъ душъ“ слышится рѣчь и языкъ самого Гоголя, и мечтательно безсодержательныя и слащавыя слова Манилова, и хвастливо-лживыя увѣренія Ноздрева, и боязливо-неувѣренныя подозрѣнія Плюшкина, и грубыя разсужденія Собакевича. Кто только мало-мальски вчитывался въ нихъ, видитъ въ нихъ рѣчь автора, его манеру накладыванія красокъ, его любимые обороты, его обычныя выраженія и слова.

Гоголя-ли это языкъ, или нѣтъ, когда онъ заставляетъ вскрикнуть будочника, на котораго натолкнулся Акакій Акакіевичъ: „Чего лѣзешь въ самое рыло, развѣ нѣтъ тебѣ . . . и. т. д.“[1]), а самъ совѣтуетъ другу, давая наставленье, какъ обращаться съ крестьянами, которые „посмѣли бы оказать ему (помѣщику) какое нибудь неуваженіе“ ругнуть: „Ахъ ты невымытое рыло и т. д.“[2])? — Различны только мотивы. Гоголя-ли это языкъ, или нѣтъ, когда онъ въ уста дѣйствующаго лица влагаетъ рѣчи: „У послѣдняго подлюки, каковъ онъ ни есть . . . есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проснется оно когда нибудь . . . проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дѣло свое. Пусть же знаютъ они всѣ, что такое значитъ въ русской землѣ товарищество . . .“[3]), а самъ пишетъ къ Языкову: „Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ . . . покажи, какъ совершается это богатырское дѣло въ истинно-русской душѣ . . .“[4])?

Можно ли сомнѣваться въ тожествѣ рѣчи Гоголя: „Всюду могутъ случиться просмотры . . . за самимъ губернаторомъ могутъ завестись грѣхи . . .“[5]), съ рѣчью въ письмѣ къ Городничему пріятеля послѣдняго, или между рѣчью Гоголя: „Какъ хорошо, что служащему не назначается никакихъ наградъ, и что нѣтъ здѣсь никакой мірской приманки человѣку . . .“[6]),

[1]) Соч. Г. III, 107. [2]) Соч. Г. V, 131. [3]) Соч. Г. II, 362—363. [4]) Соч. Г. V, 80. [5]) Ib. 170. [6]) Ib. 171.

съ словами Городничаго, счастливаго тѣмъ, что старается для отечества и почей не спитъ . . .?

Вотъ на выдержку рядъ рѣченій, употребляемыхъ Гоголемъ и въ равной мѣрѣ произносимыхъ дѣйствующими въ его произведеніяхъ лицами.

„И не мѣшать уже сюда никакого приклеппа сбоку, секретаря чиновника“ [1]); „Знаю какъ много у насъ есть охотниковъ прикомандироваться съ боку во всякомъ дѣлѣ“ [2]); „Заведетъ вначалѣ бумажную кропотню“ [3]); „Много истинно-полезныхъ и нужныхъ людей иногда бросали службу единственно изъ за скотинства секретаря“ [4]); „Какой нибудь чиновникъ-секретарь производитъ отважно свою пакость, въ увѣренности, что какъ онъ ни напакости, о томъ никто не узнаетъ, потому что и самъ онъ незамѣтная пѣшка“ [5]).

Пусть читатель откроетъ отмѣченныя страницы — ихъ двѣ всего — и на этомъ разстояніи онъ встрѣтитъ даже обороты излюбленныя, о которыхъ рѣчь шла уже въ двухъ мѣстахъ книги — тавтологія его: „Нѣтъ выше того потрясенія, которое производитъ на человѣка совершенно согласованное согласіе всѣхъ частей между собою“; „. . . окруженный тутъже обстанавливающими его обстоятельствами, уже невольно . . .“ [6]), — и вспомнить какъ говоритъ Тарасъ Бульба: „Думаете, пановать станете? Будете пановать другимъ панованіемъ: сдерутъ съ твоей головы . . .“ [7]).

Что касается до отдѣльныхъ выраженій и словъ, то затрудняюсь съ какихъ начать, ввиду ихъ безчисленнаго множества. „Плюйте на голову тому кто это напечаталъ“, говоритъ онъ самъ устами дьячка, въ отвѣтъ одного изъ присутствующихъ, на вопросъ дьяка: „а кто это сказалъ“; „А вы бы, батюшка, наплевали въ глаза тому, который это сказывалъ“, говоритъ Плюшкинъ на заявленіе Чичикова: „у васъ болѣе 1,000 душъ“ [8]). Какъ отличить подобныя слова отъ словъ са-

[1]) Соч. Г. V, 67. [2]) Ib. 68. [3]) Ib. [4]) Ib. 69. [5]) Ib. 71. [6]) Ib. 70. [7]) Соч. Гог. II, 397. [8]) Соч. Г. IV, 134.

мого Гоголя: „Не смущайся мыслями, будто прежнія узы... исчезнули... плюнь ты на такія слова“ [1]), или: „...онъ становится другимъ, плюнувши ввиду всѣхъ на свои гнуснѣйшіе пороки“, какъ мы читаемъ въ его перепискѣ съ друзьями [2]); или послѣ представленія „Ревизора“, когда „опозоренный“ писатель спѣшилъ разгулять свою тоску пишетъ другу: „...во первыхъ я на ревизора плевать...“.

„Продавица бубликовъ (кренделей)... раскланивалась весь день безъ надобности и писала ногами совершенное подобіе своего лакомаго товара“ [3]), повѣствуетъ самъ авторъ отъ себя, а словами дѣйствующаго лица говорится: „На покровъ бьюсь объ закладъ, что панъ-голова будетъ писать ногами нѣмецкіе крендели по дорогѣ“ [4]). Нѣкоторое видоизмѣненіе представляетъ мѣсто, въ которомъ Гоголь отъ себя повѣствуетъ „прилечь даже негдѣ было, когда въ голову заберется хмѣль, и ноги начинаютъ писать покой-онъ-по“ [5]).

Боюсь утомить читателя, и все-же считаю нужнымъ привести нѣсколько отдѣльныхъ словъ, которыми Гоголь пользовался при изображеніи явленій, предметовъ, лицъ, событій, влагая ихъ также въ уста своихъ персонажей: *почесывать бока* [6]) *подтибрить* [7]), *отсыпалось гороха* [8]), *уписывалъ галушки* [9]), *сволочь* [10]), *отпускать штуки* [11]), *въ зубъ не зналъ* [12]), *ругнулъ на всѣ бока* [13]), *стусанъ* [14]), *отодрать* [15]),

[1]) Соч. Г. V, 128—129. [2]) Ib. 80. [3]) Соч. Г. II, 26. [4]) Ib. 73. [5]) Ib. 94. [6]) Ib. 483 „обыкновенно оканчивалось тѣмъ, что богословія побивала всѣхъ, и философія, почесывая бока, была тѣснима...“. [7]) Ib. 489. „богословъ уже успѣлъ подтибрить цѣлаго карася“. [8]) Ib. 483. Въ то время, когда профессоръ сѣкъ розгами риторику, въ другомъ классѣ другой профессоръ отдѣлывалъ деревянными лопатками по рукамъ философію... богословіи отсыпалось по мѣркѣ крупнаго гороху“ (кожанные канчуки); на стр. 485 „Онъ часто пробовалъ крупнаго гороху“. [9]) Ib. 483. [10]) Ib. 180. „что то не мало всей сволочи“. [11]) Ib. 181. „Паны бѣснуются и отпускаютъ штуки: хватаютъ за бороду...“. [12]) Ib. 205. „Тогда какъ своего урока въ зубъ не зналъ“. [13]) Ib. 22. „Все это штуки старой вѣдьмы, которую мы ругнули на всѣ бока“. [14]) Ib. 47. „Сказавши это, далъ легонько рукою стусана въ затылокъ...“. [15]) Ib. 281. „Четыре раза закапывалъ онъ (Остапъ) свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый“. Срав.: „Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока“. Ib. 321.

нагадить [1]), *выперъ* [2]), *брякнулъ* [3]), *разкозырявшемуся человѣку* [4]), *выкрутасы* [5]), *чесать дробно* [6]), *задалъ бѣгуна* [7]), *отчалилъ съ комплиментомъ* [8]), *влѣпилъ поцалуй* [9]), *подмазывать судей, обрѣетъ, держись, пялитъ глаза, скотинство, подтибрить, упишешь полъ бараньяго бока* [10]), *съѣздить въ ухо* [11]), *чешетъ по французки* [12]) и т. д. и т. д.

Такія слова — обычны, какъ упомянулъ я и въ другомъ мѣстѣ. Эти слова встрѣчаются среди самой серіозной рѣчи, среди возвышенныхъ воззваній, близко граничащихъ къ стилю славянскому. Не можетъ быть сомнѣнія, что они характеризуютъ стиль Гоголя; — но тѣ-же слова и выраженія этого писателя употребляютъ дѣйствующія его лица.

Ученому, считающему необходимымъ отдѣлять при изслѣдованіяхъ стиля рѣчь писателя отъ рѣчи говорящихъ въ его произведеніяхъ лицъ, легко сдѣлать, между прочимъ, сопоставленіе, напр. ругани, влагаемой Гоголемъ въ уста своихъ персонажей, отъ ругани, слышимой изъ устъ малороссіянъ, со словъ которыхъ Номісъ, напр., собралъ матеріалъ свой. Обнаружится творчество Гоголя, и нельзя будетъ утверждать, что тò говорятъ дѣйствующія лица, а тó — Гоголь.

Теперь ставлю вопросъ:

Предположимъ, такой-то писатель создавалъ только исключительно драматическія произведенія и ничего больше

[1]) Соч. Гог. X изд. II, 646. „Если бы это была правда, то хуже на Руси никто бы не могъ нагадить“. Срав.: „Начнутъ гладью, а кончатъ гадью“. IV, 74, а Афанасій Ивановичъ: „Кошка нечистоплотна, кошка нагадитъ“. [2]) Соч. Г. II, 554. „... Судья кричалъ, чтобы кто нибудь выперъ“. [3] Соч. Г. IV, 111. „Языкъ Собакевича брякнулъ ...“. [4]) Соч. Г. V, 58. „Не желая уступить слишкомъ раскозырявшемуся человѣку“. [5]) Соч. Г. II, 234. „вмѣсто всѣхъ выкрутасовъ ноги только спотыкаются“. [6]) Ib. 235. „Пустился снова и началъ чесать дробно, мелко, любо глядѣть“. [7]) Ib. 236. „Скинувши новые сапоги ... задалъ онъ такого бѣгуна, какъ будто панскій иноходецъ“. [8]) Соч. III, 20. „Когда-же штабъ-офицерша объявила ему напрямикъ, что она хочетъ ее выдать за него, онъ потихоньку отчалилъ со своими комплиментами. [9]) Соч. Г. I, 307. [10]) Соч. Г, IV, 116. [11]) Ib. 238. [12]) Ib. 581. „Перегибъ (фрака) такой, какъ у камергера или у такого господина, который такъ и чешетъ по французски.

не писалъ. Становясь на точку зрѣнія ученаго, имени котораго не имѣю права назвать, можно-ли разсматривать языкъ отдѣльно отъ лицъ имъ изображенныхъ?

Или языкъ писателя этого такъ и не можетъ стать предметомъ изслѣдованія?

Дополненія.

Къ стр. 2.

Замѣчательно, что такой писатель, какъ Батюшковъ, въ значительной мѣрѣ вліявшій на Пушкина, относится къ русскому языку на подобіе баръ, говорившихъ на родномъ языкѣ только съ крѣпостными. Онъ находилъ, что русскій языкъ звучитъ не достаточно гармонично.

„И языкъ-то по себѣ плоховатъ, грубенекъ, пахнетъ татарщиной. Что за *ы*, что за *щ*? что за *ш*, *шій*, *щій*, *при*, *тры*? О, варвары! А писатели? Но Богъ съ ними! Извини, что я сержусь на русскій народъ и на его нарѣчіе“. Далѣе идетъ сопоставленіе звуковъ русскаго языка со звуками италіанскаго. Онъ называетъ писателей . . . и Петрарка, „изъ устъ котораго что слово, то блаженство“, и еще далѣе: „языкъ Италіи — арфа . . .“ „нашъ языкъ — балалайка, жестокій языкъ“.

(См. Соч. Батюшк. III т. 164—165, 457. Срав. Жур. Мин. Нар. Просв. 1888. Сентябрь, 73. Статья проф. Некрасова о языкѣ Пушкина).

Тогда еще Пушкину приходилось указывать, что изученіе народной поэзіи необходимо для знанія свойствъ русскаго языка: „Разговорный языкъ простого народа достоинъ глубочайшихъ изслѣдованій“.

Къ стр. 27.

Тихонравовъ находилъ, что первое произведеніе Гоголя свидѣтельствуетъ о вліяніи Гёте, что въ эпилогѣ ясно вы-

сказывается симпатія къ германской поэзіи и къ ея великому представителю. Соч. Тихонравова III т., 2-ая ч. Я не могъ найти слѣдовъ Гетевской поэзіи. Съ нѣмецкой литературой Гоголь вообще былъ очень плохо знакомъ. „Воздушныхъ призраковъ страна“ стала ему извѣстна благодаря Жуковскому и его произведеніямъ. „Сомнѣнія и Противорѣчія“ проф. Кирпичникова въ этомъ пунктѣ мало обоснованы. Изв. Ак. Н. 1900, V т. 2-ая кн.

Къ стр. 79.

Гоголь самъ сознавалъ и понималъ этотъ недостатокъ свой: „Я до сихъ поръ, какъ ни бьюсь не могу обработать слогъ и языкъ свой, первыя необходимыя орудія всякаго писателя: они у меня до сихъ поръ въ такомъ неряшествѣ, какъ ни у кого даже изъ дурныхъ писателей, такъ что надо мной имѣетъ право посмѣяться едва начинающій школьникъ. Все мною написанное замѣчательно только въ психологическомъ значеніи, но оно никакъ не можетъ быть образцомъ словесности, и тотъ наставникъ поступитъ неосторожно, кто посовѣтуетъ своимъ ученикамъ учиться у меня искусству писать, или подобно мнѣ живописать природу: онъ заставитъ ихъ производить карикатуры. Доказательство этому можешь видѣть на нѣкоторыхъ молодыхъ и неопытныхъ подражателяхъ моихъ, которые именно черезъ это самое подражаніе стали несравненно ниже самихъ себя, лишивъ себя своей собственной самостоятельности“. Соч. Гог. X изд. IV, 234. Гоголь смѣшиваетъ лишь простую грамотность (синтаксисъ) съ геніальной манерой творчества. Относительно синтактическихъ неуклюжестей — онъ правъ; но не въ этомъ заключается стиль высоко-художественный. Что касается подражаній, о которыхъ онъ говоритъ, то слѣдуетъ припомнить: quod licet Iovi non licet bovi, и только поэтому подражанія „подражателей“ вышли плохи. Да и какъ подражать такому стилю? Это не школа.

Къ стр 81.

Въ вопросѣ о значеніи чистоты русскаго языка вліяніе Пушкина было огромно. Гоголевская мысль имѣетъ опору въ однородныхъ мысляхъ Пушкина.

„Что сказать объ нашихъ писателяхъ, которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самыя обыкновенныя, думаютъ оживить дѣтскую прозу дополненіями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажутъ „дружба“, не прибавивъ: сіе священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать „рано по утру“, а они пишутъ: едва первые лучи восходящаго солнца озарили восточныя края лазурнаго неба“.

Къ стр. 83.

Въ совершенно исключительныхъ случаяхъ замѣчается вліяніе нѣмецкаго стиля въ Гоголевскимъ выраженіяхъ.

„Такова была Европа въ это шумное время . . . когда . . . *колоссально совершались* мрачныя событія . . .“. Соч. Гог. I, 376.

„Признаюсь, я бы совсѣмъ не пошелъ въ департаментъ, зная заранѣе, какую *кислую мину* сдѣлаетъ нашъ начальникъ отдѣленія . . .“, такъ начинаются „Записки Сумашедшаго“. Соч. Г. I. 377.

„И знаете, Павелъ Ивановичъ, сказалъ Машиловъ, сдѣлавши такую *сладкую мину*, что сдѣлалось даже нѣсколько приторно . . .“. Въ ранней редакціи, см. X изд. VII т. стр. 11.

„Пѣхотный полкъ . . . не смотря на то, что онъ большею частью стоялъ по деревнямъ, однакожъ *былъ на такой ногѣ* . . .“. Соч. Г. II, 205.

Обороты — чисто нѣмецкіе.

Къ стр. 85.

По поводу слишкомъ рьяной дѣятельности нашихъ „очистителей“ русскаго языка отъ иностранныхъ словъ, нахожу

умѣстнымъ привести мнѣнія двухъ великихъ умовъ, которыхъ вліяніе на литературный языкъ неизмѣримо.

Гердеръ говоритъ: „In dem Körper, den ihm der Erfinder, sei er Grieche oder Lateiner oder Brite oder Franzose, anschuf, in dem ich ihn unter diesen Völkern zu sehen gewohnt war, in *dem* Körper, in *dem* Kleide würde ich ihn gleich erkennen. Nun aber in dem nach meiner Nation verzerrten Gesicht in einer verstümmelten Gestalt, in einer weiten Hülle von Kleidern, — da soll ich den griechischen oder lateinischen Begriff erst aufsuchen? Man zeige mir ihn lieber, wie er ist". (Ueber Thomas Abbts Schriften. Zweites Stück. Der Torso).

Гете называетъ очистителей „eigentlich geistlose Menschen", ввиду того, что они, такъ какъ „den Wert des Ausdrucks nicht zu schätzen wissen, so finden sie gar leicht ein Surrogat, das ihnen ebenso bedeutend scheint. und in Absicht auf das Urtheil haben Sie doch etwas zu erwähnen und an den vorzüglichsten Schriftstellern etwas auszusetsen, wie es Halbkenner vor gebildeten Kunstwerken zu thun pflegen". По истеченіи нѣкотораго времени Гете, по поводу статьи Ruckstuhl'а, направленной противъ охранителей языка отъ иностранныхъ словъ пишетъ: „Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern ist das Geschöpf der besten Köpfe. Reinigung ohne Bereicherung erweist sich öfters geistlos; denn es ist nichts bequemer als von dem Inhalt absehen und auf den Ausdruck passen. Der geistreiche Mensch knetet seinen Wortstoff, ohne sich zu bekümmern, aus was für Elementen er bestehe; der geistlose hat gut rein sprechen, da er nichts zu sagen hat. Wie sollte er fühlen, welches kümmerliche Surrogat er an der Stelle eines bedeutenden Wortes gelten lässt, da ihm jenes Wort nie lebendig war, weil er nichts dabei dachte". (Deutsche Sprache: Ueber Kunst und Altertum I, 3, 1818).

Не говорю о Пушкинѣ, допускавшемъ совершенно свободное пользованіе тѣми средствами, которыя могутъ быть заимствованы изъ иностранной рѣчи; разумѣется подъ тѣмъ условіемъ, чтобы заимствованное слово не противорѣчило

естественной потребности рѣчи русской, чтобы существовало соотношеніе между чужимъ и своимъ.

Къ стр. 91.

Объ способѣ изученія словъ Гоголемъ весьма интересные факты сообщаетъ Тихонравовъ. Сочиненія Н. С. Тихонравова, т. III, 2-ая ч., стр. 200. Тамъ-же читатель найдетъ свѣдѣнія о способѣ пользованія Гоголемъ словаремъ Рейфа.

Къ стр. 96.

Попадаются неудачныя словообразованія и у другихъ писателей, но они исчезаютъ въ рѣчи, превосходной въ цѣломъ. Съ другой стороны они не такъ сильно противорѣчатъ характеру языка русскаго вообще. У Грибоѣдова напр.: „шумливость“, „угодность“, „услужникъ“, „Дни на вѣки удолжатся“, „Приносишь ты сосудъ водовмѣщальный“, „Какъ будто влаги обліянье“, „разнообразность“, „смиренстро“ и т. д. Иныя слова вошли въ общее употребленіе, хотя все съ тѣмъ же значеніемъ, какое придалъ имъ Грибоѣдовъ: „Завиральныя идеи“. Въ рѣчь Грибоѣдова вошли также необычныя формы употребленія во множественномъ числѣ существительныхъ отвлеченныхъ: „Всѣ вертопрашества и суетность прочь“, „не буду говорить о пышностяхъ“ и. т. п.

У Лермонтова также попадаются неправильныя формы, но они не такъ противорѣчатъ строю русской рѣчи: *затихнулъ* (Ужъ скачка кончена давно, стрѣльба затихнула. „Измаилъ-бей“), *погаснулъ* (Погаснулъ день, и тьма ночная своды небесные, какъ саваномъ покрыла. „Смерть“); *засохнулъ* (Какъ цвѣтъ полей засохнулъ „Испанцы“), *постигнулъ* („Тоску любви, ея волненье постигнулъ демонъ въ первый разъ — „Демонъ“) и т. д. Отъ любовь — любови; *листы. лѣты человѣка, кольцы*; или употребленіе родительнаго падежа отъ именъ, несклоняемыхъ въ множественномъ числѣ: *честей,*

боевъ, шумовъ, нѣгъ и т. д. (Ахъ было время, время боевъ на нашей милой сторонѣ — „Олегъ“); или творит. падежъ *плечми* и т. д. Есть и странныя новообразованія: *весельства.* Но все-же ими не оскорбляется слухъ.

У большихъ писателей встрѣчается весьма разнообразный подборъ словъ и выраженій церковно-славянскихъ, древнерусскихъ, старинныхъ, но они не сочинены и употребленіе ихъ дѣлаетъ рѣчь торжественною, примѣненіе ихъ всегда; умѣстно: *глаголъ* (вмѣсто звукъ), цѣвница, власы, хладъ, ликъ и др. у Лермонтова; десница, зѣница, стяжаніе, угль, шестикрылый, отверзлись, содроганіе, горній виждь и др. у Пушкина. Не говорю о Жуковскомъ. — Отсутствіе ихъ у Гоголя слѣдуетъ объяснить недостаточнымъ проникновеніемъ въ духъ древнерусскаго языка, недостаточнымъ и знаніемъ имъ языка славянскаго. Имѣю въ виду, конечно, языкъ Гоголя, которымъ написана „Переписка“, гдѣ самый предметъ, казалось, требовалъ знанія языка. Что касается поэтическихъ его произведеній, то славянскаго элемента ихъ тамъ и быть не могло по существу, какъ напр. и у Грибоѣдова, рѣчь котораго состоитъ изъ чисто руськихъ словъ, употребляемыхъ въ общепринятой разговорной формѣ.

Къ стр. 102.

Въ пополненіе къ примѣрамъ, приведеннымъ выше въ недостаточномъ количествѣ, даю еще нѣсколько однородныхъ:

„Да, такъ видите, панове“, говорилъ кошевой, „что войны не можно начать: рыцарская честь не велитъ. А, по своему бѣдному разуму, вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ, пусть немного *пошарпаютъ* берега Натоліи . . .“. Соч. Гог. II, 302.

„Подъ окномъ послышался шумъ и *топанье* танцующихъ“. Ib. 76.

Иногда помощью даннаго слова достигается Гоголемъ то, что обыкновенно достигается только путемъ декламаціи, т. е. искусственнаго тона голоса.

„Сперва тихо *звукнули* струны бандуры, къ нимъ присоединился голосъ". Ib. 76.

„Десятокій *забренчалъ* небольшимъ висячимъ замкомъ въ сѣняхъ и отворилъ комору. Ib. 77.

„Сабли страшно *звукнули;* желѣзо рубило желѣзо". Ib. 165.

„Чичиковъ благоговѣйно подступилъ къ хозяину, *лобызнулъ* его въ щеку, принявши и отъ него впечатлѣніе поцѣлуя". Соч. Г. IV, 382.

Къ стр. 145.

Синонимами пользуются другіе поэты, но не замѣчается ни у кого такого исключительнаго пользованія, нарушающаго гармонію стиля. У Лермонтова, — напр., попадаются обороты „Прикажи казнить-рубить голову"; „обручалися, золотыми кольцами мѣнялися". „Случилось-приключилось, „по правдѣ — по совѣсти".

Тоже слѣдуетъ сказать и относительно тавтологіи — ни у кого не замѣчается такихъ злоупотребленій, какъ у Гоголя. „Кличъ кликать", „диво дивное", „вольной волей" попадается у писателей спорадически, гдѣ того требуетъ стиль.

Къ стр. 152—153.

Можно было бы найти аналогичное употребленіе союза *и* напр. еще въ сказкѣ „О мертвой царевнѣ и семи богатыряхъ":

„Свѣтъ мой! Зеркальце, скажи . . .
Я-ль на свѣтѣ всѣхъ милѣе?
И ей зеркальце въ отвѣтъ . . .
Ты, царица всѣхъ милѣе . . .

И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертѣться подбочась
Гордо въ зеркальце глядясь".

Одновременность дѣйствій выступаетъ замѣтно; но въ большей мѣрѣ играетъ здѣсь роль наглядность.

Къ стр. 161.

Біографическія данныя могутъ въ нѣкоторой степени объяснить этотъ пріемъ. Гоголь былъ съ женщинами застѣнчивъ. „Нѣтъ, сказалъ самъ въ себѣ Чичиковъ, женщины — это такой предметъ . . . — здѣсь онъ и рукой махнулъ: просто и говорить нечего! Поди-ка, попробуй разсказать или передать все то, что бѣгаетъ на ихъ лицахъ, всѣ тѣ излучинки, намеки . . . а вотъ, просто ничего не передашь. Одни глаза ихъ такое безконечное государство, въ которое заѣхалъ человѣкъ — и поминай какъ звали! Ужъ его оттуда ни крючкомъ, ничѣмъ не вытащишь . . . нѣтъ просто не приберешь слова". Это совершенно въ духѣ и характерѣ самого Гоголя, и устами Чичикова говоритъ несомнѣнно авторъ самъ.

Къ стр. 162.

Форма повторенія имѣетъ психологическое основаніе въ желаніи запечатлѣвать понятіе въ слушателѣ. Она иногда символизируетъ прочность запечатлѣваемаго. Этотъ пріемъ извѣстенъ поэтамъ, онъ напоминаетъ символизацію напр. пространства: „далеко-далеко", времени: „давно-давно"; образа дѣйствія: „тихо-тихо" и т. п.

У Данте Петръ у вратъ рая восклицаетъ:

Quegli ch'usurpa in terra il luogo mio,
Il luogo mio, il luogo mio, che vaca
Nella presenza del figliuol di Dio. (Paradis 27, 22).

Такихъ мѣстъ нѣсколько. Новѣйшіе поэты французскіе пользуются этимъ пріемомъ.

Изъ болѣе старыхъ англійскихъ, Thomas Карлейль любилъ повторенія, производящія комическое дѣйствіе. — Эдгаръ По пользуется ими, когда дѣйствуетъ трагически, въ соотвѣтствіи Гоголевскому: „Будетъ, будетъ козакъ"... и т. п.

Повторенія Гоголевскія имѣютъ отчасти и юмористическій характеръ, въ такихъ случаяхъ онъ напоминаютъ повтореніе, между прочимъ, итальянской рыцарской поэзіи. Паѳосъ выражается, напр. въ формѣ, въ какой клянется Ринальдо (у Пульчи).

Questo sempre terrò per la tuo amore
Questo terrò sopra ogni cosa degno
Questo terrò con singulare onore
Questo terrò ... и т. д. восемь разъ.

Все это представлено, разумѣется, сатирически, въ осмѣяніе аффектовъ:

Pàrti que il tempo sia conforma a questo?
Pàrti que il tempo sia da inamorarsi?

и т. д. такихъ вопросовъ восемь подрядъ, и всѣ они начинаются Parti que il tempo.

См. Geschichte der grotesken Satire, Heinrich Schneegans. стр. 104.

Къ стр. 180—181.

Замѣчательно, что образованіе сложныхъ словъ въ большинствѣ случаевъ стоитъ въ ближайшей связи съ настроеніемъ художника, и чѣмъ возвышеннѣе оно, чѣмъ торжественнѣе настроеніе, тѣмъ чаще онъ говоритъ словами сложными, будь это при описаніи даже внѣшняго явленія. „Но въ нихъ-же, въ тѣхъ-же самихъ чертахъ онъ видѣлъ что-то *страшно-пронзительное* ..." [1]); „какъ ученикъ сидѣлъ

[1]) Соч. Г. II, 504.

онъ за своимъ трудомъ. Но какъ *безпощадно-неблагодарно* было все то, что̀ выходило изъ подъ его кисти . . ." [1]); „онъ остановился и вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ: глаза его встрѣтились съ *неподвижно-вперившимися* на него глазами" [2]; „. . . стѣнныя часы съ *печально-постукивающимъ* маятникомъ" [3]); „высокій . . . ростъ . . . смуглое лицо и какой-то *непостижимо-страшный* цвѣтъ его . . . отличали его . . ." [4]); „словомъ . . . произнесшая эти слова была *божественно-прекрасна*" [5]); „дикое безобразіе швейцарскихъ горъ . . . ужаснуло его взоръ, пріученный къ *высоко-спокойной* . . . красотѣ" [6]); „аллея липъ превратилась въ ворота, сквозь которыя глядѣлъ *кудряво-великолѣпный* фронтонъ дома" [7]); „за все, что ни встрѣчается въ нихъ (сочиненіяхъ) *умышленно-оскорбляющаго* прошу простить меня . . ." [8]); „вообще въ обхожденіи моемъ съ людьми всегда было много *непріятно-отталкивающаго* . . ." [9]); „. . . тотъ можетъ разбить листы своей скрижали, проклявши *вѣтренно-кружащееся племя*" [10]); „онъ объявилъ торжественно, что въ одахъ и гимнахъ нашихъ поэтовъ . . . что-то *свободно-величественное*" [11]); „отдѣлите только собственно называемый высшій театръ отъ тѣхъ . . . *мишурно-великолѣпныхъ* зрѣлищъ" [12]).

Приведенные примѣры далеко не стоятъ одиноко, а они, вмѣстѣ со множествомъ другихъ, даютъ право на сдѣланный выводъ. Отмѣчу еще одно мѣсто, послѣднее. Одно за другимъ сыпятся сложныя слова на разстояніи двухъ страницъ: „Въ ночной свѣжести было что-то *влажно-теплое* . . ." [13]); „и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ . . . просвѣчивали . . . по краямъ *эластически-нѣжной* окружности . . ." [14]); „онъ чувствовалъ *бѣсовски-сладкое* чувство, онъ чувствовалъ какое-то пронзающее, какое-то *томительно-страшное* наслажденіе . . ." [15]); „онъ глядѣлъ на приходившихъ *хладнокровно-*

[1]) III, 69. [2]) Ib. [3]) Ib. 76. [4]) Тамъ-же, 77. [5]) 79. [6]) Тамъ-же, 150. [7]) IV, 350. [8]) V, 5. [9]) Ib. [10]) Ib. 49. [11]) Тамъ-же, 54. [12]) Тамъ-же, 65. [13]) II, 490. [14]) Ib. 491. [15]) Ib.

довольными глазами" [1]). Происходитъ какъ будто первное движеніе, какъ будто языкъ движется по инерціи.

Къ стр. 184.

Сравненія съ предметами, очень далекими отъ изображаемыхъ, весьма обычны у большинства поэтовъ. Ихъ любитъ очень Лермонтовъ.

И блещетъ бѣлый рядъ зубовъ,
Какъ брызги пѣны у бреговъ (Измаилъ-бей),

или

Какъ въ тучахъ зарево пожара,
Какъ лава Этны по полямъ,
Больной румянецъ по щекамъ
Его разлился. (Тамъ-же).

Эти и подобные образы мало способны знакомить съ изображаемыми предметами. Возбуждается только какое-то неопредѣленное чувство.

Очень отдаленные образы сравненія, напр. нравственнаго состоянія съ физическимъ явленіемъ природы:

„Скопилась месть ихъ роковая
Въ тиши надъ дремлющимъ врагомъ;
Такъ лѣтомъ глыба снѣговая
Цвѣтами радуги блистая,
Виситъ, прохладу обѣщая,
Надъ беззаботнымъ табуномъ (Измаилъ-бей)

Близкими сравненіями я называю такія, въ которыхъ есть какіе либо признаки, общіе въ какомъ-либо отношеніи, и которыя принимаютъ не отвлеченный характеръ.

Одинаковыя сферы привлекаются Лермонтовымъ-же:

„Бѣлѣй чѣмъ горы снѣговыя
Идутъ на западъ облака („Измаилъ-бей")

---

[1]) Ib. 493.

Нѣсколько отдаленнѣе, все же близко:

И слезы крупныя мелькнули
На нихъ (глазахъ), какъ свѣтлая роса („Кавказскій Плѣнникъ")

Къ стр. 192.

На сколько велико значеніе мѣста въ предложеніи одного и того же образа, видно, напр. изъ того, что почти однородное сравненіе, вызывающее смѣхъ у Гоголя, не производитъ впечатлѣнія въ другомъ случаѣ:

„И цѣпью русскія палатки,
Какъ на ночлегѣ журавли,
Бѣлѣютъ смутно ужъ вдали".

Къ стр. 196.

Въ статьѣ „Замѣтки о словарѣ, составленномъ Гоголемъ" Тихонравовъ сообщаетъ, что уже на школьной скамьѣ, въ Нѣжинѣ, Гоголь началъ собирать матеріалы для малороссійскаго словаря; указанія эти уцѣлѣли въ сохранившейся записной книгѣ; „Книга всякой всячины, или подручная энциклопедія 1826", въ которой вписано очень много слов всякаго рода. Тихонравовъ полагалъ, что Гоголь съ переѣздомъ въ Петербургъ оставилъ мысль о составленіи малорусскаго словаря; мнѣніе основывается на томъ, что въ книгѣ Гоголя, заведенной въ Петербургѣ и наполненной замѣтками и произведеніями 1832—1835 годовъ, не встрѣчается толкованій малороссійскихъ словъ.

Фактъ самъ по себѣ вѣрный; но объясненія, какія даются ему Тихонравовымъ противорѣчатъ дѣйствительнымъ обстоятельствамъ. Онъ говоритъ (Соч. Тихонравова, III т., 2-й ч., 197 стр.) „Поэту открывался для наблюденій, для изученія совершенно новый міръ; провинціальная жизнь стала тускнѣть въ его памяти. Нужно было изучать языкъ этого новаго міра, мало того, — нужно было изучать разновид-

ности этого языка по сословіямъ. Прислушиваясь къ живой рѣчи русскаго народа, Гоголь чувствовалъ въ то же время потребность знакомиться съ лексикологіею великорусскаго языка, чтобы правильно на немъ выражаться и писать, чтобы усвоить себѣ русскую литературную рѣчь". Послѣднее согласно вполнѣ съ данными изъ его жизни. Но что „провинціальная жизнь стала тускнѣть" утверждать Тихонравову нельзя было. Онъ ссылается на одно мѣсто письма къ Погодину (V, 261 Кул.), въ которомъ говорится между прочимъ: „Провинція уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже блѣдны".

Даже отдѣльно взятая, эта фраза не могла бы служить основаніемъ для вывода, что Малороссія ушла на задній планъ, а въ связи съ цѣлымъ письмомъ она получаетъ смыслъ не тотъ, какой придавалъ ей Тихонравовъ. „Выведены на сцену плуты, говоритъ онъ въ этомъ письмѣ, и всѣ въ ожесточеніи, зачѣмъ выводить на сцену плутовъ. Пусть сердятся плуты, но сердятся тѣ, которыхъ я не зналъ вовсе за плутовъ. Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, признакъ глубокаго упорнаго невѣжества, разлитаго на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тѣмъ, что выведены нравы шести чиновниковъ провинціальныхъ; чтоже бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ея собственные нравы? Я огорченъ не нынѣшнимъ ожесточеніемъ противъ моей пьесы; меня заботитъ моя печальная будущность. Провинція уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже блѣдны; но жизнь Петербургская ярка передъ моими глазами, краски ея живы и рѣзки въ моей памяти". Соч. и пис. изд. Кулиша, 260—61, V.

Въ этихъ строкахъ говоритъ художникъ-реалистъ, которому нужно всматриваться въ самые предметы, будучи съ ними въ непосредственной связи, всматриваться кропотливо, съ полнымъ усердіемъ изучать ихъ не на разстояніи, а въ близости ближайшей. Явленія передъ его глазами, и онъ

мучится и томится чтобы воспроизвести явленія точнѣе; „изощрять взглядъ свой“ онъ долженъ, съ вѣрностью воспроизводить скрупулезной. Онъ чувствовалъ чутьемъ художника, что онъ не можетъ на родинѣ открывать ничего новаго, что онъ пишетъ по старымъ рецептамъ; онъ боится упадка таланта. Что приведенная фраза его не служитъ доказательствомъ охлажденія къ родинѣ во имя новыхъ интерессовъ, можно судить и по тѣмъ даннымъ, какія я привелъ на своемъ мѣстѣ.

Обращаю на это обстоятельство вниманіе въ виду мнѣнія А. Н. Пыпина, считающаго, какъ и Тихонравовъ, что малороссійскій элементъ отошелъ на задній планъ. Съ этимъ согласиться нельзя.

Къ стр. 200.

Потебня говоритъ, что можно наблюдать въ нѣкоторыхъ западно-русскихъ грамотахъ какъ, смотря по содержанію рѣчи, выбивается наверхъ то польская, то малорусская, то церковно-славянская струя. На сколько по требованію мысли, по содержанію рѣчи выбирается тотъ или другой языкъ при знаніи нѣсколькихъ языковъ, служатъ факты изъ творчества Ѳ. И. Тютчева, приводимые И. Аксаковымъ. Ими пользуется Потебня въ замѣчательной статьѣ своей „Языкъ и народность“, напечатанной въ „Вѣстникѣ Европы“ 1885 г. V, стр. 12: „По собственному его признанію, онъ тверже выражалъ свою (прозаическую) мысль по-французски нежели по-русски, свои письма и статьи писалъ исключительно на французскомъ языкѣ и, конечно, на девять десятыхъ болѣе говорилъ въ своей жизни по-французски, чѣмъ по-русски. А между тѣмъ стихи у Тютчева творились только порусски. Значитъ, изъ глубочайшей глубины его духа била ключомъ у него поэзія, изъ глубины, недосягаемой *даже для его собственной воли,* — изъ тѣхъ тайниковъ, гдѣ живетъ наша первообразная природная стихія, гдѣ обитаетъ самая правда

человѣка“ (См. вышеназванную статью Потебни, стр. 12—13. Срав. И. Аксаковъ, біографія Ѳ. И. Тютчева, Русскій Архивъ, 1874 X, 11.

Однородный фактъ, еще болѣе знаменательный, представляетъ творчество Пушкина. Онъ пишетъ своему другу Чаадаеву: „Mon ami, je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la nôtre. (Изданіе Морозова VII, 274).

Это въ такихъ случаяхъ, когда ему приходилось прибѣгать къ этому языку для выраженія мыслей отвлеченнаго содержанія.

Къ стр. 208.

Совершенное отсутствіе нѣкоторыхъ вполнѣ русскихъ формъ можетъ служить косвеннымъ подтвержденіемъ моей мысли. Сюда относится, напр. отсутствіе повторенія одного и того же предлога въ одномъ и томъ же предложеніи по образцу Грибоѣдовскаго, Крыловскаго, Пушкинскаго

„А ты, сударыня, чуть изъ постели прыгъ,
Съ мущиной, съ молодымъ

или

„Ужъ объ твоемъ ли не радѣли
Объ воспитаніи съ колыбели

или у Пушкина:

„Разъ у тесовыхъ у воротъ . . .

Сюда относятся формы повелительнаго наклоненія вмѣсто другихъ формъ глагольныхъ: „И будь не я, коптѣлъ бы ты въ Твери“; или форма повелительнаго вмѣсто прошедшаго времени: „А я, не позабудь“ и многое другое. Всего болѣе поражаетъ отсутствіе видового богатства русскаго глагола.

Къ стр. 211.

Формы, соотвѣтствующія формѣ, употребляемой Гоголемъ, какъ малороссомъ, встрѣчаются у другихъ поэтовъ, но чрезвычайно рѣдко, такъ у Лермонтова:

„И за тобой въ любви живомъ страданьи
Стоитъ гусаръ безмолвенъ, мраченъ, тихъ („Письмо“)

„Мстиславъ возвращается домой печаленъ, озабоченъ, угрюмъ“ („Князь Мстиславъ“). Подобныя формы есть и у Пушкина, но съ инымъ значеніемъ.

Къ стр. 227.

Въ исторіи всеобщей литературы Гоголь не первый, въ которомъ замѣчается стремленіе уменьшить значеніе поэтическаго творчества даже путемъ полнаго исключенія его изъ области созданія мысли.

Еще Платонъ, какъ извѣстно, исключалъ поэтическое начало. Горацій находился подъ вліяніемъ Платона, обнаруживая скептическое отношеніе къ великости Илліады (Epist. I, 2, 6, и слѣд.) и хочетъ поэзію замѣнить философіею, діэтетикой души (наиболѣе въ Epist. II, 2, 141 и слѣд. срав. Prof. F. Gustafsson, Horatii bref om Skaldekonsten. Helsingfors 1901).

Въ наше время взгляды графа Л. Н. Толстого на поэзію ничѣмъ не отличается отъ приведенныхъ воззрѣній. Причины лишь каждый разъ нѣсколько иныя. У Толстого онѣ въ нѣкоторомъ отношеніи напоминаютъ Гете:

Ich ehre den Rhytmus wie den Reim, wodurch Poesie erst Poesie wird, aber das eigentlich tief und gründlich Wirksame, das wahrhaft Ausbildende und Fördernde ist dasjenige was vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Prosa übersetzt wird. Dann bleibt der reine vollkommene Gehalt, den uns ein blendendes Aeussere oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiss und, wenn er gegenwärtig ist, verdeckt. (Wahrheit u. Dichtung). Кстати сказать, Гете считаетъ необходимыми переводы на прозу такихъ, произведеній какъ пѣснь о Нибелунгахъ. (West-Östlicher Divan). См. Prof. F. Gustafsson, „Horatii Bref om Skaldekonsten“, 14.

Прежніе законодатели стиля среди французовъ въ теоріи относятся къ образнымъ выраженіямъ отрицательно, какъ

вообще принципіально они противъ всяческихъ украшеній даже въ ораторской рѣчи (въ противоположность нѣмцамъ); но они превосходно понимаютъ, что фактически одними отвлеченіями мысль жить не можетъ, что ей необходимо нѣчто „осязательное“ (du corps). Впрочемъ Цицеронъ еще указывалъ на то, что рѣчь должна быть *почти* поэтична, а Fenelon поддерживая его говоритъ: ce presque dit tout. Энциклопедисты постоянно ссылаются на природу: Sentez vivement et dites tout ce que vous voudrez, говоритъ d'Alembert, a Boileau считаетъ это необходимымъ, такъ какъ ce que l'on sent avec chaleur, s'énonce clairement. Несомнѣнно, что поэзія, въ которой образы преобладаютъ, весьма бѣдна идеями; но что поэзія неизбѣжная форма мышленія — это упускается изъ виду весьма часто и теперь; а Гоголь вовсе не понималъ этого.

Къ стр. 236.

Тихонравовъ приводитъ мѣсто, свидѣтельствующее о *прямомъ* заимствованіи, составляющемъ *переложеніе* съ малороссійской пѣсни:

„Какъ нѣдо, озирали они вокругъ себя очами все поле и чернѣющую вдали судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ облогами и дорогами покрыто ихъ бѣлыми торчащими костями, щедро обмывшись казацкою ихъ кровью, и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями; далече раскинутся чубатыя головы съ перекрученными и запекшимися въ крови чубами и опущенными книзу усами; будутъ орлы, налетѣвъ, выдирать и выдергивать изъ нихъ казацкія очи. Но добро великое въ такомъ широкомъ и вольноразметавшемся смертномъ ночлегѣ! Не погибнетъ ни одно великодушное дѣло, и не пропадетъ, какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, казацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по грудь бородою, а можетъ быть, полный зрѣлаго мужества, но бѣлоголовый старецъ, вѣщій духомъ, и скажетъ онъ про нихъ свое густое могучее слово.

И пойдетъ дыбомъ по всему свѣту о нихъ слава, и все, что ни народится потомъ, заговоритъ о нихъ".

Вотъ то-же мѣсто по малорусскимъ пѣснямъ въ переложеніи Тихонравова: „А что какъ наши головы казацкія по степи-полю полягутъ, да и еще и родною кровью обмоются, пощепанными саблями покроются. Пропадетъ, какъ порохъ изъ дула, та казацкая слава, что по всему свѣту дыбомъ стала, что по всему свѣту степью разлеглась, протянулась, да по всему свѣту шумомъ лѣсовъ раздалась, Туреччинѣ да Татарщинѣ добрымъ лихомъ знать далась? . . .

Закрячетъ воронъ степью летучи,
Заплачетъ кукушка лѣсами скачучи,
Закуркуютъ сизые кречеты,
Задумаются сизые орлы —
И все, все по своихъ братьяхъ,
По буйныхъ товарищахъ казакахъ! . . .

Или ихъ сугробомъ занесло, али въ аду потопило: что не видно чубатыхъ ни по степямъ, ни по лугамъ, ни по татарскимъ землямъ, ни по Чернымъ морямъ, ни по ляшскимъ полямъ? Закрячетъ воронъ, загрустъ, зашумитъ и полетитъ въ чужую землю . . . Анъ нѣтъ? Кости лежатъ, сабли торчатъ; кости хрустятъ, пощепанныя сабли бренчатъ. Соч. Тих. III-й т. 2-ая ч., стр. 355.

Къ стр. 238.

Къ пониманію Гоголемъ народной поэзіи примѣнимо знаменитое:

„Wer den Dichter will verstehen
Muss des Dichters Wege gehen".

Онъ, какъ поэтъ, интуитивно понялъ мѣста, кажущіяся безмысленными читателю, не имѣющему чутья къ народному творчеству, не знающему и его тайнъ. Вполнѣ замѣчательнымъ мнѣ представляется особенно одно мѣсто его

статьи „о Малороссійскихъ народныхъ пѣсняхъ", въ которомъ дается объясненіе пѣснямъ, полнымъ значенія, если уразумѣть ихъ композицію. Имѣю ввиду такой образецъ:

„Шли коровы изъ дубровы, а овечки съ поля:
Выплакала карп очи, край милого стоя.

Отсылаю читателя къ превосходному объясненію подобныхъ мѣстъ Соч. Г. I, 318.

Имъ пренебрегали наши ученые, или вовсе его не знали и бились надъ разгадкой кажущейся безсмыслицы.

Фольклористы нѣмецкіе пускались во всякія догадки. Могу для образца назвать одну, превосходно, впрочемъ, написанную статью, дающую психологическія поясненія. Въ Zeitschrift für Völkerpsychologie u. Sprachwiss. Штейнталя и Lazarus'а, Kreic'а.

Къ стр. 243.

Сатирикъ, какъ и поэтъ „nascuntur". Интересно, что съ древнѣйшихъ временъ забава сатирой въ юности знаменовала въ будущемъ сатирика. На Гораціи, этомъ добродушнѣйшемъ изъ людей, миролюбивѣйшемъ, искавшемъ „отрады и покоя", это всего рѣзче сказывается. Срав. его Satir. II, 1, 7; 55 и слѣд. Это сказывается затѣмъ на всѣхъ сатирикахъ, испытывавшихъ невзгоды жизни частной и общественной.

Къ стр. 268.

Не стоитъ-ли объясненіе происхожденія фамиліи Башмачкина въ связи съ занятіями Гоголя, состоявшими, между прочимъ, во внесеніи въ его „Подручной Энциклопедіи" довольно длиннаго перечня „именъ, даваемыхъ при крещеніи", при чемъ Гоголь объясняетъ книжныя и народныя формы. Мысль привыкала къ толкованіямъ именъ, и останавливалась на нихъ и во время творчества. Этимъ психологическимъ процессомъ я склоненъ объяснить пристрастіе Гоголя къ изобрѣтенію именъ,

въ которыхъ слышится всегда какое либо содержаніе, менѣе всего относящееся къ области изящнаго; этимъ онъ сосредоточиваетъ на имени вниманіе читателя, давая возможность усвоить себѣ какъ бы самый характеръ изображаемаго лица.

Этимъ процессомъ творчества я склоненъ объяснить и перемѣну однихъ кличекъ на другія, когда автору кажется необходимымъ не задерживать вниманія читателя. Объ этомъ я говорилъ по поводу экономизаціи вниманія, какъ художественнаго пріема.

Къ стр. 287.

Почему Гоголь имѣетъ интересъ новизны, тогда какъ другіе, даже болѣе крупные юмористы возбуждаютъ лишь историческій интересъ, какъ Рабелэ, напр.? Потому, что его юморъ главнымъ образомъ основанъ на характеристическихъ свойствахъ, обусловленныхъ не только извѣстнымъ періодомъ времени. Примѣръ пояснитъ мою мысль. Рабелэ, заставляя говорить то или другое лицо, успащиваетъ рѣчь безконечною ученостью, по поводу всякаго пустяка. Чтобы лучше разслышать звуки, неотчетливо раздающіеся издали, товарищи Pantagruel'я кладутъ руки за уши, чтобы собрать звуки. По поводу этого ничего незначущаго движенія Рабелэ сообщаетъ, что они держали такъ руки по образцу императора Антонина. Такъ какъ рѣчь заходитъ объ ушахъ, то Рабелэ считаетъ нужнымъ объяснять причину, по которой школьные учителя дерутъ уши дѣтямъ — оказывается, это согласно ученію мудрыхъ Египтянъ, по которому ухо посвящено памяти, и цитируется „Виргилій“ который въ 6-й эклогѣ говоритъ:

„Quum canerem reges et proelia, Cynthius aurem
Vellit et admonuit,

и вотъ почему мы видимъ: „les precepteurs et les pedagogues esburanler les testes de leurs disciples (comme on fait un pot par

les anses) par vellication et erection des oreilles, afins de remettre leurs sens esgarrés en bonne et philosophique discipline“. Въ приведеніи такихъ цитатъ онъ стоитъ не одиноко, онъ дѣлаетъ то же что напр. Монтань, нагружающій свою рѣчь подобнымъ балластомъ, только юмористически. Вотъ еще лучшій образецъ. Во время бури происходитъ обмѣнъ мыслей, менѣе всего соотвѣтствующій положенію, спокойный, ровный, а главное ученый, въ такомъ направленіи: „Faire testament, dist Epistemon, à certe heure qu'il nous convient evertuer et secourir nostre chorme sus peine de faire naufrage, me semble acte autant importun et mal à propos comme celuy des mignons de caesar entrant en gaule, lesquels s'amusoient à faire testamens et codicilles, lamentoient leur fortune, pleuroient l'absence de leurs femmes et amis romains, lorsque par necessitè, leur convenait courir aux armes et soy evertuer contre Ariovistus leur ennemy. C'est sottisse telle que du charretier, lequel, sa charette versée par un retouble, à genoilz imploroit l'aide de Hercules et ne aiguillonait ses bœufs et ne metoit la main pour soulever les roues. De quoy vous servira ici faire testament? Car, ou nous evaderons ce dangier ou nous serons noyés. Si evadons il ne vous servira de rien. Testamens ne sont vallables ni autorisés, si non par mort des testateurs. Si sommes noyés, ne noyera il pas comme nous? Qui le portera aux executeurs?

— Quelque bonne vague, respondit Panurge, le jettera à bord comme fit Ulyxes; et quelque fille de roy allant à l'esbat sur le serain, le recontrera, puis le fera tres bien executer, et près le rivage me fera eriger quelque magnifiique cenotaphe, comme fit Dido à son mary Sychée; Eneas à Deiphobus, sur le rivage de Troye, près Rhoete; Andromache à Hector, en la cité de Buttrot; Aristoteles à Hermias et Eubulus; les Atheniens au poëte Euripides; les Romains a Drusus, en Germanie et à Alexandre Severe, leur empereure en Gaule; Argentier à Callaischre; Xenocrite à Lysidices; Timares à son fils Theleutagores; Eupolice et Aristodice à leur fils Theotime, Oneste à Timocles; Callimache á Sopolise, filz de

Dioclides; Catulle à son frère; Statius à son pere; Germain de Brie á Hervé, le naucher breton (Rabelais, Stapfer, 410).

Весь расчетъ юмора построенъ на несоотвѣтствіи дѣйствительности съ изображаемымъ приведеніемъ фактовъ и самихъ фактовъ.

Къ стр. 297.

Сравненіе съ предметами изъ ближайшей обстановки, свойственно малорусскому юмору. Не мѣсто входить въ исторію вопроса, но отмѣтить, ввиду важности вопроса, слѣдуетъ, что этотъ юморъ вносился и въ серіозную рѣчь.

Мелетій Смотрицкій говорилъ обращаясь къ православному проповѣднику: „Цѣлуй Бессія, который научаетъ тебя произносить съ каѳедры. Хорошо мнѣ извѣстно, что безъ него скрипѣли бы твои колеса какъ у возницѣ безъ мазницы".

„Христе Спасителю", такъ заключаетъ Антоній Радзивиловскій Слово на день Іоанна Богослова, „когда изъ сей плачевной юдоли мы будемъ присылать къ тебѣ молебныя жалобы, пріими ихъ въ твою небесную канцелярію, запиши въ книги живота вѣчнаго, утверди печатью твоею св. Іоаномъ, чтобы, ставши предъ судомъ твоимъ и имѣя при своихъ жалобахъ твою печать, мы могли бы получить надлежащую справу и по твоему Божественному декрету достигли бы царства твоего небеснаго". Судебная практика переносилась въ область вѣрованій — разумѣется безъ тѣни юмористическаго отношенія къ вопросу; но къ послѣднему одинъ всего шагъ.

Можно привести примѣры, какъ серіозное отношеніе къ дѣлу въ извѣстную пору принимаетъ характеръ причины, вызывающей смѣхъ при другихъ условіяхъ жизни.

„Въ надгробныхъ проповѣдяхъ, говоритъ Голятовскій, обращай вниманіе на гербъ умершаго, . . . на фамилію . . . на имя . . . на возрастъ. Читай въ книгахъ и замѣчай себѣ: какъ долженъ жить священникъ, какъ воинъ, какъ

женщина, какъ дѣвица, что онѣ должны соблюдать и исполнять и доказывай, что покойники именно то соблюдали и исполняли, что требовалось ихъ званіемъ и состояніемъ" (Характеристика южно-русскихъ литературныхъ теченій. Гаврилова, стр. 25—26).

Въ малороссійской литературѣ множество случаевъ, представляющихъ затрудненіе въ отысканіи, гдѣ конецъ серіознаго и начало юмора.

Къ стр. 309.

Сравненіе съ гипперболами Рабелэ покажетъ чувство мѣры, какимъ обладалъ Гоголь.

Въ день рожденія Пантагрюэля была жара, и Рабелэ описываетъ ее такъ: не было дождя уже 36 мѣсяцевъ, 3 недѣли, 4 дня, 13 часовъ. Во всей странѣ ни одного листа на деревьяхъ; рѣки высохли, ручьи изсякли; несчастная рыба кричитъ и мучится на сушѣ; животныя и звѣри съ открытыми ртами; люди ложатся подъ животы коровъ, чтобы найти какую либо тѣнь; изъ святой чаши церковной выпиваютъ содержимое.

Frère Jean до такой степени долго не принималъ пищи, что пищевой проходъ заросъ мхомъ.

Не совсѣмъ удобно передавать нѣкоторыя гипперболы, въ которыхъ Рабелэ переходитъ предѣлы приличія, увлекаясь изображеніемъ мужской силы.

Нецѣломудренность стиля обнаруживается при гипперболическомъ изображеніи невѣрія въ нравственную чистоту женщинъ (при описаніи женскаго монастыря).

Припомнимъ вопросъ, который задаетъ Панургъ при встрѣчѣ съ носильщикомъ, у котораго на рукахъ двое дѣвочекъ — малютокъ двухъ и трехъ лѣтъ — и. т. и.

Болѣе легкую форму гривуазности, представленной не гипперболически представляетъ напр. мѣсто въ „Le malade

imaginaire" Мольера; юморъ сильный, но сравнительно съ Гоголевскимъ онъ не такъ естественъ и мало характеристиченъ для личности. Шаржъ очевиденъ. Больному рекомендуется „plus, du vingt-quatrième, un petit clystère insinuatif, préparatif et rémollient, pour amollir, humester et rafraîchér les entrailles de monsieur". — Ce qui me plaît de monsieur Fleurant, mon apothicaire, c'est que ses mémoires sont toujours fort civils. — „Plus, dudit jour, un bon clystère détersif, composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosat et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur". — „Plus, du vingt-sixième, un clystere carminatif, pour chasser les vents de monsieur". Окончивъ свое длинное наставленіе, Арганъ зоветъ Toinette и спрашиваетъ: „Mon lavement d'aujord'hui a-t-il bien opéré? — Votre lavement? — Oui; ai-je bien fait de la bile? — Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là; c'est à monsieur Fleurant à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit".

Какъ граціозно, сравнительно съ этимъ средствомъ, средство, рекомендуемое Пульхеріею Ивановной ея супругу, страдающему тою же болѣзнью, отъ которой дается лекарство по французски. И юморъ дѣйствуетъ несомнѣнно больше, — на вкусъ всякаго.

Еще примѣръ на выдержку, чтобы показать, на сколько гиперболы Гоголя поэтичнѣе, а потому внушительнѣе. Никто изъ людей на самомъ дѣлѣ не способенъ пожирать всякой ѣды въ такомъ непомѣрномъ количествѣ, какъ это дѣлаетъ Собакевичъ. Увеличеніе дѣйствительныхъ размѣровъ пищи, принимаемой даже самымъ необыкновеннымъ обжорой огромно, а между тѣмъ воспроизведеніе обжорства художественно. Morganto (Пульчи), предшественникъ Гаргантюа не производитъ художественнаго впечатлѣнія, потому что преувеличеніе не знаетъ границъ: онъ жаритъ цѣлаго слона, обгладываетъ до косточки, — это еще куда ни шло; но пока ему приносятъ воды испить, онъ успѣваетъ проглотить сверхъ слона, — вола, кролика и еще что-то.

Въ этихъ случаяхъ не возбуждается смѣха.

Макароническая поэзія итальянцевъ хорошо знаетъ гиперболы подобнаго рода.

См. Geschichte der grotesken Satire H. Schneegans. 1894. Напр. стр. 127, 128, равнымъ образомъ италіанская рыцарская поэзія, напр. стр. 116. Для своего времени они имѣли значеніе. Теперь забыты окончательно.

Къ стр. 321.

Хотя неоспоримъ и общеизвѣстенъ фактъ, что въ переводѣ на чужой языкъ поэзія теряетъ, все же привожу нѣсколько отрывковъ. Гоголь не только теряетъ, — онъ неузнаваемъ въ переводѣ.

Чичиковъ спрашиваетъ Коробочку:

А имя и отчество?	Et votre nom et celui de monsieur votre père?

Въ оригиналѣ нѣтъ и тѣни вѣжливости французскаго перевода.

Настасья Петровна! Хорошее имя — Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.	Nastasie Petrovna; beau nom! Moi, j'ai une tante, sœur de ma mère, qui s'appelle Nastasie Petrovna.

Юморъ совершенно пропадаетъ: „хорошее имя“, не выражаетъ по французски безсмысленности въ оригиналѣ, при намѣреніи польстить.

А ваше имя какъ? спросила помѣщица, „вѣдь я, чай, засѣдатель?“	Et vous, monsieur? vous etes bien . . . comme cela . . . assesseur?

Въ переводѣ нѣтъ и помину юмора лежащаго въ основаніи вопроса.

Нѣтъ матушка, отвѣчалъ Чичиковъ усмѣхнувшись. Чай не засѣдатель, а такъ ѣздимъ по своимъ дѣлишкамъ".	Non, ma petite mère, repondit Tch. en souriant. Je ne suis pas assesseur; nous voyageons pour nos petites affaires.

Пренебрежительно-снисходительный и фамильярный тонъ, соединенный съ оттѣнкомъ ироніи и плутовства — его и слѣда нѣтъ. Повтореніе словъ „чай не засѣдатель", выраженія „матушка", „дѣлишки" — вся соль исчезла въ переводѣ. Да и „ѣздимъ по своимъ дѣлишкамъ" вовсе не nous voyagons.

А, такъ вы покупщикъ! Какъ-же жаль, что я продала медъ купцамъ такъ дешево; а вотъ ты бы, отецъ мой, у меня вѣрно его купилъ.	— Je suis sure qu'avec vous nous nous serions bien arrangés.
А вотъ меду и не купилъ бы.	Non pas. Je ne fais pas les miels.

Вся сила въ оборотѣ: А вотъ и не купилъ бы. По французски: вообще не торгую. Здѣсь о коварствѣ Чичикова и слѣда нѣтъ.

На выраженіе сожалѣнія, что не имѣется и пеньки, Чичиковъ говоритъ:

„Нѣтъ, матушка, другого рода товарецъ: Скажите, у васъ умирали крестьяне?"	Non, petite maman; je suis dans une autre partie. Dites moi donc и т. д.

Вся соль юмора въ словѣ „товарецъ", — и она то совершенно исчезаетъ во французскомъ. Да и слово „матушка" при данномъ сочетаніи словъ получаетъ совершенно не то значеніе, что добродушное petite maman.

„Уступите-ка ихъ мнѣ, Настасья Петровна".	Dites donc, Nastasi Petrovna. si vous me les cédiez.

Комизмъ въ переводѣ заключается въ томъ развѣ, что имя произносится пофранцузски весьма своебразно, и не вяжетсы съ языкомъ. Но частица *ка*, дѣлающая всю просьбу объ уступкѣ небывалою, такъ и остается непереводимой, стало быть и юмора нѣтъ въ ней.

„Да какъ же уступить ихъ?“
„Да такъ просто . . .“

Et comment vous les céder?
Rien de plus simple . . .

Въ оригиналѣ вся прелесть въ языкѣ, — въ соотвѣтствіе между *да какъ*, и *да такъ*. — Въ переводѣ вышло нѣчто совсѣмъ другое.

„Нешто хочешь ты ихъ откапывать изъ земли“?

Est-ce que par hazard vous voudriez les déterrer?

Это „нешто“ придаетъ весь смыслъ вопросу — онъ исчезъ;

„Чичиковъ увидѣлъ, что старуха хватила далеко . . .“

Tch. s'aperçut que la vieille dame était lente à comprendre . . .

„Хватила далеко“ вовсе не était lente à comprendre — ни по формѣ, ни по содержанію.

Хлестаковъ. Да это, просто, разбойникъ!

Купцы. Ей, ей! А попробуй прекословить, наведетъ къ тебѣ въ домъ цѣлый полкъ на постой. А если что, велитъ запереть двери. „Я тебя“, говоритъ, „не буду“, говоритъ, „подвергать телѣсному наказанію, или пыткой пытать — это“, говоритъ, „запрещено закономъ, а вотъ ты у меня, любезный, поѣшь селедки!“

Khlestako. C'est tout bonnement un vouleur.

Le marchand. Si l'on s'avise de lui tenir tête, il vous enverra tout un régiment à loger. Il vous dit de venir lui parler. Bon, puis il ferme la porte. „Mon cher“ dit-il, „je ne peux pas te faire donner la bastonnade, ni te mettre à la question, parce que la loi ne le permet pas; mais, mon cher, vois-tu, je te ferai avaler tout de couieuvres, qu'à la fin je te rendrai souple comme un gaut“.

Къ стр. 342.

Легко усмотрѣть значеніе уменьшительнаго суффикса въ данномъ случаѣ изъ сравненія его напр. съ извѣстнымъ мѣстомъ „Горе отъ ума“:

„Какъ станешь представлять къ крестишку ли, къ мѣстечку, —
Ну, какъ не порадѣть родному человѣчку!“

Интересно, что въ формахъ „къ крестишку“, „къ мѣстечку“ обнаруживается такое отношеніе къ предметамъ, обозначаемымъ этими словами, какъ со стороны Чичикова къ „человѣчку одному“: оттѣнокъ пренебреженія (мнимаго).

Богатство оттѣнковъ значенія уменьшительныхъ суффиксовъ можетъ быть выяснено изъ разнообразнѣйшаго примѣненія ихъ въ рѣчи.

„Имѣетъ, кажется, въ петличкѣ орденокъ“

далеко не то, что напр.:

„Отдушничекъ откроемъ поскорѣе“.

Къ послѣднему случаю подходитъ ближе употребленіе уменьшительныхъ Хавроніею во время угощенія милаго гостя „вареничками“, „галушечками“, т. е. предполагаетъ расположеніе къ тому лицу, къ которому обращается говорящій, тогда какъ въ „петличкѣ орденокъ“ — почтеніе къ предмету о которомъ рѣчь идетъ.

Отмѣчаю эти подробности съ цѣлью вызвать вниманіе изслѣдователей на одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ въ исторіи развитія значенія слова.

* *
*

Не совсѣмъ пріятно открывать Америку вторично, но мнѣ неизвѣстно, есть-ли въ нашей литературѣ что либо о вліяніи стиля Гоголя на писателей послѣдующихъ. Стиля юмористическаго въ всѣхъ проявленіяхъ его нельзя при

этомъ имѣть ввиду — онъ индивидуаленъ до исключительности и школы создать не можетъ; но нѣкоторые моменты Гоголевскаго юмора можно прослѣдить, напр. у Гончарова. Что его Обломовъ родня Тѣнтѣтникову — объ этомъ говорилось много разъ, — но что Гончаровъ рисуетъ мѣстами своего героя чуть не въ тѣхъ же выраженіяхъ, на это не было, кажется, обращено вниманіе. Прошу извиненія у того, кто раньше, быть можетъ, уже отмѣтилъ это вліяніе.

„По мѣрѣ того, какъ приближалось время къ выпуску сердце у него билось. Онъ говорилъ себѣ: „Вѣдь это еще не жизнь; это только приготовленье къ жизни: настоящая жизнь на службѣ; тамъ подвиги“. (Соч. Г. IV, 322).

Это мѣсто должно было непремѣнно послужить образцомъ изображенія моментовъ, когда Обломовъ спрашиваетъ себя: „Когда-же жить“. Дословное почти повтореніе.

Постепенное раззнакамливаніе съ „пріятелями“ со стороны Обломова, и грусть, и тоска безвыходная отъ бездѣятельности точь въ точь воспроизводитъ мѣста Гоголя, въ которыхъ разсказывается, какъ произошло постепенное отчужденіе отъ людей: „Такъ и кончилось знакомство. Съ тѣхъ поръ не заѣзжалъ къ нему никто. Уединенье полное водворилось въ домѣ. Хозяинъ залѣзъ въ халатъ безвыходно, предавши тѣло бездѣйствію, а мысль — обдумыванью большого сочиненія о Россіи. День приходилъ и уходилъ однообразный и безцвѣтный. Нельзя сказать, однако-же, чтобы не было минутъ, въ которыя какъ будто пробуждался отъ сна. Когда привозила почта газеты, новыя книги и журналы . . , тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездѣйствіе свое прорывалось невольно“ (IV, 332).

Вліяніе Ольги на Обломова является чуть не дословнымъ повтореніемъ изображенія вліянія Улиньки на Тѣнтѣтникова.

„. . . Съ перваго же дня онъ сталъ съ ней такъ, какъ бы знакомъ былъ вѣчно. Неизяснимое, новое чувство вошло

къ нему въ душу. Его жизнь на мгновенье озарилась. Халатъ на время былъ оставленъ, не такъ долго копался онъ въ кровати, не такъ долго стоялъ Михайло съ рукомойникомъ въ рукахъ . . .“ 335, IV.

И нѣкоторыя мечтанія у Обломова выливаются въ тѣхъ-же формахъ, что у Чичикова, а формы находятъ тѣ же словесныя выраженія, какъ мечтанія у Чичикова. Срав. напр. IV 344.

Замѣчательно, что нѣкоторые обороты Гоголевскіе вполнѣ усвоены были Гончаровымъ „Отъ голоса до малѣйшаго тѣлодвиженія въ немъ было все властительное, повелѣвающее внушавшее въ низшихъ чинахъ если не уваженіе, то по крайней мѣрѣ робость. Чичиковъ почувствовалъ то и другое: и уваженіе и робость“.

О Захарѣ Гончаровъ говоритъ: „. . . рыцарь безъ страха и упрека — но онъ былъ не безъ страха и не безъ упрека“ и т. д.

Не имѣя ввиду теперь входить въ подробности вліянія Гоголя на слѣдовавшихъ за нимъ писателей (не „подражателей“), я счелъ нужнымъ высказать мысль, что во всякомъ случаѣ оно значительнѣе, чѣмъ на него, напр. со стороны Нарѣжнаго, которому придаютъ слишкомъ большое значеніе.

Недосмотры.

Подъ цыфрою VIII оказались двѣ главы подрядъ. Въ оглавленіи онѣ обозначены подъ буквами VIII *a* и VIII *b*.

На	стр.	167	напечатано	царскій плотникъ	вм.	царь-плотникъ
„	„	2[illegible]	„	языкомъ	„	изъ языка
„	„	256	„	вызывающихъ	„	вызывающія
„	„	„	„	эти	„	подобныя

200